

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2018

№ 53

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Индексируется в БД Scopus
и Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) –
отв. секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board
of the Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) –
Editor-in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) –
Executive Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) –
Deputy Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
А.Н. Соболев (Санкт-Петербург, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

*Editorial Council
of the Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
A.N. Sobolev (Saint Petersburg, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, US)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

| | |
|--|-----|
| Ананьева Н.Е. Островные польские говоры Сибири | 5 |
| Башиева С.К., Шогенова М.Ч. Основные факторы витальности республиканских государственных языков (на материале кабардинского и балкарского языков) | 15 |
| Боднарук Е.В. Будущее время и средства его экспликации в немецком языке | 32 |
| Мокненко В.М. Сибирь в малых жанрах русского фольклора | 48 |
| Норман Б.Ю. «Необязательный» дательный падеж при русском глаголе | 61 |
| Скорвид С.С. О параллельных процессах в синтаксисе западнославянских островных говоров в Сибири | 75 |
| Тресорукова И.В. Пищевой код греческой фразеологии: фитоним «огурец» | 98 |
| Шамяунова М.Д., Ефанова Л.Г. Синтаксическая контаминация в романе В. Набокова «Защита Лужина» | 111 |

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| Абрамова В.С. Этностереотипы и их роль при изображении иностранцев в прозе А.П. Чехова | 127 |
| Анисимова Е.Е. «То знакомый голос был...» Жанровый архетип баллады в историческом контексте: самозванчество | 143 |
| Васильева Г.М. Танцевальная поэма Г. Гейне «Доктор Фауст»: аксиология замысла | 164 |
| Жулёва Л.П. Иноязычные вкрапления в прозе Э.А. По и их русская переводческая рецепция | 179 |
| Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Проблема стиля и методологические стратегии М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева | 194 |
| Новокрещенных И.А. Художественные связи О. Бердсли и Д. Лоуренса | 207 |
| Патроева Н.В., Лебедев А.А. Синтаксическая организация, размер и семантика инициальных предложений в лирике А.С. Пушкина | 224 |
| Хомук Н.В. Петербургский текст в романе Н.И. Греча «Черная женщина». Статья 2 | 237 |

ЖУРНАЛИСТИКА

| | |
|--|-----|
| Дементьева К.В. Медиамем и его роль в формировании полиэтничного общества | 257 |
|--|-----|

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

| | |
|---|-----|
| Грязнова В.М. Рецензия на книгу: Т.А. Демешкина, С.В. Волошина, Н.А. Карпова, Р.В. Рюмин, А.А. Долганина. «Портреты речевых жанров: разные дискурсивные практики» | 279 |
| Михновец Н.Г. Новое исследование о романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Рецензия на книгу: Е.Г. Новикова. «Nous serons avec le Christ». Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» | 282 |
| СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ | 288 |

CONTENTS

LINGUISTICS

| | |
|---|-----|
| Ananieva N.E. The insular Polish dialects in Siberia | 5 |
| Bashieva S.K., Shogenova M.Ch. Main factors of republican state languages vitality (on material of the Kabardian and Balkar languages) | 15 |
| Bodnaruk E.V. Future time reference and the means of its explication in the German language | 32 |
| Mokienko V.M. Siberia in the small genres of Russian folklore | 48 |
| Norman B.Yu. The “redundant” Dative case with the Russian verb | 61 |
| Skorvid S.S. On the parallel syntactic processes in West Slavic insular dialects in Siberia | 75 |
| Tresorukova I.V. The food code of Greek phraseology: the phytonym “cucumber” | 98 |
| Shamjaunova M.D., Efanova L.G. Syntactic blending in Nabokov’s novel <i>The Luzhin Defense</i> | 111 |

LITERATURE STUDIES

| | |
|--|-----|
| Abramova V.S. Ethnic stereotypes and the role they play in the representation of foreigners in Chekhov’s prose | 127 |
| Anisimova E.E. “This voice was familiar . . .” The archetype of the ballad genre in the historical context: imposture | 143 |
| Vasilyeva G.M. Heine’s dance poem “Doctor Faust”: the axiology of the conception | 164 |
| Zhulyova L.P. Foreign inclusions in Edgar Poe’s prose and their perception in Russian translations | 179 |
| Ivanov D.I., Lakerbai D.L. The style problem and methodological strategies of M.M. Bakhtin and A.F. Losev | 194 |
| Novokreshchennykh I.A. Artistic connections of A. Beardsley and D.H. Lawrence | 207 |
| Patroeva N.V., Lebedev A.A. Syntactic organization, meter and semantics of initial sentences in A.S. Pushkin’s lyrics | 224 |
| Khomuk N.V. The <i>Petersburg</i> text in the novel <i>The Black Woman</i> by Nikolay Grech. Article 2 | 237 |

JOURNALISM

| | |
|---|-----|
| Dementieva K.V. Media meme and its role in the formation of a multi-ethnic society | 257 |
|---|-----|

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

| | |
|---|-----|
| Gryaznova, V.M. Book Review: Demeshkina, T.A. et al. <i>Portrety rechevykh zhanrov: raznye diskursivnye praktiki</i> [Portraits of speech genres: different discourse practices] | 279 |
| Mikhnovets N.G. A new study on the novel “The Idiot” by F. M. Dostoyevsky. Book Review: Novikova, E.G. “ <i>Nous serons avec le Christ</i> ”. <i>Roman F.M. Dostoevskogo “Idiot”</i> [“Nous serons avec le Christ”. F.M. Dostoevsky’s novel “The Idiot”] | 282 |
| INFORMATION ABOUT THE AUTHORS | 288 |

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.162.1

DOI: 10.17223/19986645/53/1

Н.Е. Ананьева

ОСТРОВНЫЕ ПОЛЬСКИЕ ГОВОРЫ СИБИРИ

*Анализируются особенности двух островных польских говоров в Сибири, которые представляют собой континуацию разных старых племенных польских диалектов: мазурского материнского диалекта (говор деревень Знаменка и Александровка под Абаканом) и малопольского материнского диалекта (говор деревни Вершина под Иркутском). Так, среди фонетических особенностей, различающих эти два типа переселенческих говоров, рассматриваются: функционирование *o* на месте **ā* в вершинском диалекте, слияние *i* и *y* в знаменко-александровском говоре, асинхронный палатальный ряд губных в диалекте Знаменки и др.*

Ключевые слова: польский язык, польские диалекты, островные говоры, языки и диалекты Сибири, фонетика, морфология, лексика.

Проблема островных (т.е. функционирующих в иноязычном окружении, в данном случае русском) польских диалектов на территории сибирского региона включает в себя решение трехчастного комплекса задач типологического характера:

- 1) установление типа (характера) миграционного процесса, результатом которого явилось возникновение на данной территории польского идиома;
- 2) лингвистическое описание самих типов этих говоров;
- 3) выявление закономерностей воздействия на польские говоры русского идиома, выделение результатов этого воздействия.

Данная статья посвящена главным образом решению второй задачи – лингвистическому описанию типов островных польских говоров Сибири. Что касается типа миграции предков носителей современных польских сибирских диалектов, то он един для всех известных в настоящее время польских анклавов в Сибири: миграция, осуществлявшаяся в рамках реализации аграрных реформ П.А. Столыпина, имела *добровольный* и *экономический* характер. Переселение осуществлялось из районов, где у крестьян было мало земли или ее вообще не было, как, например, у утративших работу вследствие кризиса 1905 г. шахтеров Домбровского угольного бассейна, и не было связано с причинами конфессионального характера (в отличие, например, от переселения русских староверов в Польшу и Латвию). Добровольный характер миграции польского населения в Сибирь отличается, например, от принудительного перемещения носителей польских говоров с территории Украины в Казахстан в конце 30-х гг. XX в.

Так, в частности, возникли польские села Озерное и Степное под Кокчетавом (современный Кокчетав).

На сегодняшний день выявлено три типа островных польских диалектов, предки носителей которых переселились из трех разных польских регионов Российской империи, что и обуславливает их лингвистические особенности. Это говоры, относящиеся к северо-восточной разновидности польского периферийного диалекта, который образовался с участием балтийского и восточнославянского элементов (остатки такого диалекта сохранились в д. Белосток под Томском, и, вероятно, судя по отдельным лексемам, такая же разновидность польского языка функционировала некогда в д. Малиновка под Барнаулом). Второй тип представлен польским анклавом в д. Вершина Боханского района Иркутской области: это диалект юго-западного (малопольско-силезского) типа, его носители являются потомками переселенцев с территории исторической Малой Польши (современной Силезии – из района Домбровского угольного бассейна). Третий территориально-лингвистический тип противоположен второму: это диалект северо-восточного типа (мазурский диалект). На нем говорят жители дд. Знаменка и Александровка под Абаканом (Хакасия и Красноярский край), предки которых переселились в Сибирь с территории Мазовии.

Северо-восточная разновидность периферийного диалекта подробно описана в литературе (в монографиях, словарях и т.п.), поэтому мы ограничимся констатацией того факта, что некоторые польские диалекты в Сибири (в частности, белостоцкий) относятся к говорам подобного типа.

Особенности вершинского и знаменско-александровского говоров в последнее время также нашли отражение в ряде публикаций (например, [1–11, 13–19]), а о говоре д. Вершина даже издана монография С. Митренги-Улитиной [12], описывающая главным образом синхронное состояние диалекта.

Нас интересуют в диалектах переселенцев с территории этнографической Польши в первую очередь признаки «материнского» диалекта, которые и позволяют определить генетический тип говора. Диалекты южного и северного типа дают благодатный материал для конфронтативного описания этих черт с опорой на шкалу дифференциальных признаков К. Нитча, которая релевантна для польских диалектов этнической Польши и несущественна для «кресовых» диалектов. Подобное сопоставительное описание двух островных польских диалектов, генетически связанных с диаметрально противоположными «материнскими» ареалами (север и юг этнографической Польши) проводится впервые в польской диалектологии и, таким образом, относится к новому (конфронтативному) направлению в изучении переселенческих польских диалектов. Итак, сопоставим ряд признаков говора Вершины и говора Знаменки-Александровки.

1. В вершинском диалекте представлено *o* на месте **ā*, а также в результате аналогических процессов: *trova* – литер. *trawa* «трава», *cytom* – литер. *czytam* «я читаю», *jo* – литер. *ja* «я», *tyl'e l'ot* – литер. *tyle lat* «столько лет», *copk'i* – литер. *czapki* «шапки», *mo tam syna* – литер. *ma tam syna*

«у нее там сын». В мазурском знаменско-александровском говоре слились континуанты **ǣ* и **ā* в звуке *a*: *ja* = литер. *ja*, *lat* = литер. *lat*, *pomagam* = литер. *romagam* «я помогаю», *gada* = литер. *gada* «болтает» и т.п.

2. В обоих типах (северо-восточном и юго-западном) отмечается *i / u* на месте **ē* и как результат аналогии, а в вершинском диалекте также представлено сужение *e* перед носовым согласным. Примеры: *dop'iro* – литер. *dopiero* «только», *p'in'inzu* – литер. *pieniędzy* (родит. мн.) «денег», *jo n'e v'im* – литер. *ja nie wiem* «я не знаю», *żiń* – литер. *dzień* «день», *xl'ip // xlyp* – литер. *chleb* «хлеб», *ożyn'il se* – литер. *ożenił się* «женился», *tyś* – литер. *też* «также», *tyń* – литер. *ten* «этот» (Вершина); *n'i ma* (// *n'e*) «нет, букв. не имеет», *xl'ip* – литер. *chleb* «хлеб», *jicta* – литер. *jedzcie* «ешьте», *bżidno* – литер. *biednie* «бедно», *špšivać* – литер. *śpiewać* «петь», *kobżyta* – литер. *kobieta* «женщина», *v'ita* – литер. *wiecie* «вы знаете», *ml'iko* – литер. *mleko* «молоко» (Знаменка).

3. Континуант **ō*, а также *o* перед носовым согласным в вершинском диалекте сужаются: *dum* – литер. *dom* «дом», *do dumu* – литер. *do domu* «домой», *f tym dumu* – литер. *w tym domu* «в этом доме», *na kun'ax* – литер. *na koniach* «на лошадах», *po tej strun'e* – литер. *po tej stronie* «по этой стороне», *tumu* – литер. *tamy* «мы имеем, у нас есть» и *tum* «я имею, у меня есть» (в последних двух примерах процесс шел следующим образом: **ā* > *o* > *u* перед носовым согласным; то же отмечается и в других глаголах диалектного *om*-спряжения: *naživum* «надзiewam» и т.п.), *un* – литер. *on* «он», *una* – литер. *ona* «она», *uny* – архаизм *ony* «они», *f tamtym kuńcu* – литер. *w tamtym końcu* «в том конце», *na kuńcu* – литер. *na końcu* «на конце», *kumu zeżył* – литер. *komu uszył* «кому сшил». Отмечается также обычно сужение *o* после заднеязычных и губных согласных: *póxovany* – литер. *pochowany* «похороненный», *vujuvać* – литер. *wojował* «воевал». В знаменско-александровском говоре также фиксируются формы типа *dum* (v *dumu*), *un*, *kótl'ety*, *Pól'acka* «Polaczka» (литер. *Polka* «полька»), *Pól'ak* – литер. *Polak* «поляк», *pomagam* – литер. *romagam* «я помогаю».

4. В обоих типах диалектов представлены суженные континуанты носовых гласных, причем в вершинском диалекте отмечена более высокая степень суженности, а также обычная репрезентация конечного континуанта носового заднего ряда бифонемным сочетанием *-um* (реже *-un* или *-o*).

Примеры из говора Вершины: *pin'in'zy*, *v rynkax* – литер. *w rękach* «в руках», *m'in'k'e* – литер. *miękkie* «мягкие», *fevral'a m'es'unca* – литер. *lutego miesiąca* «февраля месяца», *uny gryzum // gryzun* – литер. *one gryzą* «они кусаются», *pşyv'ezum* – литер. *przywiozą* «привезут», *sum* – литер. *są* «суть, являются», *żimum* – литер. *zimą* «зимой», *kuxarko była* – литер. *kucharką była* «была кухаркой», *gunsk'i nazyvajo* – литер. *gąski* (иное значение) *nazywają* «гусеницы называют».

Примеры из знаменско-александровского диалекта: *m'eşunc* – литер. *miesiąc* «месяц», *żécontko* – литер. *dzieciątko* «ребенок», *skont* – литер. *skąd* «откуда», *robzo* – литер. *robią* «делают», *kraşu* – литер. устар. *kraszą* «красят», *pol'ovajo* – литер. *polewają* «поливают», *beńżeta* – литер. *będzicie*

«будете», *žešeńć* – литер. *dziesięć* «десять», *jenzyk* – литер. *język* «язык», *źencej* – литер. *więcej* «больше», *šv'enta* // *švyn̄ta* – литер. *święta* «праздники», *na m'ins̄o* – литер. *na mięso* «на мясо». На конце слова континуант носового переднего ряда в обоих типах говоров обычно представлен *-e*: вин. п. ед. ч. *trove* – литер. *trawę* «траву», 1 л. ед. ч. презенса *hoze* – литер. *chodzę* «я хожу» (Вершина); вин. п. ед. ч. *pušn'ine* (русизм «пушнина»), *troxe* – литер. *trochę* «немного», *tam šę rožiła ja* – литер. *tam się urodziłam* «я там родилась», *ja pokaze* – литер. *pokażę*, *prose* – литер. *proszę* «я прошу; пожалуйста» (Знаменка).

В вершинском диалекте, с одной стороны, представлено отсутствие ринезма в парадигме будущего времени глагола *być* (*bydę*, *byżeś* – литер. «będę», «będziesz»), а с другой – формы с вторичной (неэтимологической) носовостью типа *jinżoro* – литер. *jeziogo* «озеро», *janGRES* – литер. *agrest* «крыжовник».

5. Если в вершинском диалекте дифференцируются *i* и *y*, то в мазурском знаменско-александровском говоре представлена типичная черта севера Польши: слияние *i* и *y* в одном звуке, который имеет разную степень сужения по идиолектам (*i*, *y'*). *Y* отмечается на месте **ē*. Примеры: *skont vi?* – *skąd wy?* «откуда вы?», *mi* – литер. *my* «мы», *sin* – литер. *syn* «сын», *duzi* – литер. *duży* «большой», *pl'iva* – литер. *pływa* «плавает». Эта особенность влияет на вид флексии 1 л. мн. ч. презенса глаголов ат-спряжения (*-ami*: *sazami* «мы сажаем», *vusazami* «мы высаживаем», *kupami* «мы покупаем», литер. *kuپیjemy*), *zabacami* «мы забываем»).

6. Если в говоре Вершины представлен совпадающий с литературным способ артикуляции палатального ряда губных (синхронная йотовая артикуляция или выделение *j* после губного), то в Знаменке-Александровке фиксируется последняя стадия асинхронного типа произношения, при которой фрикативный призвук или отвердевает, или становится единственным континуантом губного палатального (т.е. губная артикуляция утрачивается). Примеры: *kš'aty* – литер. *kwiaty* «цветы», *kobżyta* – литер. *kobieta* «женщина», *robžo* – литер. *robią* «делают», *Žel'ganoc* – литер. *Wielkanoc* «Пасха», *žadro* – литер. *wiadro* «ведро», *źencej* – литер. *więcej* «больше», *žen'a* – литер. *ziemia* «земля», *pan'entam* – литер. *ramiętam* «я помню», *pšyžezl'i* – литер. *przywzięli* «привезли», *gotožym* (русизм «готовим», литер. *gotujemy*). Эта особенность не только повлияла на звуковой облик слов, но и повлекла за собой морфологические и морфонологические последствия: функционирование флексии дат. п. ед. ч. м. р. *-ožu* (из *-ov'u*) и чередования «губной: š» в парадигме существительных женского рода на *-a*: *Moskva* ~ *Moskše* (ср.: *v Moskše to kupata ml'iko?* «В Москве покупается молоко?»). Отмечена также характерная для мазовецких говоров с асинхронным типом произношения палатального ряда губных форма с парадоксальным отвердением *v* в группе **s'v'*: *švyn̄ta* – литер. *święta*.

7. Если в мазурском знаменско-александровском диалекте представлено полное мазурение, *s*, *z*, *c*, *z* на месте литературных соответствий *sz*, *ź*, *cz*, *dź* (*prose* – литер. *proszę*, *moze* – литер. *może* «может», *duzo* – литер. *dużo* «мно-

го», *ja pokaze* – литер. *pokaze*, *zijo* – литер. *żyją* «живут», *zabacil'i jenzyk* – литер. *zapomnieli język* «забыли язык», в диалектах без мазурения *zabaczyli*, *obacita* – литер. *zobaczycie* «увидите», *vnucka* – литер. *wnuczka* «внучка»), то в вершинском диалекте мазурение зафиксировано только для глухой аффрикаты: *c < cz* (*copka* – литер. *czapka* «шапка», *vnucka* – литер. *wnuczka* и т.д.). Кроме того, в Знаменке отмечается такое явление, как наличие твердых (или полумягких) *ž* и *š* на месте *ż* и *ś* (разновидность сяканья – своеобразное «шаканье»): *šostra* – литер. *siostra* «сестра», русизм *fšo, fše* «всё», «все», *špševajo* – литер. *śpiewają*, *še* – литер. *się* «-ся, -сь», *zaleže* – литер. *zależie* «залезет», *ženi* – литер. *ziemi* «земли». Реже встречается *ž* на месте *ż* (*žešeńć* – литер. *dziesięć* «десять»). Таким образом, несмотря на мазурение, в говоре представлена довольно высокая фреквентность звуков *ž* и *š*: результаты асинхронного типа произношения палатальных губных и «шаканья», на месте **r'*, в заимствованиях (ср. германизм *šurek* «мальчик»).

8. Звонкому типу сандхи вершинского диалекта (в том числе генетически составных форм типа *jezdem* – литер. *jestem* «я есть», *ńuzem* – литер. *nióslem* «я нес») соответствует глухой тип сандхи мазурского говора, совпадающий с типом межсловной фонетики литературного польского языка.

9. Хотя в говоре Знаменки-Александровки мы встречаем отдельные случаи выпадения согласных (ср. *tera* – литер. *teraz* «сейчас»), в вершинском диалекте это явление представлено гораздо шире. Особенно часто оно отмечается для согласного *t*: *xop* – литер. *chłop*, здесь «муж», *sup* – литер. *słup* «столб».

10. Если в вершинском говоре отсутствует чередование *e : o* (*m'etla* – литер. *miotła* «метла», *b'ere* – литер. *biogę* «я беру», *b'erum* – литер. *biogą* «берут», *n'ese* – литер. *niogę* «я несу», *n'esum* – литер. *niogą*, 2 л. ед. ч. императива *b'er!* – литер. *bierz!* «бери!»), то у носителей знаменско-александровского диалекта условия этого чередования даже шире, чем в литературном языке. Альтернант *o* представлен не только перед *t, d, s, z, n, r, ł*, но и перед *k*: *pšoke* – литер. *piekę* «я пеку», *pšeces* – литер. *pieczecz* «ты печешь», *pšece* – литер. *piecze* «печет», *pšeceta* – литер. *pieczecie* «вы печете», *pšoko* – литер. *pieką* «пекут». Ср. также лексически изолированные случаи с *o*, которому соответствует *e* литературного языка (*oblovajo* – литер. *oblewają* «обливают»). С другой стороны, в Знаменке отмечаются отдельные примеры с отсутствием чередования *e : a* (ср. 3 л. ед. ч. *pšujaje* – литер. *przyjedzie* «приедет»).

11. В Знаменке зафиксированы формы с мягким *g* перед континуантом переднего ряда (*mog'e* – литер. *mogę* «я могу») – проявление характерной мазовецкой черты.

12. В говоре Знаменки-Александровки отмечаются типичные мазовецкие формы с сужением *a* в *e* после *j* (*jek* – литер. *jak* «как») и в группе *ar* (*pomer, pomerl'i* – литер. *romał, romałi* «умер, умерли»).

13. Типично северному употреблению числительного *dwa* для всех родов в Знаменке (*dva šostry, dwa domy, dwa gożiny*) соответствует совпада-

ющая с литературным языком вершинская оппозиция *dwa* (м. и ср. р.) ~ *dwie* (ж. р.): *dv'e curk'i*.

14. Наличие специфических морфем.

1) Характерной мазовецкой флексии дат. п. ед. ч. м. р. контаминационного происхождения *-ożu* (*u* из **ǫ*-основ, сегмент *oż* < *ov'* из **ǫ*-основ) в говоре Знаменки-Александровки соответствует совпадающая с литературным языком флексия **ǫ*-основ *-ov'i* (*pastuxovi* «пастуху») в Вершине.

2) Глагольному архаическому показателю итеративности *-iva* (< *owa*) вершинского говора соответствует мазовецкое *-yva* / *-iva* в знаменско-александровском говоре.

3) В знаменском говоре отсутствуют образования с суффиксом *-k* типа *do teraska* «до настоящего времени» (от *teraz* «сейчас»), характерные для говора Вершины.

4) Глагольные окончания презенса и императива в 1 л. мн. ч. и 2 л. мн. ч.

В Вершине в 1 л. мн. ч. представлена во всех типах спряжения флексия *-my* (*mumu* – литер. *namy* «мы имеем, у нас есть», *kipujimy* – литер. *kipujemy* «мы покупаем», *gotov'imy* – литер. *gotujemy* «мы готовим»), а в Знаменке флексии дифференцируются в зависимости от типа спряжения: глаголы, соответствующие глаголам 1-го и 2-го спряжений литературного языка, имеют флексию *-m* (*gotożym* – литер. *gotujemy* «мы готовим», *potujim* – литер. *potujemy* «мы помоем», *vażym* – литер. *warzujemy* – литер. «мы варим», *my šeżim razem* – литер. *razem siedzimy* «мы сидим вместе», *n'e żyjim* – литер. *nie żyjemy* «мы не живем» и т.п.), а глаголы атспряжения (и, вероятно, етспряжения) – флексию *-ami* (*kupami* – литер. *kupujemy* «мы покупаем», *wysazami* – литер. *wysadzamy* «мы высаживаем» и т.д.). Во 2-м л. мн. ч. презенса и императива в Вершине представлена совпадающая с флексией литературного языка морфема *-će*, а в говоре Знаменки – окончание *-ta* (*kupata* – литер. *kupujecie* «вы покупаете», *vita* – литер. *wiecie* «вы знаете», *pśuxoćta* – литер. *przychodźcie* «приходите», *hoćta* – литер. *chodźcie* «идите», *jicta* – литер. *jedźcie* «вы ешьте», *poprubujta* – литер. *poróbujeście* «вы попробуйте» и т.д.).

15. В каждом из сопоставляемых диалектных анклавов сохранились типичные лексемы, восходящие к их «материнским» диалектам, в том числе и заимствованные. Малопольские *xab'ina* «ветка», *gażina* «скот, скотина», *kaj* «где, куда», *k'ej* «когда» (и образованные от них неопределенные наречия *kajś* и *k'ejś*), *tatarka* «гречиха», малопольско-силезские *żoуxa* «девочка, девушка», словакизмы *цохуће* «голубика», *rusy* «тараканы», *modżуń* «лиственница», германизмы *buńk* «внебрачный ребенок» и *fest* «крепко, сильно; быстро», название блюда *pażibroda* «капуста, приготовленная на молоке», *plaxta* «простыня», *gunska* «гусеница» в Вершине. Лексемы *kokos* «петух» (*kokosz*), *prosek* «приглашающий на свадьбу» (*proszek*), *zabacać* «забыть», многочисленные локальные германизмы (*gruska* «бабушка», *gruzek* «дедушка», *şurek* «мальчик», *şrank* «шкаф», *reb'iska* «терка» и *rybak'i* «драники», *brak* «надо» и др.) в говоре Знаменки. Подробнее о германизмах в польских говорах Сибири см. [8].

Третий комплекс проблем связан с воздействием русского языка как в его диалектной, так и в литературной форме. Результатом влияния окружающих русских говоров является, например, функционирование в вершинском диалекте слов *najęvaška* «рубашка», *văxotka* «мочалка», *ćirk'i* «род обуви», восходящей к бурятскому, но пришедшей из русских говоров лексемы *tarasún* «самогон», и др. Заметим, что выявлено три следствия воздействия русского идиома на сибирские польские говоры, которые, по всей видимости, относятся вообще к контактологическим универсалиям:

1) утрата исконной лексемы или словоформы и замена ее иноязычной (в данном случае русской); ср. утрату польских названий месяцев в обоих сопоставляемых диалектах и замену их русскими эквивалентами или утрату под воздействием русского языка личных окончаний в глагольных формах прошедшего времени (*ja pošet* – литер. *poszedłem*, *ty pošli* – литер. *poszliśmy* и т.д.);

2) возрастание числа изофункциональных вариантов, например: *tak* // *da*, *navet* // *daže*, *barzo* // *očeń* и под.;

3) появление гибридных форм, представляющих собой объединение в рамках одной словоформы элементов контактирующих языков, в данном случае русского и польского. Ср. в русизме *otv'eca* «отвечает» представлены польские фонетическая (мазурение) и морфологическая особенности (флексия 3 л. ед. ч. презенса глаголов ам-спряжения *-a*). Подробнее о разных типах гибридных образований в островных польских говорах Сибири см., например, в [2].

Таким образом, исследование лингвистических особенностей двух островных польских говоров, функционирующих в сибирском регионе, показало, что, несмотря на взаимодействие с окружающим русским идиомом (как в его диалектной, так и литературной формах), эти говоры сохраняют основные черты их генетической принадлежности к двум противоположным диалектным массивам этнографической Польши (северному для говора Знаменки и Александровки и южному для говора Вершины). Это относится в полной мере к фонетическим и морфологическим диалектным признакам, а также частично и к лексической подсистеме, в которой наряду с исконными лексемами, восходящими к малопольскому (Вершина) и мазурскому (Знаменка-Александровка) ареалам, отмечаются заимствования, проникшие в эти говоры в период, предшествующий переселению их носителей на территорию Сибири (словакизмы в говоре Вершины, германизмы в говоре Знаменки-Александровки). Завершая наш анализ, подчеркнем, что изучение полоязычных анклавов в Сибири, имеющее значение не только для польской диалектологии, но и для контактологии, нужно осуществлять как можно скорее и интенсивнее, поскольку число этих анклавов уменьшается (ср. судьбу д. Белосток, в которой в настоящее время только одна жительница – М. Маркиш – сохранила родной польский диалект).

Литература

1. Ананьева Н.Е. Морфология глагола в польском говоре деревни Вершина Боханского района Иркутской области // Исследования по славянской диалектологии 16:

Грамматика славянских диалектов. Механизмы эволюции. Утраты и инновации. Историко-типологические явления. М., 2013. С. 203–210.

2. Ананьева Н.Е. Типология польских говоров Сибири и результаты их контактов с русским идиомом // Славянское языкознание: XV Международный съезд славистов, Минск, 2013 г. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 467–478.

3. Ананьева Н.Е. Островной польский диалект // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. М., 2015. Кн. 2. С. 9–18.

4. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. 6. С. 25–60.

5. Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования. Киев, 1979.

6. Гольцекер Ю.П. Из наблюдений над особенностями польского говора села Вершина в Сибири // Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny // Rozprawy Slawistyczne. 4. Lublin, 1989. S. 133–147.

7. Гольцекер Ю.П. Тексты из села Вершина (Иркутская область) // Studia nad polszczyzną kresową. Wrocław, 1991. T. 6. S. 209–212.

8. Пасько Д. Польский островной диалект жителей дер. Вершина в Сибири // Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты. М., 2011. С. 72–80.

9. Плотникова А.А. Славянские островные ареалы: архаика и инновации. М., 2016.

10. Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. Т. 1. С. 40–53.

11. Ananiewa N. Niektóre właściwości gwary wyspowej na Syberii // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. T. 58. Łódź. S. 5–13.

12. Ananiewa N.E. Germanizmy leksykalne w dwóch polskich gwarach wyspowych na Syberii // Gwary dziś. Poznań, 2015. T. 7. S. 169–175.

13. Decyk W. Próba opisu polskiej gwary we wsi Wierszyna // Poradnik Językowy. 1995. Z. 8. S. 20–30.

14. Decyk W. Uwagi o języku społeczności polskiej w Rosji // Język polski poza granicami kraju. Opole, 1997. S. 109–123.

15. Figura L. Historia i teraźniejszość polskiej syberyjskiej wsi // Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii. Kraków, 2003. S. 71–132.

16. Mitrenga-Ulitina S. Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii. Lublin, 2015.

17. Stupiński E. Geneza polszczyzny w okolicy Krasnojarska // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź, 2008. T. 53. S. 207–217.

18. Stupiński E. Wpływy wschodniosłowiańskie na polszczyznę okolic Krasnojarska // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź, 2009. T. 54. S. 197–204.

19. Umińska A. Polskie cechy fonetyczne i leksykalne wsi Wierszyna (Syberia Wschodnia) // Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe. Toruń, 2013. S. 27–42.

THE INSULAR POLISH DIALECTS IN SIBERIA

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 5–14. DOI: 10.17223/19986645/53/1

Nataliya E. Ananieva, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: ananeva.46@mail.ru / slavlang.msu@gmail.com

Keywords: Polish, Polish dialects, insular dialects, languages and dialects of Siberia, phonetic, morphological and lexical features.

In this article, the features of two insular Polish dialects in Siberia are analyzed. The dialects continue old tribal dialects and have different initial systems: the Mazursky mother dialect in the villages Znamenka and Aleksandrovka near Abakhan and the Malopolsky one in the village Verzhina near Irkutsk. The peculiarities of the above mentioned dialects caused by their origin include phonetic, morphological, morphonological, word-building and lexical

ones. For example, typical words (borrowings included) originated from the mother dialects are the following:

- in the dialect of the village Verzhina Lesser Polish *xab'ina* “branch”, *gażina* “cattle”, Slovakisms *rusy* “croaches”, *modżyn* “larch”, Germanisms *buńk* “natural”, *fest* “firmly, fast” and others;

- in the dialect of the village Znamenka Masovets words *kokos* “cock”, *zabacáć* “to forget”, local Germanisms *gruska* “Granny”, *gruzek* “Grandpa”, *brak* “must”, *šurek* “boy”, *rybak'i* “potato pancakes” and others.

Among the phonetic features there are, for example, the following: *o* as the continuation of **ā* in the dialect of the village Verzhina (*jo* – pronoun “I”, *cytom* “I read”) and *a* as the continuation of **ā* and **ǣ* in the dialect of Znamenka (*ja* – pronoun “I”, *pomagam* “I help”); *i* as the continuation of *i* and *y* in the dialect of Znamenka (*sin* “son”) and the functioning of both *i* and *y* in the dialect of the village Verzhina (*syn* “son”); the functioning of *s*, *z*, *c*, *ʒ* instead of *sz*, *ź*, *cz*, *dź* in the dialect of the village Znamenka (*duzo* “many”, *prose* “I beg”, “please”, *capka* “cap”) and the functioning of only *c* instead of *cz* in the dialect of the village Verzhina (*copka* “cap”, but *dužo* “many”), and others.

The article also considers the results of the interaction of the given Polish dialects with the Russian language both in spoken and literary forms. Three consequences of the influence of the Russian language on the Siberian Polish dialects which have a universal character have been pointed out, namely:

1) the loss of the indigenous word or word form and their substitution by another language (in this case the Russian one); for example, the loss of Polish names of the months in the both dialects compared and their substitution by the Russian equivalents, or the loss under the influence of the Russian language of the personal endings in the forms of the Past tense like *ja pošet* – literary “poszedłem”, *my pošl'i* – literary “poszliśmy”, and so on);

2) the increasing number of the isofunctional variations, for example, *navet* // *daže*, *barzo* // *očeń* and the like;

3) the appearance of hybrid forms that combine elements of the contacting languages (in our case the Russian and Polish ones) in the frame of a single word form; for example, in the Russianism *on'veca* “replies”. Polish phonetic (*c* instead of *ć*) and morphological (the third personal singular ending of the Present tense verbs am-conjugation *-a*) peculiarities are represented.

References

1. Anan'eva, N.E. (2013) Morfologiya glagola v pol'skom govore derevni Verzhina Bokhanskogo rayona Irkutskoy oblasti [Morphology of the verb in the Polish dialect of the village Verzhina of the Bokhansky district of Irkutsk Oblast]. In: Kalnyn, L.E. (ed.) *Issledovaniya po slavyanskoy dialektologii* [Studies in Slavic Dialectology]. 16. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN.

2. Anan'eva, N.E. (2013) Tipologiya pol'skikh govorov Sibiri i rezul'taty ikh kontaktov s russkim idiomom [Typology of the Polish dialects of Siberia and the results of their contacts with the Russian idiom]. In: Moldovan, A.M. & Tolstaya, S.M. (eds) *Slavyanskoe yazykoznanie: XV Mezhdunarodnyy s'ezd slavistov, Minsk, 2013 g. Doklady rossiyskoy delegatsii* [Slavic Linguistics: XV International Congress of Slavists, Minsk, 2013 Reports of the Russian delegation]. Moscow: Indrik.

3. Anan'eva, N.E. (2015) Ostrovnoy pol'skiy dialekt [An insular Polish dialect]. In: Neshchimenko, G. P. (ed.) *Aktual'nye etnolyazykovye i etnokul'turnye problemy sovremennosti* [Topical ethnolinguistic and ethnocultural problems of the present time]. Book 2. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur.

4. Weinreich, U. (1972) Odnoyazychie i mnogoyazychie [Mono- and multilingualism]. *Novoe v lingvistike*. 6. pp. 25–60.

5. Weinreich, U. (1979) *Yazykovye kontakty: Sostoyanie i problemy issledovaniya* [Language contacts: The state and problems of the study]. Kiev: Vishcha shkola.
6. Gol'tseker, Yu.P. (1989) Iz nablyudeniya nad osobennostyami pol'skogo govora sela Vershina v Sibiri [From observations of the peculiarities of the Polish dialect of Vershina village in Siberia]. *Rozprawy Slawistyczne*. 4. pp. 133–147.
7. Gol'tseker, Yu.P. (1991) Teksty iz sela Vershina (Irkutskaya oblast') [Texts from the village Vershina (Irkutsk Oblast)]. *Studia nad polszczyzną kresową*. 6. pp. 209–212.
8. Pas'ko, D. (2011) Pol'skiy ostrovnoy dialekt zhiteley der. Vershina v Sibiri [Polish insular dialect of the inhabitants of the village Vershina in Siberia]. In: Volos, M. et al. (eds) *Russko-pol'skie yazykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty* [Russian-Polish language, literary and cultural contacts]. Moscow: Kvadriga.
9. Plotnikova, A.A. (2016) *Slavyanskije ostrovnye arealy: arkhajka i innovatsii* [Slavic territorial areas: the archaic and innovations]. Moscow: Institute of Slavic Studies of RAS.
10. Shcherba, L.V. (1958) *Izbrannye raboty po yazykoznaniju i fonetike* [Selected works on linguistics and phonetics]. Vol. 1. Leningrad: Leningrad State University. pp. 40–53.
11. Ananiewa, N. (2012) Niektóre właściwości gwary wyspowej na Syberii [Some properties of the insular dialect in Siberia]. *Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego*. 58. pp. 5–13.
12. Ananiewa, N.E. (2015) Germanizmy leksykalne w dwóch polskich gwarach wyspowych na Syberii [Lexical Germanisms in two Polish insular dialects in Siberia]. *Gwary dziś*. 7. pp. 169–175.
13. Decyk, W. (1995) Próba opisu polskiej gwary we wsi Wierszyna [An attempt to describe the Polish dialect in the village Vershina]. *Poradnik Językowy*. 8. pp. 20–30.
14. Decyk, W. (1997) Uwagi o języku społeczności polskiej w Rosji [Remarks about the language of the Polish community in Russia]. In: Dubisz, S. (ed.) *Język polski poza granicami kraju* [The Polish language outside the country]. Opole: Uniwersytet Opolski.
15. Figura, L. (2003) Historia i terażniejszość polskiej syberyjskiej wsi [The history and the present of the Polish Siberian village]. In: Nowicka, E. & Głowacka-Grajper, M. (eds) *Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii* [Vershina: from close and distant. Images of a Polish village in Siberia]. Kraków: Nomos.
16. Mitrenga-Ulitina, S. (2015) *Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii* [The Polish language of the inhabitants of the village Vershina in Siberia]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
17. Stupiński, E. (2008) Geneza polszczyzny w okolicy Krasnojarska [Genesis of the Polish language in Krasnoyarsk Krai]. *Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego*. 53. pp. 207–217.
18. Stupiński, E. (2009) Wpływy wschodniosłowiańskie na polszczyznę okolic Krasnojarska [East Slavic influences on the Polish area of Krasnoyarsk Krai]. *Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego*. 54. pp. 197–204.
19. Umińska, A. (2013) Polskie cechy fonetyczne i leksykalne wsi Wierszyna (Syberia Wschodnia) [Polish phonetic and lexical features of the village Vershina (Eastern Siberia)]. In: Nowicka, E. & Głuszkowski, M. (eds) *Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe* [Slavic linguistic and cultural islands]. Toruń: Eikon.

УДК 81-26

DOI: 10.17223/19986645/53/2

С.К. Башиева, М.Ч. Шогенова

**ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВИТАЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ КАБАРДИНСКОГО
И БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКОВ)**

Представлен эмпирический материал, полученный авторами в результате многолетних исследований, выводы и наблюдения, отражающие вопросы функционирования государственных языков современной Кабардино-Балкарии, что позволяет актуализировать юридический и функциональный статус языков, демографическую мощьность и компактность проживания носителей языка, значимость семьи и языковой лояльности членов этнического коллектива как основные факторы жизнеспособности кабардинского и балкарского языков.

Ключевые слова: витальность, жизнеспособность языка, государственный язык, функциональный статус языков, языковая лояльность.

Введение. Функционирование современных языков происходит в контексте динамичного развития общества во всех социальных сферах его жизнедеятельности, в условиях жесткой политической, экономической и культурной конкуренции, активизации адаптации к изменяющимся ценностям и потребностям людей. В последние десятилетия заметно расширены границы коммуникаций, решены многие вопросы территориальной удаленности и ограниченности контакта и сотрудничества, созданы технические возможности для общения в реальном и виртуальном времени. Такие очевидные тенденции, обуславливающие процессы активизации коммуникативной деятельности людей разных национальностей, разного социального и культурного статуса, усиливают значимость общего для них языка, функционирование которого подчинено реализации потребностей людей в передаче информации (коммуникативного аспекта), в их взаимодействии (интерактивный аспект), стремлении к пониманию и познанию друг друга (перцептивный аспект).

Однако функциональное доминирование одного языка неизбежно оказывает влияние на функциональную судьбу другого. В частности, острую проблему представляют современное состояние и перспектива развития языков малочисленных народов, самоидентификация в языке и культуре для которых выступает важнейшим фактом признания принадлежности к определенной этнической группе, средством сохранения и развития собственного этнического мировосприятия и ментальности. В связи с этим актуализируются вопросы исследования витальности современных миноритарных языков как показателя их функциональных возможностей и спо-

способностей сохранить заложенную в языках жизненную энергию, как основы их внутреннего потенциала для развития структурных и функциональных качеств языка.

Витальность (жизненность) языка, без сомнения, детерминирована множеством объективных и субъективных факторов, среди которых к универсальным относят, например, численность этнической группы и количество говорящих на языке этой группы; возрастные группы носителей языка; этнический характер браков; воспитание детей дошкольного возраста; место проживания этноса; социально-общественную форму существования этноса; национальное самосознание; преподавание языка в школе; государственную языковую политику и другие факторы ([1, 2] и др.).

Повышенное внимание к этому вопросу в современном научном сообществе и экстраполяционное прогнозирование судьбы большинства миноритарных языков являются, прежде всего, следствием обеспокоенности лингвистов растущим масштабным ослаблением функций многих языков, тенденциями к сужению сфер их распространения и употребления, что обуславливает постепенную утрату самобытности и уникальности этнокультурного наследия конкретного народа. Так, в отечественных исследованиях не раз выражалась обеспокоенность тем, что процесс масштабного исчезновения языков в современном мире вряд ли удастся остановить [3. С. 333]; «...в группе риска языков, которым потенциально угрожает исчезновение, находится около половины (три тысячи языков); ...необратимый характер этих процессов приводит к тому, что исчезает целый пласт цивилизации со своим мышлением, восприятием мира, представлениями о человеческом развитии и месте человека в мире [4. С. 296]; имеет место «беспрецедентная степень падения и утраты языков», наблюдается «лингвистический геноцид» [5. С. 409] и т.п.

Культурно-языковое многообразие Кабардино-Балкарской Республики, в которой проживают представители более семидесяти этнических групп, не только предопределяет уникальность полиэтнического и многоязычного пространства, но и выдвигает проблемы, связанные с функциональным неравноправием трех государственных языков республики – русского, кабардинского и балкарского – при их одинаковом юридическом статусе. В частности, к основным неотложным вопросам, на наш взгляд, относятся следующие:

- выявление реальных и потенциальных возможностей государственных языков;
- усиление значимости распределения их общественных функций в условиях жизнедеятельности современной Кабардино-Балкарии;
- определение причин активизирующейся тенденции к снижению уровня владения языками среди собственных их носителей;
- поиск гармоничного пути развития языков и культур кабардинского и балкарского народов в координате сложного и противоречивого процесса укрепления статуса российской национальной идентичности.

Цель статьи – определить основные факторы витальности, жизнеспособности кабардинского и балкарского языков, которые на территории Кабардино-Балкарии включены в программу государственной защиты и наделены юридическим статусом государственного языка региона.

Научная новизна обозначенных проблем обусловлена тем, что в статье делается попытка определения основных факторов жизнеспособности кабардинского и балкарского языков как государственных региональных языков Кабардино-Балкарии и проектируется их функциональная судьба в стремительно развивающихся условиях полиэтнического пространства, в котором чаще функционально первым языком выступает язык межнационального общения.

Материалом статьи послужили некоторые положения Закона «О языках народов КБР» (1995 г.), данные Всероссийской переписи населения (2010 г.), результаты и выводы многолетних авторских исследований, посвященных проблемам определения реального статуса и функционирования государственных языков Кабардино-Балкарской Республики [6–10], а также результаты социолингвистического анкетирования, проведенного по поручению экспертно-консультативного совета по сохранению и развитию языков (кабардинского и балкарского) коренных народов КБР при Правительстве КБР Центром социально-политических исследований и кафедрой русского языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета (2014 г.).

В исследовании использованы следующие **методы**: социолингвистическое анкетирование, наблюдение над фактами, описательный и сравнительный анализ, статистический анализ, корреляционный метод.

Обсуждение и результаты.

Государственная поддержка языка как объективный фактор его жизнеспособности. В Кабардино-Балкарии на протяжении последних двух десятилетий проводится относительно планомерная национально-языковая политика, направленная на сохранение и развитие языков народов республики. В соответствии с Законом КБР «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (1995 г.) кабардинский и балкарский языки как языки титульных наций республики наряду с русским имеют статус государственного языка, что означает юридическую закрепленность и поддержку в его использовании во всех коммуникативных сферах жизнедеятельности. Анализ текста Закона подтверждает, что его разработчики учли коммуникативные интересы носителей кабардинского и балкарского языков. Государственная защита является признанием этнического самосознания народа и духовной опорой в стремлении укрепить позиции своего языка, максимально расширить функции и увеличить его жизненные способности.

Однако государственная политика может оказаться бессильной, если, например, язык не готов выполнять те функции, которые на него возлагаются, а функциональный статус республиканских государственных языков не всегда соответствует юридическому статусу, закрепленному в офици-

альном документе. Объем выполняемых функций государственными языками – главное условие реализации основных положений Закона. Так, юридически государственные языки республики могут функционировать в двадцати двух социальных сферах, но кабардинский и балкарский языки в той или иной мере востребованы лишь в семи-восьми коммуникативных сферах. Даже при таком «раскладе» язык может быть доведен до высшей степени развития, если реализовать его возможности в востребованной сфере коммуникации. Наиболее перспективным для максимального использования кабардинского и балкарского языков и расширения их социальных функций, а потому уровня их витальности представляются сфера воспитания и образования, средства массовой информации, духовная культура. Конечно, такое распределение функциональных ролей между государственными языками, может, и противоречит некоторым положениям Закона, однако исследовательский опыт и наблюдения доказывают нецелесообразность, а порой и невозможность экстенсивного расширения сфер функционирования языка и наделение его неоправданной «жизненной силой».

Считаем, что государственная поддержка языка – во многом определяющий фактор в перспективности его развития, однако вопрос должен быть решен в пользу не только юридического равноправия языка, что необходимо, но и функционального статуса, а это в современных условиях реализовать сложнее. Нельзя сегодня принимать крайние меры по сохранению этнических культур и языков, как-то: искусственно «поднять» их статус, «противопоставить» их функционирование и развитие другому (другим) языку (языкам); наделить их «правами и обязанностями», с которыми эти языки могут не справиться, и т.п. В связи с этим разделяем позицию известного российского лингвиста В.М. Алпатова, который заключает, что региональные языки «могут быть юридически равноправны государственному языку, но реального равенства не возникает» [11. С. 14].

Функциональный аспект языка в процессе планирования его развития в полиэтническом пространстве – это практическая проблема, решение которой может зависеть от множества специфичных для каждого языка факторов, из совокупности которых складываются модели функциональных возможностей конкретных языков.

Количество носителей языка и компактность места проживания как объективный фактор жизненности языка. Важным условием витальности языков, как известно, является численность носителей языка при соответствующих благоприятных социальных условиях. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. удельный вес численности населения Кабардино-Балкарской Республики в общей численности населения Российской Федерации составляет 0,60%, а доля численности кабардинцев и балкарцев в общей численности населения КБР – 69,9%, соответственно 57,2 и 12,7%. В конкретных цифрах это 490 453 кабардинцев, 108 577 балкарцев, причем кабардинцы компактно проживают в Зольском, Баксанском, Чегемском, Лескенском, Терском районах, а балкарцы – в Эльбрусском, Черекском, Чегемском районах, что, несомненно, предподре-

деляет преимущественное общение на родных языках. Следовательно, жизненность языка зависит от характера пространства, обуславливающего доминирование одного языка и активность его употребления среди территориально объединенных носителей языка, а потому имеющих общие интересы, общие представления, общее окружение, единую культуру и единый язык, даже если их количество уступает количеству носителей других языков. Однако важно учесть, что этническая самоидентификация и языковая самоидентификация порой не всегда совпадают (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Соотношение этнической и языковой самоидентификации, %

| Языковая самоидентификация | Кабардинцы (этнический показатель) | Балкарцы (этнический показатель) |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Владеют русским языком | 95,2 | 96,1 |
| Владеют кабардинским языком | 97,4 | 0,7 |
| Владеют балкарским языком | 3 | 93,3 |
| Не владеют кабардинским языком | 2,6 | – |
| Не владеют балкарским языком | – | 6,7 |

Как видно, в контексте соотношения этнической и языковой самоидентификации разница составляет среди кабардинцев 2,6%, среди балкарцев – 6,7%, это доказывает, что незнание языка для данной части испытуемых не является действенным фактором определения этничности.

Несмотря на полиэтничный характер республики, ее определенная часть является моноэтническим пространством, в котором компактно проживают представители одной национальности в одном населенном пункте, чаще селе, в то время как в городском пространстве преобладает смешанный тип населения. Но при этом надо подчеркнуть, что знание русского языка представителями титульных наций достаточно высокое. Так, из 516 826 кабардинцев, живущих в России, владеют русским языком 485 362 человека, в том числе из 238 101 человека, проживающего в городе, – 230 679, из 278 725 человек, проживающих в селе, – 254 683; из 112 924 балкарцев владеют русским языком 108 610 человек, в том числе из 52 077 балкарцев, проживающих в городе – 5 1083 человек, из 60 847 балкарцев, проживающих в селе, – 57 527 человек (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Соотношение знания русского языка кабардинцами и балкарцами в контексте город – село (по России), %

| Языковая компетенция | Всего | Город | Село |
|---|-------|-------|-------|
| Владеют русским языком из числа кабардинцев | 93,9 | 96,8 | 91,37 |
| Владеют русским языком из числа балкарцев | 96,1 | 98,09 | 94,5 |

Кроме того, язык адыгов (в том числе и кабардинцев) является языком диаспор в странах Ближнего Востока, Турции, Германии и США, а балкарский язык – языком диаспор в Сирии, Турции, Казахстане, Кыргызстане, США.

Каждый носитель языка способен преумножать его живительный потенциал, укреплять социальный статус языка путем активизации процессов усиления его возможностей в контексте коммуникации, поддерживать его жизнеспособность. Такие «живые» языки, способные к воспроизводству количества их носителей, А.Е. Кибрик относит к «здоровым» языкам [4. С. 67]. «Здоровье» языка – это состояние, которое нуждается в бережном отношении к нему и его поддержке в любых ситуациях, так как в истории языка, его жизни могут произойти независимые от самого языка события, которые способствуют сокращению численности его носителей. Так, массовое переселение в XIX в. горцев Кавказа в страны Ближнего Востока и Турцию, репрессии в 20–40-е гг. XX в., эпидемии и иные факторы, которые представляются более трагичными в сравнении с урбанизацией, низкой рождаемостью и другими причинами, оказали влияние на уровень жизнеспособности кабардинского и балкарского языков.

Конечно, цифры и факты не могут не заставить задуматься о демографической мощности языка, однако каждый язык – ценность, следовательно, определять его судьбу лишь количеством носителей языка нельзя, хотя во многих ситуациях это может быть решающим фактором.

Функциональная подготовленность языка как объективный фактор его жизнеспособности. Функциональная подготовленность любого языка обнаруживается и проявляется в контексте тесной связи внешних и внутренних факторов и во многом зависит от состояния языка, понимаемого нами как специфика разветвленности и развитости его функциональных стилей, формы существования и формы реализации, из совокупности которых складываются лингвистический уровень развития, возможности и ресурсы языка. Компоненты языкового состояния регулируют соотношение функционирования возможностей языка, перспективы его развития и целесообразность использования разных его элементов, начиная от диалектной формы употребления до литературной формы как высшего его проявления.

Несмотря на самостоятельность структурного и функционального аспекта развития языка, без корреляции, без их взаимной связи языку не удастся выполнить предъявляемые ему функции. В частности, компонентами языковой ситуации современной полиэтнической Кабардино-Балкарии являются три генетически не связанных языка – русский, кабардинский и балкарский. В течение небольшого исторического периода развития и функционирования языков титульных народов республики сформированы и развиты художественный, публицистический и разговорный стили как в кабардинском, так и балкарском языках, и сегодня это национальные литературные языки, реализующие свои возможности как в устной, так и в письменной форме. Однако в научном и официально-деловом стилях языков степень развитости терминологической и профессиональной лексики ограничивает их витальность в официальных сферах общества, а реальное

(действенное) функционирование языка предполагает усиление и развитие его жизненных сил и дальнейшее совершенствование.

Еще в 1984 г. В.Ю. Михальченко подчеркивала, что существуют «дифференцированные сферы», которые обладают специфическими функционально-речевыми разновидностями языка, и «аморфные сферы», не способные «управляться» необходимыми функциональными стилями [12. С. 9]. Таким образом, на жизнеспособность языка огромное влияние оказывает его внутренняя структура, внутренние возможности, механизм которого запускается носителями языка на этапе формирования и развития традиций устного народного творчества. В частности, кабардинский и балкарский языки обладают мощным лингвистическим материалом, при помощи которого создана этническая культурная собственность, понимаемая как многослойная, последовательно формирующаяся, внутренне организованная, цельная, культурно обусловленная система ценностей, опирающаяся на поэтапную когнитивную деятельность человека, а потому подчиненная основным историческим ступеням постижения этносом окружающей действительности. Созданное на языке устное народное творчество в его многогранности и разнообразии (устный когнитивный опыт народа), сформированные концептуальные основы нравственно-этического кодекса народа, накопленное классическое духовное наследие как отражение культуры этноса, сохраненное уже в письменных традициях, представляются основными структурообразующими компонентами, из совокупности которых складывается литературный язык как высшая форма его реализации.

Нельзя не учитывать и природу языка. Язык – отражение этнической культуры, ее сосредоточие и сохранность, интеллектуальная и духовная ценность, многовековое творение народа, печать его мысли, взгляда, характера, нравственно-философской линии мышления. Такие гумбольдтовские тезисы, как «душа нации – язык»; «...только язык и способен выразить самые своеобразные и тончайшие черты народного духа и характера и проникнуть в их сокровенные тайны»; «...в языке запечатлен весь национальный характер...» [13. С. 69, 303], сегодня являются основополагающими, исходными в современных изысканиях гуманитарных наук.

Нет сомнений в том, что степень развития функционально-стилистических систем государственных языков Кабардино-Балкарии ограничивает возможности их одинакового реального функционирования в равных социальных сферах. Так, стилевая дифференциация русского языка позволяет ему выполнять монополярную (доминирующую) функцию и покрывать все основные сферы общения в республике; высокая степень развития художественного, разговорного и относительно достаточный уровень развития публицистического стилей кабардинского и балкарского языков создают условия для их реального и потенциального функционирования в сфере образования, средствах массовой информации и сфере бытовых отношений, а недостаточный уровень развития научного стиля и официально-делового чаще ограничивает функционирование кабардинского и балкарского языков в интегрированных сферах социальной коммуникации.

Семья как фактор сохранения и развития языка. Процесс преподавания языка (-ов) в республике осуществляется согласно Закону «О языках народов КБР» (1995 г.) и в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» (в ред. Закона КБР от 17.12.2013 № 83-РЗ), в которых утверждается, что «обучение детей родному языку является долгом родителей». Трудно не согласиться с данной нормой, так как на ранних этапах развития ребенка именно в семье осуществляется передача ему материнского языка, формирование в нем мотивации к сохранению родного языка.

Анализируя неоднозначную языковую ситуацию во Франции, в которой единственным государственным языком является французский, Ф. Эран, А. Филон, К. Депре утверждают: «Находящийся под угрозой или исчезающий язык может вновь отвоевать утраченные позиции, если семья, объединив усилия всех поколений, будет систематически и серьезно поддерживать деятельность школы и иных общественных институтов – и все это при условии позитивного взаимодействия с национальным языком» [14. С. 114]. Однако именно в семье язык может утратить свою жизнеспособность. Не случайно эксперты ЮНЕСКО среди основных критериев определения жизнеспособности языка особо выделяют семью, дифференцируемую в зависимости от значимости, которую она придает статусу языка. В частности, к первой группе относятся семьи, в которых дети не изучают язык дома в качестве родного языка, и именно данный критерий является признаком определения языка *под угрозой исчезновения*.

Особым образом проблема значимости семьи в обеспечении витальности языка актуализируется при массовом естественном билингвизме, формирующемся в условиях полиэтнического пространства. Так, несмотря на высокий уровень верности традициям своего этноса кабардинцы и балкарцы, проживающие в полиэтнической и полилингвальной среде, предпочитают во многих коммуникативных ситуациях общение на русском языке. Результаты опросов, проведенных нами в разные годы, убеждают в том, что степень верности этническому языку в современных кабардинских и балкарских семьях, к сожалению, уменьшается. В частности, в табл. 3 представлены результаты проведенного в 2001 г. исследования, отражающие ответы по пункту «Язык общения в семье».

Таблица 3

Язык общения в семье (2001 г.), %

| Участники опроса | Общение на родном языке | Общение на русском и родном языках | Общение на русском языке |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Кабардинцы | 81,1 | 8,1 | 10,8 |
| Балкарцы | 77,8 | 11,1 | 11,1 |

А при социолингвистическом опросе, проведенном в 2014 г. среди учащихся 10–11 классов школ республики, выявилась тенденция к активизации общения на родном (кабардинском или балкарском) языке и русском

языке попеременно, что снижает степень приверженности семьи к родному языку (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

Язык общения в семье (2014 г.), %

| Участники опроса | Общение на родном языке | Общение на русском и родном языках | Общение на русском языке |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Кабардинцы и балкарцы | 31,47 | 57,08 | 10,46 |

Как выяснилось, каждый десятый респондент из 3 241 опрошенного находится в зоне языкового сдвига. Такая тенденция поддерживается, как это ни парадоксально, именно в семье, а между тем приведенные цифры свидетельствуют о том, что роль семьи в формировании готовности говорить на родном языке значима, так как именно родители обладают большими возможностями в социализации ребенка, в развитии его языковой картины мира. Считаем необходимым подчеркнуть и то, что причин низкой степени приверженности к родному языку несколько. В частности, это слабое или недостаточное владение родным языком родителями, отсутствие у них мотивации к использованию родного языка в общении с ребенком. Так, ранее в работе [15. С. 128] были выведены факторы, детерминирующие низкую степень лояльности кабардинцев и балкарцев к родному языку (табл. 5).

Т а б л и ц а 5

Факторы, детерминирующие низкую степень лояльности кабардинцев и балкарцев, %

| Факторы | Кабардинцы | Балкарцы |
|--|------------|----------|
| Родители не владеют родным языком | 8,4 | 5,5 |
| Родители понимают, но не говорят на родном языке | 24,6 | 23,0 |
| Нежелание знать родной язык | 6,2 | 9,9 |
| Отсутствие необходимости в знании родного языка | 4,8 | 2,0 |
| Непрестижность родного языка | 41,9 | 39,0 |
| Плохое преподавание родного языка в школе | 14,1 | 21,1 |

По мнению Х.-Ю. Зассе, естественная передача материнского языка детерминируется, как правило, социально-политическими и социально-психологическими факторами. Отказ от него нередко происходит при негативном отношении носителей к родному языку, сомнении в его полезности, т.е. низкой языковой лояльности, и т.д. И этот процесс со временем приобретает неконтролируемый характер. «Любой случай языковой смерти, – пишет Х.-Ю. Зассе, – включен в двуязычную ситуацию; из двух языков один умирает, а другой продолжает существовать», т.е. происходит «сдвиг основного языка» [1. С. 441]. В контексте нашего исследования видно, что 24,6% представителей кабардинской национальности и 23,0% представителей балкарской национальности понимают, но не говорят на

родном языке, что обуславливает процесс смены языка и снижение уровня лояльности к нему. Со ссылкой на своих предшественников Дж. Фишман отмечает, что мультилингвальность развивается по-разному в зависимости от ситуации: с одной стороны, она «часто начинается в семье и зависит от ее поддержки, если нет защиты», с другой – «отступает в область семьи после вытеснения из других областей, в которых она встречалась ранее». При этом статус языка внутри семьи зависит от иерархических отношений между членами семьи и прислугой, гувернанткой, учителем и т.д. как слушателей и говорящих, т.е. проводит разграничение между «мультилингвальным пониманием и мультилингвальным продуцированием» [16. С. 67], следовательно, уникальность семьи в языковых отношениях состоит в дифференцируемости ее членов в распределении ролей.

Таким образом, проблема жизнеспособности языка детерминирована сферой семейного общения и воспитания, ибо стратегия его передачи находится в компетенции родителей.

Знание языка собственными носителями и их заинтересованность в развитии языка как условие его жизнеспособности. Языковая образовательная политика – мощная система корректировки и планирования использования языка и развития его жизненных способностей и возможностей. Современная сфера языкового образования и воспитания чаще направлена на реализацию основных положений законов о языках, среди которых актуализируются вопросы изучения государственных языков в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждениях, а также выбор языка обучения (воспитания) на начальном этапе образования. Несмотря на то, что еще в 90-е гг. XX в. в образовательной системе республики была проведена большая комплексная работа, нацеленная на усиление функциональной мощности кабардинского и балкарского языков, сегодня многие проблемы изучения государственных языков в системе образования, а потому и компетенции учащихся в понимании и знании родного языка все еще остаются актуальными.

Анализ результатов социолингвистического исследования в образовательных учреждениях республики, в которых представлена оценка учителей, воспитателей уровня владения 20 362 детей от трех до семнадцати лет, в том числе 5 689 воспитанников дошкольных образовательных учреждений (4 982 человек кабардинской национальности и 707 – балкарской), 14 663 учащихся школ г. Нальчика (11 541 учащихся кабардинской национальности и 3 122 – балкарской), показал, что определенная часть детей находится в зоне языкового сдвига [15]. Наглядно данная информация представлена в виде таблиц (табл. 6–8).

Как видно, одноязычные кабардинцы и балкарцы в возрасте от 3 до 7 лет не встраиваются в шкалу этнической идентичности в корреляции с языком, поскольку языком общения для них является русский язык. Полученные в процессе исследования результаты позволяют утверждать, что «родной язык» для каждого десятого респондента является всего лишь маркером этнической идентичности, что в системе шестибальной шкалы

степени владения родным языком, принятой в социолингвистике, знание испытуемыми родного языка находится в пятой и шестой категориях, соответственно «5 – понимает общий смысл сказанного, говорить не может совершенно»; «6 – не знает языка». Вместе с тем обе группы находятся в зоне смены языка. В этой ситуации представляется актуальным усиление в дошкольных образовательных учреждениях процесса языкового воспитания, так как анализ данных по другим группам – средней, старшей, подготовительной – показывает, что процент детей в детских садах, не владеющих языком, не имеет тенденции к снижению.

Т а б л и ц а 6

Степень владения родным языком в дошкольных образовательных учреждениях, %

| Языковая компетенция | Кабардинцы | Балкарцы |
|-------------------------------------|------------|----------|
| Понимают родную речь, но не говорят | 13,7 | 14,00 |
| Совсем не владеют родным языком | 5,8 | 7,78 |

Т а б л и ц а 7

Степень владения родным языком в начальной школе, %

| Языковая компетенция | Кабардинцы | Балкарцы |
|-------------------------------------|------------|----------|
| Понимают родную речь, но не говорят | 5,5 | 6,3 |
| Совсем не владеют родным языком | 4,2 | 5,2 |

Т а б л и ц а 8

Степень владения родным языком среди старшеклассников (10–11-е классы), %

| Степень владения родным языком | Понимают звучащую родную речь | Говорят на родном языке | Пишут на родном языке | Совсем не понимают | Совсем не пишут |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Отлично | 49,71 | 47,67 | 33,79 | | |
| Хорошо | 34,03 | 31,38 | 37,21 | | |
| Удовлетворительно | 10,74 | 10,27 | 13,98 | | |
| Плохо | 4,41 | 5,4 | 7,47 | | |
| | | | | 1,97 | 5,46 |

Анализ результатов исследования выявляет, что 21,24% детей, обучающихся в начальной школе городского округа Нальчика, находятся в зоне языкового сдвига; из 1 823 опрошенных учащихся в среднем каждый восьмой учащийся, что составляет 8,73% всех респондентов, не владеет родным языком, каждый третий – 3,0% – понимает, но не говорит на родном языке.

Данные анализа помогли получить корреляцию между параметрами «понимают, но не говорят и совсем не владеют языком» и «язык общения в семье», что составило 10,0 и 10,46% соответственно. В данном случае уместно вспомнить слова Дж. Фишмана, который утверждал: «Для целей освещения алгоритмов выбора языка в мультилингвальных средах пред-

ставляется уместным установить различие как минимум между следующими источниками расхождения: 1) расхождение средств (письмо, чтение и говорение); 2) расхождение ролей; 3) расхождение ситуаций; 4) расхождение областей» [16]. Если рассмотреть первый тип расхождений, то, по его мнению, как степень верности родному языку, так и степень его вытеснения могут быть очень разными в письме, чтении и говорении. Если умение читать и писать было приобретено до взаимодействия с «другим языком», то использование родного языка при чтении и письме может дольше противостоять вытеснению, чем его устное употребление. Если грамотность была приобретена после (или в результате) такого взаимодействия, то чаще имеет место противоположная ситуация.

Перспективы развития или причины исчезновения конкретного языка – конкретные вопросы и проблемы, которые определяют и решают, прежде всего, его носители, те, кто регламентирует общение на этом языке. Именно их забота о сохранении языка, желание развивать язык и создавать на нем культурные ценности, стремление к реализации его жизненных способностей и возможностей являются весомым фактором в функциональной судьбе языка, его витальности. В частности, результаты такого опроса представлены в табл. 9.

Важными представляются мнения респондентов, отражающие причины исчезновения родного языка. Среди основных были отмечены «нежелание родителей учить своих детей родному языку», «качество преподавания родного языка в системе образования» и «низкая рождаемость», т.е. численность носителей языка (табл. 10).

Таблица 9

Перспективы жизненности (витальности) кабардинского и балкарского языков в представлении их носителей, %

| Ответы | Кабардинцы | Балкарцы |
|---|------------|----------|
| Необходимо изучение языка и чтение книг на родном языке | 69,17 | 73,33 |
| Регулярно, системно смотреть телепередачи и слушать радиопередачи | 42,5 | 26,67 |
| Усилить государственную поддержку | 15,0 | 6,67 |
| Усилить развитие языка в системе образования | 20,0 | 13,3 |

Таблица 10

Некоторые причины исчезновения языка в представлении его носителей, %

| Ответы | Кабардинцы | Балкарцы |
|---|------------|----------|
| Нежелание родителей учить своих детей родному языку | 33,22 | 40,83 |
| Качество преподавания родного языка в системе образования | 30,74 | 34,17 |
| Низкая рождаемость | 2,12 | 12,5 |

Обобщая вышеизложенное, заключаем, что путь развития каждого языка, как и история каждого этноса, индивидуален, а потому условия, тен-

денции и факторы развития, особенности функционирования конкретного языка специфичны и не могут быть сведены к общему знаменателю. Язык не должен терять своей актуальности ни при каких условиях, не должны слабеть его жизненные силы, он не должен исчезать или вымирать лишь потому, что сегодня не выполняет какой-то функции, с которой другой язык справляется лучше. Несомненно, предугадать будущее того или иного языка порой сложно, но очевидными и вполне закономерными являются многие факторы, которые предопределяют уязвимость одних языков и доминирование других. Язык – это культурное наследие, сохранность и развитие которого не должны исчисляться только цифрами и теоретическими выкладками, ибо язык – живой организм, а его жизнь бесценна.

Выводы

- Витальность, жизненность кабардинского и балкарского языков представляется одной из их приоритетных современных характеристик и понимается как их функциональный статус, детерминирующий возможности развития как лингвистических признаков, так и социальных функций рассматриваемых языков.

- В языковом и культурном многообразии Кабардино-Балкарии проблемы витальности языка требуют системного осмысления и решения в контексте их реальных и потенциальных возможностей с учетом трансформационных, глобализационных и интеграционных процессов в стремительно развивающемся информационном полиэтническом обществе.

- Основные факторы витальности современных кабардинского и балкарского языков:

- государственная поддержка развития языков: кабардинский и балкарский языки юридически наделены статусом государственного языка;

- численность носителей языков: количество носителей кабардинского и балкарского языков достаточно высокое – важно сохранить и преумножить эти показатели как действенный фактор жизненности языка;

- компактность проживания представителей одной этнической группы с одним этническим языком: несмотря на полиэтничный характер республики, определенная часть кабардинцев и балкарцев проживает в условиях моноэтнического пространства, что обуславливает активизацию процесса общения на родном языке, а потому детерминирует возможность повышения уровня витальности кабардинского и балкарского языков;

- функционирование современных миноритарных языков в тех сферах, где они действительно востребованы: функционально-стилевая подготовленность кабардинского и балкарского языков предопределяет актуализацию их популяризации в сферах образования, культуры, коммуникации и информации;

- использование этнического языка в качестве приоритетного языка общения в семье: в современных кабардинских и балкарских семьях, проживающих преимущественно в условиях полиэтнического пространства, наблюдается тенденция к общению либо на русском и родном (кабардин-

ском/балкарском) языках попеременно, либо только на русском языке, что снижает уровень витальности языков титульных народов республики;

– образовательная система как самая организованная и массовая сфера, в которой возможно повышение уровня витальности языка и усиление его функциональной мощности: кабардинский и балкарский языки функционируют на всех этапах воспитания и обучения в образовательной системе республики; языком обучения на всех этапах образования выступает русский язык – и это оправданно особенно в условиях стремительно развивающегося информационного и интеграционного полиэтнического общества; однако необходимо повысить уровень языкового воспитания и уровень изучения кабардинского и балкарского языков, на которых создана богатейшая духовная этническая культура и литература коренных народов республики;

– социально-исторические факты в судьбе народа (например, процессы миграции, урбанизации, снижение уровня рождаемости и т.д.), в судьбе языка: на функциональное развитие кабардинского и балкарского языков, на непрерывность их развития заметное влияние оказало массовое переселение в XIX в. горцев Кавказа в страны Ближнего Востока и Турцию, репрессии в 20–40-е гг. XX в., эпидемии, которые на определенном историческом этапе прервали перспективный путь развития языков и снизили уровень их витальности;

– осознание носителями языка значимости этнической и языковой самоидентификации: несмотря на высокий уровень верности кабардинцев и балкарцев традициям и культуре своего этноса, среди некоторой части представителей народов отмечается недостаточный мотивационный уровень в потребности знания и изучения родного (кабардинского/балкарского) языка.

Литература

1. *Засе Х.-Ю.* Теория языковой смерти // Социолингвистика и социология языка : хрестоматия [пер. с англ.] / отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2012. С. 433–458.
2. *Буряк Н.Ю.* Проблемы исчезновения национальных языков и культур // Инновационная наука. 2015. № 11. С. 296–298.
3. *Хилханова Э.В.* Факторы языкового сдвига и сохранения миноритарных языков: дискурсивный и социолингвистический анализ (на материале языковой ситуации в этнической Бурятии) : дис. ... д-ра филол. наук. Улан-Удэ, 2009. 344 с.
4. *Кибрик А.Е.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М. : Изд-во МГУ, 1992. 336 с.
5. *Агранат Т. Б.* Миноритарные языки и письменность в эпоху глобализации // Языковая политика и языковые конфликты в современном мире. М., 2014. С. 403–409.
6. *Башиева С.К., Балова И.М., Будаева Л.А., Теуникова М.Ч.* Русский язык в системе образования Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик : Каб.-Балк. ун-т, 2001. 25 с.
7. *Теуникова М.Ч.* Современные этноязыковые процессы в Кабардино-Балкарской Республике: факторы и тенденции их развития : дис... канд. филол. наук. Нальчик, 2002. 185 с.
8. *Башиева С.К., Балова И.М., Будаева Л.А., Шогенова М.Ч.* Проблемы функционирования государственных языков в полиэтническом регионе (на примере Кабардино-Балкарской Республики). Нальчик : Каб.-Балк. ун-т, 2006. 190 с.

9. Башиева С.К., Будаева Л.А., Шогенова М.Ч. Особенности функционирования СМИ в КБР (результаты социолингвистического опроса студенческой молодежи) // Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия Филология. 2006. № 8. С. 7–12.

10. Башиева С.К., Улаков М.З., Шогенова М.Ч. Функциональное развитие миноритарных языков в контексте глобализации (на материале Кабардино-Балкарской Республики) // Известия Кабардино-Балкарского центра РАН. 2014. № 2 (58). С. 175–183.

11. Алтагов В.М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двужызычная» практики и проблема языковой ассимиляции // Comparative politics. 2013. № 2 (12). С. 11–22.

12. Михальченко В.Ю. Развитие литовского языка и литовско-русского двуязычия (социолингвистический аспект) : дис. ... д-ра филол. наук. М., 1984. 370 с.

13. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс, 1984. 398 с.

14. Эран Ф., Филон А., Денре К. Динамика языковой ситуации во Франции в XX в. // Этнографическое обозрение. 2004. № 4. С. 114–119.

15. Башиева С.К., Улаков М.З., Хамдохова Ж.М. Языковая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике: состояние и проблемы. Нальчик : КБНЦ РАН, 2016. 172 с.

16. Фишман Дж. Кто говорит на каком языке, где и когда? // Социолингвистика и социология языка : хрестоматия [пер. с англ.] / отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2012. С. 63–83.

THE MAIN FACTORS OF REPUBLICAN STATE LANGUAGES VITALITY (ON THE MATERIAL OF KABARDIAN AND BALKAR LANGUAGES)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 15–31. DOI: 10.17223/19986645/53/2

Svetlana K. Bashieva, Marina Ch. Shogenova, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov (Nalchik, Russian Federation). E-mail: bfo-pdo@mail.ru / shogmarina@yandex.ru

Keywords: vitality, language viability, state language, functional status of languages, language loyalty.

The article is devoted to some problems of the situation and prospects of state languages development, the vitality of which is one of the topical issues in the modern scientific community.

The main aim of the study is to determine the functional and potential status of the Kabardian and the Balkar languages as the languages of the titular peoples of the multi-ethnic and multilingual Kabardino-Balkaria, in which these languages along with Russian are endowed with the legal status of the state language of the region. On the material of the conclusions and observations made after many years of authorial research on the functioning of the state languages of the republic, the problems of the real and potential capabilities of the state languages, the significance of their public functions distribution, the causes of the increasing tendency to reduce the level of language proficiency among their own speakers, the search of a harmonious way to develop the languages and cultures of Kabardian and Balkar peoples in the context of the Russian national identity consolidation process are actualized, etc.

The article presents comparative empirical material that allows considering issues of state support of the language and its functional potential, demographic power and compactness of native speakers, the importance of the family and linguistic loyalty of members of the ethnic community in its development as indicators of the viability of the Kabardian and the Balkar languages. The revealed tendencies of the development of modern state languages of the titular peoples of the republic give grounds to conclude that the vitality of languages in the multi-ethnic Kabardino-Balkaria is determined by a number of factors that exert a powerful influence on their actual functioning and development prospects. It is emphasized that the state protection of languages, the number of speakers, the compactness of the residence of repre-

sentatives of one ethnic group with one ethnic language are external indicators of the vitality of the Kabardian and the Balkar languages on the territory of the republic; and the internal factors of their vitality are due, first of all, to the functional-style preparedness of the Kabardian and the Balkar languages and the awareness of the importance of ethnic and linguistic self-identification by the speakers of the languages, which is motivated by their desire and interest to enhance the popularization of the language in areas where they are really in demand. In particular, it is asserted that the viability of the language is determined by the sphere of family communication and upbringing, and the strategy of its transfer is within the competence of the parents; therefore, it is very important to use the ethnic language as a priority language of communication in the family. The knowledge of the language by native speakers is a necessary condition for its development; in this respect, the education system is understood as a means of linguistic education and a lever for raising the level of knowledge of the Kabardian and the Balkar languages by which the richest spiritual ethnic culture and literature of the indigenous peoples of the republic are created.

However, general and private conclusions of the work allow the authors to conclude that in the language and cultural diversity of Kabardino-Balkaria, the problems of language vitality are associated not only with their functional capacity and future development, but also with modern processes of globalization and integration in a rapidly developing information multi-ethnic society, functionally the first language is the Russian language as the language of inter-ethnic communication.

References

1. Sasse, H.-J. (2012) *Teoriya yazykovoy smerti* [Theory of language death]. In: Vakhtin, N.B. (ed.) *Sotsiolingvistika i sotsiologiya yazyka: khrestomatiya* [Sociolinguistics and sociology of language: anthology]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
2. Buryak, N.Yu. (2015) *Problemy ischeznoveniya natsional'nykh yazykov i kul'tur* [The problems of the disappearance of national languages and cultures]. *Innovatsionnaya nauka*. 11. pp. 296–298.
3. Khilkhanova, E.V. (2009) *Faktory yazykovogo sdviga i sokhraneniya minoritarnykh yazykov: diskursivnyy i sotsiolingvisticheskiy analiz (na materiale yazykovoy situatsii v etnicheskoy Buryatii)* [Factors of language shift and preservation of minority languages: discursive and sociolinguistic analysis (on the basis of the language situation in ethnic Buryatia)]. Philology Dr. Diss. Ulan-Ude.
4. Kibrik, A.E. (1992) *Ocherki po obshchim i prikladnym voprosam yazykoznaniya (universal'noe, tipovoe i spetsifichnoe v yazyke)* [Essays on general and applied questions of linguistics (the universal, the typical and the specific in language)]. Moscow: Moscow State University.
5. Agranat, T.B. (2014) [Minority languages and writing in the era of globalization]. *Yazykovaya politika i yazykovye konflikty v sovremennom mire* [Language policy and language conflicts in the modern world]. Proceedings of the international conference. Moscow: Tezaurus. pp. 403–409. (In Russian).
6. Bashieva, S.K., Balova, I.M., Budaeva, L.A. & Teunikova, M.Ch. (2001) *Russkiy yazyk v sisteme obrazovaniya Kabardino-Balkarskoy Respubliki* [The Russian language in the education system of the Kabardino-Balkar Republic]. Nalchik: Kabardino-Balkarian State University.
7. Teunikova, M.Ch. (2002) *Sovremennye etnoyazykovye protsessy v Kabardino-Balkarskoy Respublike: faktory i tendentsii ikh razvitiya* [Modern ethno-linguistic processes in the Kabardino-Balkar Republic: factors and trends in their development]. Philology Cand. Diss. Nalchik.
8. Bashieva, S.K., Balova, I.M., Budaeva, L.A. & Shogenova, M.Ch. (2006) *Problemy funktsionirovaniya gosudarstvennykh yazykov v polietnicheskom regione (na primere Kabardino-Balkarskoy Respubliki)* [Problems of the functioning of state languages in a multi-ethnic region (on the example of the Kabardino-Balkar Republic)]. Nalchik: Kabardino-Balkarian State University.

9. Bashieva, S.K., Budaeva, L.A. & Shogenova, M.Ch. (2006) Osobennosti funktsionirovaniya SMI V KBR (rezul'taty sotsiolingvisticheskogo oprosa studencheskoy molodezhi) [Features of the functioning of the media in the KBR (the results of a sociolinguistic survey of student youth)]. *Vestnik Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Filologiya*. 8. pp. 7–12.

10. Bashieva, S.K., Ulakov, M.Z. & Shogenova, M.Ch. (2014) Funktsional'noe razvitie minoritarnykh yazykov v kontekste globalizatsii (na materiale Kabardino-Balkarskoy Respubliki) [Functional development of minority languages in the context of globalization (based on the material of the Kabardino-Balkar Republic)]. *Izvestiya Kabardino-Balkarskogo tsentra RAN*. 2 (58). pp. 175–183.

11. Alpatov, V.M. (2013) Language policy in the contemporary world: monolingualism and bilingualism practice and language assimilation. *Sravnitel'naya politika – Comparative Politics Russia*. 2 (12). pp. 11–22. (In Russian).

12. Mikhal'chenko, V.Yu. (1984) *Razvitie litovskogo yazyka i litovsko-russkogo dvuyazychiya (sotsiolingvisticheskiy aspekt)* [Development of the Lithuanian language and Lithuanian-Russian bilingualism (sociolinguistic aspect)]. Philology Dr. Diss. Moscow.

13. Humboldt, W. von. (1984) *Izbrannye trudy po yazykoznaniiya* [Selected works on linguistics]. Translated from German. Moscow: Progress.

14. Heran, F., Filhon, A. & Deprez, C. (2004) The dynamics of the language situation in twentieth-century France. Translated from French by E.I. Filippova. *Etnograficheskoe obozrenie*. 4. pp. 114–119. (In Russian).

15. Bashieva, S.K., Ulakov, M.Z. & Khamdokhova, Zh.M. (2016) *Yazykovaya situatsiya v Kabardino-Balkarskoy Respublike: sostoyanie i problemy* [The language situation in the Kabardino-Balkar Republic: state and problems]. Nalchik: KBRAS RAS.

16. Fishman, J. (2012) Kto govorit na kakom yazyke, gde i kogda? [Who speaks the language, where and when?]. In: Vakhtin, N.B. (ed.) *Sotsiolingvistika i sotsiologiya yazyka: khrestomatiya* [Sociolinguistics and sociology of language: anthology]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.

УДК [81`36+81`37+81`42] = 112.2
DOI: 10.17223/19986645/53/3

Е.В. Боднарук

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА ЕГО ЭКСПЛИКАЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Изучаются глагольные средства выражения будущего времени: устанавливается количественное соотношение языковых единиц грамматического и лексико-грамматического характера, служащих экспликации будущего в прямой речи немецкоязычного художественного и публицистического дискурса; определяются типы будущего времени, различающиеся в зависимости от того, какой компонент семантики – модальный (волитивный или эпистемический) и /или эвиденциальный – соединяется с темпоральным при использовании языковой единицы в речи.

Ключевые слова: будущее время, индикатив, конъюнктив, императив, модальные глаголы, типология, темпоральность, волитивность, эпистемичность, эвиденциальность.

Известно, что наряду с настоящим и прошлым *будущее* формирует понятийную категорию *времени*. Временные значения свойственны языковым единицам, относящимся к разным частям речи, но глаголу они, пожалуй, в большинстве языков присущи ингерентно (ср. нем. обозначение глагола «Zeitwort» = «слово с временным значением»). В немецком языке, как и во многих других языках мира, есть грамматические формы, служащие экспликации будущего времени, обозначающие «действие (процесс), предстоящее, последующее по отношению к моменту речи» [1. С. 68] или по отношению к другому моменту, мысленно приравниваемому к моменту речи [2. С. 77].

Нефактуальность будущего, которое всегда еще только *предстоит*, не являясь частью нашей действительности, и, следовательно, не может быть верифицировано в момент речи, существенным образом отличает его от других конституентов темпоральной триады – настоящего и прошлого. Онтологические и гносеологические свойства будущего обуславливают ряд особенностей в становлении и функционировании форм с соответствующей семантикой. Сама потребность в граммемах будущего времени в языке связана с развитием абстрактного мышления и осознанием линейного характера времени [3. С. 9]. Настоящее и прошлое, являясь более осязаемыми и конкретными, в большинстве языков начинают выражаться грамматически раньше будущего времени ([2] и др.), поскольку будущее время первоначально сопричастно настоящему и не осознается человеком как особая семантическая сущность ([4. С. 132] и др.). Данное наблюдение подтверждается тем, что значение будущего времени, разобщенного с

настоящим, позже усваивается в онтогенезе, чем другие временные отношения [5. С. 88–89].

Грамматическое будущее, указывая на то, чего еще нет, как бы балансирует между *реальностью* и *ирреальностью* и, соответственно, между *темпоральностью* и *модальностью*. Формальная принадлежность форм будущего времени во многих языках, в том числе и в немецком, к индикативу [6. С. 92] лишь очень условно согласуется с его онтологическим статусом. В этой связи может возникать ощущение колебания модально-темпорального баланса в формах будущего времени, особенно если язык располагает несколькими такими формами. Поэтому некоторые исследователи-темпорологи склонны «делить» формы будущего времени на «чисто модальные» и «чисто временные» [Там же].

Связь модального и темпорального компонентов значения в формах будущего времени отмечается, пожалуй, в большинстве работ по данной теме (см. [7. С. 24; 8. С. 243; 9. С. 53] и мн. др.). Ряд исследователей склоняются к преимущественно модальному, а не темпоральному статусу футуральных форм. На этом основании они могут исключаться из системы времен и квалифицироваться, к примеру, как лексико-грамматические структуры с модальным глаголом. Такая тенденция наблюдается сегодня в немецком языке, в котором формы будущего времени – футур I и футур II – все чаще признаются модальными структурами (по аналогии с конструкциями типа *sollen + инфинитив*, *wollen + инфинитив* и др.) [10. С. 206; 11. С. 234]. Собственно темпоральной объявляется в этом случае обычно форма *презенса*, часто используемая в немецком языке в значении будущего [12. С. 88].

Впрочем, единства во мнениях относительно темпорально-модального статуса грамматических форм будущего времени в немецком языке сегодня нет. Наряду с так называемыми «модалистами» – сторонниками модального характера футурума – имеется и группа так называемых «темпоралистов», считающих футурум (обычно речь идет о футуре I) собственно темпоральной формой. То, что любое будущее модально, следует, с их точки зрения, рассматривать как импликатуру, но не как значение футура I [13. С. 366; 14. С. 114]. Наконец, в ряде исследований модальными считаются лишь часть случаев употребления форм футурума I ([12. С. 84; 15. С. 288–289; 16. С. 70] и др.).

Анализ обширной литературы по темпорологии склоняет нас к мысли о том, что противоречивость в описании семантического статуса футуральных форм связана с отсутствием комплексного подхода к исследованию. Полагаем, что, лишь сравнив равноуровневые средства выражения будущего, можно сделать вывод об их семантике. Комплексное исследование, учитывающее как лингвистические, так и внелингвистические особенности употребления и взаимодействия языковых единиц в речи, позволяет не только проникнуть в суть их семантики, но и выявить сущностные черты будущего времени как языкового феномена. Ниже представлены результаты такого исследования.

Рассмотрение языковых средств экспликации будущего времени целесообразно начинать с анализа собственно грамматических единиц. В немецких грамматиках есть упоминание о двух таких единицах, основным значением которых является выражение будущего: а) о форме футура I, которую можно рассматривать как форму *будущего* как такового; б) о форме футура II, использующегося для выражения *предбудущего* или будущего действия / события, предшествующего другому действию / событию в будущем. Ср.:

Er wird heute Abend kommen – футур I

Nachdem er gekommen sein wird, werden wir Tee trinken – футур II

Вместе с тем немецкий темпоролог Б. Ротштайн обнаружил в чатах, в блогах, а также в языке спортивных комментаторов спорадическое употребление форм, которые он назвал формами *двойного футура*. Например: Das wird so peinlich werden, dass sich Wintner noch in 10 Jahren dafür schämen werden wird! [17. С. 116]. Б. Ротштайн отмечает наличие семантической близости между формами типа (*sie*) *werden husten werden* и формами футура I (*wird husten*). Отличие двойного футура от футура I видится исследователю в значении «послебудущее», которое особенно четко прослеживается именно у двойного футура. Полагаем, что на данном этапе развития немецкого языка формы двойного футура можно рассматривать лишь как грамматические окказионализмы, а их вхождение в систему временных форм немецкого языка пока может угадываться только в самых общих чертах. Однако возможность образования и использования в речи подобных форм свидетельствует, с одной стороны, об усиливающейся тенденции к аналитизму, а с другой – о значимости и устойчивости футуральных форм в составе немецкой временной системы. Более того, если бы *двойной футур I* стал со временем частью немецкой темпоральной системы, можно было бы говорить о становлении своего рода *идеальной* системы форм будущего времени, с тремя семантическими подразделениями: *предбудущее* – *будущее* – *послебудущее*, отсылающими к «универсальным» моделям временных систем, разработанных в XX в. сначала О. Есперсенем, а затем Г. Рейхенбахом [18. С. 300; 19. С. 297].

Эмпирический анализ глагольно-предикативных языковых единиц¹, извлеченных нами методом сплошной выборки из прямой речи (далее ПР) трех романов современных прозаиков и трех выпусков изданий прессы², показал, что в экспликации будущего времени задействованы наряду с

¹ В таблицу не вошли глагольные единицы, использующиеся в эмпирическом материале преимущественно во вторичной предикации (например, формы инфинитива, герундива), а также некоторые конструкции модального характера (например, brauchen + zu + инфинитив, drohen + zu + инфинитив).

² См.: Hein Ch. Landnahme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005. 383 S. Kehlmann D. Ruhm. Hamburg: Rowohlt, 2009. 203 S. Noll I. Ehrenwort. Zürich: Diogenes, 2010. 336 S. Frankfurter Allgemeine Zeitung. № 169 / 23. 07. 2011. Der Spiegel. № 45 / 7. 11. 2011. Süddeutsche Zeitung. № 168 / 23./24. 07. 2011.

грамматическими единицами также многие лексико-грамматические структуры (см. таблицу).

**Языковые средства выражения будущего времени в прямой речи
художественного и публицистического дискурса**

| Конструкции | В художественном дискурсе | | В публицистическом дискурсе | |
|---|---------------------------|------|-----------------------------|------|
| | абс. числа | % | абс. числа | % |
| презенс индикатива | 810 | 37 | 754 | 32,8 |
| фугур I индикатива | 209 | 9,5 | 358 | 15,6 |
| императив | 359 | 16,4 | 38 | 1,6 |
| können (в през. инд. ³) + инф. I ⁴ | 173 | 7,9 | 119 | 5,2 |
| können (в прет. конъюн. ⁵) + инф. I | 54 | 2,5 | 104 | 4,5 |
| sollen (в през. инд.) + инф. I | 64 | 2,9 | 208 | 9 |
| sollen (в прет. конъюн.) + инф. I | 53 | 2,4 | 52 | 2,3 |
| müssen (в през. инд.) + инф. I | 129 | 5,9 | 131 | 5,7 |
| müssen (в прет. конъюн.) + инф. I | 9 | 0,4 | 21 | 0,74 |
| dürfen (в през. инд.) + инф. I | 18 | 0,8 | 27 | 0,9 |
| dürfen (в прет. конъюн.) + инф. I | 1 | 0,04 | 33 | 1,4 |
| mögen (в през. инд.) + инф. I | 2 | 0,09 | 5 | 0,2 |
| mögen (в прет. конъюн.) + инф. I | 22 | 1 | 19 | 0,8 |
| wollen (в през. инд.) + инф. I | 139 | 6,3 | 190 | 8,3 |
| кондиционалис I | 58 | 2,6 | 102 | 4,4 |
| претерит конъюнктива | 44 | 2 | 84 | 3,7 |
| плюсквамперфект конъюнктива | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 |
| перфект индикатива | 11 | 0,5 | 9 | 0,4 |
| фугур II индикатива | 1 | 0,04 | – | – |
| haben + zu + инфинитив I ⁶ | 8 | 0,4 | 11 | 0,5 |
| sein + zu + инфинитив I | 4 | 0,2 | 18 | 0,8 |
| lassen + инфинитив I | 17 | 0,8 | 5 | 0,2 |
| причастие II | 1 | 0,04 | – | – |
| презенс конъюнктива | – | – | 2 | 0,08 |
| Всего | 2191 | 100% | 2295 | 100% |

Степень дискретности выражения будущего времени у данных средств разная. Кроме того, практически все предикативные единицы, представленные в таблице, не обладают темпоральной однозначностью [20]. В этой связи значимой становится такая аспектуальная характеристика смыслового глагола, как *предельность*. Благодаря наличию в семантике предельных глаголов (таких как *kommen*, *bringen*, *finden* и др.) указания на внутренний предел, границу или цель протекания действия / события они обладают

³ През. инд. – презенс индикатива.

⁴ Инф. I – инфинитив I.

⁵ Прет. конъюн. – претерит конъюнктива.

⁶ Конструкции *haben / sein+zu+инфинитив I* и *lassen+инфинитив I* учитывались как в форме презенса индикатива, так и в форме претерита конъюнктива.

своего рода направленностью в будущее (проективным значением). В нашем эмпирическом материале более 70% глаголов, оформлявших высказывания о будущем, оказались предельными. Непредельные же глаголы либо сочетались с лексическими указателями будущего времени (*morgen*, *in der Zukunft* и др.), либо использовались внутри объемного высказывания о будущем, обрамленные предельными глаголами.

Результаты эмпирического анализа свидетельствуют об определенных расхождениях как в составе используемых в каждом дискурсе средств, так и в их количественном соотношении. Расхождения объясняются в целом более официальным характером текстов прессы, а также наличием в них значительной доли информации из вторых и третьих рук, т.е. их «эвиденциальной заряженностью». В этой связи в них (в сравнении с преимущественно разговорным характером прямой речи героев романов) возрастает доля футура I, модальных глаголов *sollen* и *wollen*, появляются единичные формы волитивного презенса конъюнктива. В свою очередь, в ПР художественного дискурса довольно высока доля императива.

Отметим, что в эмпирическом материале не встретились формы двойного футура I, о которых шла речь ранее, зафиксирована лишь единичная форма футура II. Да и футур I, судя по количественным данным, не является самой распространенной формой будущего времени. Первое место по частотности в ПР обоих дискурсов занимает презенс (Er kommt zu uns heute Abend.). Он является синонимом футура I. В свою очередь, перфект в значении завершеного будущего / предбудущего (ср.: *Nachdem er gekommen ist, werden wir Tee trinken*), будучи синонимом футура II, также обходит последний по частотности. Чем же объясняется более частое использование в ПР форм, значение будущего у которых не является их основным значением?

На первый взгляд объяснение может заключаться в факторе языковой экономии. И презенс и перфект обнаруживают более простой способ образования, нежели формы футура I и II. Этот фактор действительно может быть признан релевантным, но скорее для пары *перфект – футур II*. Футур I, хотя и является аналитической формой, не характеризуется особой сложностью образования. Объяснение частотности презенса в футуральном значении, по-видимому, заключается в историческом факторе. Известно, что долгое время именно презенс был основной формой выражения будущего времени. Появление футура I датируется лишь XII–XIII вв. [21. С. 29; 22. С. 289]. Многие исследователи связывают его появление с необходимостью адекватного перевода латинских текстов на немецкие диалекты. Футур II и вовсе характеризуется рядом грамматистов как «чуждый немецкому языку латинизм» [23. С. 201]. Несмотря на то, что обе формы в определенный период своего развития были довольно употребительными [24. С. 11], они не смогли обойти по частотности футуральный презенс и футуральный перфект. Вместе с тем, будучи по строению все же более «сложными», а по происхождению «скорее письменными, чем устными», формы футура I и II воспринимаются как более «весомые», способные ак-

центрировать особое внимание на событии или действии, представленном в пропозиции. Эта особенность и отличает их сегодня от синонимичных форм презенса и перфекта. Она же обуславливает их меньшую частотность в речи. Весомость и даже некоторая пафосность форм футура отчетливо проявляется, к примеру, в официальных речах, представленных в прессе.

Так, использование футура I в следующем интервью позволило известному немецкому политическому деятелю подчеркнуть свою позицию в отношении образовательной политики в федеральной земле Гессен:

Spiegel: ...Ein großes Thema in Leipzig wird die Bildungspolitik sein, Merkel und ihre Bildungsministerin Annette Schavan wollen dort den Abschied von der Hauptschule beschließen... *Bouffier*: ...Es wird keinen Abschied von der Hauptschule geben, jedenfalls nicht mit meinem Segen. ... *Spiegel*: Sie werden also gegen den Antrag der Parteispitze stimmen? *Bouffier*: Es wird in Leipzig jedenfalls keinen Beschluss geben, der Hessen dazu veranlassen wird, seine Schulpolitik zu ändern... (Spiegel. 2011. S. 30–31).

Наряду с *индикативными* формами выражению будущего в немецкой ПР служит и ряд форм *конъюнктива* – кондиционалис I, претерит и плюсквамперфект конъюнктива. Формы кондиционалиса и претерита конъюнктива соотносятся друг с другом как формы футура I и презенса. Аналогия прослеживается в типе строения (аналитический – синтетический), дискретности выражения будущего (прослеживаемой как у футура I, так и у кондиционалиса I) и в некоторых общих особенностях употребления (так, претерит чаще кондиционалиса I встречается в составе придаточного предложения). С другой стороны, по частотности кондиционалис I оказывается выше претерита. Объяснение видится нам в функционале данной формы, обусловленном в том числе и ее происхождением. Обозначение данной формы указывает на ее первоначальное назначение – использование в значении условия [25. С. 299]. Позднее форма развила в ПР ряд других значений, в том числе результирующее из значения условия вежливое выражение желания и значение предположения. Кроме того, формы кондиционалиса I могут выполнять в ПР и своего рода эрзацфункцию, сохраняя в отличие от претерита конъюнктива, формы которого часто оказываются нечеткими (не отличающимися от соответствующих форм индикатива) или даже неблагозвучными, свою «идентичность» и «нейтральность звучания»: Er druckste herum und... sagte... verlegen: „Ich würde gern in der Wanne baden. Wenn das geht.“ (Ch.Hein. Die Landnahme. 2005).

Примечательно в этой связи, что частотность при выражении футуральности в нашем эмпирическом материале показали преимущественно формы претерита конъюнктива от глаголов *sein* и *haben*, не совпадающие с индикативом: „In vino veritas, in aqua cholera“, sagte der Alte. „Ein Gläschen Wein zum Essen wäre mir lieber“ (I. Noll. Ehrenwort. 2010).

Плюсквамперфект конъюнктива аналогичен перфекту и футуру II индикатива по особенностям выражаемого футурального значения. Данная форма имеет в своем составе причастие II, которое привносит в семантику формы сему завершенности (а также предшествования). С другой стороны,

все формы конъюнктива претеритального плана обладают потенциально-ирреальной семантикой, которая, впрочем, может быть представлена в разной степени. Так, если кондационалис I и претерит конъюнктива чаще реализуют значение потенциальности, то футуральному плюсквамперфекту больше свойственно значение ирреальности: „Na und? Willst du ein Leben lang seiner Pfeife tanzen? Ist schon gut, beim nächsten Mal hätte ich es ihm selbst gesagt!“ (I. Noll. Ehrenwort. 2010).

Обособленность от перечисленных форм конъюнктива демонстрирует *презенс конъюнктива*. Презенс конъюнктива характеризуется не потенциально-ирреальной, а, скорее, волитивной семантикой. Не случайно в лингвистической литературе данный вид конъюнктива часто именуется «конъюнктивом реальной возможности» [26. С. 15], «императивным конъюнктивом» [27. С. 133] или «волитивным конъюнктивом» [28. С. 120]. Р. Рёслер объясняет возможность императивного употребления презенса конъюнктива тем, что он восполняет формальную ограниченность императива, имеющего лишь формы 2-го лица, распространяя сферу его действия на 3-е лицо (*Vor Inbetriebnahme überprüfe man zunächst, ob die Plomben unversehrt sind.*) [27. С. 134]. Наиболее частотными значениями презенса конъюнктива в ПР являются не только значение требования, но и оптативное значение пожелания (*Es lebe unsere Freundschaft. Möge er gesund werden* и под.). Как императивное, так и оптативное употребление очевидным образом соотносятся с областью будущего. Однако ввиду существенной степени формализованности, обезличенности, а в ряде случаев употребления и пафосности, связанных, по-видимому, с наличием в форме морфемы конъюнктива, использование презенса конъюнктива имеет существенные ограничения в речи. В нашем эмпирическом материале презенс конъюнктива встретился единично и только в оптативном значении: «Gott segne unsere Freundschaft» (Süddeutsche Zeitung. 2011. S. 12).

Кроме ряда форм индикатива и конъюнктива, для выражения будущего служат и формы *императива* (например: Gib mir das Buch!). Более того, в темпоральном плане императив полностью ориентирован на область будущего времени. Основным и специфическим назначением императива следует считать выражение речевой каузации изменения действительности. «Говорящий, самим фактом своего высказывания, пытается каузировать совершение некоторого действия (эксплицитно указанного в этом высказывании)» [29. С. 21]. При этом ориентация на речевую ситуацию, а именно на наличие как минимум двух участников – говорящего и слушающего (потенциального исполнителя действия) – ограничивает сферу употребления императива обычно лишь ситуациями непосредственного общения. В этой связи императив значительно реже используется в ПР публицистического дискурса, чем в ПР художественного дискурса: „...Ja, verschwindet alle beide. Und in den nächsten Stunden will ich nichts von euch hören und sehen, verstanden?“ (Ch. Hein. Die Landnahme. 2005).

Семантика побуждения, всегда сопряженная с областью будущего и свойственная императиву и некоторым другим формам наклонения, при-

существует также при использовании *модальных глаголов*⁷. Значения модальных глаголов в немецком языке нередко систематизируют таким образом, что становится возможным говорить о двух основных разновидностях модальности модальных глаголов: эпистемической (первичной) и эпистемической (вторичной) [30. С. 85; 31. С. 91]. Анализ особенностей использования модальных глаголов в ПР позволяет согласиться с А. Вежбицкой в том, что в основе первичной семантики модальных глаголов лежит понятие *желания*. Таким образом, соответствующее данному понятию значение следует рассматривать как некое непроеизводное значение, лежащее в основе производных значений *возможности* и *необходимости* [32. С. 154–155]. Желание же теснейшим образом связано с *волиитивностью*. Исходя из этого, можно говорить о том, что волиитивный компонент семантики с большей или меньшей эксплицитностью прослеживается при употреблении всех модальных глаголов в их первичных значениях. Например: „Wir müssen den Termin für die Reha absagen“, sagte sie. „Ich fürchte, er wird es überhaupt nicht mehr schaffen“ (I. Noll. Ehrenwort. 2010).

Эпистемическое значение модальных глаголов связано с субъективным оцениванием пропозиции говорящим [33. С. 70]. Эпистемическая оценка представляет собой интеллектуальный тип оценки, характеризующий полноту знаний говорящего о событии, представленном в пропозиции. В отличие от волиитивного значения, всегда ориентированного на будущее, эпистемическая оценка может осуществляться в отношении события / действия, относящегося к любому отрезку времени, в том числе и к будущему. В силу своих прагматических особенностей эпистемическое значение модальных глаголов очень характерно для публицистического дискурса: Sie fürchtet eine Abstimmungsniederlage und versucht deshalb, es Euro-Skeptikern und Euro-Befürworter recht zu machen. Das ist eine Position, die niemanden überzeugt. Der Euro könnte das Schicksal der Liberalen werden. Wenn die Mitglieder sich für Schäfflers Linie entscheiden, wäre die FDP kaum noch regierungsfähig. Die Partei müsste in die Opposition. Dort kann man nach Herzenslust ideologisch sein (Spiegel. 2011. S. 36)⁸. Эпистемическое значение реализуют, в частности, глаголы können, mögen, dürfen, müssen в сочетании с инфинитивом.

⁷ Примечательно, что во многих германских языках (например, английском, шведском, нидерландском) именно конструкции с модальными глаголами развились со временем в грамматические формы будущего времени [34. С. 143–144]. В немецком языке конструкции с модальными глаголами также долгое время использовались для обозначения будущего и, после появления конструкции werden + инфинитив, успешно конкурировали с ней при обозначении предстоящих действий / событий, но так и не подверглись грамматикализации ([35. С. 83; 36. С. 229] и др.).

⁸ Аналогичные модальным глаголам функции выполняют в ПР некоторые формы и конструкции с модальной семантикой. Впрочем, конструкции haben / sein + zu + инфинитив I, причастие II и lassen + инфинитив I используются в нашем эмпирическом материале с волиитивной или преимущественно волиитивной семантикой.

Два модальных глагола – *sollen* и *wollen* – имеют в немецком языке (наряду с волитивным) не эпистемическое, а эвиденциальное значение. Глагол *sollen* используется для передачи речи другого лица или лиц. Глагол *wollen* служит для передачи утверждения лица, являющегося в предложении подлежащим, обычно относительно самого себя. Оба глагола могут передавать и речь, обращенную в будущее, особенно часто в публицистическом дискурсе: Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) will die Deutsche Bahn AG stärker kontrollieren und dafür die Kompetenzen der Bundesnetzagentur ausweiten. So soll die bundeseigene Bahn künftig nicht mehr allein über Preise für die Nutzung ihres Schienennetzes entscheiden dürfen (Spiegel. 2011. S. 18).

Задействованность для обслуживания области будущего времени значительного репертуара языковых средств свидетельствует о значимости данного отрезка времени для индивида. С другой стороны, разнородность этих средств указывает на семантическую неоднородность будущего времени. Соединение темпорального компонента с нетемпоральными компонентами модального характера – волитивным и эпистемическим – имеет место не только у модальных глаголов в сочетании с инфинитивом, но и у собственно грамматических средств. Наблюдения над эмпирическим материалом убеждают нас в том, что данные модальные значения на альтернативной основе (волитивное или эпистемическое) обнаруживаются в большей части высказываний о будущем. Более того, часть глагольно-предикативных средств, представленных в таблице, могут выражать оба типа значений, например:

Волитивное будущее: „Ich gehe morgen nicht zum Empfang der Außenhandelskammer. Ich verschwinde einfach. Wir fliegen zu den Pyramiden. Die wollte ich immer sehen.“ (D. Kehlmann. Ruhm. 2009).

Эпистемическое будущее: „Da komme ich nach Afrika“, sagte Leo. „Da sterbe ich vielleicht in Afrika. Und sehe keine Elefanten.“ (D. Kehlmann. Ruhm. 2009).

Наряду с волитивным и эпистемическим будущим целесообразно выделить также *эвиденциальное* будущее. Выше отмечалось, что эвиденциальная семантика свойственна и некоторым модальным глаголам. Однако эвиденциальность не ограничивается областью пересказываемости, в которой функционируют глаголы *wollen* и *sollen*, ее следует трактовать намного шире.

Под *эвиденциальностью* в самом общем виде понимается «отсылка к источнику информации, передаваемой говорящим» [37. С. 92]. В связи с наличием довольно большого многообразия источников и способов получения информации лингвистами обычно выстраивается шкала подтипов данного значения [38. С. 464], в которой выделяется прямая и косвенная эвиденциальность. При выражении будущего эвиденциальность может быть только косвенной, поскольку будущее нельзя (возможно, за отдельными, редкими и трудно доказуемыми исключениями) наблюдать непосредственно, как того требует прямая эвиденциальность. Косвенная эви-

денциальность исключает непосредственное наблюдение ситуации, о которой говорится, высказывание же строится на умозаключении (инференциальность) или на сообщении другого лица (пересказывательность).

О собственно эвиденциальном будущем можно говорить, если продуцент речи, высказываясь о событии, опирается на очень достоверный источник информации, гарантирующий наступление этого события. Так, произнося высказывание *Morgen wird Freitag sein* / *Morgen ist Freitag*, говорящий опирается на такой авторитетный и объективный источник информации, как календарь. В этом случае вероятность наступления события оказывается практически равной 100%. Впрочем, будущее такого типа встречается в речи, по понятным причинам, относительно редко. Выражаться оно может лишь грамматическими средствами на индикативной основе (презенсом, футуром I, перфектом и футуром II).

В том случае, когда источник информации достаточно достоверен (например, план или программа мероприятия, научные расчеты и т.д.), но полной гарантии его наступления нет и можно говорить лишь о выражении высокой степени уверенности, речь должна идти о соединении эпистемического и эвиденциального будущего. Данное будущее может выражаться как грамматическими формами на индикативной основе, так и некоторыми другими средствами, например модальным глаголом *müssen* в сочетании с инфинитивом.

В свою очередь, средняя и низкая вероятность события в будущем не коррелирует с эвиденциальностью и указывает лишь на эпистемическое будущее. Данный тип будущего реализуется, прежде всего, формами конъюнктива на претеритальной основе и некоторыми модальными глаголами, реже – формами индикатива в соответствующем контексте.

Волитивное будущее, противопоставленное как эпистемическому, так и эвиденциальному и характеризующееся семантикой побуждения, намерения совершить действие или желания / пожелания, чтобы что-либо совершилось, может быть выражено большинством средств, функционирующих в области футуральности. Только на его выражении специализируются, например, императив, конструкции *haben* / *sein* + *zu* + инфинитив I, инфинитив (*Aufstehen!*) и причастие II (*Stillgestanden!*).

Таким образом, так называемого «чистого будущего», о котором пишут некоторые исследователи, лишённого модального и / или эвиденциального значения, характеризующегося только темпоральной (темпорально-аспектуальной) семантикой, по-видимому, быть не может. Этому противоречат сущностные характеристики будущего – нефактуальность и неверифицируемость в момент речи говорящего. Об отсутствии такого будущего свидетельствуют и результаты проведенного нами эмпирического анализа.

Систематизируем выявленные в ходе эмпирического анализа типы будущего и представим их в виде схемы (рис. 1).



Рис. 1. Типы будущего времени

Полагаем, что типология будущего времени, вытекающая из многообразия глагольных средств, формирующих языковую структуру футуральности в немецком языке, вполне может распространяться и на некоторые другие языки. Будучи разработанной с учетом принципов антропоцентризма, она демонстрирует основные интенции и ментальные действия индивида, лежащие в основе высказываний о будущем. Важно отметить, что область футуральности формируется многочисленными речевыми актами, обнаруживающими связь либо с волитивным, либо с когнитивным (эпистемическим, эпистемико-эвиденциальным, эвиденциальным) компонентом семантики будущего [39. С. 68].

В качестве **вывода** следует отметить, что нефактуальность и неверифицируемость будущего в момент речи прочно связывают данную область времени с такими характеристиками, как модальность (волитивная и эпистемическая) и эвиденциальность. Темпоральность, модальность и эвиденциальность, с одной стороны, являются разными категориями, характеризующимися различной базовой семантикой. И в этой связи можно утверждать, что модальность и эвиденциальность противопоставлены темпоральности. С другой стороны, данные категории связаны друг с другом, поскольку и модальные и эвиденциальные значения сопряжены с локализацией действия или события, представленного в пропозиции, во времени. Эмпирические данные – количественный и качественный анализ средств выражения будущего времени, использующихся в прямой речи художественного и публицистического дискурса, – подтверждают данные наблюдения. В работе выделяется несколько типов будущего времени. Так, будущее может быть волитивным и эпистемическим. Эпистемическое будущее может сочетаться с эвиденциальной семантикой (эпистемико-

эвиденциальное будущее). Наконец, в ряде случаев будущее можно квалифицировать как собственно эвиденциальное.

Литература

1. *Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. М. : КомКнига, 2005. 576 с.
2. *Маслов Ю.С.* Будущее время // Большой энциклопедический словарь. Языкознание / отв. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М., 1998. С. 77.
3. *Логунов Т.А.* Аналитические формы будущего времени как лингвистический феномен (на материале английского и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2007. 26 с.
4. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. 2-е изд., испр. М. : Эдиториал УРСС, 2003. 332 с.
5. *Wunderlich D.* Tempus und Zeitreferenz im Deutschen. Munchen : M. Hueber Verlag, 1970. 358 s.
6. *Ullan R.* The nature of future tense // Universals of human languages / Hrsg. J.G. Greenberg et. al. Stanford, 1978. Vol. 3. P. 83–128.
7. *Fleischman S.* The Future in Thought and Language. Diachronic evidence from Romance. Cambridge ; London ; New York : Cambridge University Press, 1982. 218 p.
8. *Chung S., Timberlake A.* Tense, aspect and mood // Language typology and syntactic description. Cambridge : Cambridge University Press, 1985. Vol. 3. P. 202–258.
9. *Comrie B.* On identifying future tenses // Tempus – Aspekt – Modus / Hrsg. von W. Abraham and Th. Janssen. Tübingen : Niemeyer, 1989. S. 51–63.
10. *Vater H.* Zum deutschen Tempussystem // Festschrift für L. Saltveit zum 70. Geburtstag / Hrsg. J.O. Askedal, Ch. Christensen, Å. Findreng, O. Leirbukt. Oslo, 1983. S. 201–214.
11. *Itayama M.* Werden – modaler als die Modalverben // Deutsch als Fremdsprache. 1993. Heft. 4. S. 233–237.
12. *Loeser K.* Untersuchungen zur Futurität im Englischen und Deutschen : Dissertation. Potsdam, 1988. 193 S.
13. *Welke K.* Tempus im Deutschen: Rekonstruktion eines semantischen Systems. Berlin ; New York : De Gruyter, 2005. 522 s.
14. *Hacke M.* Funktion und Bedeutung von werden + Infinitiv im Vergleich zum futurischen Präsens. Heidelberg : Winter, 2009. 208 s.
15. *Leiss E.* Die Verbalkategorien des Deutschen: ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung. Berlin ; New York : De Gruyter, 1992. 334 s.
16. *Krämer S.* Synchroner Analyse als Fenster zur Diachronie: die Grammatikalisierung von werden + Infinitiv. München : LINCOM Europa, 2005. 147 s.
17. *Rothstein B.* Belege mit doppeltem Futur im Deutschen? Ergebnisse einer Internetrecherche // Sprachwissenschaft. 2013. Bd. 38. S. 101–119.
18. *Есперсен О.* Философия грамматики / пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой ; под ред. и с предисл. проф. Б.А. Ильиша. 3-е изд., стер. М. : URSS, 2006. 408 с.
19. *Reichenbach H.* Elements of Symbolic Logic. New York : Free Press, 1966. 444 p.
20. *Боднарук Е.В.* Категория футуральности в немецком языке. Архангельск : САФУ, 2016. 152 с.
21. *Дружинина В.П.* Система форм будущего времени в немецкой речи // Иностранные языки в школе. 1951. № 5. С. 25–36.
22. *Harm V.* Zur Herausbildung der deutschen Futurumschreibung mit werden+Infinitiv // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. LXVIII Jahrgang. 2001. Heft 3. S. 288–307.
23. *Thieroff R.* Das finite Verb im Deutschen: Tempus – Modus – Distanz. Tübingen : Narr, 1992. 316 s.
24. *Напетваридзе Л.Д.* Становление норм употребления форм будущего времени в немецком литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тбилиси, 1984. 18 с.

25. *Жирмунский В.М.* История немецкого языка : учеб. 6-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2015. 416 с.
26. *Чуваева В.Г.* Конъюнктив : практическое пособие для неязыковых вызов (на немецком языке). М. : Высш. шк., 1964. 64 с.
27. *Rössler R.* Zum Gebrauch der Konjunktive in der deutschen Sprache der Gegenwart // *Sprachpflege*. 1964. Heft 7. S. 129–136.
28. *Eisenberg P.* Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Stuttgart ; Weimar : J.B. Metzler, 2006. 564 s.
29. *Гусев В.Ю.* Типология императива. М. : Языки славянской культуры, 2013. 336 с.
30. *Fritz Th.* Grundlagen der Modalität im Deutschen // *Aspekte der Verbalgrammatik* / Hrsg. M.L. Eichinger und O. Leirbukt. Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, 2000. S. 85–104.
31. *Ruch K.* Modalverbsysteme im Deutschen und Italienischen // *Deutsch als Fremdsprache*. 2004. Heft 2. S. 90–98.
32. *Wiezbička A.* Semantic primitives. Frankfurt am Main : Athenäum-Verlag, 1972. 235 s.
33. *Leiss E.* Verbalaspekt und die Herausbildung epistemischer Modalverben // *Aspekte der Verbalgrammatik* / Hrsg. L.M. Eichinger, O. Leirbukt. Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, 2000. S. 63–83.
34. *Szczepaniak R.* Grammatikalisierung im Deutschen. Eine Einführung. 2., überarb. und erw. Aufl. Tübingen : Narr, 2011. 219 s.
35. *Bogner I.* Zur Entwicklung der periphrastischen Futurformen im Frühneuhochdeutschen // *Zeitschrift für deutsche Philologie*. 1989. Vol. 108. S. 56–85.
36. *Diewald G., Habermann M.* Die Entwicklung von *werden* + Infinitiv als Futurgrammem. Ein Beispiel für das Zusammenwirken von Grammatikalisierung, Sprachkontakt und soziokulturellen Faktoren // *Grammatikalisierung im Deutschen* / Hrsg. T. Leuchner, T. Mortelmans, S. De Groodt. Berlin ; New York : De Gruyter, 2005. S. 229–250.
37. *Козинцева Н.А.* Категория эвиденциальности // *Вопросы языкознания*. 1994. № 3. С. 92–104.
38. *Плунгян В.А.* Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира : учеб. пособие. М. : Изд-во РГГУ, 2011. 672 с.
39. *Боднарук Е.В.* Классификация речевых актов с футуральной семантикой (на материале немецкого языка) // *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета*. 2015. Сер. 9, вып. 2. С. 62–75.

FUTURE TIME REFERENCE AND THE MEANS OF ITS EXPLICATION IN THE GERMAN LANGUAGE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 32–47. DOI: 10.17223/19986645/53/3

Elena V. Bodnaruk, Northern Arctic Federal University (Arkhangelsk, Russian Federation). E-mail: bodnaruk@rambler.ru / e.bodnaruk@narfu.ru

Keywords: future time, indicative mood, conjunctive mood, imperative mood, modal verbs, typology, temporal meaning, volitive meaning, epistemic meaning, evidential meaning.

The article focuses on the analysis of verbal means of expression of future time reference in the German language. The future time typology is revealed on the basis of the empiric analysis of these means. The data were collected from the texts of journalistic and fictional discourse. The main methods applied are the methods of quantitative, contextual and componential analysis.

In the introduction, the future time reference in the German language and its ontological and epistemological features are discussed as well as its influence on the appearance and evolution of the grammatical future forms, which differ from the present and past forms in their modal features.

On the one hand, the grammar forms with future meaning – Futur I and Futur II – are excluded by some researchers from the temporal system for having non-temporal semantics. On the other hand, in the new Internet forms, built on the Futur pattern – forms of double Futur with the post-future meaning – can be found. This indicates that grammar forms with future meaning should be considered an integral part of the German temporal system. And if in the course of time the forms of double Futur (*wird machen werden*) were included in the temporal system, there would be an ideal triad of *pre-future* – *future* – *post-future* forms. Future can also be expressed in the German language by Präsens and Perfekt, by several conjunctive forms – Konditionalis, Präterit, Plusquamperfekt and in some cases by Präsens Konjunktiv. The imperative forms always correlate with future. Some lexical-grammatical structures have a future meaning, for example, constructions with modal verbs.

A significant linguistic means repertoire, which participates in the actualization of the future semantics, shows the importance of this time for the individual. But the heterogeneity of these means indicates the semantic heterogeneity of the future time reference itself. The majority of non-temporal meanings, which correlate with future, have a modal character. Modality of future forms has two main varieties – volitive and epistemic. In the basis of *volitive future* lies the seme “desire”. This seme is represented in the following meanings: a) order, b) intention to do something; c) desire or wish that something happens. Volitive future can be expressed by the major part of linguistic means, which correlate with the field of future. The *epistemic future* indicates the subjective assessment of the probability of a future event and characterizes the completeness of knowledge of the speaker about this event. If the speaker does not rely on any source of information while assessing the future event, the future is considered to be epistemic. The presence of a source of information makes it more certain that the event will take place. Such future combines epistemic and evidential meanings. If the happening of a future event is inevitable, and the presence of a trustworthy and objective information source confirms it, the future is *evidential*. Epistemic and evidential future forms have some restrictions in using linguistic means.

References

1. Akhmanova, O.S. (2005) *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms]. Moscow: KomKniga.
2. Maslov, Yu.S. (1998) *Budushchee vremya* [The future tense]. In: Yartseva, V.N. (ed.) *Bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar'. Yazykoznanie* [Big Encyclopedic Dictionary. Linguistics]. 2nd ed. Moscow: Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya.
3. Logunov, T.A. (2007) *Analiticheskie formy budushchego vremeni kak lingvisticheskiy fenomen (na materiale angliyskogo i russkogo yazykov)* [Analytical forms of the future tense as a linguistic phenomenon (on the material of English and Russian languages)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kemerovo.
4. Portsig, V. (2003) *Chlenenie indoevropeyskoy yazykovoy oblasti* [The division of the Indo-European language area]. 2nd ed. Moscow: Editorial URSS.
5. Wunderlich, D. (1970) *Tempus und Zeitreferenz im Deutschen* [Tense and time reference in German]. Munich: M. Hueber Verlag.
6. Ultan, R. (1978) The nature of future tense. In: Greenberg, J.G. et al. (eds) *Universals of human languages*. Vol. 3. Stanford: Stanford University Press.
7. Fleischman, S. (1982) *The Future in Thought and Language. Diachronic evidence from Romance*. Cambridge; London; New York: Cambridge University Press.
8. Chung, S. & Timberlake, A. (1985) Tense, aspect and mood. In: Shopen, T. (ed.) *Language typology and syntactic description*. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Comrie, B. (1989) On identifying future tenses. In: Abraham, W. von & Janssen, Th. (eds) *Tempus – Aspekt – Modus* [Tense – aspect – mode]. Tübingen: Niemeyer.
10. Vater, H. (1983) Zum deutschen Tempussystem [On the German tense system]. In: Askedal, J.O., Christensen, Ch., Findreng, Å. & Leirbukt, O. (eds) *Festschrift für L. Saltveit zum 70. Geburtstag* [Festschrift for L. Saltveit's 70th birthday]. Oslo: Universitetsforlaget.

11. Itayama, M. (1993) Werden – modaler als die Modalverben [Become – more modal than the modal verbs]. *Deutsch als Fremdsprache*. 4. pp. 233–237.
12. Loeser, K. (1988) *Untersuchungen zur Futurität im Englischen und Deutschen* [Studies of the future in English and German]. Dissertation. Potsdam.
13. Welke, K. (2005) *Tempus im Deutschen: Rekonstruktion eines semantischen Systems* [Tense in German: reconstruction of a semantic system]. Berlin; New York: De Gruyter.
14. Hacke, M. (2009) *Funktion und Bedeutung von werden + Infinitiv im Vergleich zum futurischen Präsens* [Function and meaning of become + infinitive compared to the futuristic present]. Heidelberg: Winter.
15. Leiss, E. (1992) *Die Verbalkategorien des Deutschen: ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung* [The verbal categories of German: a contribution to the theory of linguistic categorization]. Berlin; New York: De Gruyter.
16. Krämer, S. (2005) *Synchrone Analyse als Fenster zur Diachronie: die Grammatikalisierung von werden + Infinitiv* [Synchronic analysis as a window to diachrony: the grammaticalization of become + infinitive]. Munich: LINCOM Europa.
17. Rothstein, B. (2013) Belege mit doppeltem Futur im Deutschen? Ergebnisse einer Internetrecherche [Documents with double future in German? Results of an internet search]. *Sprachwissenschaft*. 38. pp. 101–119.
18. Espersen, O. (2006) *Filosofiya grammatiki* [Philosophy of Grammar]. Translated from English by V.V. Passek & S.P. Safronova. 3rd ed. Moscow: URSS.
19. Reichenbach, H. (1966) *Elements of Symbolic Logic*. New York: Free Press.
20. Bodnaruk, E.V. (2016) *Kategoriya futural'nosti v nemetskom yazyke* [The category of future in German]. Arkhangelsk: SAFU.
21. Druzhinina, V.P. (1951) Sistema form budushchego vremeni v nemetskoj rechi [The system of future tense forms in German speech]. *Inostrannye yazyki v shkole*. 5. pp. 25–36.
22. Harm, V. (2001) Zur Herausbildung der deutschen Futurumschreibung mit werden+Infinitiv [On the emergence of the German future form with become + infinitive]. *Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik*. LXVIII (3). pp. 288–307.
23. Thieroff, R. (1992) *Das finite Verb im Deutschen: Tempus – Modus – Distanz* [The finite verb in German: Tense – mode – distance]. Tübingen: Narr.
24. Napetvaridze, L.D. (1984) *Stanovlenie norm upotrebleniya form budushchego vremeni v nemetskom literaturnom yazyke* [Formation of norms for the use of future forms in German literary language]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tbilisi.
25. Zhirmunskiy, V.M. (2015) *Istoriya nemetskogo yazyka* [History of the German language]. 6th ed. Moscow: LENAND.
26. Chuvaeva, V.G. (1964) *Kon'yunktiv: prakticheskoe posobie dlya neyazykovykh vuzov (na nemetskom yazyke)* [Conjunctive: A practical guide for non-language universities (in German)]. Moscow: Vyssh. shk.
27. Rössler, R. (1964) Zum Gebrauch der Konjunktive in der deutschen Sprache der Gegenwart [On the use of the conjunctive in the German language of the present]. *Sprachpflege*. 7. pp. 129–136.
28. Eisenberg, P. (2006) *Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz* [The outline of the German grammar. The sentence]. Stuttgart; Weimar: J.B. Metzler.
29. Gusev, V.Yu. (2013) *Tipologiya imperativa* [Typology of the imperative]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
30. Fritz, Th. (2000) Grundlagen der Modalität im Deutschen [Basics of modality in German]. In: Eichinger, L.M. & Leirbukt, O. (eds) *Aspekte der Verbalgrammatik* [Aspects of verb grammar]. Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms Verlag. pp. 63–83
31. Ruch, K. (2004) Modalverbssysteme im Deutschen und Italienischen [Modal verb systems in German and Italian]. *Deutsch als Fremdsprache*. 2. pp. 90–98.
32. Wierzbicka, A. (1972) *Semantic primitives*. Frankfurt: Athenäum-Verlag.
33. Leiss, E. (2000) Verbalaspekt und die Herausbildung epistemischer Modalverben [Verb aspect and the formation of epistemic modal verbs]. In: Eichinger, L.M. & Leirbukt, O.

(eds) *Aspekte der Verbalgrammatik* [Aspects of verb grammar]. Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms Verlag.

34. Szczepaniak, R. (2011) *Grammatikalisierung im Deutschen. Eine Einführung* [Grammaticalization in German. An introduction]. 2nd ed. Tübingen: Narr.

35. Bogner, I. (1989) Zur Entwicklung der periphrastischen Futurformen im Frühneuhochdeutschen [On the development of periphrastic future forms in Early Modern High German]. *Zeitschrift für deutsche Philologie*. 108. pp. 56–85.

36. Diewald, G. & Habermann, M. (2005) Die Entwicklung von werden + Infinitiv als Futurgrammem. Ein Beispiel für das Zusammenwirken von Grammatikalisierung, Sprachkontakt und soziokulturellen Faktoren [The development of become + infinitive as a future grammeme. An example of the interaction of grammaticalization, language contact and sociocultural factors]. In: Leuchner, T., Mortelmans, T. & De Groot, S. (eds) *Grammatikalisierung im Deutschen* [Grammaticalization in German]. Berlin; New York: De Gruyter.

37. Kozintseva, N.A. (1994) Kategoriya evidentsial'nosti [The category of evidentiality]. *Voprosy yazykoznanija*. 3. pp. 92–104.

38. Plungyan, V.A. (2011) *Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira* [Introduction to grammatical semantics: grammatical meanings and grammatical systems of the world's languages]. Moscow: RSUH.

39. Bodnaruk, E.V. (2015) Classification of speech acts with future semantics (in the German language). *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 9 – Vestnik of Saint Petersburg University, Language and Literature*. 2. pp. 62–75. (In Russian).

УДК 398.9

DOI: 10.17223/19986645/53/4

В.М. Мокненко

СИБИРЬ В МАЛЫХ ЖАНРАХ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА¹

Предлагается анализ пословиц, поговорок и устойчивых народных сравнений, отражающих представления о Сибири, запечатленные русской разговорной речью и диалектами. Каждый из названных жанров фольклора обладает своей структурной и семантической спецификой, что накладывает отпечаток и на картину «сибирского мира». Представления о Сибири, запечатленные в зеркале фольклора, не следует абсолютизировать, ибо высокая степень коннотативности фразеологии делает соответствующие языковые единицы семантически субъективными.

Ключевые слова: малые жанры фольклора, пословицы, поговорки, народные сравнения, языковая картина мира Сибири, диалектология, диалектография.

Диалектологическая карта Сибири не только развёрнута в почти необозримом пространстве, но и оснащена предельно точными лингвистическими ориентирами. Изучение народных говоров Сибири и европейской части России давно уже велось в едином пространственном и хронологическом континууме. Не случайно «Областной словарь Колымского русского наречия» В.Г. Богораза [1] и по времени, и по названию, и по объёму соразмерен с лексикографическим картографированием Русского Севера – таким, например, как «Словарь областного архангельского наречия» А.О. Подвысоцкого [2]. Эта добрая традиция не только продолжается, но и во многом преумножается современными сибирскими диалектологами. Достаточно пролистать 50-томный «Словарь русских народных говоров», создаваемый в Институте лингвистических исследований РАН [3], чтобы оценить вклад в отечественную диалектографию, внесенный именно ими. Нет, пожалуй, ни одной словарной статьи, где бы отсутствовал «сибирский след». За этим стоит многолетняя работа любителей и знатоков народного сибирского слова. Работа, воплощенная в сотнях больших и малых оригинальных региональных словарей и монографических исследований.

Это, прежде всего, такие монументальные своды сибирской народной лексики, как «Полный словарь сибирского говора» [4], «Словарь русских говоров Сибири» [5], «Вершининский словарь» [6]; «Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья» [7], «Полный словарь диалектной языковой личности» [8]; «Словарь русских говоров Алтая» [9], «Среднеобский словарь» [10], «Словарь русских говоров Прибайкалья»

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18-01062 – «Полный фразеологический словарь русских народных говоров»), реализуемого в Санкт-Петербургском государственном университете.

[11] и др. Научную ценность представляют и словари отдельных сибирских регионов – «Словарь русских говоров Забайкалья» Л.Е. Элиасова [12], «Словарь русских говоров Приамурья» [13], «Словарь русских говоров Новосибирской области» [14], «Словарь русских говоров северных районов Красноярского края» [15], а также такие специализированные словари, как «Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в.» [16], «Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья» [17], «Русские на Индигирке. Историко-этнографический очерк» А.Г. Чикачева [18], «Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков» [19] и под.

Фразеологи давно уже черпают из названных и не названных мною словарей ценнейшую информацию об образных и экспрессивных ресурсах народной речи. И практически со времени «отпочкования» из лексикологии и лексикографии молодой лингвистической дисциплины – фразеологии сибирские диалектологи создали специализированную фразеологию. Вначале появились записи фразеологизмов отдельных говоров – такие, например, как «Словарь русской диалектной фразеологии Ольхонского района Иркутской области» Л.И. Ройзензона и Л.А. Андреевой [20]. Затем – системная попытка описания всего фразеологического континуума Сибири, предпринятая А.И. Федоровым и его сотрудниками в «Словаре фразеологизмов, и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири» [21] и во «Фразеологическом словаре русских говоров Сибири» [22]. Параллельно вёлся сбор фразеологического материала в разных регионах Сибири, давший свои плоды: «Материалы к словарю фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Читинской области» [23] и «Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Забайкальского края» В.А. Пашенко [24], «Фразеологический словарь русских говоров Прибайкалья» [25], «Фразеологический словарь русских говоров Приамурья» [26], «Словарь образных слов и выражений народного говора» [27], «Словарь образных единиц сибирского говора» [28] и др. Немало ценного материала для исследования сибирской фразеологии и паремиологии можно найти в оригинальном сборнике собирателя-любителя, геолога по профессии М.И. Соколовой «Народная мудрость. Пословицы и поговорки», изданном за собственные средства в Новосибирске [29].

Столь обильный фразеологический материал, естественно, требовал аналитических обобщений. И они достаточно быстро появились, предва-рив даже диалектографические исследования фразеологии европейской части России. Таковы, например, кандидатская диссертация Н.К. Пахотиной «Опыт исследования фразеологической деривации (на материале ошинских говоров Омской области)» [30], монографии А.И. Федорова [31, 32] и др. Особую роль в осмыслении системных свойств сибирского фразеологического массива играют, как известно, труды исследователей Томского государственного университета, опыт которых осмыслен мною в нескольких публикациях [33–37]. Школа О.И. Блиновой не только вырастила плеяду ярких диалектологов и диалектографов, но и предложила нам,

фразеологам, современную лингвистическую методологию [38], позволяющую выявлять закономерности живой речи в мотивологическом преломлении.

В «Сибирской диалектной фразеологии» А.И. Федоров [4, 32] отмечал, что в России вышло лишь два его небольших по объему диалектных фразеологических словаря [21, 22] и «Материалы для фразеологического словаря говоров северного Прикамья» К.Н. Прокошевой [39]. Сибирская диалектная фразеология уже с 70-х гг. прошлого века уверенно завоевала пальму первенства в этом лексикографическом жанре и удерживает ее до сих пор.

Предлагая в статье реконструкцию языкового образа Сибири в малых жанрах русского фольклора, я во многом опираюсь на сибирские диалектные источники, проецируя их и на общее паремиологическое пространство, зафиксированное нами в трёхтомном собрании словарей, насчитывающем около 150 тысяч паремий, – «Большом словаре русских поговорок» [40], «Большом словаре русских сравнений» [41] и «Большом словаре русских пословиц» [42].

«Фразеологизмы в составе значимых единиц говора существуют не изолированно, они связаны в сознании носителей диалектной речи своим компонентным составом с соответствующими лексемами, соотносимыми по форме и содержанию или только по содержанию, – писал А.И. Федоров. – Определяя эти связи, важно выяснить круг слов, которые входят в состав диалектных фразеологических единиц как их обязательные компоненты» [32. С. 5]. Действительно, сам компонентный состав диалектной фразеологии сигнализирует не только о её принадлежности к тому или иному региону, но и достаточно часто ярко маркирует эту принадлежность, характеризует её.

Показательна в этом отношении маркировка топонима **Сибирь** в составе многих пословиц и поговорок*. Большинство из них окрашено «ссылочной» и «карательной» коннотативностью, что логично отражает известные реальные историко-политические обстоятельства. Таковы пословицы, прямолинейно отражающие эту устаревшую теперь коннотативность: *Вор ворует – Сибири не минует* (Ил. 1915, 290); *Сколько вору ни воровать, а Сибири не миновать* (Ил. 1915, 290; Спир. 1985, 87); *Сибирь тем хороша, что врать не велит*. Как комментирует последнюю пословицу автор словаря «Блатная музыка» В.Ф. Трахтенберг, это «намёк на то, что в арестантской среде трудно долгое время скрывать истинную причину, приведшую то или другое лицо на каторгу или поселение» [43. С. 73].

Поговорки, включающие в свой состав топоним *Сибирь* и его производные, также маркированы этой стереотипной коннотативностью: *Сибири кусок*. Смол. (1914). 1. Об отчаянном, способном на самый рискованный поступок человеке (СРНГ 37, 266). 2. Неприятный, злобный человек (до-

* В целях экономии места сокращения источников здесь не расшифровываются. Читатель их найдет в наших словарях [40–42].

стойный сибирской ссылки) (СРНГ 17, 354); *улетать в Сибирь кого. Урал.* Отправить в сибирскую ссылку (СРНГ 47, 248); *упечатать в Сибирь кого. Курск.* (1854). То же (СРНГ 47, 248–249).

Сибирь как место ссылки характеризуется и многими пословицами, где сибирский локус выражен иными компонентами, но достаточно определённо:

Плакучие берёзы. Южн. Прикам. Бывший Сибирский тракт, дорога через Урал и Екатеринбург в Сибирь (обычно – в ссылку, на каторгу) (СРГЮЖПрикам. 1, 51); *пошёл по широкой, где берёзки посажены. народн. устар.* Сослан в Сибирь (ДП, 220); *уехать в берёзки. Перм. Эвфем.* (2002). Умереть (СРНГ 46, 322); *услать берёзки считать кого. народн. устар.* Сослать кого-л. в Сибирь (ДП, 220; БМС 1998, 46); *за бугры. Жарг. угол.* В ссылку, в Сибирь, где *бугор* – граница лагеря, зоны (СРВС 1, 34); *пойти на бугорок. Волг., Омск.* То же, что выходить на бугор (ФСС, 143; СРСГП 3, 29); *идти по дороге. Перм.* (1854). Быть сосланным в Сибирь, в ссылку (СРНГ 12, 78); *идти по татарской дороге. Сиб. Ирон.* На кладбище (о покойнике, которого хоронят) (ФСС, 63); *загреметь кандалами. Сиб. Устар.* 1. Быть сосланным в Сибирь на каторгу. 2. Быть осуждённым за преступление (ФСС, 76); *послать на низ берёзки считать кого. Казан.* (1849). Сослать кого-л. в Сибирь (СРНГ 21, 224); *прогуляться по парханке. Влад.* (1895–1897). Подвергнуться ссылке в Сибирь на каторгу (СРНГ 25, 248).

При всей исторической оправданности такой коннотативной доминанты русская паремиология диалектически отражает и другие оценки Сибири, окрашивая этот концепт не только в негативные, но и в нейтральные или позитивные тона. Так, выражение *жить в сибиряках. Сиб.* Быть коренным сибиряком (ФСС, 71) при всей оценочной нейтральности, скорее положительно, чем отрицательно, как и пословица, выражающая даже определённое сочувствие к жителям Сибири: *В Сибири те же люди, только воля не своя* (Тан. 1986, 34). Более или менее нейтрально (хотя, как отмечают собиратели, «иногда бранно» выражение *немиёная Сибирь*, зафиксированное на достаточно широком ареале (*Перм.* (1852), *Симб., Ср. Урал.*), характеризующее ту часть Сибири, где не жили русские, т.е. отсутствовали постройки, утепленные мхом (СРНГ 21, 90). Некоторые же паремии опровергают стереотипные представления о трудностях сибирской жизни и даже утверждают обратное: *Страшна Сибирь слухом, а люди лучше нашего живут* (ДП 1, 194, 270).

Экспрессивно-оценочная семантика паремиологии, относящейся к Сибири, зависит не только и даже не столько от компонентного состава соответствующих языковых единиц, сколько от лингвистических особенностей последних. Малые жанры русского фольклора традиционно включают 3 типа таких устойчивых единиц: пословицы, поговорки и устойчивые сравнения. Каждый из них нашёл специализированное и максимально полное описание в уже упомянутом трёхтомном издании русских народных сравнений, пословиц и поговорок. Составляя это лексикографическое собрание русской паремиологии, мы последовательно учитывали структур-

ную и семантическую специфику каждого из этих трёх типов паремий. Основной целью нашего трёхтомника было – в духе ларинской школы лексикографии – максимально полное и источниковедчески точное описание русских пословиц, поговорок и народных сравнений. При этом ареальная характеристика каждой описываемой единицы маркировалась скрупулезно точной и детализированной отсылкой на источник материала.

В нашем собрании малых жанров русского фольклора, естественно, большое место занимают материалы сибирских народных говоров, ибо благодаря их исследователям, которые кратко охарактеризованы в начале этой статьи, они получили основательное лексикографическое описание.

Какие же этнографические, бытовые и духовные представления о Сибири запечатлены русской разговорной речью и диалектами?

Каждый из названных малых типов фольклора обладает своей структурной и семантической спецификой, что накладывает отпечаток и на картину «сибирского мира». Естественно, такую картину нельзя считать объективной, ибо в этих фольклорных жанрах очень сильна оценочная, коннотативная составляющая, что мы видели уже даже на достаточно одностороннем коннотативном потенциале слова *Сибирь* в составе паремий. Тем не менее сибирские культурологические доминанты, представленные в русских пословицах, поговорках и народных сравнениях, кажутся значимыми уже потому, что они так или иначе опираются на стереотипы «народной» оценки Сибири как неотъемлемой части России.

Пословицы как синтаксически законченные структуры с преимущественно дидактической семантикой запечатлевают как положительные, так и отрицательные стереотипы. Кроме уже отмеченной «ссылочной» коннотативности, они прежде всего положительно характеризуют богатства недр и природы Сибири. Здесь показательна её оценка пословицей *Сибирь – золотое дно*, зафиксированной ещё предшественниками В.И. Даля (Сн. 1848, 367). Сам же великий «собиратель слов» даёт к ней предельно ёмкий и точный комментарий: «От пушного и торгового промыслов; ныне это буквально оправдывается» (ДП 1, 270; Д 1, 441).

Другие пословицы подтверждают и детализируют это паремиологическое свидетельство:

Богата Астрахань осетрами, а Сибирь соболями (Сн. 1848, 98; ДП 2, 112); *Довольна Астрахань осетрами, а Сибирь соболями* (Барс. 1770, 57; СлРЯ XVIII в. 17, 99; Сн. 1848, 98; ДП 2, 112); *Славна Астрахань осетрами, Сибирь соболями* (Сн. 1848, 98; ДП 2, 112; Ан. 1988, 286); *Казань осетрами, а Сибирь соболями* (Сн. 1848, 160); *Казань осетрами, Сибирь соболями, а Смоленск кровью* (ПС, 317; СПП 2001, 131); *Казань осетрами, Сибирь соболями хвалится* (Ан. 1988, 123).

К этой же группе можно отнести и пословицу *Для прихотей одного человека и Сибири мало* (Рыбн. 1961, 161), хотя она характеризует богатство Сибири лишь косвенно.

Положительны, пожалуй, и пословичные реминисценции о мужестве тех, кто когда-то завоевывал Сибирь: *[Как] семеро пойдут – Сибирь возь-*

мут (Д 4, 170; Под., Зим. 1956, 60; Рыбн. 1961, 54); *Семеро пойдём – Сибирь возьмём* (Раз. 1957, 82, 222; Рыбн. 1961, 72).

Негативно же оценивается прежде всего суровый климат Сибири и её удалённость от Европейской России: *Астрахань далече, а Сибирь и дале того* (Сим., 77; Сн. 1848, 5); *В Сибири триста вёрст не расстояние* (Спир. 1985, 178); *От Сибири до Орла всё наша родня [, а пообедать негде]*. Перм. (Прок. 1988, 95–96). Ср. *От Бондюга до Орла всё наша родня [, а пообедать негде]*, где Орёл – село в Усольском районе Пермской области. Если учесть упоминание о Сибири, то можно предположить, что здесь отражены границы обширных строгановских владений. В то же время, несмотря на удалённость, Сибирь в русском народном сознании не «отторгается» от остальной части России: *И в Сибири наше солнце светит* (Спир. 1985, 130).

Поговорки, основное отличие которых от пословиц заключается в семантической соизмеримости (разумеется, относительной) со словом и категориальной экспрессивности, лишь частично воспроизводят характеристики Сибири, отражённые пословицами. Даже такая логичная для оценки Сибири семантика, четко выраженная в пословицах, как «Удалённость», в поговорках чаще всего диффузна – ср. *за камнем. Байкал*. По эту сторону Яблонового хребта или в восточных его покатосях (в Забайкалье); *идти/пойти в даль*. Перм. (1930). Отравляться на заработки, обычно в Сибирь (СРНГ 7, 270); *Большая дорога*. Сиб. Устар. Сибирский тракт (ФСС, 63); *Ванинская дорога*. Омск. Неодобр. О плохой дальней дороге (СРСГП 1, 84). Ср. также *на языке до Сибири уехать*. Перм. Ирон. (2002). Много рассказать чего-л. невероятного (СРНГ 46, 322); *только и есть два в мире: один здесь – другой в Сибири*. Орл. Ирон. (1901). О чем-л. редком (СРНГ 44, 221); *пробиваться / пробиться по-за огороду*. Сиб. Идти вдоль Алеутских островов. Выражение сибирских мореходов (СРНГ 32, 82) и под.

В то же время поговорками некоторые характеристики отражены достаточно определённо. Таковы суровость климата (смол. *сибирное место* ‘место с суровыми, трудными для жизни условиями’ (СРНГ 37, 266); енис. *день семером ходит* ‘о непостоянстве сибирской погоды’, ‘о чьём-л. непостоянстве’ (СРНГ 7, 354; СФС, 61; ФСС, 58); жарг. шк. *курорт «Сибирские морозы»* ‘библиотека (в которой, как правило, холодно, очень мало читателей, библиотекарь отдыхает)’ (Запись 2003 г.). В некоторых поговорках подчёркивается промысловая специфика занятий сибиряков – например, сбор кедровых орехов: *Сибирский разговор*. Тобол. (1911–1920). Шутливое название щёлканья, лузганья кедровых орехов, которое у сибиряков часто сопровождало беседу или вовсе заменяло её: собеседники как бы «перещёлкивались» между собой, коротая досуг (СРНГ 37, 266). Любопытно, что кедровый промысел настолько популярен в Сибири, что с ним информанты связывают и старое общерусское сравнение *обирать / обобрать кого как белку*. Разг., Волг., Орл. Неодобр. Начисто обобрать кого-л., лишит всех денег: «Объясняют сибирским промыслом кедровых шишек, когда “обдирают” кедры так, что и белкам не остаётся шишек» (Запись

1981, Ленинград; Глухов 1988, 114; Арсентьев КД 2, 141). Известны и поговорки, образованные на основе словосочетаний терминологического типа, в состав которых входит топоним *Сибирь*, например: *Сибирская язва*. 1. *Курган*. Неодобр. (1962). Язвительный человек (СРНГ 37, 266). 2. *Жарг. карт*. Семёрка (игральная карта) (Грачев 1997, 41); *Чтоб тебя сибирка подхватила! Морд. Бран*. Восклицание, выражающее досаду, раздражение, негодование (СРГМ 2002, 45) и под.

Немало поговорок (как это и типично для такого жанра фольклора) характеризуют человека – как сибиряков, так и не жителей Сибири, причём положительная характеристика значительно уступает негативной или шутливо-иронической: алт. *сибирский орёл* ‘О лихом, отважном сибиряке’; *закадычный земляк*. Сиб. Коренной сибиряк, старожил; *белая котомочка*. Енис. Ирон. (1902). Поселенец, переселенец из Европы в Сибири (ФСС, 97; СФС, 21; СРНГ 15, 111); *чалдон желторотый*. Сиб., Том. 1. Презр. О крестьянине-сибиряке (СОСВ, 68; ПСДЯЛ 1, 281). 2. Бран. О человеке, вызывающем гнев, раздражение (Верш. 4, 258); *чалдон синепупый*. Краснояр. Бран. (1974). О коренном жителе Сибири, сибиряке (СРНГ 37, 327); *закалённая чалдонка*. Новосиб. (1969). О настоящей, истинной сибирячке, где *закалённый* – истинный (СРНГ 10, 114); *неотёс сибирский*. Сиб. Грубый невоспитанный человек; *Самоход-лапотон*. Краснояр. О крестьянине, приехавшем в Сибирь по своей воле (без государева указа); *сибирский валенок*. Прост. Ирон. или Пренебр. 1. О глупом, недалёком человеке. 2. О наивном, простодушном человеке (Мокиенко, Никитина 2003, 92; БТС, 110) и под.

Другие поговорочные характеристики, ассоциативно связанные с Сибирью, периферийны и требуют особых комментариев. Ср. также *Чо-почо, паря!* Новосиб. (1971) *Шутл*. Прозвище чалдонов (старожилов Сибири) (СРНГ 25, 251) и *сибирский ездок*. Смол. *Шутл*. (1914). О человеке, не любящем засиживаться дома, где *ездок* – проезжий человек, пассажир (СРНГ 8, 331), тематически близкие к анализируемому кругу поговорок.

Русские устойчивые народные сравнения, так или иначе ассоциирующиеся с Сибирью, немногочисленны. Они в основном концентрируются на шутливо-иронической характеристике человека, ср.: прост. *серый (глупый) как [сибирский] валенок* ‘о крайне глупом, недалёком и невежественном человеке’ (SČF, 258); разг., волг., новг. *тупой как сибирский валенок* ‘об умственно ограниченном, несообразительном человеке’ (Вахитов 2003, 182; НОС 4, 8: 11, 72; НОС 2010, 90; СДГВО 2011, 64); перм. ‘о мягком, уступчивом, покладистом человеке, характере человека’ (Прокошева 1986; ССРГ 2003, 49); новг. *ходить как сибирские пучки* ‘об упитанных, толстых людях’ (где *сибирские пучки* – пельмени) (НОС 9, 70); народн. *глуп как сибирский туес* ‘об очень глупом, тупом человеке’; новосиб. (*бучиться/набучиться*) *как туес (туяс) колыванский в шабуре* ‘о туесе из серой, необработанной бересты, сделанном в Колывани’, ‘о замкнутом, нелюдимом, хмуром человеке’; новосиб. пренебр. *урманские латти* ‘прозвище переселенцев в Сибирь из европейских или южных районов России’ (ФСС,

103; СРНГ 47, 340–341). Ср. также *наесться как двоедан на поминках. Урал. Шутл.-ирон.* Об обильно, до пресыщения наевшемся человеке. Двоеданами на Урале и в Сибири назывались староверы (старообрядцы), поскольку они обязаны были платить двойной налог – «двойную дань» (Бир., 73); *застрячь как палец в квашине где. Народн. Ирон.* О человеке, оставшемся надолго жить где-либо (обычно в отдалённом и глухом месте или маленьком, заброшенном городке). < Употреблено в кинофильме «Сказание о земле Сибирской»).

Некоторые сравнения характеризуют и различные своеобразные детали жизни в Сибири: (*картошка*) *маленькая как сибирское яблочко. Ум. Ирк. Неодобр.* О мелкой картошке (РАСлОлх., 155); *сапогц бутылкой. Сиб.* Род просторной сибирской обуви. (Мих., 771).

Анализируя представленные здесь стереотипные коннотации, отражённые в пословицах, поговорках и народных сравнениях, нельзя не отметить их неоднородности. Представления о Сибири, запечатленные в зеркале малых жанров фольклора, естественно, не следует абсолютизировать, ибо высокая степень коннотативности фразеологии делает соответствующие языковые единицы семантически субъективными. В то же время такая семантическая субъективность позволяет воспроизвести типичные языковые стереотипы, связанные с той необъятной территорией, которой, по словам М.В. Ломоносова, «русское могущество прирастать будет». Включая и могущество родного языка.

Литература

1. *Богораз В.Г.* Областной словарь Колымского русского наречия // Сб. ОРЯС. СПб., 1901. Т. 68, № 4. 346 с. (Раздел «Пословицы». С. 332–333).
2. *Подвысоцкий А.О.* Словарь областного архангельского наречия. Собрал на месте и составил Александр Подвысоцкий. СПб., 1885. 198 с.
3. *Словарь русских народных говоров* / под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова, С.А. Мызникова. Л.; СПб., 1965–2016. Вып. 1–49. (издание продолжается).
4. *Полный словарь сибирского говора* / под ред. О.И. Блиновой. Томск, 1992. Т. 1: А–З. 287 с.; Т. 2: И–О. 1993. 302 с.; Т. 3: П–Р. 1995. 224 с.; Т. 4: С–Я. 1995. 285 с.
5. *Словарь русских говоров Сибири* / под ред. А.И. Федорова; сост. Н.Т. Бухарева, А.И. Федоров. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999–2006. Т. 1–5.
6. *Вершининский словарь*. Т. 1–7 / гл. ред. О.И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998–2002 (Т. 1: А–В. 1998); Т. 2: Г–З. 1999; Т. 3: И–М. 2000; Т. 4: Н–О. 2001; Т. 5: П. 2001; Т. 6: Р–С. 2002; Т. 7: Т–Я. 2002).
7. *Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья*. Т. 1–3 (Т. 1: А–З. 227 с.; Т. 2: И–О. 244 с.; Т. 3: П–Я. 357 с. / под ред. Г.А. Садретдиновой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1992–1993).
8. *Полный словарь диалектной языковой личности* / авт.-сост. О.И. Гордеева, Л.Г. Гынгазова, Е.В. Иванцова и др.; под ред. Е.В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. Т. 1: А–З. 358 с.; 2007. Т. 2: И–О. 338 с.; 2009. Т. 3: П–Р. 324 с.; 2012. Т. 4: С–Я. 366 с.
9. *Словарь русских говоров Алтая*. Т. 1–4 / под ред. И.А. Воробьёвой, А.И. Ивановой. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1993–1998.
10. *Среднеобский словарь: Дополнение* / под ред. В.В. Палагиной. Томск, 1983. Ч. 1: А–К. 178 с.; Ч. 2: Л–Я. 1986. 212 с.

11. *Словарь русских говоров Прибайкалья*. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1986–1989. Вып. 1–4.
12. *Элиасов Л.Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М. : Наука, 1980. 472 с.
13. *Словарь русских говоров Приамурья* / отв. ред. Ф.П. Филин. М. : Наука, 1983. 341 с.
14. *Словарь русских говоров Новосибирской области* / под ред. А.И. Федорова. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1979. 605 с.
15. *Словарь русских говоров северных районов Красноярского края*. Красноярск : Изд-во КГПИ, 1992. 348 с.
16. *Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в.* / сост. Л.Г. Панин ; отв. ред. В.В. Палагина, К.А. Тимофеев. Новосибирск : Наука, 1991. 181 с.
17. *Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья* / ред. О.И. Блинова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1975. 182 с.
18. *Чикачев А.Г.* Русские на Индигирке: Историко-этнографический очерк / отв. ред. А.И. Федоров. Новосибирск : Наука, 1990. 188 с.
19. *Аникин А.Е.* Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Новосибирск : Наука, 1997. 774 с.
20. *Ройзензон Л.И., Андреева Л.А.* Словарь русской диалектной фразеологии Ольхонского района Иркутской области // Вопросы фразеологии. 1972. Вып. 6. С. 114–204.
21. *Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири* / сост. Н.Т. Бухарева, А.И. Федоров. Новосибирск : Наука, 1972. 207 с.
22. *Фразеологический словарь русских говоров Сибири* / сост. Л.Г. Панин, Л.В. Петропавловская, А.И. Постнова, А.И. Федоров ; под ред. А.И. Федорова. Новосибирск : Наука, 1983. 232 с.
23. *Пащенко В.А.* Материалы к словарю фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Читинской области. Ч. 1–4. 1999–2004.
24. *Пащенко В.А.* Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Забайкальского края / под науч. ред. Т.Ю. Игнатович. 2-е изд., испр. и доп. Чита : Забайкал. гос. ун-т, 2015. 484 с.
25. *Пахотина Н.К.* Опыт исследования фразеологической деривации (на материале ошинских говоров Омской области) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973. 17 с.
26. *Фразеологический словарь русских говоров Прибайкалья*: ок. 2 000 единиц / сост. С.С. Аксенова, Н.Г. Баканова, Н.А. Смолякова ; науч. ред. Н.Г. Баканова. Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2006. 296 с.
27. *Фразеологический словарь русских говоров Приамурья* / авт.-сост. Л.В. Кирпикова, Н.П. Шенкевич. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2009. 155 с.
28. *Блинова О.И., Мартынова С.Э., Юрина Е.А.* Словарь образных слов и выражений народного говора / под ред. О.И. Блиновой. 2-е изд. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. 312 с.
29. *Словарь образных единиц сибирского говора* / авт.-сост. О.И. Блинова, М.А. Толстова, Е.А. Юрина ; под ред. О.И. Блиновой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. 220 с.
30. *Соколова М.И.* Народная мудрость: Пословицы и поговорки. Новосибирск : Офсет, 2009. 622 с.
31. *Пахотина Н.К.* Опыт исследования фразеологической деривации (на материале ошинских говоров Омской области) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973. 17 с.
32. *Федоров А.И.* Развитие русской фразеологии в конце XVIII – начале XIX в. Новосибирск : Наука, 1973. 172 с.
33. *Федоров А.И.* Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск : Наука, 1980. 192 с.

33. Мокиенко В.М. Принципы ларинской лексикографии в трехтомном «Большом словаре пословиц, поговорок и сравнений русского языка» // Актуальные проблемы русистики: язык и мир в зеркале словаря : программа и тезисы Междунар. науч. конф., посвящ. юбилею доктора филол. наук, профессора кафедры русского языка ТГУ, академика МАН ВШ О.И. Блиновой. Томск, 2010. С. 36–37.

34. Мокиенко В.М. Мотивация демотивируемого: проблемы анализа внутренней формы фразеологии // Актуальные проблемы мотивологии в лингвистике XXI в.: По материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию Томской школы русистики / под ред. О.И. Блиновой. Томск, 2012. С. 40–50.

35. Мокиенко В.М. Принципы ларинской лексикографии в трехтомном большом словаре пословиц, поговорок и сравнений русского языка // Вопросы лексикографии. 2012. № 1. С. 70–84.

36. Мокиенко В.М. Социолекты в зеркале лексикографии // Вопросы лексикографии. 2013. № 2 (4). С. 76–93.

37. Мокиенко В.М. Томские сравнительные обороты в «Большом словаре русских народных сравнений» (опыт ареальной характеристики) // Вопросы лексикографии. 2015. № 2 (8). С. 65–81.

38. Блинова О.И. Мотивология и её аспекты. 3-е изд., испр. и доп. М. : УРСС, КРА-САНД, 2010. 304 с.

39. Прокошева К.Н. Материалы для фразеологического словаря говоров северного Прикамья. Пермь : Перм. пед. ин-т, 1972. 114 с.

40. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок: более 40 000 образных выражений / под общ. ред. В.М. Мокиенко. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 784 с.

41. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских сравнений: более 45 000 образных выражений / под общ. ред. В.М. Мокиенко. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 800 с.

42. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских пословиц: около 70 000 пословиц / под общ. ред. В.М. Мокиенко. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. 1024 с.

43. Трахтенберг В.Ф. Блатная музыка («Жаргон» тюрьмы) / И.А. Бодуэн де Куртене (ред., предисл.). СПб., 1908. 116 с.

SIBERIA IN THE SMALL GENRES OF RUSSIAN FOLKLORE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 48–60. DOI: 10.17223/19986645/53/4

Valerij M. Mokienko, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: mokienko40@mail.ru

Keywords: small genres of folklore, proverbs, sayings, folk comparisons, language picture of the world of Siberia, dialectology, dialectography.

The article proposes an analysis of proverbs, sayings and set folk comparisons reflecting concepts about Siberia, captured by the Russian colloquial language and its dialects. Each of these types of small folklore has its own structural and semantic specifics, which imposes an imprint on the picture of the “Siberian world”. Proverbs characterize both the positive (characteristic of the wealth of the interior and the nature of Siberia, the courage of the Siberians, etc.), and negative (severe climate, distance from the mainland Russia, Siberia as the place of exile, etc.) stereotypes. Proverbs reproduce the characteristics of Siberia more diffusely, but no less vividly, especially focusing on the characterization of people – both Siberians and non-Siberian inhabitants, and positive features are much more inferior to the negative or playful-ironic ones. Set folk comparisons associated with Siberia are few, and also mainly concentrate on the playful-ironic characterization of people.

The expressive and evaluative semantics of paremiology relating to Siberia depends not only and not so much on the component composition of the corresponding linguistic units but on the linguistic features of the latter. Three types of fixed units of small Russian folklore found a specialized and maximally complete description in *A Big Dictionary of Russian Sayings* (edited by V.M. Mokienko and T.G. Nikitina), *A Big Dictionary of Russian Comparisons* (edited by V.M. Mokienko and T.G. Nikitina) and *A Big Dictionary of Russian Proverbs* (edited by V.M. Mokienko, T.G. Nikitina and E.K. Nikolaeva). In compiling these lexicographic collections of Russian paremiology, the authors consistently took into account the structural and semantic specificity of each of these three types of paremias. The main purpose of this dictionary was, in the spirit of the Larin School of Lexicography, the most complete and source-specific description of Russian proverbs, sayings and folk comparisons. At the same time, the areal characteristics of each described unit were marked with a scrupulously accurate and detailed reference to the source of the material. Materials of the Siberian folk dialects in this dictionary occupy a special place, for they have received a thorough lexicographic description.

Representations of Siberia, imprinted in the mirror of small folklore, should not be naturally absolutized, for the high degree of connotation of phraseology makes the corresponding linguistic units semantically subjective. At the same time, such semantic subjectivity allows reproducing typical language stereotypes associated with the vast territory, which helped “Russian power to grow” (M.V. Lomonosov), including the power of the native language.

References

1. Bogoraz, V.G. (1901) Oblastnoy slovar' Kolymkogo russkogo narechiya [Regional Dictionary of the Kolyma Russian dialect]. *Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk (Sb. ORYaS)*. 68:4. pp. 332–333.
2. Podvysotskiy, A.O. (1885) *Slovar' oblastnogo arkhangel'skogo narechiya. Sobral na meste i sostavil Aleksandr Podvysotskiy* [Dictionary of the regional Arkhangelsk dialect. Collected and compiled by Alexander Podvysotskiy]. St. Petersburg: Tip. Akad. nauk.
3. Filin, F.P., Sorokoletov, F.P. & Myzhikov, S.A. (eds) (1965–2016) *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Is. 1–49. Leningrad; St. Petersburg: Nauka. (cont.).
4. Blinova, O.I. (ed.) (1992–1995) *Polnyy slovar' sibirskogo govora* [A complete dictionary of the Siberian dialect]. Vols 1–4. Tomsk: Tomsk State University.
5. Fedorov, A.I. (ed.) (1999–2006) *Slovar' russkikh govorov Sibiri* [Dictionary of Russian dialects of Siberia]. Vols 1–5. Novosibirsk: Nauka.
6. Blinova, O.I. (ed.) (1998–2002) *Vershininskiy slovar'* [The Vershinina Dictionary]. Vols 1–7. Tomsk: Tomsk State University.
7. Sadretdinova, G.A. (ed.) (1992–1993) *Slovar' russkikh starozhil'cheskikh govorov Srednego Priirtysh'ya* [Dictionary of Russian old-timers dialects of the Middle Irtysh]. Vols 1–3. Tomsk: Tomsk State University.
8. Ivantsova, E.V. (ed.) (2006–2012) *Polnyy slovar' dialektnoy yazykovoy lichnosti* [A complete dictionary of the dialect language personality]. Vols 1–4. Tomsk: Tomsk State University.
9. Vorob'yova, I.A. & Ivanova, A.I. (eds) (1993–1998) *Slovar' russkikh govorov Altaya* [Dictionary of Russian dialects of Altai]. Vols 1–4. Barnaul: Altai State University.
10. Palagina, V.V. (ed.) (1982–1986) *Sredneobskiy slovar': Dopolnenie* [The Middle Ob Dictionary: Supplement]. In 2 parts. Tomsk: Tomsk State University.
11. Arutyunyan, M.L. et al. (1986–1989) *Slovar' russkikh govorov Pribaykal'ya* [Dictionary of Russian dialects of the Baikal region]. Vols 1–4. Irkutsk: Irkutsk State University.
12. Eliasov, L.E. (1980) *Slovar' russkikh govorov Zabaykal'ya* [Dictionary of Russian dialects of Transbaikalia]. Moscow: Nauka.

13. Filin, F.P. (ed.) (1983) *Slovar' russkikh govorov Priamur'ya* [Dictionary of Russian dialects of the Amur region]. Moscow: Nauka.
14. Fedorov, A.I. (ed.) (1979) *Slovar' russkikh govorov Novosibirskoy oblasti* [Dictionary of Russian dialects of Novosibirsk Oblast]. Novosibirsk: Nauka.
15. Bebrish, V.V. (ed.) *Slovar' russkikh govorov severnykh rayonov Krasnoyarskogo kraja* [Dictionary of Russian dialects of the northern regions of Krasnoyarsk Krai]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical Institute.
16. Panin, L.G. (1991) *Slovar' russkoy narodno-dialektnoy rechi v Sibiri XVII – pervoy poloviny XVIII v.* [Dictionary of Russian folk dialect speech in Siberia in the 17th – first half of the 18th centuries]. Novosibirsk: Nauka.
17. Blinova, O.I. (ed.) (1975) *Slovar' prostorechiy russkikh govorov Srednego Priob'ya* [Dictionary of the vernacular of Russian dialects of the Middle Ob region]. Tomsk: Tomsk State University.
18. Chikachev, A.G. (1990) *Russkie na Indigirke: Istoriko-etnograficheskiy ocherk* [Russians on the Indigirka: A historical and ethnographic essay]. Novosibirsk: Nauka.
19. Anikin, A.E. (1997) *Etimologicheskii slovar' russkikh dialektov Sibiri: Zaimstvovaniya iz ural'skikh, altayskikh i paleoaziatskikh yazykov* [Etymological dictionary of Russian dialects of Siberia: Borrowings from the Uralic, Altaic and Paleo-Asiatic languages]. Novosibirsk: Nauka.
20. Royzenzon, L.I. & Andreeva, L.A. (1972) *Slovar' russkoy dialektnoy frazeologii Ol'khonskogo rayona Irkutskoy oblasti* [Dictionary of Russian dialectal phraseology of the Olkhon District of Irkutsk Oblast]. *Voprosy frazeologii*. 6. pp. 114–204.
21. Bukhareva, N.T. & Fedorov, A.I. (eds) (1972) *Slovar' frazeologizmov i inykh ustoychivyykh slovosochetaniy russkikh govorov Sibiri* [Dictionary of phraseological units and other set phrases of Russian dialects of Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
22. Fedorov, A.I. (ed.) (1983) *Frazeologicheskii slovar' russkikh govorov Sibiri* [Phraseological dictionary of Russian dialects of Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
23. Pashchenko, V.A. (1999–2004) *Materialy k slovaryu frazeologizmov i inykh ustoychivyykh sochetaniy Chitinskoy oblasti* [Materials to the dictionary of phraseological units and other set phrases of Chita Oblast]. Parts 1–4. Chita: ZabGGPU.
24. Pashchenko, V.A. (2015) *Slovar' frazeologizmov i inykh ustoychivyykh sochetaniy Zabaykal'skogo kraja* [Dictionary of phraseological units and other set phrases of Zabaykalsky Krai]. 2nd ed. Chita: Transbaikal State University.
25. Aksenova, S.S., Bakanova, N.G. & Smolyakova, N.A. (eds) (2006) *Frazeologicheskii slovar' russkikh govorov Pribaykal'ya: ok. 2 000 edinits* [Phraseological dictionary of Russian dialects of the Baikal region: approx. 2,000 units]. Irkutsk: Irkutsk State University.
26. Kirpikova, L.V. & Shenkevich, N.P. (eds) (2009) *Frazeologicheskii slovar' russkikh govorov Priamur'ya* [Phraseological Dictionary of Russian dialects of the Amur region]. Blagoveshchensk: Blagoveshchensk State Pedagogical University.
27. Blinova, O.I., Martynova, S.E. & Yurina, E.A. (2001) *Slovar' obraznykh slov i vyrazheniy narodnogo govora* [Dictionary of figurative words and expressions of folk dialects]. 2nd ed. Tomsk: Tomsk State University.
28. Blinova, O.I. (ed.) (2014) *Slovar' obraznykh edinits sibirskogo govora* [Dictionary of figurative units of the Siberian dialect]. Tomsk: Tomsk State University.
29. Sokolova, M.I. (2009) *Narodnaya mudrost': Poslovitsy i pogovorki* [Folk wisdom: Proverbs and sayings]. Novosibirsk: Ofset.
30. Pakhotina, N.K. (1973) *Opyt issledovaniya frazeologicheskoy derivatsii (na materiale oshinskikh govorov Omskoy oblasti)* [Experience in the study of phraseological derivation (on the basis of the Oshinsk dialects of Omsk Oblast)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
31. Fedorov, A.I. (1973) *Razvitie russkoy frazeologii v kontse XVIII – nachale XIX v.* [The development of Russian phraseology in the late eighteenth and early nineteenth centuries]. Novosibirsk: Nauka.

32. Fedorov, A.I. (1980) *Sibirskaya dialektnaya frazeologiya* [Siberian dialect phraseology]. Novosibirsk: Nauka.
33. Mokienko, V.M. (2010) [Principles of the Larin lexicography in the three-volume "Big Dictionary of Proverbs, Sayings and Comparisons of the Russian Language"]. *Aktual'nye problemy rusistiki: yazyk i mir v zerkale slovarya* [Topical problems of Russian studies: language and world in the mirror of the dictionary]. Proceedings of the international conference. Tomsk: Tomsk State University. pp. 36–37. (In Russian).
34. Mokienko, V.M. (2012) Motivatsiya demotiviruemogo: problemy analiza vnutrenney formy frazeologii [Motivation of the demotivated: the problems of analysis of the internal form of phraseology]. In: Blinova, O.I. (ed.) *Aktual'nye problemy motivologii v lingvistike XXI v.* [Topical problems of motivology in the linguistics of the 21st century]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 40–50.
35. Mokienko, V.M. (2012) Principles of Larin's lexicography in the three-volume Big Dictionary of Proverbs, Sayings and Similes of the Russian Language. *Voprosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography*. 1. pp. 70–84. (In Russian).
36. Mokienko, V.M. (2013) Sociolects in the mirror of lexicography. *Voprosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography*. 2 (4). pp. 76–93. (In Russian).
37. Mokienko, V.M. (2015) Tomsk Comparative constructions in the Big Dictionary of Russian Folk Comparisons (experience of areal description). *Voprosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography*. 2 (8). pp. 65–81. (In Russian). DOI: 10.17223/22274200/8/4
38. Blinova, O.I. (2010) *Motivologiya i eyo aspekty* [Motivology and its aspects]. 3rd ed. Moscow: URSS, KRASAND.
39. Prokosheva, K.N. (1972) *Materialy dlya frazeologicheskogo slovarya govorov severnogo Prikam'ya* [Materials for the phraseological dictionary of dialects of the northern Kama region]. Perm: Perm State Pedagogical Institute.
40. Mokienko, V.M. & Nikitina, T.G. (2008) *Bol'shoy slovar' russkikh pogovorok: bolee 40 000 obraznykh vyrazheniy* [A big dictionary of Russian sayings: more than 40,000 figurative expressions]. Moscow: OLMA Media Grupp.
41. Mokienko, V.M. & Nikitina, T.G. (2008) *Bol'shoy slovar' russkikh sravneniy: bolee 45 000 obraznykh vyrazheniy* [A big dictionary of Russian comparisons: more than 45,000 figurative expressions]. Moscow: OLMA Media Grupp.
42. Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. & Nikolaeva, E.K. (2010) *Bol'shoy slovar' russkikh poslovits: okolo 70 000 poslovits* [A big dictionary of Russian proverbs: about 70,000 proverbs]. Moscow: OLMA Media Grupp.
43. Trakhtenberg, V.F. (1908) *Blatnaya muzyka ("Zhargon" tyur'my)* [The rogue music ("Jargon" of the prison)]. St. Petersburg: Tipografiya A.G. Rozena.

УДК 81.114.2:366.543:367.4:367.7:367.332.3:811.161.1
DOI: 10.17223/19986645/53/5

Б.Ю. Норман

«НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ» ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИ РУССКОМ ГЛАГОЛЕ¹

Объектом статьи являются высказывания в русском языке, в которых присутствие дополнения в дательном падеже не вытекает из семантики предиката и не предусмотрено структурой синтаксической модели. Даются две возможные интерпретации этого феномена: через развитие у глагола вторичного (переносного) значения и через семантико-синтаксические преобразования фразы (контаминацию моделей). Оба механизма, взаимодействующие в речевой деятельности говорящего, позволяют воплотить сложные семантические структуры в компактных речевых единицах.

Ключевые слова: глагол, валентность, дательный падеж, высказывание, семантическая роль, лексическое значение, контаминация, интерпретация.

Нас путает синтаксис. Все именительные падежи следует заменить указующими направлением дательными.

О. Мандельштам. Разговор о Данте

В книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» приводится такой обмен репликами:

– Ну, Ньюра, довольно, не плачь!

– Я плачу не тебе, а тете Симе!

Этот диалог всегда забавлял нас, потому что мы видели в нем проявление наивной детской психологии. Плач как естественное для человека выражение отрицательной эмоции (огорчения, обиды, расстройства), оказывается, может иметь своего адресата. И маленькая девочка ведет себя как опытная актриса, адресуя свои слезы конкретному зрителю.

Но с лингвистических позиций выражение *плакать кому-либо* заслуживает специального внимания и выводит нас на особые случаи употребления в текстах имени в дательном падеже.

Дательный падеж – один из самых редких в русской речи. В разговорной речи он делит последние по употребительности места с творительным и предложным, а в научных и политических текстах доля его вообще крайне мала. Его частотность там «сокращается медленно, но неуклонно» и к середине прошлого века уже опустилась до 3–6% [1. С. 51, 57]. Это, естественно, ставит вопрос о функциональном диапазоне данного падежа и

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16–18–02005).

о том сегменте, который соответствующие семантические операторы (актанты) занимают в речемыслительной деятельности.

В известной работе Р. Якобсона «*Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre*» дательный отнесен к периферийным падежам: он, по словам ученого, «указывает на периферийное положение предмета... и на подверженность предмета действию» [2. С. 157]. И в несколько более поздней статье Е. Куриловича поддерживается точка зрения на дательный падеж как на обстоятельственный, «конкретный», в противопоставлении падежам грамматическим – номинативу, аккузативу, генетиву [3. С. 183–184]. Любопытно, что чешский автор И. Заичкова не соглашается с такими квалификациями и показывает, что для беспредложного дательного в русском языке «грамматическая функция приобретает все большее значение» [4. С. 77].

С тех пор как в середине XX в. семантический синтаксис оформился в отдельное направление лингвистической науки, одной из основных его проблем стало исчисление семантических функций (ролей), реализующихся у человека в ходе речемыслительной деятельности. Эти функции имеют у разных авторов разное терминологическое обозначение и выделяются с разной степенью дробности; поэтому и количество их различно.

Основные функции беспредложного дательного падежа в русских текстах можно сгруппировать следующим образом.

А. Адресат действия, или его Получатель. Наличие такого актанта типично для глаголов речи, передачи информации: *говорить, отвечать, обещать, возражать, объяснять, рассказывать, напоминать, завещать, грубить* и др. – рядом с каждым из них можно (и даже нужно) подставить «кому». Данная позиция заполняется преимущественно существительными и местоимениями, обозначающими живое существо: *Петру, моей сестре, тебе, всем вам*. Это свободная синтаксема, по Г.А. Золотовой [5. С. 5], т.е. она может выступать и в качестве автономного высказывания (заголовка, посвящения и т.п.). Некоторые авторы говорят об Адресате, когда речь идет об информации, о Получателе, если речь идет о предмете, и о Бенефицианте – «участнике действия, не направленного непосредственно на него, но такого, от которого он может получить пользу или пострадать» [6. С. 372]. Заметим, что в принципе Получатель и Бенефициант могут представлять различных лиц (ср.: *Я принес Петру книгу для Маши*), но чаще одно и то же лицо совмещает в себе эти две роли: *принести книгу Петру = принести книгу для Петра*.

Детализация ролей здесь может быть и еще более дробная. Так, А. Муштайки в рамках обобщенной семантической роли Реципиента («актанта, который что-то получает или в пользу которого что-то делается») допускает наличие подтипов Получателя, Слушающего, Предполагаемого получателя и Бенефицианта [7. С. 168–173]. Четыре подтипа различает и М.В. Всеволодова среди «адресатных ролей»: это собственно Адресат (получатель информации), Реципиент (получатель материального объекта), Бенефициант (заинтересованное лицо, получающее в результате моральную или материальную выгоду или ущерб) и Дестинатив-1 (лицо или предмет, которому что-то предназначается) [8. С. 145–146]. Но главное –

все эти смежные семантические роли могут быть выражены в русском языке дательным падежом!

Б. Субъект состояния. Это обусловленная синтаксема, выступающая при некоторых глаголах или предикативах, обозначающих психическое (ментальное, сенситивное, эмоциональное) или физическое состояние: *Маше послышался звонок; Старику не спится; Нам не до смеха; Доброе слово и кошке приятно; Мне грустно потому, что весело тебе* и т.п. (Другое название для этой семантической роли – Экспериенсер.) Естественно, и здесь в форме датива обычно выступают названия живых существ. И даже если актант в дательном падеже здесь опущен, он все равно имплицитно присутствует (*Не спится*) или же выражается иной, замещающей формой (*Здесь холодно*). Вообще имени в дательном падеже, выполняющему роль семантического субъекта, синтаксисты уделяют в последнее время особое внимание. Возникает даже зонтичный термин «дативные предложения» [9, 10].

В. «Субъект потенциального действия, бытия» [5. С. 118]. Само же «предсказуемое» действие или состояние выражается при этом обычно инфинитивом: *Нам рано вставать; Ирине в четверг дежурить; Не догнать тебе бешеной тройки; Я знаю – саду цвести*. Некоторые авторы находят в подобных оборотах «сопряженную» семантическую роль «Субъект действия / адресат (косвенный объект)» [11. С. 168–169]. Смысловый диапазон таких инфинитивных предложений весьма широк: это наказ, пожелание, предположение, возможность, необходимость, неизбежность и т.п. Ю.Д. Апресян, комментируя конструкции типа *Саду цвести* или *Вам не видать таких сражений*, пишет, что они характеризуются «определенной модальной рамкой. Ее можно сформулировать следующим образом: «Говорящий убежден в неизбежности события». Если такое высказывание касается не говорящего, а адресата или третьего лица, оно приобретает силу предсказания» [12. С. 143]. А. Вежицкая описывает эти конструкции следующим образом: «Одни передают значение ‘беспомощного хотения’, другие – значение ‘бессильного желания или неясного предчувствия’, третьи – ‘обязанности’, четвертые говорят о бесплодных раскаяниях или сожалениях, пятые – о необходимости» [13. С. 358]. И хотя сама Вежицкая старается разграничить в общих чертах «предложения обязанности» и «предложения необходимости», понятно, что развести частные случаи, вроде «беспомощного хотения» и «бессильного желания» – крайне трудно. Ирреальная модальность представляет собой некий континуум, при определенных дискурсивных условиях выгодный для носителя языка [14. С. 313–315]. Так, для стихотворных текстов подобная семантическая «размытость» вполне естественна, ср.:

Листьям последним шуршать!

Мыслям последним томиться!

Я не хотела мешать

Тому, кто привык веселиться.

А. Ахматова. Обман

Г. **Второй участник ситуации (отношения).** Г.А. Золотова именует его «отправным предметом сопоставления» и, в другом месте, «коррелятивом» [5. С. 121–123, 431]. Данная функция встречается при таких глаголах, как рус. *соответствовать, противоречить, мешать, подходить, сопутствовать, способствовать, потворствовать, завидовать, поддаваться, уподобляться, равняться, причащаться, подражать, предшествовать* и др. Ю.Д. Апресян в рамках такого второго участника ситуации различает роли Контрагента (при активных отношениях) и Объекта² (при пассивных, ничего не меняющих отношениях) [6. С. 373–374]. Но разграничить их на практике не всегда легко, ср. примеры: *Вадик подражает старшему брату; Сосед изменяет жене; Шум мешает работе; Учебе сопутствуют трудности; Ей идут шляпки; Факты не поддаются объяснению* и т.п. Активность или пассивность участника, так же как степень его «изменчивости», неочевидна.

Д. **Посессор, т.е. субъект обладания** (по отношению к предметам, составляющим личную сферу: частям тела, одежде и т.п.). Это совершенно естественная ситуация при глаголах *трогать, крутить, гладить, мыть, целовать, чесать, ломать, разорвать* и т.п.: глагольное действие направлено на некоторый объект, а актант в дательном падеже называет человека или животное – «хозяина» этого объекта. Примеры: *Осторожно, ты сломаешь ребенку ножку; Кавалер поцеловал даме руку; Сестра погладила ему плечо; Пришей мне пуговицу*. Причем это не то же самое соотношение, какое имеет место между целым и частью. (Нельзя сказать по-русски: **Осторожно, ты сломаешь вазе ножку* или **Сестра погладила рубашке воротник*.)

Уже из краткого комментария к перечисленным пяти основным функциям видно, что каждая семантическая роль предъявляет свои требования к лексической семантике слов, заполняющих соответствующую позицию. Чаще всего для дательного падежа существительного это обозначение человека и вообще живого существа. Именно соблюдение или несоблюдение данного условия позволяет нам оценивать приведенные выше примеры как вполне узуальные, соответствующие языковой норме, а нижеследующие – как окказиональные, представляющие собой речевой креатив. Разумеется, дательный падеж и в них исправно выполняет свои функции, но отсутствие изосемии между грамматическим и лексическим значением обращает на себя внимание читателя и заставляет подозревать тут особые прагматические сверхзадачи.

– **Пище** вариться некогда, – сказал Шумилин. – Пора уж на партсобрание идти... (А. Платонов. Чевенгур).

Ключ не слушался меня.

– Ну, ну, спокойней, – сказал я **ключу**, – спокойнее, говорю я тебе. Все в порядке (Л. Зорин. Старая рукопись).

Огурцу больно и обидно, когда его надкусывают (Ю. Казарин. Культура поэзии).

Осенняя печаль –
Теперь **пылать** печам

И в проруби **позвякивать** ведру...

Ю. Левитанский. За летом листопад

Встрече идет густой снег.

Разлуке к лицу свирепый ветер.

В. Павлова. Письма в соседнюю комнату

Современная лингвистическая теория требует различать валентность семантическую и синтаксическую [15. С. 140–142]. Однако между собой они определенным образом связаны. В частности, можно считать, что обязательный объект при глаголе есть не просто его формальный (синтаксический) признак, но, по сути, проявление его семантики. Тогда ничего удивительного нет в том, что наличие или отсутствие имени в дательном падеже при глаголе уточняет, детализирует значение последнего. Достаточно сравнить особенности синтаксического поведения у некоторых лексико-семантических вариантов многозначных русских глаголов – и мы сразу оценим этот важный дифференциальный признак. ср.:

*следовать*₁ (в Москву) и *следовать*₂ (советам);

*выговаривать*₁ (звуки) и *выговаривать*₂ (подчиненному);

*мешать*₁ (кашу) и *мешать*₂ (прогрессу);

*служить*₁ (поваром) и *служить*₂ (интересам);

*звонить*₁ (в колокола) и *звонить*₂ (другу).

Если глагол, для которого управление дательным падежом не характерно, все же появляется в тексте именно с таким синтаксическим партнером, то проще всего объяснить подобный синтаксический окказионализм сдвигом в лексической семантике глагола. Приведем несколько примеров с соответствующим комментарием:

В следующем году Демьян Бедный писал для радио пьесу «Утильбогатырь», и я **ему** консультировал (М. Ройзман. Все, что помню о Есенине).

Здесь *консультировать кому-то* появляется по аналогии с *помогать кому-то*, *содействовать кому-то*, *давать советы кому-то* и т.п. Возможно, *консультировать кому-то* воспринимается читателем как оказание более мелких услуг, чем те, которые имелись бы в виду в случае *консультировать кого-то* (ибо там, в сочетании с прямым объектом, ощущалась бы связь с *опекать*, *поддерживать*, *направлять* и т.п.).

– Почему Москва, а не Ленинград? – спросил Николай Иванович и рассердился **своему вопросу**: не все ли ему равно, где будет жить Саня! (Б. Золотарев. Простое окончание).

Рассердиться можно на *кого-либо* или *что-либо*, именно такой тип управления фиксируют толковые словари русского языка. Но за словосочетанием *рассердился своему вопросу* явно просматривается влияние другого глагола: *удивиться (чему)*. Выходит, Николай Иванович сам от себя не ожидал такого вопроса, потому и остался собою недоволен...

Например, вчера он, можно сказать, смягкотельничал **плановичке** отпуск в летний период (М. Андраша. Воспоминания бывшего ребенка).

Неологизм *смягкотельничать* означает «проявить мягкотелость»; никаких объектных характеристик языковая система у него не предусматривает. Но *смягкотельничать кому-то что-то* проецируется в сознании носителя языка на большую группу русских глаголов – *устроить, предоставить, разрешить, выделить* и т. п., действие которых как раз предполагает наличие адресата.

...Но прошлое возьмет и сквозь приятельство
подсунет его давнее предательство,
и пакостно от этой старой новости.
А я забыл **ему**.
Я поздоровался.

Е. Евтушенко. Прошлое

Забыл ему – это как *простил ему*: явный случай влияния семантики парадигматически близкого глагола. Вместе с тем можно говорить о том, что в сочетании с дательным дополнением у *забыть* появляется особый оттенок, «наводящийся» не названным, но подразумеваемым *простить*.

Все рассмотренные примеры можно трактовать как проявления формального выравнивания по аналогии, уходящего корнями в общий принцип языковой системности: «Одно значение – одна форма». Глагол, окказионально или узуально переходя из одной лексико-семантической группы в другую, принимает на новом месте и синтаксические условия употребления, характерные для новой группы.

Однако достаточно ли предложенного объяснения для всех случаев появления в высказывании объекта в дательном падеже, не вытекающего из семантики предиката? Некоторые примеры заставляют усомниться в силе такой «лексико-семантической» интерпретации. И для них больше подходит другое объяснение – апелляция к процессам семантико-синтаксических преобразований, происходящих в сознании говорящего. Возьмем для начала пример:

Я учился **траве**, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
А. Гарковский. Я учился траве...

Учиться можно музыке, русскому языку, столярному делу и т.д. – это значит ‘набираться знаний’, приобщаться к некоторой интеллектуальной сфере. А *траву* как природный объект можно изучать, исследовать. *Учиться* и *изучать* различаются не столько составом своих лексических сем, сколько особенностями синтаксического поведения. И в высказывании *Я учился траве* можно усмотреть смешение этих особенностей: *учиться чему-то* (например, *музыке*) и *изучать что-то* (например, *траву*).

Еще один пример.

Вот тогда я и скажу: «Товарищ Буденный, позвольте **вам** познакомить моего друга Василия Семеновича Зыкова...» (Л. Пантелеев. Зеленые береты).

В контексте просторечия («мово друга») сочетание *позвольте вам познакомить* воспринимается как случайная оговорка или же непровольная контаминация из *позвольте вам представить* и *позвольте вас познакомить* с... Но понятно, что в глубине данного речевого сбоя лежит взаимодействие разных единиц языковой системы, и дательный падеж – «след» другой конструкции.

Как возникают такие казусы? Дело в том, что говорящий в процессе речевой деятельности пользуется определенной свободой, и синтаксическая модель в его устах (или «под его пером») может претерпевать какие-то изменения: одни актанты, образующие ее состав, могут опускаться (элиминироваться, не реализовываться), другие, наоборот, примысливаться, «наводиться» извне, появляться уже в ходе реализации модели говорящим. Данное явление, кроме практических интерпретационных аспектов, обращивается и серьезным методологическим вопросом: сохраняет ли в таком случае синтаксическая модель идентичность самой себе?

Т.Б. Радбиль среди разнообразных языковых аномалий находит место и для «избыточной валентности». Он показывает, что примеры типа *Я теперь скоро умру к тебе* «могут возникать в результате контаминации», из сложения более простых фраз *Я скоро умру* и *Я скоро уйду к тебе* [16. С. 340]. Но заметим, что смешение синтаксических моделей наступает именно в ходе речепроизводства, поэтому такую аномалию правильнее было бы считать не языковой, а речевой.

В данном случае мы обратим внимание именно на те случаи, когда синтаксический объект, представленный в высказывании именем в беспредложном дательном падеже, не зависит от сочетаемостных (валентностных) свойств глагола. Он как бы навязывается этому глаголу со стороны. Назовем такой датив *необязательным* или *избыточным*. Примеры:

...Лосев вынес вопрос на исполком, привлек депутатов и показал, что больница никакая не передовая, а невозможная для пребывания. Молодежь сняла **ему** фильм, где были плесень и подтёки на стенах, вросшие в землю бывшие конюшни, холод в палатах... (Д. Гранин. Картина).

Фильм снимают, имея в виду будущего зрителя. Но это – отдаленная перспектива. В данном же случае фильм снимался для конкретного человека, в его интересах, даже, может быть, по его заказу. И смысл фразы *Молодежь сняла ему фильм* – это ‘молодежь сняла фильм + фильм был предназначен ему (для него)’.

Луна вмёрзла в тонкое облако, смотрит из-под льдины. Звезда молчит **звезде** (М. Шишкин. Венерин волос).

Ситуация молчания, конечно, может быть адресована кому-то (как знак обиды, равнодушия, непонимания и т.п.). А о том, что звезда в принципе

способна «говорить», просвещенному читателю может напомнить аллюзия с лермонтовской строкой *И звезда с звездою говорит*. Но в принципе молчание – «плохой» знак: оно амбивалентно, а в обычном случае не несет в себе никакой семиотической подоплеки, представляя собой естественное состояние ничего не говорящего субъекта. Поэтому высказывание *Звезда молчит звезде* может быть истолковано примерно так: ‘звезда молчит, и другой звезде ничего не говорит’. Поэтический взгляд на мир вполне допускает такую ситуацию, а синтаксическое стяжение объединяет две пропозиции в одну структуру.

Увы, теперь поля, леса и дороги пахнут **автору** слабо. Огрубилось обоняние... (Э. Лимонов. «...У нас была великая эпоха»).

Глагол *пахнуть* ‘источать запах’ не предполагает наличия адресата: это – ненаправленное действие. И то, что у него окказионально такой актанта появляется, заставляет читателя по-новому осмыслить ситуацию: человек воспринимает нечто происходящее в мире как имеющее к нему прямое отношение, как вторгающееся в его внутренний мир и несущее ему сообщение. Данный смысл можно представить примерно так: ‘поля пахнут + так кажется автору’.

Послonyaвшись по дому и затопив **жене** плиту, он вышел прогуляться... (А. Битов. Жизнь в ветреную погоду).

Действие *затопить плиту* не подразумевает никакого адресата. Но дальний объект *жене*, «примысленный» к синтаксической структуре, скрывает за собой вторую пропозицию. Следовательно, перед нами опять пример синтаксического стяжения, контаминации: ‘он затопил плиту + он сделал жене приятное (оказал жене услугу)’.

НИНА. ...Закрой вьаклку. Шустрый, как вода в унитазе. Наготовила, накрыла, **переделась ему**, а он – чистыми руками, чистыми руками... Наелся? (Н. Коляда. Мы едем, едем, едем...).

Действие глагола *переодеться* замыкается рамками самого субъекта: *она переделась* (*во что* или *для чего* не входят в обязательное окружение этого предиката). Но у этого акционального и целенаправленного действия появляется адресат (строже говоря, бенефициант). Оборот *переделась ему* означает: ‘переделась + хотела понравиться ему’ (т.е. сделала это для него).

А что природа делает без нас?

Кому тогда блистает снежный наст?

А. Володин. Графоман

В стихотворении А. Володина (использованном в кинофильме «Осенний марафон») речь идет о природном явлении: ослепительном блеске снежного покрова. Этот блеск, существующий сам по себе, может, однако, резать глаза прохожему либо быть кому-то приятным или неприятным.

И вот две пропозиции – утвердительная и вопросительная – сливаются в одной структуре: ‘снежный наст блистает + кому на это смотреть?’.

Анализ приведенных примеров показывает, что «приписываемый» к синтаксической модели чужой (редундантный) актант является, как правило, представителем другой модели. Следовательно, высказывания с необязательным дательным падежом должны быть интерпретированы как результат контаминации, неправомерного смешения двух моделей и объединения соответствующих пропозиций. Внутренняя противоречивость данного явления очевидна. С одной стороны, перед нами случаи нарушения языковой нормы. С другой стороны, они находятся в русле заметной для русского языка в последние годы тенденции к «упаковке» информации в компактные языковые структуры [17].

Белорусский исследователь В.В. Мартынов среди фундаментальных свойств языка находил и такое, как неопределеннозначность. И обосновывал его следующим образом:

«Неопределеннозначность выражений естественного языка связана в той или иной мере с его принципиальной эллиптичностью, т.е. пропуском важных уточняющих элементов высказывания... Одним из эффективных приемов снятия эллиптичности является постулат однообъектности. Согласно этому постулату, глагол управляет одним и только одним объектом. Во всех случаях, когда объектов два и более, соответствующие управляющие глаголы опущены» [18. С. 85].

И далее ученый иллюстрировал эти теоретические положения как раз ситуацией с дательным падежом в русских высказываниях:

«Рассмотрим один пример, подтверждающий справедливость этого постулата. Во фразе *Маша пишет письма дедушке* управляющий глагол один, а объектов управления два. Дательный падеж словоформы *дедушке* указывает на пропуск глагола, управляющего этим падежом (типа *посылать*), поэтому приведенную фразу следует понимать как «Маша пишет письма (и посылает их) дедушке». Только фразовой эллиптичностью можно объяснить то, что среди словарных значений глагола *писать* встречается значение и «посылать письма», явно не свойственное этому глаголу. Большинство избыточных словарных значений объясняется именно таким образом» [Там же].

Мы видим, что в рамках данной концепции второе из предложенных нами объяснений появления «необязательного» (избыточного) дательного падежа абсолютизируется. И действительно, приводившиеся ранее примеры выравнивания глагольного управления по аналогии с другими глаголами можно объяснить через «восстановление» второго глагола. Например, *я ему консультировал* можно интерпретировать как «я ему [помогал и] консультировал [его]» *Николай Иванович рассердился своему вопросу* значит «Н.И. [удивился] своему вопросу [и] рассердился [на себя]»; *Я забыл ему* – «Я [простил] ему [его проступок и] забыл [обиду]» и т.д. Однако трудно не заметить сложности такого объяснения. Главное же – заметим, что лексическая семантика глагола представлена у В.В. Мартынова как неизменная

ментальная сущность: она задана раз и навсегда. В то же время в речевой практике слово многогранно и динамично. Говоря словами известного нейролингвиста, «семантика должна быть полисемичной, потому что возникает в результате поиска такого нового значения, которое проявляется при встрече с другим словом» [19. С. 96]. Тем самым мы вполне допускаем, что необязательный дательный падеж может появиться при глаголе и как результат семантических метаморфоз.

Кроме рассмотренных выше ситуаций, дательный падеж в русском языке встречается, как известно, еще при самых разных глаголах в экспрессивных контекстах: это так называемый дательный этический [4. С. 62–71]. Такая падежная форма тоже никоим образом не соотносится с семантикой глагола: она служит знаком целой ситуации (возмущения, несогласия, отстранения, замыкания в сфере субъекта и т.п.). Несколько литературных иллюстраций:

Картина понравилась и Калине Ивановичу.

– Вот видите, как хозяева живут? Тут **тебе** живут аккуратные люди.

– Да, – неохотно согласился Шере (А.С. Макаренко. Педагогическая поэма).

– Я не спал.

– Я посплю **вам!** Я **вам** посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете (В. Шукшин. Земляки).

– Не ваше дело, гражданин, – огрызнулся милиционер. – Прошу пройти отседа.

– Я вот **тебе** сейчас пройду отседа, – сказал Федор Иванович, начиная злиться на бездеятельность людей... (В. Конецкий. Над белым перекрестком).

Стоит заметить, что дательный этический образуется именно от личных местоимений, но не от существительных; это еще одно проявление внутренней связи между семантикой синтаксической позиции и лексическим значением слова, ее заполняющего.

«Необязательный» дательный падеж не остается без внимания стилистов и литературных редакторов. В давней уже публикации «Литературной газеты» (20 июня 1973 г.) подвергался критике текст популярной песни Арно Бабаджаняна «Воскресенье». В нем говорилось: *Пусть всегда нам светится Счастья огонек!* И критик возмущался:

Но позвольте! Если «светится», то ни к чему употреблять слово «нам», но уж если «нам», то должно быть не «светится», а «светит!»

Литературный критик, естественно, отстаивает интересы литературной нормы. Но дательный объект в обособлении от глагола, как мы видели, не случайное и уникальное явление. Он воплощает в себе общую тенденцию к автономии, свойственную падежной форме в структуре высказывания [20. С. 125–143]. А стремление к «сепаратизму» для словоформы в составе

высказывания, в свою очередь, сигнализирует переход к особому способу организации фразы – к «актуализирующему» синтаксису [21. С. 10–13].

Впрочем, как и любое языковое явление, балансирующее на грани нормы, «необязательный» датив может использоваться в художественных текстах сознательно – в качестве приема. Приведем начало иронического стихотворения минского автора А. Калюты, в котором данный феномен абсолютизируется и рассчитан на то, чтобы вызвать у читателя улыбку:

Послушай **мне** песню, подруга,
Мороз чтоб по коже прошел!
Услышь **мне** за окнами вьюгу –
И станет в тепле хорошо.

Я рад, когда **мне** из стакана
Ты выпьешь холодный кефир,
А ты голодна если станешь –
Я съем **тебе** плов или сыр.

Ты выучи **мне** попрестижней
Язык очень трудный – терпи!
Закончи **мне** Оксфорд. В Париже
В Сорбонну ты **мне** поступи...

Если избыточный, не вытекающий из свойств модели дательный падеж способен уже приобретать функцию художественного (во всяком случае, стилистического) средства, то это значит, что его невозможно списать за счет речевых ошибок и неудач. Наоборот, данный феномен представляет собой интересный случай речевой реализации синтаксической модели в конкретных дискурсивных условиях. Как мы попытались показать, его появление можно объяснить двумя способами: или через сдвиг в лексической семантике управляющего глагола, или через процессы синтаксического преобразования (в частности, через сложение пропозиций и контаминацию соответствующих моделей).

По сути, эти два механизма речевой деятельности подразумевают друг друга и взаимодействуют. Корни возможной двойной интерпретации интересующего нас явления уходят в особую природу глагола. Глагольный предикат концентрирует в себе свойства синтаксической модели и является, как давно было отмечено, ее полноправным репрезентантом. Так, задаваясь вопросом, относятся ли обстоятельства ко всему предложению или только к сказуемому, Е. Курилович в свое время замечал: «С точки зрения грамматики это одно и то же, поскольку сказуемое функционирует как член, репрезентирующий все предложение» [22. С. 42].

Таким образом, словоформа в беспредложном дательном падеже, за которой стоит широкий диапазон семантико-синтаксических функций, обнаруживает в процессе речепроизводства значительную свободу поведения. Встречающийся в русских текстах «необязательный» датив участвует в образовании семантически сложных, но формально компактных структур,

а изучение этого феномена выводит нас на общие проблемы развития лексики и синтаксиса русского языка.

Литература

1. Никонов В.А. Статистика падежей русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1959. № 3 (10). С. 45–65.
2. Якобсон Р. К общему учению о падеже // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 133–175.
3. Kuryłowicz J. Zagadnienie klasyfikacji przypadków // Kuryłowicz J. Studia językoznawcze. Warszawa : PWN, 1987. S. 181–184.
4. Заичкова И. Дательный беспредложный в современном русском литературном языке. Praha : Universita Karlova, 1972. 91 с.
5. Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М. : Наука, 1988. 440 с.
6. Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря / отв. ред. Ю.Д. Апресян. М. : Языки славянских культур, 2010. 408 с.
7. Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: От семантических структур к языковым средствам. М. : Языки славянской культуры, 2006. 512 с.
8. Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. 502 с.
9. Гришина Н.И. Дативные предложения в парадигматическом аспекте. М. : Альфа, 2002. 198 с.
10. Zimmerling A. Dative subjects and Semi-Expletive Pronouns in Russian // Formal Slavistics. 2008. Vol. 7. URL: https://www.academia.edu/12943767/Dative_Subjects_and_Semi-Expletive_Pronouns_in_Russian (дата обращения: 06.02.2018).
11. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики. М. : Языки славянских культур, 2011. 488 с.
12. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М. : Языки русской культуры, 1995. 767 с.
13. Вежицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М. : Языки славянских культур, 2011. 568 с.
14. Норман Б.Ю. Прагматический потенциал русской лексики и грамматики. Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017. 464 с.
15. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М. : Эдиториал УРСС, 2000. 352 с.
16. Радбиль Т.Б. Язык и мир: Парадоксы взаимоотражения. М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. 592 с.
17. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе (слово-сочетание). М. : Просвещение, 1966. 156 с.
18. Мартынов В.В. Принципы объективной семантической классификации // Реализационный аспект функционирования языка. Минск, 1995. С. 83–92.
19. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М. : Наука, 1982. 158 с.
20. Норман Б.Ю. Когнитивный синтаксис русского языка. М. : Флинта: Наука, 2013. 254 с.
21. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М. : Высш. шк., 1990. 168 с.
22. Kuryłowicz J. Podstawowe struktury języka: grupa i zdanie // Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970 / red. A.M. Lewicki. Kraków : PWN, 1970. S. 37–50.

THE “REDUNDANT” DATIVE CASE WITH THE RUSSIAN VERB

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 61–74. DOI: 10.17223/19986645/53/5

Boris Yu. Norman, Belarusian State University (Minsk, Belarus), Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: boris.norman@gmail.com

Keywords: verb, valency, Dative case, utterance, semantic role, lexical meaning, contamination, interpretation.

The article determines the place of the Dative case in the system of Russian cases, taking into account the works of R. Jakobson, E. Kurilovich, and others. Five of its main semantic-syntactic functions are indicated in the article: an addressee, a subject of the state, a subject of potential action, a subject of the relationship and a possessor. Each semantic role has its demands on the lexical semantics of words which fill the corresponding syntactic position. Most often, for the Dative case of a noun, this is naming a human and, in general, a living being. It is observance or non-observance of this condition that allows us to evaluate some speech examples as completely usual ones, corresponding to the language norm, and others as occasional, representing speech creativity.

The main object of the article is statements in the Russian language in which the presence of an object in the Dative case does not follow from the semantics of the predicate and is not provided for by the structure of the syntactic model. It is about examples of the type *Ya plachu ne tebe, a tyote Sime* [I'm crying not for you, but for Aunt Sima]. Two possible explanations for this phenomenon occur in the speech activity of the speaker: through the development of the verb of a secondary (figurative) meaning and through the semantic-syntactic transformation of the phrase (blending of models).

In the first case, the verb, passing from one lexical-semantic group to another, also accepts the syntactic conditions of usage which are typical for the new group (for example, *zabyt' komu-to* in the meaning of "forgiving someone").

In the second case, utterances with an optional Dative case are interpreted as a result of blending, inappropriate mixing of the two models and the combination of the corresponding propositions. For example, the phrase *On zatopil zhene plitu* [He lit his wife a stove] means "He lit the stove + he did his wife a favour." Theoretical positions are illustrated in the article by quotations from Russian fiction. On the one hand, we face violations of the linguistic norm.

On the other hand, they follow the important tendency in the Russian language to "pack" information into compact language structures.

It is shown that the word form in the Dative case, behind which there is a wide range of semantic-syntactic functions, possesses considerable freedom of behavior in speech production. Cases of the use of an optional Dative object, which occur in Russian texts, lead to the formation of semantically complex, but formally compact structures. The study of this phenomenon leads us to general problems of the Russian syntax development.

References

1. Nikonov, V.A. (1959) Statistika padezhey russkogo yazyka [Statistics of Russian cases]. *Mashinnyy perevod i prikladnaya lingvistika – Machine Translation and Applied Linguistics*. 3 (10). pp. 45–65.
2. Jakobson, R. (1985) *Izbrannye raboty* [Selected writings]. Moscow: Progress. pp. 133–175.
3. Kuryłowicz, J. (1987) Zagadnienie klasyfikacji przypadków [The problem of classification of cases]. In: Kuryłowicz, J. *Studia językoznawcze* [Linguistic studies]. Warsaw: PWN.
4. Zaichkova, I. (1972) *Datel'nyy bespredlozhnyy v sovremennom russkom literaturnom yazyke* [Dative case without preposition in modern standard Russian]. Prague: Universita Karlova.
5. Zolotova, G.A. (1988) *Sintaksicheskii slovar'*. *Repertuar elementarnykh edinits russkogo sintaksisa* [Syntactic dictionary. The repertoire of elementary units of Russian syntax]. Moscow: Nauka.

6. Apresyan, Yu.D. (ed.) (2010) *Teoreticheskie problemy russkogo sintaksisa. Vzaimodeystvie grammatiki i slovarya* [Theoretical problems of Russian syntax. An interaction of grammar and dictionary]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
7. Mustajoki, A. (2006) *Teoriya funktsional'nogo sintaksisa. Ot semanticheskikh struktur k yazykovym sredstvam* [The theory of functional syntax. From semantic structures to language units]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
8. Vsevolodova, M.V. (2000) *Teoriya funktsional'no-kommunikativnogo sintaksisa. Fragment prikladnoy (pedagogicheskoy) modeli yazyka* [The theory of functional-communicative syntax. Part of the applied (pedagogical) model of the language]. Moscow: Moscow State University.
9. Grishina, N.I. (2002) *Dativnye predlozheniya v paradigmaticheskom aspekte* [Dative sentences in paradigmatic aspect]. Moscow: Al'fa.
10. Zimmerling, A. (2008) Dative Subjects and Semi-Expletive Pronouns in Russian. *Formal Slavistics*. 7. [Online] Available from: https://www.academia.edu/12943767/Dative_Subjects_and_Semi-Expletive_Pronouns_in_Russian. (Accessed: 06.02.2018).
11. Bondarko, A.V. (2011) *Kategorizatsiya v sisteme grammatiki* [Categorization in the grammatical system]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
12. Apresyan, Yu.D. (1995) *Izbrannye trudy* [Selected writings]. Vol. 2. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
13. Wierzbicka, A. (2011) *Semanticheskie universalii i bazisnye koncepty* [Semantic universals and basic concepts]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
14. Norman, B.Yu. (2017) *Pragmaticheskii potentsial russkoy leksiki i grammatiki* [Pragmatic potential of Russian lexis and grammar]. Moscow; Yekaterinburg: Kabinetnyy uchenyy.
15. Kobozeva, I.M. (2000) *Lingvisticheskaya semantika* [Linguistic semantics]. Moscow: URSS.
16. Radbil', T.B. (2017) *Yazyk i mir. Paradoksy vzaimootrazheniya* [The language and the world. Paradoxes of reciprocal reflection]. Moscow: YASK.
17. Shvedova, N.Yu. (1966) *Aktivnye processy v sovremennom russkom sintaksise (slovochetanie)* [Active processes in the syntax of modern Russian (word-combination)]. Moscow: Prosveshchenie.
18. Martynov, V.V. (1995) *Printsipy ob'yektivnoy semanticheskoy klassifikatsii* [Principles of objective semantic classification]. In: *Realizatsionnyy aspekt funktsionirovaniya yazyka* [Realizable aspect of the functioning of language]. Minsk: Vecherniy fakul'tet inostrannykh yazykov.
19. Zhinkin, N.I. (1982) *Rech' kak provodnik informatsii* [Speech as an information conductor]. Moscow: Nauka.
20. Norman, B.Yu. (2013) *Kognitivnyy sintaksis russkogo yazyka* [A cognitive syntax of Russian language]. Moscow: Flinta–Nauka.
21. Akimova, G. N. (1990) *Novoe v sintaksise sovremennogo russkogo yazyka* [News in the syntax of modern Russian]. Moscow: Vysshaya shkola.
22. Kuryłowicz, J. (1970) Podstawowe struktury języka: grupa i zdanie [Basic language structures: word-combination and sentence]. In: Lewicki, A.M. (ed.) *Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970* [Problems of Polish syntax. Studies, discussions, polemics from 1945 to 1970]. Kraków: PWN.

УДК 81'282.4

DOI: 10.17223/19986645/53/6

С.С. Скорвид

О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В СИНТАКСИСЕ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ОСТРОВНЫХ ГОВОРОВ В СИБИРИ

Впервые предпринимается сквозное сопоставительное исследование схожих синтаксических явлений в чешском и польских переселенческих говорах, сохраняющихся в Сибири. Устанавливается, что они представляют собой результат сложной интерференции систем исходных диалектов и русского языка, с которыми эти говоры находятся в постоянном контакте. Прослеживаются общие направления воздействия на них общерусской системы и региональных диалектных разновидностей языка окружения, представленных в Сибири.

Ключевые слова: чешские диалекты, польские диалекты, островные переселенческие говоры, Западная и Восточная Сибирь, языковой контакт, глагольные и именные синтаксические конструкции, деагентивность.

Предмет описания и постановка проблем

В наши дни закономерно возрастает интерес отечественных и зарубежных исследователей к изучению исчезающих островных говоров представителей западнославянских этносов (польского, чешского) в Российской Федерации. По большей части эти переселенческие идиомы локализируются в Сибири, где их появление было обусловлено миграцией соответствующих групп крестьян с территории европейской части Российской империи в конце XIX – начале XX в.

Наиболее обстоятельно исследованы польские говоры Сибири, один из которых – периферийный, северо-восточный «кресовый» – представлен в настоящее время уже только идиолектом единственной польскоговорящей жительницы села Белосток Кривошеинского р-на Томской области Марии Маркиш 1928 г. р. (см. о нем в статьях Н.Е. Ананьевой [1. С. 96–97] и [2. С. 467–468, 470–471]). Больше число носителей насчитывают другие два сохранившихся до наших дней идиома, это: 1) западносибирский польский, или мазурский, говор (далее ЗСП) в д. Александровка Краснотуранского р-на Красноярского края и д. Знаменка Богградского р-на Республики Хакасия (около 60 говорящих в возрасте от 45 до 80 лет – по преимуществу потомки колонистов с Вольни, переселившихся туда ранее из Восточной Пруссии) и 2) восточносибирский польский говор (далее ВСП) в д. Вершина Боханского р-на Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской обл. (около 200 говорящих в основном среднего и старшего возраста, являющихся потомками переселенцев из района Домбровского угольного бассейна на границе Малопольши и Силезии, который до 1918 г. находился в составе России).

Названные говоры описаны в двух защищенных в Польше диссертациях: оставшейся в рукописи работе Е.В. Ступинского [3] и вышедшем в виде монографии исследовании С.Б. Митренги-Улитиной [4]¹, а также с разных сторон освещались в ряде других публикаций польских и российских лингвистов (из недавних назову работы Д. Пасько [5], А. Урминьской [6], М. Глушковского [7], Н.Е. Ананьевой [8, 9], И.М. Егорова [10, 11] и свою [12]).

Несколько менее подробно изучен западносибирский, или среднеприуртышский, чешский говор (далее ЗСЧ) в дд. Репинка, Новоградка и Воскресенка Репинского сельского поселения Калачинского р-на Омской обл. (около 25 активных носителей в возрасте от 60 до 80 лет, являющихся потомками переселенцев из колонии Чехоград в бывшей Таврической губернии – ныне Новгородкивка Мелитопольского р-на Запорожской обл. Украины). Этот идиом северо-восточночешского происхождения, обнаруживающий естественные генетические связи с чешскими переселенческими говорами на Украине и отчасти на Черноморском побережье Северного Кавказа в России (последние далее обозначаются как СКЧ), охарактеризован в нескольких моих публикациях (в частности, [13–15]) и в магистерской работе выпускницы Карлова университета в Праге Б. Гакеновой [16]. В аспекте межъязыковой интерференции в русской речи носителей ЗСЧ на некоторые признаки этого идиома указала М.А. Харламова [17].

Вплоть до последнего времени почти во всех работах перечисленные переселенческие идиомы либо анализировались по отдельности, либо – при сопоставительном описании – группировались по принадлежности к диалектам того или иного языка (польские говоры Западной и Восточной Сибири, чешские говоры Западной Сибири и Северного Кавказа). Автор этих строк исходит из убеждения, что, несмотря на генетически обусловленную специфику каждого из названных говоров, безусловно требующую их самостоятельного рассмотрения, может быть создана также сравнительная типология их развития в ситуации, характеризующейся непрерывным контактом с господствующим языком окружения. Опыт построения

¹ В нижеследующем тексте, используя приводимые этими и другими авторами (Н.Е. Ананьева, К. Нич, С. Урбанчик) польские диалектные примеры, я даю их в унифицированной транскрипции, которая применяется также для записи образцов польских и чешских говоров в РФ, собранных в разные годы мною и коллегами и хранящихся в аудиоархиве кафедры славистики и центральноевропейских исследований РГГУ. Палатализованные согласные я последовательно обозначаю апострофом, в польских (особенно мазурских) примерах – кроме альвеопалатальных шипящих [č] (аналогичного рус. [ч]), [č̣], [ṣ̌] и [ẓ̌], обозначаемых так в отличие от палатальных [č], [š], [ž]; позиционное смягчение согласных перед [i], [e] не отмечается. Среднеязычный скользящий передается как *j*, а губно-губной – как *ɟ* (и лишь в интервокальной позиции как *w*); буквой *l* обозначается зубной боковой сонорный, совпадающий с русским [л]; глухой фрикативный веларный передается греческой буквой *χ*, а его звонкий вариант – буквой *γ*; не отмечается особым знаком оглушение [ř] после [p], [t], [k]. Ударение обозначается знаком ' перед ударным гласным, в польских и чешских диалектных примерах – только в русизмах и других словах, где его место отличается от регулярного (на предпоследнем слоге в польском языке, на первом – в чешском).

такой типологии был предложен мною применительно пока только к фонетико-фонологическому и морфологическому уровням [18].

Проведенный анализ позволил заключить, что на этих двух уровнях все изучаемые идиомы демонстрируют в целом хорошую сохранность первоначальных диалектных систем; хотя и здесь они испытывали и испытывают влияние прежде всего русского языка окружения в его региональных разновидностях (далее РЯО). То или иное воздействие оказывают, в частности, русский тип ударения с редукцией безударных гласных, которая через русизмы распространяется и на сохраняющие место ударения исконные лексемы; русская система мягких согласных и их сочетаемость с последующими гласными; русский тип выражения/невывражения категории одушевленности существительных во множественном числе и образования форм прошедшего времени и сослагательного наклонения глагола; русское видоупотребление и выражение разных способов глагольного действия, включая закрепление региональных диалектных типов, таких как глаголы дистрибутивного СГД с префиксом *po-* и бипрефиксальные с *ropa-* и *roro-*. Между тем уровню синтаксиса в данных говорах как при сопоставительном, так и при монографическом их описании до сих пор уделялось незаслуженно меньшее внимание.

Достаточно подробный раздел «Синтаксис» содержит только монография С.Б. Митренги-Улитиной о ВСП [4. С. 114–127]. В нем автор, с одной стороны, иллюстрирует на своем материале синтаксические явления, присущие устному разговорно-бытовому стилю речи, в рамках которого реализуется ВСП (неполные и эллиптические предложения, повторы и др.), а с другой – выборочно характеризует особенности строения словосочетаний в составе простого предложения и разных типов сложного предложения, представляющие собой либо малопольское диалектное наследие в обсуждаемом идиоме, либо результаты его взаимодействия с РЯО. Среди последних, фиксируемых главным образом в простом предложении, рассматриваются прежде всего так называемые «нарушения» глагольного управления под влиянием РЯО. Этот термин, возможно, приемлем применительно к случаям типа *ucyli nos polsk'imu jzykov'i* 'учили нас польскому языку' (дат. п., в общепольском стандарте – род. п.²), однако неточен по

² Здесь следует заметить, что как в фонетике и морфологии анализируемых говоров, так и на уровне синтаксиса подкреплять указание на те или иные «нарушения» либо отклонения в них, обусловленные их контактом с РЯО, сравнением с состоянием, наблюдаемым в соответствующем современном стандартном (литературном) славянском языке, в принципе не вполне корректно. Разумеется, во всех случаях предпочтительнее привлечение диалектного материала, но и там, где современные литературные соответствия представляются исследователю достаточными в качестве *tertium comparationis*, он всякий раз – вольно или невольно – рассматривает их в более широком контексте, руководствуясь при этом соображениями вероятностного характера. Так, для вывода об изменении управления глагола *ucyć* в ВСП под влиянием РЯО доказательную силу имеет не столько констатация отличного управления соответствующего глагола в общепольском стандарте, сколько полное совпадение сочетаемости и семантики этого глагола в говоре и рус. *учить*, ср. *n'em'eck'emu jazykov'i ucyl'i* 'немецкому

отношению к таким примерам, как *curka pracuje nauczycielką a syn k'erofcum* 'дочь работает учительницей, а сын шофером' – твор. п.³ (в общепольском именная часть подобного сказуемого вводится при помощи союза *jako*); тем более не относится к управлению выражение творительным падежом обстоятельства меры при форме сравнительной степени наречия (*dv'ema latam'i puźn'i* 'двумя годами позже' – общепольск. *dwa lata później*⁴). Не связаны с нарушением управления и случаи замены possessивной конструкции глагола 'иметь' + вин. п. заимствованной из РЯО конструкцией глагола 'быть' + род. п. с предлогом *u* (*ци mn'e jes jedyn syn* 'у меня один сын' наряду с *tum cvoro źeći* 'у меня четверо детей'), а с нарушением согласования по числу – примеры употребления «внечисловой» формы глагола 'быть' в настоящем времени (*ци mn'e svoje sv'itry jes* 'у меня свои свитера есть'): скорее это проникающая из РЯО особенность морфологии данного глагола, точно так же, как фактом морфологии одушевленных существительных, в том числе женского рода, включая названия животных, является обязанная влиянию РЯО возможность совпадения у них форм вин. и род. п. мн. ч. (*pśyn'esca dwuź curkuf* 'родила двух дочек'; *pas ov'ec* 'пас овец' – но и *m'ou curk'i* 'имел дочерей', *čšymali my krovu, śv'in'e, ųofcy* 'мы держали коров, свиней, овец'). Помимо этого автором отмечено распространение в ВСП русских предложно-падежных конструкций и просто русских предлогов:

- 1) пространственных типа *f tajge* 'в тайгу' – общепольск. *do tajgi*⁵;
- 2) временных типа *po subotam* 'по субботам'⁶, *za lato* 'за лето', *posle wojny* 'после войны'⁷;

языку учили' с дат. п. и *ucy polsk'i* 'учит (= изучает) польский' с вин. п. [8. С. 204]. Примечательно, что соотносительный глагол копирует двойную русскую сочетаемость вместе с семантикой и в ЗСП, а также в ЗСЧ, ср. с вин. п. *Rosyjan'e? a ucita polsk'i?* 'русские? а учите (= изучаете) польский?'; *ve škole sme učili n'emeckej* 'в школе мы учили (= изучали) немецкий' и т. п.

³ Аналогичная сочетаемость глаголов со значением 'работать' с твор. п. под влиянием РЯО закрепилась также в ЗСП и ЗСЧ, ср. соответственно *ona robiła učitel'nicę* и *ona uś robotala učitelkoų* 'она работала учительницей'; *ona wraćem d'elá* 'она врачом работает'.

⁴ В других изучаемых говорах при обозначении различия между двумя сравниваемыми по величине предметами используется заимствованная из РЯО конструкция с предлогом *na*, ср. в ЗСП *ojćec buų na śesnaśće lat starsy* 'отец был на 16 лет старше' [3. С. 188], в ЗСЧ *na pjet let je mlatši než ja* 'на 5 лет моложе меня'.

⁵ При этом употребление предлога *na* в таких сочетаниях, как *na kopaln'i* 'на/в шахте' или *na V'erśyn'e* 'в Вершине', безоговорочно относимое автором за счет влияния РЯО, вполне может иметь исконно польские корни. Ср. то же в ЗСП: *un robźuų sofžoźe na śv'inarn'i, jek – f śv'inarn'i buų* 'он работал в совхозе в (букв. *na*) свиноводнике, т.е. в свиноводнике был'; *Aleks'androfka fsa na N'ikol'ajefce bili, tak jek tata (...)* *tśų braty jego bili v N'ikol'ajefce* 'Александровка вся бывала в (букв. *na*) Николаевке, так как папа... три брата его были в Николаевке' [3. С. 179, 182]; в ЗСЧ *f tom Molotovu i na Molotovu* 'в (этом) Молотове' (в 1937–1957 гг. название с. Иртыш Омской обл.).

⁶ Ср. *po twarduų (!) sunam* 'по твердым ценам' [2. С. 475] с реликтом польской сочетаемости предлога *po*, здесь – не во временном значении, с местн. п. прилагательного,

3) временных с числительными типа *f p'in'z go žin* 'в пять часов', аналогично *v il'e* 'во сколько?' (общепольск. *o piątej, o której*):

4) обозначающих средство передвижения типа *pojechali my na pociągu* 'мы поехали на поезде'⁸ при сохранении польской конструкции с беспредложным твор. п. *v'ezli ich pociągiem* 'их везли на поезде/поездом'.

Фиксируются также заимствованные из РЯО беспредложные конструкции типа *chorowoceł grupom* 'я болел гриппом' (в данном случае наряду с польской *na toto chorowoceł* 'этим он болел').

В сложном предложении исследовательница указывает на такие русизмы, как разделительный союз *il'i ... il'i* (наряду с польским *cy ... cy*) и калькированный – с модификацией – союз причины *potak'imu że* 'потому что' (наряду с польск. *bo*).

Е.В. Ступинский в диссертации о ЗСП затрагивает только «элементы синтаксиса» в главе, посвященной в основном лексике [3. С. 126–127]. Также и он приводит примеры употребления проникающих из РЯО пространственных предложно-падежных конструкций типа *jeździła f Polśe* 'ездила в Польшу' и твор. п. при глаголе со значением «письменной регистрации»: *pśeśali śe N'emcami* 'писались немцами' (в общепольском стандарте именная часть сказуемого и в этом случае вводилась бы союзом *jako*)⁹. В сложном предложении автор обращает внимание на адаптированный русский союз причины 'потому что', выступающий в ЗСП в виде *potemu co* (при аналогичном вопросительном слове *potemu* 'почему'), и в том же ряду на союз цели *cobi* 'чтобы' и простой союз *co* в придаточных типа *dobze co pśjechali* 'хорошо, что приехали' (в общепольском стандарте *że*). На это можно возразить, что употребление союза *co* – наряду с *ze* и

что для существительного в дат. п. Н.Е. Ананьева трактует как фонетико-синтаксическую адаптацию.

⁷ Точно так же в ЗСП и ЗСЧ проникли русские предлоги *после, во время* и временной союз *пока*, вытеснив, полностью или частично, соответствующие исконные служебные слова.

⁸ Ср. в ЗСП *na aft'obuśe ti jechaj?* 'ты на автобусе ехал?' и в ЗСЧ: *nemá na čom přijet* 'ей не на чем приехать', *jela sem tam na vlaku* 'я ехала туда на поезде' и даже *ja sem přilítla dřív na letadlu* 'сначала я прилетела на самолете'.

⁹ Полное высказывание информантки Ступинского в завершающей его работу подборке текстов содержит также иной вариант выражения именной части сказуемого при том же глаголе (с русским союзом *как* = польск. *jako*): *mi pśeśali śe fšyistik'e na ojca N'emcami... mi to jus n'i, a starsi žeći pśesali śe kak N'emce, a nas to pśesali Polakam'i* 'мы все писались по отцу немцами; мы-то уже нет – старшие дети писались как немцы, а нас писали поляками', а высказывание другой диалектоносительницы – вариант с существительным в им. п. при этом глаголе: *a mi fśe Polaki... u mn'e i tak'e žeći śe pśiso Polaki* 'а мы все поляки, у меня так и дети пишутся – поляки' [3. С. 228, 166]. Аналогично в материалах нашей экспедиции 2013 г.: *on śe napřisał Polak'em, i u n'ego wojennyj b'il'ed był Polak (...)* и *on χcał bić Polak'em i zapřisał śe Polak* 'он записался поляком, у него военный билет был (с записью) – поляк, и он хотел быть поляком и записался – поляк'. Любопытно, что форма им. п. в наших записях встретилась и в составе сказуемого с глаголом 'работать': *vopśem cot robžim'ixan'zator* 'в общем, вот он работал механизатор(ом)'.

даже *ize* – в придаточных изъяснительных предложениях было известно и мазурским говорам на их исходной территории, ср.: *i še paľi dóm <...> i sũiso, co ón tak vřesci, ze ma do stodoũi še dostać* ‘и горит дом... и слышат, что он кричит, чтобы в амбар угодило (букв. *что должно угодить*)’; *ojcove sũova, co ón ma znajómó vřóšć* ‘отцовы слова, что он должен знакомую взять (в жены)’ и *moźiũ, ize tak ó zonk’e ma vřóšć, jeko jo zna* ‘он говорил, что такую жену он возьмет, которую он знает’ [19. С. 72–74]. В то же время Ступинский верно подметил наблюдающееся в ЗСП копирование строя ряда русских фраз, в частности включающих *co* в качестве вопросительного местоимения в функции частицы и оптативные частицы с элементом *bi* и без него, например: *da ti co?!* ‘да ты что?!’¹⁰, *choźbi pšjjeħu!* ‘хоть бы приехал!’, *ħoc’ ti rop co ħce(s)* ‘хоть ты что хочешь делай’¹¹.

По отношению к ЗСЧ попытка обозначить некоторые более общие линии развития его синтаксической системы в условиях контакта с РЯО была сделана в моей статье 2013 г. [13. С. 134–135]. С определенными изменениями выработанная тогда схема представляется применимой и при сопоставительном описании синтаксических особенностей ЗСЧ (а также СКЧ) и польских говоров в Сибири. На материале ЗСЧ были выявлены следующие тенденции, иллюстрируемые ниже отчасти новыми примерами из того же идиома:

1) вытеснение посессивных конструкций с глаголом ‘иметь’ конструкциями русского типа с глаголом ‘быть’ и именем обладателя в род. п. с предлогом *u*, ср. *mn’eli vosum d’efčat <...> i u fšexn’eħ soũ ted’ d’e’i* ‘у них было (букв. *они имели*) восемь девочек... и у всех теперь дети’; *jak ti prázn’ini soũ u školácu...* ‘когда у школьников каникулы...’ и т. п.;

2) некоторое ослабление тенденции к заполнению позиций объектных актантов глагола (О) анафорическими местоимениями (*uotkril kolbasnyj ceħ, d’ál kolbosu i uoził na bazár* ‘открыл колбасный цех, делал колбасу и возил (О = Ø) на базар’ наряду с *uon hledá tadik nevj’estu – vem ji, já ti ji dám* ‘он тут ищет невесту – возьми (букв. *ее*, О = Pron_{acc}), я тебе ее (О = Pron_{acc})

¹⁰ Такое же употребление *co* зафиксировано в СКЧ под Новороссийском: *Ti co! To nesmn’elo bejt!* ‘Ты что?! Это запрещено было!’; несколько иное – в ЗСЧ: *Tak vi co, pješki, ja sem slišel, pješki ħcete...* ‘Так вы что, пешком, я слышал, пешком хотите?...’; *Nu co, jak met? <...> Co vi nej’iste (!) met?* ‘Ну что, как мед? Что вы не едите мед?’; *ji jak co, tak fšexnu tudle i trávu bi visekal* ‘ей чуть что, так и траву бы всю выкосил’; *jesli tak co, on může mluvit* ‘если что, он и говорить может’; *te’ka fšexno uozej sũobodno, ħot’ co* ‘сейчас всё свободно возят, хоть что’.

¹¹ Ср. предложения с теми же заимствованными из РЯО оптативными частицами в ЗСЧ: *ħod’ bi mn’e n’eco pomohla* ‘хоть бы (ты) мне чем-то помогла’; *aħ, pro ševce ħot’ jaká* ‘ах, для сапожника – хоть какая’ (из песни). Русизм *ħot’* здесь выступает и в основной для него в языке-источнике функции: в качестве единственного известного данному говору уступительного союза (ср. *ħot’ i nemám hdi – pjet minut, no stejn’e já posedim* ‘хоть и некогда мне – пять минут, но я все равно посижу’). Для польских говоров уступительный союз *ħoć*, по-видимому, следует считать исконным, однако в качестве частицы эта лексема в польском языке не функционирует.

дам'¹²) при сохранении тенденции к подстановке местоимения в позицию формального субъекта предложений так называемого типа *es-Satz* (*vot takoví to bilo u nás* 'вот так (букв. *такое это*) у нас было' и т.п.);

3) экспансия безличных конструкций русского типа, в частности, с заимствованным модальным предикативом *nado/nada*, с которыми сосуществуют чешские конструкции с личными формами модальных глаголов, в том числе выступающими в обобщенно-личном значении, как в РЯО, ср. *musíš jet – a kam pojedíš, jesi já nohi mám kaleki, a jet nada* 'ты должен/должна ехать, а куда поедешь, если у меня ноги – калеки, но ехать надо';

4) конкуренция конструкций с возвратным компонентом *se* и русского типа обобщенно- и неопределенно-личных предложений с формами 2-го л. ед. и 3-го л. мн. ч. глагола, например: *uvařej se kartoški <...> a potom takovejmadle kouškama těsto uděláš i takovej jak listejček nařežeš, knedlički hodíš a sličky, d'íš se přepočkej <...> přepustíš tima sličkama* '(с)варят картошку (букв. *сварятся картофелины*), а потом вот такими кусочками тесто сделаешь, такой как бы листочек нарежешь, клецки бросишь – и сливки, когда припускают (букв. *припускаются*), то припустишь с этими сливками'; *v dvanáct hodín noci zdělávali vjenek... vot podle, jak se zdělá vjenes, pa'om paž'alusta* 'в 12 часов ночи снимали венок... вот после, как снимут (букв. *снимется*) венок, потом пожалуйста'.

Второй группы явлений я коснулся в сопоставительном плане в статье [20. С. 186–187], где констатировал, что проблема (не)употребления анафорических местоимений актуальна только для чешских говоров в России, но не для польских, изначально близких в данном отношении к РЯО, подтвердив это примерами из ЗСП типа *chleba mama napěče, nam da s sobo*¹⁴ 'мама хлеба напечет, даст (O = Ø) нам с собой'. Немало таких случаев отмечается и в ВСП, ср.: *Janeg, brad močšy <...> zažorovoц. <...> Do bol'nicy potym juž civ'ežli, to pužno byco* 'Янек, младший брат, заболел... В больницу потом уже отвезли (O = Ø), да поздно было' [4. С. 181]. Ввиду этого указанная черта ниже не рассматривается, как и тип предложений *es-Satz*, не представленный в польских говорах Сибири (хотя известный польским диалектам, см. [21. С. 61]).

В дальнейшем изложении я сосредоточусь на разнообразно проявляющейся в переселенческих западнославянских говорах Сибири конкуренции личных и безличных, глагольных и именных конструкций, в том числе с инфинитивом, причастиями, посессивных и др., а также копулятивных и некопулятивных (связочных и бессвязочных) предложений.

¹² С точки зрения чешского языка, включая его диалектные манифестации в Чехии, в этой фразе недостает указания на тождественность адресата обоих действий субъекту при помощи местоименного происхождения частицы *si* 'себе'; с другой стороны, вторая ее часть с дважды употребленным местоимением в вин. п. (Pron_{acc}) по-русски естественнее звучала бы *бери, даю!*

Инфинитивные конструкции: модальные, целевые, оптативные и др.

Распространение русского типа конструкций с инфинитивом в СКЧ под Новороссийском и Анапой прослеживалось в статье, написанной мною совместно с Д.К. Поляковым [22. С. 330–335], и в работе последнего [23. С. 141–142]. На сравнимую с чешской конкуренцию личных, с модальными глаголами, и безличных конструкций с модальным предикативом и инфинитивом в ЗСП было обращено внимание в моей статье [20. С. 181–183]. Впрочем, сравнение показывает, что в польских переселенческих говорах, в отличие от чешских, такая конкуренция – типа *jutro tam jechać, brag zdać p'ašporty na v'ize* ‘завтра я должна ехать, надо сдать паспорта на визы’ в ЗСП или *čša byčo še цисуц, to my mušeli čungnun'ć sank'i* ‘нужно было учиться, вот мы и должны были тащить санки’ в ВСП [4. С. 182] – является наследием исконного диалектного состояния. Влияние РЯО сказывается здесь только в случаях употребления прямых заимствований, в том числе адаптированных, например, в ЗСП: *A jek podukti vam, n'e nužno kupać?* ‘А как продукты, не нужно вам покупать?’; *Mušeli še potčin'ać <...> Fšako, po r'aznoti še p'ričo žičo zič* ‘(Мы) должны были подчиняться. Всяко, по-разному приходилось жить’; в ВСП: *pužn'i še pšyščo izza tvavmy цун'š* ‘позже пришлось из-за травмы уйти’ [Там же. С. 179].

То же касается целого ряда других типов инфинитивных конструкций, примеры которых из СКЧ, приведенные в [23], находят соответствия и в ЗСЧ; ср. особенно употребление инфинитива со значением цели: *a vobjedi vona ešče vezla <...> nu lid'um do pole jist* ‘и обеда она еще везла – ну, людам в поле есть’, в том числе в придаточном предложении: *te'kej molođoš ut'iká цоцát, abi ned'elat* ‘сейчас молодежь бежит отсюда, чтобы не работать’, а также в придаточном условном или развившемся из такого придаточного оптативном предложении: *jesi цотat' jet k n'im, to <...> v'izu votkrejvat nada* ‘если отсюда ехать к ним, то визу открывать надо’, *a diš fšexnejx sebrad bi ešče i pomluvit!* ‘а если бы собрать еще всех и поговорить!’, *vot Tondu bi vzat ešče Bartošoviho!* ‘вот взять бы еще Тонду Бартоша!’ Невозможные в чешском языке, подобные конструкции, напротив, либо обычны в польском языке (инфинитив в придаточных предложениях с союзами *aby/żeby* ‘чтобы’, *gdyby* ‘если бы’ и оптативных с частицей *oby* ‘о если бы’), либо известны польским диалектам (ср. *šekyra dževo rombać* ‘топор дрова рубить’, *vozom do m'asta spšedać* ‘возят в город продать’ [21. С. 63]). Тем самым, если и признавать русизмом употребление инфинитива в случаях типа *a n'itk'i to n'i ma ap'až zamotać* ‘а нитки-то нет опять замотать’ в ВСП [4. С. 177] или *pšyžezes na bazar ofce či co, pšedavać n'enso* ‘привезешь на базар овцу или что, продавать мясо’ в ЗСП [3. С. 172], то это заимствование, легшее на диалектную почву. Уже довольно заметный отрыв от нее в силу выражения семантического субъекта действия в придаточном предложении существительным в дат. п., Впрочем, демонстрирует такой пример из ЗСП: *šē čáцo by kan'ešno dla škoły <...> literatury, cobi mozna bičo žécám z interesom šē zajmivac* ‘хотелось бы, конечно, для шко-

лы литературы, чтобы детям можно было с интересом заниматься' [Там же. С. 236].

Некоторые типы инфинитивных конструкций в анализируемых польских идиомах, однако, обязаны своим появлением исключительно влиянию РЯО. Многие из них представлены и в чешском переселенческом говоре, ср. особенно: *jek mužić* 'как сказать' в ЗСП и *jak vám říct* 'как вам сказать', *tak po česki říct* 'так по-чешски сказать' в ЗСЧ; *spšěvač spšěvali m'olod'oš* 'петь молодежь пела' в ЗСП [Там же. С. 159], *b'iž noz n'igdy n'e b'ili* 'бить нас никогда не били' в ВСП [4. С. 184] и *von'i jej votv'ečaj na ruskim a rozumit fšecko rozumí* 'они отвечают ей на русском, а понимать всё понимают' в ЗСЧ. Отдельные типы отмечены, напротив, только в одном идиоме: например, частый в ЗСП тип *mn'e nazivač Tas'a Šyš'k'o* 'меня звать Тася Шишко' [3. С. 225].

Конкуренция обобщенно-, неопределенно-личных предложений и возвратных конструкций

Расширенное под влиянием РЯО употребление обобщенно-личных предложений со сказуемым в форме 2-го л. ед. ч., подобное фиксируемому в ЗСЧ, констатировала для ВСП Митренга-Улитина, ср. *ty k'edy čum'iroš, to čša pšedač drug'imu* 'когда ты умираешь, надо передать (свои умения) другому' «вместо типично польской безличной формы» (в данном случае *umiera się*), как это сформулировано в ее монографии [4. С. 121]. При этом в прилагаемой автором подборке текстов удается найти всего один реальный пример конкуренции конструкций с русского типа формой 2-го л. ед. ч. и с польской возвратной формой 3-го л. ед. ч.: *Jak urok, čša цюписке на сорке цюзоć, no popluje še čšy razy. A to ješše čšeba do gorcka naloć vody <...> Ji цю tym še цобеčšeš, tum vodum, popluješ...* 'Если сглаз, надо портянку надеть на шапку, ну и сплюнуть (букв. сплюнется) три раза. А еще надо в кружку налить воды... И вот этим оботрешься, этой водой, сплюнешь...' [Там же. С. 183]. В остальном с такими возвратными конструкциями в ВСП конкурируют конструкции с неопределенно-личными формами 3-го л. мн. ч. и с личными формами глагола, ср.: *Ци nos tak'e v'elk'e cebžyk'i byli, že naloři vody ji tam my v'čžili jedyn za drug'im. Ji vode še troхе jino dolyvaцю, n'e m'in'aцю še tak, jak teros, co še pod dušym muje* 'У нас были такие большие лохани, куда наливали воды, и мы залезали туда один за другим. И воду только немного доливали, не расходовали так, как сейчас, когда под душем моются' (букв. доливалось, не расходовалось, моется); *Rob'il'i že my darym toto. A tero цот co to pšyšцю, že tyn, p'ens'ije m'i jakum dajum. Rob'icю še, rob'icю <...> No pšerob'icam caцю svuj v'ek, a teroz muv'e <...> N'e v'im, jak še byže dali žуцю* 'Работали мы даром. А сейчас вот как вышло, что это, пенсию мне какую дают. Работала, работала (букв. работалось), проработала я весь свой век, а теперь говорю... Не знаю, как дальше буду жить (букв. будет житься)' [Там же. С. 179, 180]. Аналогично в ЗСП: *r'eš'ili Jenis'ej ženksy zrobžić i to d'er'evn'e zatopšić <...> i ubrali te d'er'evn'e, te*

m'ejsce fśo zatopśiуо śe 'решили Енисей сделать больше и эту деревню затопить... и убрали эту деревню, это место всё затопили (букв. *затопилось*); *i tera mn'e <...> zrobźiу tak'e t'uk'i śano, a ono pozne, "on'e robźli jesce one obv'aуe biуо, jek te t'uk'i śe skren'ciуо* 'и сейчас он мне сделал такие тюки сена (букв. *сено*), а оно позднее, когда они делали, оно еще вялое было, когда те тюки связали (букв. *связалось*)' [3. С. 163, 212–213].

Как показывают эти примеры, в ВСП и ЗСП в целом сохраняется структурная и семантическая специфика польских возвратных безличных конструкций, отличающая их от соотносительных конструкций чешских и русских, которые также разнятся между собой, однако по крайней мере у прямообъектных глаголов имеют схожий пассивный характер: объект-пациенс занимает позицию подлежащего, и возвратная форма согласуется с ним по числу и иным релевантным категориям¹³. Этого не происходит в польских конструкциях, ср. в ВСП *vode* (вин. п. ед. ч.) *śe dolywaуо*, в ЗСП *te t'uk'i* (вин. п. мн. ч.) *śe skren'ciуо* при форме 3-го л. ед. ч. ср. р. в обоих случаях, в отличие от потенциальных соответствий в рус. *подливалась вода* или – с заменой вида – *связывались тюки*. Иногда, однако, из-за омонимии форм вин. и им. п. бывает непросто отделить наследие исходного диалекта от русизмов. Проиллюстрирую это тремя извлечениями а) из ВСП, б) и в) из ЗСП:

а) *no a toto tak barзо juś śe n'e pam'into, bo to uś tyle lot pśeśуо* 'но это уже не очень-то и помнится, ведь уже столько лет прошло' [4. С. 180], где можно видеть как польскую конструкцию, так и калькированную русскую;

б) *mn'e tera fspomn'ina śe fśystk'e уot moje d'ectwo* 'мне вот сейчас вспоминается всё мое детство' [3. С. 226], где русское происхождение конструкции выдает выражение семантического субъекта действия формой дат. п. местоимения;

в) *tera ja juz zabaciуа po polsku <...> tak jeg bi śe robźiуо, to bi trosk'e śe fspom'inaуо* 'сейчас я уже забыла польский... вот если бы работала, то понемногу бы вспоминала (букв. *работалось, вспоминалось*)' [Там же. С. 150] – здесь налицо типично польская конструкция с возвратными формами безобъектного и безобъектно употребленного глаголов.

В то же время в ЗСП встречаются примеры необычной для польского языка (включая диалекты, в том числе мазурские) возвратной конструкции пассивного типа с трансформацией объекта переходного глагола в субъект (подлежащее), которая только в отдельных случаях может быть возведена напрямую к РЯО, ср. в материалах нашей экспедиции 2013 г.: *i pśesn'e spśeуal'i fśo na polsk'im <...> duzo со pozabacaуо śe, a "ot jedna pam'inta śe* 'и песни мы пели все на польском... многое позабылось, а вот одна помнится'. В других случаях в такой конструкции находим возвратные формы глаголов: либо совершенного и несовершенного вида рядом: *od gźe śano*

¹³ Впрочем, в записях СКЧ под Новороссийском встретился неожиданный для чешского языка (включая диалекты) пример возвратной деагентивной конструкции «польского» типа, без трансформации прямого объекта переходного глагола в подлежащее: *vin'ici se kopá metr* 'виноградник копают (букв. *копается* + вин. п.) на метр' [22. С. 333].

skosóne, tam te po tym košén'u tedi taka maça trafka... jek ona skoši še, a rěncan'i še koši to vopš'e maça trafka <...> i tedi te i te pčaskunk'i <...> poroščelali 'вот где сено скошенное, там после этого скашивания такая маленькая травка... когда ее скосят (букв. она *скосится*), а маленькая травка вообще-то руками косится, вот тогда посконь расстилали', либо только совершенного вида, ср. из записей Ступинского 2002–2006 гг.: *in tey bikač... tak'i šn'eg v žime buč, te biki še zavalo, fstan'es, vezm'es čopaty i odvalas, droge robžis tem bikam* 'и на быках... такой снег зимой был, этих быков завалит (букв. *эти быки завалятся*), встанешь, возьмешь лопаты и отваливаешь, дорогу прокладываешь этим быкам'; *u mn'e za šćano m'ed'ig zije <...> mi p'šezili'... tutaj ten dom še postroič, i čot "n'e p'šešli i mi p'šešli* 'у меня за стеной живет женщина-медик... мы прожили... тут этот дом построили (букв. *построился*), и вот они перешли (сюда), и мы перешли' [З. С. 161, 186]. Возможно, подобные примеры отражают периферийное развитие конструкции, заимствованной из РЯО, под влиянием структурно отличной от нее польской конструкции, не знающей ограничения глаголов по виду.

Причастные конструкции

Во всех рассматриваемых идиомах распространены также частично синонимичные описанным конструкции со страдательными причастиями. В первую очередь обращает на себя внимание изредка отмечающееся в ЗСП употребление кратких причастных форм им.-вин. п. ед. ч. ср. р. на *-no* без глагола-связки, не тождественных типичным для польского (литературного) языка неопределенно-личным формам прошедшего времени на *-no/-to*¹⁴. В примере *tera ón dostač drugo m'etrike, to kazano, cu un N'em'ec* 'сейчас он получил другую метрику, там сказано, что он немец' [З. С. 167] выступает явный русизм (если не украинизм): польск. *kazać* имеет значение 'велеть'¹⁵. Сложнее объяснить форму на *-no* во фразе *Čajkofski Janek <...> on pšisač i Brik Stašek <...> po rusku pšisano, no duzo n'e davali, řatko pšisali* 'Чайковский Янек, он писал, и Брик Сташек... по-русски писали (букв. *писано*), но много писать не давали, писали редко' [Там же. С. 190]:

¹⁴ Исходным для ЗСП говорам, как и другим польским диалектам, такие формы, впрочем, и не были известны. В мазурских текстах из сборника К. Нича краткие страдательные причастия ср. р. в сказуемом встречаются всегда в конструкции с глаголом 'быть', которая может иметь и активное значение, ср. *tag bičo spšřvano* 'так пели', *i duzo jest tamo luži zebrano* 'и много народу там собралось' [19. С. 57, 72].

¹⁵ Такой же русизм, повторенный дважды (в первом случае – с русской редукцией конечного гласного), содержит фраза *jek v b"ibliji še napšise, tak fšo še robž'i... tam bžě nap'eręč p'isane: vesь мир будет напоен вином – jest'... i řip'er, tam napšisana, tam napšisano co jesce...* 'как в Библии написано (букв. *напишется*), так всё и делается... там перво-наперво написано... так и есть... а теперь там написано что еще...', в начале которой после необычной возвратной формы глагола СВ, возможно, представлена единичная в записях ЗСП мазурская форма пассива настоящего времени, являющаяся калькой немецкой формы типа *wird geschrieben* (см. [20. С. 184]).

семантически она отличается и от польской литературной *pisano* 'писали' с подразумеваемым неопределенным субъектом, и от рус. *писано*. Вероятно, также и здесь мы имеем дело с периферийным употреблением формы, заимствованной из РЯО, в значении польской возвратной формы *pisalo się*, допустимой в данном контексте.

В остальном в анализируемых диалектах возможны, с одной стороны, краткая (ср. р. ед. ч. в ЗСП) и полные формы страдательных причастий в составе сказуемого с глаголом-связкой, а с другой – только полные формы в функции сказуемого без связки.

Конструкции первого типа во всех говорах могли бы считаться исконными, хотя примеры их часто носят заметный отпечаток структурно совпадающих русских соответствий¹⁶ (в частности, и лексический), ср. в ЗСП: *v b'ibl'iji, tam co je napřísano* 'в Библии, там что (букв. *есть*) написано'; *tedy jesce tag bičo pevno zaprešćono* 'тогда еще такое было, наверное, запрещено', *toto kan'ešno i zaran'e tez bičo fšó i r'ešono* 'все это, конечно, заранее было решено'; из записей Ступинского: *tera tojs' n'e nas dom, jest on pšedany* 'теперь это уже не наш дом, он продан (букв. *есть проданный*)'; *duze nari bili drevn'ane зробžone* 'большие нары деревянные были сделаны' при необычном употреблении *ta d'er'evn'a, χturna tu je, "ona biča nasenta v načal'e tego v'eka* 'эта деревня, которая тут есть, она была основана (букв. *начатая*, т. е. началась) в начале того века' [3. С. 178, 165, 215]]; в ВСП: *tam nary tak'e byđu i dran'e tak'e byđu pošselane* 'там были такие нары, и такие тряпки были постелены', *kartofle byđu vykopane* 'картошка была выкопана'; а также *pšoži byđu košule z b'očego tovaru šyte* 'раньше рубахи из белой ткани шили (букв. *были шитые*)' [4. С. 177, 182]; в ЗСЧ *bito zaprešćeni sem do Ros'iji co libo vozit* 'было запрещено сюда, в Россию, что-либо ввозить'; *i na svadbu tam lid'i, hdo je bil pozvanej, von'i pomohali druh druhu... vot jesli ja sem nn'ekomu pozvana, já musím vodnist maso n'aki...* 'и на свадьбу люди, кто был приглашен, они помогали друг другу... вот если я к кому-то приглашена, я должна отнести что-то мясное...'; *bila taková krásna vesn'ice, fšexno róvn'e tak posad'eni, kvítka a doma fšexni bili porádek vobilení, vobarvení* 'была такая красивая деревня, все было так ровно посажено, цветы, и дома были всегда побелены, покрашены'; *ta'ínek bil i na front'e... nu, řikaj že čon bil zročna na čostok čzatej* 'папа был на фронте – говорят, сначала его на восток взяли (букв. *он был взятый*)'.

Второй тип конструкций с причастиями, вероятно, развился под влиянием русских говоров Сибири. Речь идет о таких случаях, как:

¹⁶ Их соответствиями, за исключением оборотов с краткими причастиями ср. р. типа *было запрещено*, несомненно, будут не столько литературные, сколько диалектные конструкции с полными формами причастий, такие как *После войны построили* (мост), *в войну сожгано был* [24. С. 157]. В примерах из ЗСП и ЗСЧ ниже формы ж. р. на -а, исходя из системных соображений, следует признать полными: давняя долгота -ā < *-аја здесь по фонетическим причинам не отражается (что, напротив, наблюдается в ВСП в форме *postav'uno* с конечным -о < -ā).

1) в ВСП *a tero čšečo škoца postav'uno na tym m'ejssu* 'а теперь третью школу построили (букв. *третья школа построенная*) на этом месте' [Там же. С. 177]; в ЗСП *a šostrá jejna varp's'e s Polšy pšy'žžžona* 'а сестру ее привезли вообще из Польши (букв. *сестра ее привезенная*)'; ср. также омонимичную активную причастную конструкцию в ЗСП *rozony ja za žyku Jen'is'ej, še rožyц dvažešća drug'im roku* 'родился (букв. *рожденный*) я за рекой Енисей, в 22-м году родился' [З. С. 200, 243, 245] и в ЗСЧ *narozená sem v lednu padesát třetího roka* 'родилась (букв. *рожденная*) я в январе 53-го года' либо даже *mí rodiče rožd'oni sou tedik* 'мои родители тут родились (букв. *рожденные*)' с полностью заимствованным из РЯО причастием, оформленным только чешским адъективным окончанием, но с внедрением в конструкцию формы настоящего времени глагола-связки;

2) в ВСП *vele Zurka n'e šecune, an'i kartofle n'e plev'une*, букв. *у Зурека не кошено и картошка не полота* (т. е. Зурек этого не сделал, и никто другой за него тоже) [4. С. 183]; в ЗСП *u nas fcuŋk oplacone na gožine <...> i tedi do nas jus pšy'ho ži ta muzyk'ant* 'мы всякий раз платим (букв. *у нас всегда оплачено*) за час, и тогда уже к нам приходит музыкант' [З. С. 184].

Подтип 1 в ВСП и ЗСП может иметь также собственно польские корни, ср. *Tug bóца škoца, ta vupo^lnoц* 'Тут была школа, ее сожгли (букв. *она сожжена*)' [21. С. 80]. В то же время вряд ли случайно его сходство с русским диалектным типом *Корм-та весь спасёнай* [24. С. 157], который широко бытует и в говорах Сибири. Примечательно совпадение приведенных выше сообщений носителей ЗСП и ЗСЧ о рождении (своем и родителей) с примером М.А. Харламовой *из аб'ацкава ра'ёна я р'ождена* [17. С. 82], в котором, однако, выступает краткая форма причастия.

Подтип 2, присущий только польским идиомам в Сибири, видимо, отражает влияние частотной, особенно в северо-западных русских говорах, «конструкции с кратким страдательным причастием, образованным от переходного глагола в его непереходном (абсолютивном) значении», типа *вон у ей настирано да развешано* [24. С. 154]. Хотя в этой конструкции «посессивное сочетание *у + Р*» выступает, «как правило, с недифференцированным значением деятеля и обладателя результата действия», встречаются случаи типа *с той кучи у кого-то взято* (= кто-то взял), когда им выражен субъект действия [Там же. С. 154–155]. Оба эти значения демонстрируют примеры из ВСП и ЗСП выше, которые отличает от диалектных русских употребление полных, а не кратких причастий, но объединяет с ними наличие в принципе не свойственного западнославянским языкам и диалектам «посессивного сочетания *у + Р*».

Конкуренция конструкций *esse-* и *habere-* типа

Можно сказать, что последний подтип рассмотренных причастных конструкций представляет частный случай наблюдаемого во всех изучаемых идиомах вытеснения посессивных конструкций с глаголом 'иметь' конструкциями русского типа с той или иной формой глагола 'быть' (включая

нулевую) и именем обладателя в род. п. с предлогом *u* или, реже, в дат. п. Выше были приведены некоторые примеры конкуренции названных конструкций в ЗСЧ и ВСП (последние по [4. С. 118]), к которым стоит добавить примеры с наречием в составе той и другой конструкции: *cyśśutko tum* и *ци mn'e tak cyśśutko jes* 'у меня (так) чисто' [Там же. С. 183]. Аналогичная конкуренция имеет место в ЗСП, ср. пример контаминации обеих конструкций: *o n'aц dva sini u n'ego bili*, букв. 'он имел два сына у него были', а также *fšo u nas jest* 'всё у нас есть' и *tami fšístk'ego vдовол*. 'всего у нас вдоволь', *jesli u вас cas jest* 'если у вас есть время' и *n'edužo casu ma* 'у нее немного времени' [3. С. 158, 201–202, 231, 243]. В конструкции русского типа здесь довольно часто отмечается пропуск глагола 'быть' в настоящем времени: *u mn'e tlo jeden brat* 'у меня только один брат', *pšén'č iх u nas šostruf* 'пять их у нас, сестер', *u n'ego i b'ibl'ija na polsk'em* 'у него (есть) и Библия на польском' [Там же. С. 158, 185]; в наших записях 2013 г.: *p'ens'ija u mn'e tes n'eduza* 'пенсия у меня небольшая'.

Помимо того в обоих польских говорах конкурируют конструкции, обозначающие возраст, с глаголами 'иметь' и 'быть' (в настоящем времени последний в ЗСП также обычно опущен), во второй из которых семантический субъект выражен формой дат. п.; например, в ВСП: *Moja matka pšyjeжаца s Polsk'i. M'аца jedynašše lot <...> ji f štyr'žestym žev'untym цитарца. Cyžešši žev'in'ž lot ji буцо...* 'Моя мать приехала из Польши. Ей было (букв. она имела) 11 лет... и в 46-м умерла. 49 лет ей было' [4. С. 181]; в ЗСП: *šiya ja n'аца? mama muž'i n'e žencej jek tš'j lata ti n'аца, a jek žecuk ma tš'j lata,* 'он ma pam'en'č dobro <...> i mn'e tera jus ošem žešont dva, ošem žešont tšeci rok' сколько мне было? мама говорит, не больше трех лет тебе было, а когда ребенку три года, у него хорошая память (букв. я, ты имела, он имеет)... а сейчас мне уже 82, 83-й год', *nasej cerkv'i ju sto žešen'č lat* 'нашей церкви уже 110 лет' [3. С. 192–194] и т. п.

В ЗСЧ конструкция с глаголом 'быть' и выражением семантического субъекта формой дат. п., обозначающая возраст, является исконной; вторичное русское влияние на нее иногда выдает разве только инверсия числительного и существительного при указании на приблизительность (*let šest mi bilo* 'лет шесть мне было') и употребление при числительных 2–4 и составных с ними формы род. п. мн. ч. существительного и ед. ч. глагола-связки, что, впрочем, возможно и в современном чешском языке: *On je mladej, jemu je třicet tři roku, třicet štiri daže* 'Он молодой, ему 33 года (букв. годов), даже 34'¹⁷. Пропуск глагола 'быть' наблюдается здесь лишь изредка при повторе, в случаях эллипсиса, и не в качестве системной черты; ср. в прошедшем времени: *nu, ji bilo...* *jesli цона je dvacet prun'iho roka, to ji sedum let...* *to bil jakej, dvacet vúsmej rok* 'ну, ей было... если она 21-го года, то ей 7 лет... это какой был – 28-й год'.

¹⁷ Аналогичные особенности синтаксиса числительных в СКЧ под Новороссийском описаны в [23. С. 142–143].

Копулятивные и некопулятивные предложения

Неэллиптическое опущение личных форм глагола-связки 'быть' в предложениях, относящихся к плану настоящего (и вневременных), под влиянием предложений аналогичной структуры, характерных для РЯО, проявляется неравномерно в чешском и польских говорах Сибири. В ЗСЧ относительно регулярный пропуск связки ограничивается лишь предложениями отдельных типов. Таковы, в частности, предложения с модальным предикативом *nado/nada*, о которых была речь выше, и с оценочными наречными предикативами *těško* 'трудно' (но также со связкой: *těško je*), *pjekn'e* 'хорошо', *špatn'e* 'плохо' в восклицании *Oj, špatn'e nám!* 'Ой, плохо нам!'. Предложения иных типов без связки нечасты: *Mi už starí, tak nemožem tak spívat pjekn'e* 'Мы уже старые, поэтому не можем так хорошо петь'; *Nu jak vi tadi?* 'Ну как вы тут?'; *Vot takovej žízn* (контаминация чеш. диал. *Takovej je život* с рус. *Вот такая жизнь*). В подобных случаях, по сути, происходит калькирование русских бессвязочных предложений, при адаптации которых, впрочем, иногда имеет место подстановка ненулевой формы глагола 'быть', ср.: *A potom fšecko jest'estvenno je <...> sluňičko, dešč i fs'o* 'А потом всё естественно... солнышко, дождь – и всё'; *Vot na Kuban'i <...> uot tam je xleba, tam uelikej urožaj, a xleba ne jix* 'Вот на Кубани, вот там хлеб... там большой урожай, а хлеб не их' и т. п.

Польские диалекты (не только переселенческие на территории Сибири), как и вообще польский язык в его устной форме, по распространенности бессвязочных предложений изначально ближе к русскому. Ввиду этого нельзя относить полностью за счет влияния РЯО, например, такие фразы носителей ВСП из текстов, собранных в [4. С. 177–184], как: *Voda ji že, kanoц šerok'i* 'Вода течет, канал широкий'; *Uícekojmy, bo tu n'ež'vić* 'Бежим, тут медведь'; *P'ens'ija maцo, že zaroboteg byц maцu* 'Пенсия маленькая, поскольку заработок был маленький'; *poračau, пахвоуу, že tu dobže* 'посмотрели, расхвалили, что тут хорошо' и т. п. В ряде случаев тем не менее заметен отпечаток русского синтаксиса, характеризующегося в целом более свободным образованием чисто именных предложений, как и более широкими возможностями контекстной актуализации высказывания, ср. *Mama ze s'emji Sojuf* 'Мама из семьи Соя'; *No po rozmov'e to <...> цуну муv'um že му is pot Krakova* 'Но по речи... они говорят, что мы из-под Кракова'; *Jež n'e byцo co, jedl'imy kartofle <...> Za to teros tak'i zdroyu* 'Есть было нечего, ели мы картошку... Зато сейчас (я) такой здоровый'.

Еще шире представлены бессвязочные предложения в ЗСП. В этом плане примечателен проведенный в ходе нашей экспедиции 2013 г. эксперимент. Жительница Знаменки 1956 г. р. на заданный по-польски вопрос, старый ли ее дом (*Czy ten dom jest stary?*), отвечала чисто именными фразами *N'e, ón n'e mocno stari <...> vot z d'ev'an'ostovo goda, to ón jesce n'e stari, ón f tej ul'ici samij novi* 'Нет, он не очень старый, с 90-го года, так что еще не старый, он на этой улице самый новый' и точно так же сообщила о себе: *to ja na piцove možna pože žić <...> Polacka* 'я наполовину, можно ска-

зять, поляк». Когда же ее попросили перевести на родной говор фразу *Czy ty jesteś Polakiem?* 'Ты поляк?', она интерпретировала завершение формы 2-го л. ед. ч. глагола-связки *jesteś* по-своему и предложила перевод *Ti tès Polak?* 'Ты тоже поляк?', который затем уточнила, на сей раз употребив унифицированную диалектную форму глагола 'быть' без лично-числового показателя: *Jesli ja chce цот цюžека – pr'im'erno*¹⁸ *žize, jo? i ja – nu, dumam, со цон tès n'e rusk'i <...> ja u n'ego spitam še: Ti tès jest Polak?* 'Вот если я хочу человека – например, вижу, да? и думаю, что он тоже не русский, я у него спрошу: Ты тоже (букв. *есть*) поляк?' Возможный ответ на такой вопрос, по ее словам, звучал бы так: *Jo, ja jest Polak. <...> A цот „mi” uže b'ez „jest” – il'i, da-da: Mi jest Polak'i.* 'Да, я (букв. *есть*) поляк. А вот «мы» уже без «есть» – или, да-да: Мы (букв. *есть*) поляки'. Аналогично: *Vi jest Polak'i* 'Вы поляки', но *On'i su Polak'i* 'Они поляки'. Далее собеседница одобрила составленные интервьюерами предложения *Ja jest v domu* 'Я (букв. *есть*) дома' и *Ci ti tès jest v domu?* 'Ты тоже (букв. *есть*) дома?', но сформулированный по-русски вопрос «Где ты?» перевела так: *Ti gže tera?* 'Ты где сейчас?', т.е. без глагола-связки («личный» характер которого проявляется практически только в форме 3-го л. мн. ч. *su*¹⁹), зато с дополнительной лексической сигнализацией плана настоящего. При явной искусственности части предложений со связкой, сконструированных в ходе экс-

¹⁸ Попутно отметим, что анализируемым польским и чешским идиомам присущи также часто совпадающие специфически сибирские, воспринятые из окружающих русских диалектов «дискурсивные слова» (помимо общих для них, например, с чешскими говорами на Северном Кавказе, таких как *вот, ну, в общем* и др., на которые было указано в работе [23. С. 43]). Это, в частности, слова *примерно* в значении 'например' (и в ЗСЧ: *fčera pr'im'erno sem se koukala do sklepa* 'вчера, например, я заглядывала в подвал'), *вроде* как средство передачи информации с чужих слов (в ВСП *rustelka zakryvajuť, no žeby duša še n'e pšeglunduvaца vrože* 'зеркала закрывают, чтобы душа как бы не выглядывала' [4. С. 181], в ЗСП *tam tlo štery kľasy, a tutaj <...> vrode pšjježali, со žeći fškoце bendo хоžić* 'там только 4 класса, а сюда приехали – мол, дети в школу будут ходить' [3. С. 175]), частица *да* перед присоединительным союзом (в ЗСП *to muži, ja da i tes potagaца* 'он говорит, (что) и я тоже помогала' [Там же. С. 192], в ЗСЧ *d'evčata da i fs'o* 'девушки, да и всё'). Из иных особенностей организации текста обращают на себя внимание частые во всех изучаемых идиомах повторы, однотипные наблюдаемым в высказываниях носителей русских говоров Сибири; например, в ВСП *n'e mogli my pšeskocyž bes tyn каоцц, n'e mogli pšeskocyč* 'не могли мы перепрыгнуть через этот канал, не могли перепрыгнуть' [4. С. 178]; в ЗСП *rožice tutaj še rožili, tutaj tutaj še rožili* 'родители наши тут родились, тут родились' [3. С. 219], в ЗСЧ *n'ic sme nestonali, n'ic sme nestonali* 'мы совсем не болели, совсем не болели'; ср. рус. *картошка ни-ражалася вот/ как вот засушит засушит/ вот* [17. С. 84].

¹⁹ Форма 1-го л. ед. ч. с особым личным показателем *jestem/jezdem* была зафиксирована Ступинским лишь трижды в речи единственного информанта, ср. *jestem Polak po ojcu, žadek muj цин zavženty Polak* 'я поляк по отцу, а дед мой – он ярый поляк' [3. С. 245] с примечательным отсутствием глагола-связки во второй части высказывания. Помимо этого в молитве «Отче наш» находим форму 2-го л. ед. ч. с показателем *-š*, присоединенным к местоимению: *oјce nas, kturyš jest na n'ebže* 'отче наш, иже еси на небе' [Там же. С. 205].

перимента как информанткой, так и интервьюерами, показательны ее сомнения при выборе между ними и чисто именными предложениями, которые, по-видимому, отражают реальный колеблющийся узус в ЗСП; ср. хотя бы высказывания той же носительницы ЗСП *ja na p''ens'ii jus tera* и старшей по возрасту информантки (1924 г. р.) *ja jus jest na p''ens'ii i žat na p''ens'ii* 'я уже (букв. *есть*) на пенсии, и дед на пенсии' [3. С. 247].

Вместе с тем также и в польских говорах Сибири наблюдается тенденция к подстановке в некоторые предложения, в русском языке бессвязочные, форм глагола 'быть' или восходящих к ним показателей. Ср. в ВСП: *Tak cyśśutko, tak fs'o por'adek jes, fs'o akuratno* 'Так чистенько, такой порядок (букв. *есть*) во всем, всё аккуратно'; *Jo staro tako baba, tylem lot sama* 'Я такая старая баба, столько (букв. *я есть*) лет одна' и *Jo takom staro, fšyskom porob'ica* 'Я такая (букв. *есть*) старая, а всё сделала'; в ЗСП: *tak'e mokre přijžet do domu... jeke tam n'el'i jeke obutk'i... pedno vody jest* 'вот такие мокрые придем домой, какая там у нас была обувь – полно воды (букв. *есть*)'. В записях Ступинского связка *jes(t)* встретилась, кроме прочего, в смешанной русско-польской и калькированной фразе: *v domu modlitvy <...> spševali luže kot'oryje jus jest f tak'om v'ozrošće ot pšene žěšont i starše lat* 'в молитвенном доме пели люди, которые уже (букв. *есть*) в таком возрасте, от 50 лет и старше'; *třý lata jes, jek on poter* '3 года (букв. *есть*) как он умер' [Там же. С. 237, 176].

Общие выводы

Суммируя изложенное выше, можно заключить, что в синтаксисе описываемых островных западнославянских (чешского и польских) говоров в Сибири происходили и происходят во многом параллельные процессы, специфика которых состоит в непрерывном «осциллировании» между сохранением исходных диалектных систем, с одной стороны, и восприятием как частных, так и достаточно значительных фрагментов системы РЯО в его региональных разновидностях – с другой. Из РЯО неравномерно различными говорами усваивались:

1) инфинитивные конструкции ряда типов, в большей степени в ЗСЧ, тогда как для ЗСП и ВСП многие такие конструкции являлись исконными;

2) обобщенно-личные предложения с глаголом в форме 2-го л. ед. ч. – одинаково во всех говорах, при сохранении достаточной устойчивости исконных для них синонимичных возвратных конструкций;

3) конструкции со страдательным причастием, особенно в полной форме без глагола-связки, распространившиеся главным образом в польских идиомах под влиянием диалектных русских конструкций, известных говорам Сибири;

4) посессивные и другие конструкции *esse*-типа (вместо *habere*-типа) – повсеместно, при исконности *esse*-типа в случае обозначения возраста в чешском идиоме;

5) некопулятивные предложения, в меньшей степени в ЗСЧ, в большей – в польских идиомах, где, впрочем, эти структуры часто можно считать исконными, при отмечаемых во всех говорах обратных случаях подстановки глагола в калькируемые русские предложения без связи.

За многообразием этих явлений просматривается дифференцированно действующая по говорам тенденция к известному ослаблению «глагольности» и личного характера предложения и, соответственно, к усилению в нем под влиянием РЯО именного начала и деагентивности²⁰. Разумеется, то и другое проявляется не прямолинейно и не обязательно совпадает, как это имеет место в относящихся к плану настоящего предложениях с предикативом *nado/nada* в ЗСЧ или в усвоенной из русских говоров Сибири конструкции *u nas fčunĭk optacone, vele Zurka n'e šecune* в ЗСП и ВСП. Распространившиеся во всех исследуемых идиомах под влиянием РЯО предложения с формой 2-го л. ед. ч. глагола кажутся вполне «личными» на фоне предложений с возвратной формой глагола польского или чешского типа, но в действительности их деагентивность выше, поскольку они не «агентивизируются» даже при внедрении местоимения 'ты', как в примере *ty k'edy ĭum'iroš* из ВСП (такие конструкции с 'ты', когда говорящий не подразумевает собеседника, являются псевдоагентивными и «мнимодвусоставными»). Процесс деагентивизации вследствие спонтанного изменения стратегии построения высказывания говорящим-билингвом, выбирающим в итоге русскую модель, можно нередко наблюдать прямо в потоке речи. Так, фразу ^u*o_n'au dva sini u n'ego bili* носитель ЗСП начал, используя агентивную конструкцию с глаголом 'иметь', а в конце преобразовал ее в деагентивную русского типа *у него были* (что облегчила возможная омонимия форм им. и вин. п. мн. ч. также одушевленных существительных в ЗСП).

Фиксируемый в речи информантов постоянный переход от «своих» (исконно чешских или польских) синтаксических конструкций к усвоенным русским и наоборот дает основания говорить о реализующемся во всех таких высказываниях «смешанном способе построения дискурса» [23. С. 143]. Проиллюстрирую это выдержками из записанного в мае 2017 г. интервью с единственной носительницей «кресового» польского говора с. Белосток Томской обл. Марией Маркиш. Говор этого села с изначально значительным белорусским элементом (так, даже в семье Маркиш мать была полька, а отец – белорус) являлся уже в период его формирования более «смешанным», нежели другие западнославянские переселенческие говоры Сибири. В процессе дальнейшего островного бытования в русском языковом окружении такой его характер неизбежно должен был усилиться, что и демонстрирует на синтаксическом уровне идиолек названной информантки. Интервью с ней содержит примеры едва ли не всех рассмот-

²⁰ Под деагентивностью вслед за представителями практически общепринятой в современной чешской лингвистике концепции понимается устранение персонального семантического субъекта (лица) из позиции подлежащего.

ренных выше явлений (соответствующие места в оригинале и в русском переводе выделены курсивом): Это именные предложения без глагола-связки, посессивная конструкция с глаголом ‘быть’ и выражением обладателя формой род. п. с предлогом *u* (глагол ‘иметь’ в данном идиолекте отмечен только в форме с отрицанием *n’i ta* ‘нет’, входящей в парадигму глагола ‘быть’, а не ‘иметь’), конструкция с модальным предикативом *nada*, инфинитивные конструкции, из которых одна чисто русская (или восточнославянская), а вторая – тождественная русской исконно польская, и неопределенно-личные предложения с глаголом в 3-м л. мн. ч. (в другой записи М. Маркиш встретилось и обобщенно-личное предложение *jag zaχod’iš f kos’c’ol* <...> *v l’evėj stron’e v uyl’u v’is’el* ‘как заходишь в костел... слева в углу висел’); по-видимому, наблюдается также контаминация личной и возвратной безличной конструкций, каким в общепольском соответствовали бы (*ja*) *rozmawiałam* ‘я разговаривала’ и *rozmawiało się* ‘разговаривали’. Привожу в заключение этот фрагмент.

[Czy Pani mówi po polsku?]

От śadajće vod ze mno i ja bede vam po polsku zadavać vaproxy, ųot tak’e. *Vy sam’i ĩskont? S jak’i gub’ern’ii? Vy iz Maskv’y?* <...> Da, ot es’li pšyježe jaka dyfćyna po polsku, ja jej bede vaproxy davać: *jak’i f Polš- sk’e jenzyk, jak’i tutaj jenzyk*, jak my muv’im- <...> My k’edy kos’c’ol stojal, to my χod’i’li... pokon’_do nas n’e pšyjež’žal’i ks’onzy, to my po polsku fs’o vr’em’a mod’i’li s’e, a teraz naćeli do nas pšyjiz’žec – po rusku juš... My juš i v’id’et n’e v’id’im, žep pšććitać po kšonšk’e.

[A czy nie zapisywał u was ktoś modlitw?]

A u nas jedna jest <...> ųona po polsku čyta <...> a my kak sam’i χud’i’li tak my po polsku i nam n’e nada bylo zap’isuvac’, my po polsku znamy, mod’i’li s’e... a teras ona n’i v’id’i, χot’i ųočk’i jest, a fšystko jedno k’epsko v’iži <...> ųot ona po polsku čita <...> ja juž dužo i zapomn’aća s’e po polsku, temu co n’i ma s k’im s’e rozmav’ac’... jag byli ješće, tək rozmav’alas’, a teras n’i ma s k’im

[A w domu Pani z kim rozmawiała?]

A z mamou... U n’az była mama s Polšy, jo pšyv’ez’li s’ud’a – tšy rok’i było mam’e, to my v domu z mamou po polsku gadali. <...> ųot u mojego žatka było šez’d’ bratuf, i fs’e žyli tut <...> ųot u žatka mojego jedenašće žecuv było, fs’e żyvy byli... opšem dužo było Pol’akuf.

[Вы говорите по-польски?!]

Вот садитесь со мной, и я буду вам по-польски задавать вопросы, вот такие. *Вы сами откуда? Из какой губернии? Вы из Москвы?* <...> Да, вот если придет какая девушка (поговорить) по-польски, я буду задавать ей вопросы: *какой в Польше язык, какой тут язык*, как мы говорим. <...> Мы, когда костел стоял, ходили (туда)... пока к нам не приезжали ксензды, мы по-польски все время молились, а сейчас стали к нам приезжать – уже по-русски... Мы уже и *видеть не видим, что бы прочитать* по книжке.

[А молитвы у вас не записывали?]

A *есть у нас одна* <...> она по-польски читает <...> а мы, когда сами ходили, то по-польски, *нам не надо было записывать*, мы по-польски знаем, молились... а сейчас она не видит, *хоть и очки есть*, а все равно плохо видит <...> вот она по-польски читает <...> я *уже многое и забылась* (sic!) по-польски, *потому что разговаривать не с кем*... пока еще были, так разговаривала (букв. *разговаривалась*), а сейчас не с кем.

[А дома вы с кем разговаривали?]

A с мамой... У нас мама была из Польши, *ее привезли сюда – три года было маме*, вот мы дома с мамой разговаривали по-польски. Вот у *моего деда было шестеро братьев*, и все жили тут... <...> вот у *деда моего 11 детей было*, и все выжили... в общем, много было поляков.

Литература

1. *Ananiewa N.* Zróżnicowanie pokoleniowe polskich gwar kresowych (wybrane zagadnienia) // *Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi.* Poznań, 2006. S. 96–97.
2. *Ананьева Н.Е.* Типология польских говоров Сибири и результаты их контактов с русским идиомом // *Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов, Минск, 2013 г. Доклады российской делегации.* М., 2013. С. 467–478.
3. *Stupiński E.* *Polszczyzna okolic Krasnojarska. Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Dialektologii Polskiej UŁ.* Łódź, 2009. 246 s.
4. *Mitrenga-Ulitina S.* *Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii.* Lublin, 2015.
5. *Пасько Д.* Польский островной диалект жителей дер. Вершина в Сибири // *Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты.* М., 2011. С. 72–80.
6. *Umińska A.* *Gwara wsi Wierszyna (Syberia Wschodnia). Pozostałości języka polskiego w płaszczyźnie fonetycznej i leksykalnej* // *Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe.* Toruń, 2013. S. 27–42.
7. *Gluszkowski M.* *Socio-cultural and Language Changes in a „Cultural Island”: Vershina – A Polish Village in Siberia* // *Eastern European Countryside.* 2014. Vol. 20, Iss. 1. P. 167–188.
8. *Ананьева Н.Е.* Морфология глагола в польском говоре деревни Вершина Боханского района Иркутской области // *Исследования по славянской диалектологии.* М., 2013. Вып. 16. С. 203–210.
9. *Ананьева Н.Е.* Островной польский диалект // *Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности.* М., 2015. Кн. 2. С. 9–18.
10. *Егоров И.М.* Фонетические особенности польского переселенческого говора в Республике Хакасия и в Красноярском крае РФ // *Полевые исследования студентов РГГУ VIII.* М., 2013. С. 98–109.
11. *Jegorow I.* *Zur Sprachsituation und ethnischen Identität in zwei von den historischen ostpreußischen Masuren besiedelten Dörfern in Sibirien* // *Junge Slavistik im Dialog VI. Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz.* Hamburg, 2017. S. 97–105.
12. *Skorwid S.* *Składniki tożsamości narodowej potomków polskich przesiedleńców z Mazur w Republice Chakasji i Krasnojarskim kraju FR* // *Acta Neophilologica XVIII/1.* Olsztyn, 2016. S. 125–134.
13. *Скорвид С.С.* *Говор чехов Среднего Прииртышья: генезис и своеобразие* // *Вестник Омского университета.* 2013. № 3. С. 129–135.
14. *Скорвид С.С.* *Чешские переселенческие говоры на Северном Кавказе и в Западной Сибири* // *Славяноведение.* 2014. № 1. С. 44–58.
15. *Skorvid S.* *Czech immigrant dialects in the Northern Caucasus and Western Siberia* // *International Journal of the Sociology of Language.* 2016. Iss. 238. P. 127–143.
16. *Hakenová B.* *Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.* Praha, 2015. 127 s.
17. *Харламова М.А.* *Константы народной речемысли и их лексикографическая интерпретация.* Омск, 2014. С. 52–65.
18. *Скорвид С.С.* *К типологии инославянских переселенческих говоров в России* // *Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies.* 2017. Vol. 6, № 1.
19. *Nitsch K.* (red.) *Północno-polskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury.* Kraków, 1955.
20. *Skorwid S.* *Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach przesiedleńczych na terenie Rosji* // *Gwary dziś 7. Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej.* Poznań, 2015. S. 177–190.
21. *Urbańczyk S.* *Zarys dialektologii polskiej.* Warszawa, 1984. Wyd. 7.
22. *Скорвид С.С., Поляков Д.К.* *О проницаемости грамматической системы в ситуации межъязыковой интерференции в говоре потомков чешских переселенцев на Северном Кавказе* // *Исследования по славянской диалектологии.* М., 2013. Вып. 16. С. 305–337.

23. Поляков Д.К. Интерференционные процессы и гибридизация в переселенческих говорах // Гибридные формы в славянских культурах. М., 2014. С. 132–147.

24. Колесов В.В. (ред.) Русская диалектология. М., 1990.

ON THE PARALLEL SYNTACTIC PROCESSES IN WEST SLAVIC INSULAR DIALECTS IN SIBERIA

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 75–97. DOI: 10.17223/19986645/53/6

Sergej S. Skorvid, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation).

E-mail: slavcenteur@gmail.com

Keywords: Czech & Polish dialects, insular immigrant varieties, Western and Eastern Siberia, language contact, verbal and nominal syntactic constructions, deagentivity.

The paper deals with similar syntactic features seen in one Czech and two Polish immigrant dialects, which are still spoken in Siberia. The Czech dialect is used in three villages in the Middle Irtysh area of Omsk Oblast, and the Polish ones in two villages in Krasnoyarsk Krai and in the Republic of Khakassia, and in one village in Irkutsk Oblast. Besides that, an idiolect of the last user of the Polish patois formerly spoken in one village located in Tomsk Oblast is taken into consideration. Despite the fact that each of those varieties has already been described in dialectological works by Russian and Polish (less by Czech) researchers, their resemblance at the syntactic level which occurred due to the contacts with common Russian, as well as with its regional forms has not become an object of attention until now. The author analyses such features as:

1) impersonal constructions, especially with infinitives and modal predicates like *nado/nužno* ‘it is needed’, borrowed from Russian;

2) other deagentive constructions, both formally personal and impersonal, i.a. reflexive and participle constructions of different types (among the latter those ones which were probably influenced by Russian dialects spoken in Siberia, like Polish *rozony ja* or Czech *narozená sem* ‘I was born’ etc.);

3) possessive constructions of Russian ‘to be’ type, also without copula in the present tense, widespread in all the immigrant dialects under examination, along with original ‘to have’ type constructions (cf. Czech *mn’eli vosum d’efčat ... i u fšexn’ež so□ ted’ d’eti* ‘they had eight girls, and all of them have their own children now’);

4) other non-copulative sentences coexisting with copulative (verbal) phrases used even if calquing the Russian purely nominal pattern (cf. Polish *ja na p’ens’ii jus tera / ja jus jest na p’ens’ii* ‘I am already retired now’).

It is stated that the speakers of the examined dialects permanently oscillate in their discourse between originally West Slavic sentence structures and their correspondences in Russian. Such a situation leads to the origin of a mixed code which is fully understandable only within the insular community where it is used. As with the expansion of modern urban civilization all of the dialects in question have not been naturally transmitted across generations and at the present time they are gradually disappearing, it is no doubt that very soon we will be able to trace in each case at most single marks of this code in the totally Russian speech of the descendants of former immigrants.

References

1. Ananiewa, N. (2006) Zróżnicowanie pokoleniowe polskich gwar kresowych (wybrane zagadnienia) [Generational differences in Polish borderland dialects (selected questions)]. In: Sierociuk, J. (ed.) *Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi* [Dialects today 3. Internal differentiation of rural language]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2. Ananiewa, N.E. (2013) Tipologiya pol’skikh govorov Sibiri i rezul’taty ikh kontaktov s russkim idiomom [Typology of Polish dialects in Siberia and the results of their contacts with

Russian idiom]. In: Moldovan, A.M. & Tolstaya, S.M. (eds) *Slavyanskoye yazykoznanie. XV Mezhdunarodnyi syezd slavistov. Minsk, 2013 g. Doklady rossiyskoy delegatsii* [Slavic linguistics. XV. International Congress of Slavists. Minsk 2013. Contributions of Russian Delegation]. Moscow: Indrik.

3. Stupiński, E. (2009) *Polszczyzna okolic Krasnojarska. Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Dialektologii Polskiej UŁ* [Polish language in Krasnoyarsk vicinity. Dissertation written at the Department of Polish Dialectology of the UL]. Lodz. (manuscript).

4. Mitrenga-Ulitina, S. (2015) *Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii* [Polish language of the inhabitants of the village Verzhina in Siberia]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

5. Paško, D. (2011) *Polskiy ostrovnoy dialekt zhitelei der. Verzhina v Sibiri* [Polish insular dialect of the inhabitants of the village Verzhina in Siberia]. In: Grzybowski, S., Khoryev, V.A. & Wołos, M. (eds) *Russko-polskiye yazikovye, literaturnye i kulturnye kontakty* [Russian-Polish language, literary and cultural contacts]. Moscow: Kvadriga.

6. Umińska, A. (2013). *Gwara wsi Wierszyna (Syberia Wschodnia). Pozostałości języka polskiego w płaszczyźnie fonetycznej i leksykalnej* [The dialect of the village Verzhina (Eastern Siberia). Polish phonetic and lexical features]. In: Nowicka, E. & Głuszkowski, M. (eds.) *Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe* [Slavonic language and cultural islands]. Torun: Eikon.

7. Głuszkowski, M. (2014) Socio-cultural and Language Changes in a “Cultural Island”: Verzhina – A Polish Village in Siberia. *Eastern European Countryside*. 20/1. pp. 167–188.

8. Ananieva, N.E. (2013). *Morfologiya glagola v pol'skom govore derevni Verzhina Bokhanskogo rayona Irkutskoy oblasti* [The morphology of the verb in the Polish dialect in the village Verzhina in Bokhansky District of Irkutsk Oblast]. In: Kalnyn, L.E. (ed.) *Issledovaniya po slavyanskoy dialektologii* [Studies in Slavic Dialectology]. 16. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN.

9. Ananieva, N.E. (2015) *Ostrovnoy polskiy dialekt* [An insular Polish dialect]. In: Neshchimenko, G. P. (ed.) *Aktualnye etnoyazykovye i etnokulturnye problemy sovremennosti* [Topical ethnolinguistic & ethnocultural problems of the present time]. Book 2. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur.

10. Egorov, I.M. (2013) *Foneticheskie osobenosti pol'skogo pereselencheskogo govora v Respublike Khakasiya i v Krasnoyarskom kraye RF* [Phonetic features of the Polish immigrant dialect in the Republic of Khakassia and in Krasnoyarsk Krai of the RF]. In: Pivovarov, E.I. *Polevye issledovaniya studentov RGGU* [Field research of students of the RSUH]. VIII. Moscow: RSUH.

11. Jegorov, I. (2017) *Zur Sprachsituation und ethnischen Identität in zwei von den historischen ostpreußischen Masuren besiedelten Dörfern in Sibirien* [On the linguistic situation and ethnic identity in two Siberian villages inhabited by historically East Prussian Masurs]. In: Weigl, A. et al. (eds) *Junge Slavistik im Dialog VI. Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz* [Young Slavistics in Dialogue VI. Contributions to the XI International Conference in Slavistics]. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

12. Skorvid, S. (2016) *Składniki tożsamości narodowej potomków polskich przesiedleńców z Mazur w Republice Chakasji i Krasnojarskim kraju FR* [The components of national identity of the descendants of the Polish immigrants from Masuria in the Republic of Khakassia and Krasnoyarsk Krai of the RF]. *Acta Neophilologica*. XVIII/1.

13. Skorvid, S.S. (2013) *Govor chekhov Srednego Priirtysh'ya: genesis i svoeobrazie* [The Czech dialect in the Middle Irtysh area of Russia: origin and specificity]. *Vestnik Omskogo universiteta – Herald of Omsk University*. 3 (69). pp. 129–135.

14. Skorvid, S.S. (2014) *Cheshskie pereselencheskie govory na Severnom Kavkaze i v Zapadnoy Sibiri* [Czech migrant dialects in the Northern Caucasus and in Western Siberia]. *Slavyanovedeniye – Slavic Studies*. 1. pp. 44–58.

15. Skorvid, S. (2016) Czech immigrant dialects in the Northern Caucasus and Western Siberia. *International Journal of the Sociology of Language*. 238. pp. 127–143.

16. Hakenová, B. (2015) *Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři* [The language of a Czech minority in Repinka in Siberia]. Diploma paper. Charles University in Prague, Faculty of Arts, The Institute of Czech Language and Theory of Communication. Prague. (manuscript).

17. Kharlamova, M.A. (2014) *Konstanty narodnoy rechemyсли i ikh leksikograficheskaya interpretatsiya* [The constants of the folk "speech-thought" and their lexicographical interpretation]. Omsk: Omsk State University.

18. Skorvid, S.S. (2017) K tipologii inoslavyanskikh pereselencheskikh govorov v Rossii [On the typology of the alien Slavic immigrant dialects in Russia]. *Slověne. International Journal of Slavic Studies*. 6/1. (in print).

19. Nitsch, K. (1955) *Północno-polskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury* [Northern Polish dialectal texts from Cassubia up to Masuria]. Krakow: Towarzystwo miłośników języka polskiego.

20. Skorvid, S. (2015) Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach przesiedleńczych na terenie Rosji [Grammatical Germanisms of the ascendant dialects in West Slavic immigrant patois in Russia]. *Gwary dziś*. 7.

21. Urbańczyk, S. (1984) *Zarys dialektologii polskiej* [An Outline of Polish Dialectology]. Warsaw: PWN.

22. Skorvid, S.S. & Polyakov, D.K. (2013) O pronitsayemosti grammaticheskoy sistemy v situatsii mezhyazykovoy interferentsii v govore potomkov cheshskikh pereselentsev na Severnom Kavkaze [On the penetrability of the grammatical system under circumstances of interlingual interference in the dialect of descendants of Czech settlers in the Northern Caucasus]. In: Kalnyn, L. E. (ed.) *Issledovaniya po slavyanskoy dialektologii* [Studies in Slavic Dialectology]. 16. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN.

23. Polyakov, D.K. (2014) Interferentsionnye protsessy i gibridizatsiya v pereselencheskikh govorakh [Inferential processes and hybridization in immigrant dialects]. In: Zlydneva, N. (ed.) *Gibridnye formy v slavyanskikh kulturakh* [Hybrid forms in Slavic cultures]. Moscow: Polimedia.

24. Kolesov, V.V. (ed.) (1990) *Russkaya dialektologiya* [Russian dialectology]. Moscow: Vysshaya shkola.

УДК 81'373

DOI: 10.17223/19986645/53/7

И.В. Тресорукова

ПИЩЕВОЙ КОД ГРЕЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: ФИТОНИМ «ОГУРЕЦ»

Анализируется пищевой код греческой фразеологии и один из его специфических фрагментов, который в качестве самостоятельного объекта ранее не исследовался. Цель статьи – рассмотреть функционирование лексемы «огурец» как компонента-фитонима в составе фразеологических единиц на материале новогреческого языка и выявить особенности пищевого кода греческой фразеологии в целом. На основании изучения корпусов текстов и полевых исследований проведен анализ фразеологических единиц, содержащих этот фитоним, выявлен его семантические и ассоциативные аспекты в рамках рассмотрения различных сфер лексико-фразеологического поля, содержащего данную лексику, что позволяет сделать выводы об особенностях формирования греческой языковой картины мира.

Ключевые слова: фразеология, пищевой код, языковая картина мира, греческий язык, огурец.

Фразеология имеет особую культурологическую ценность в системе любого языка [1. С. 67], являясь своеобразным хранилищем мировоззрения народа, его взглядов и идеалов. Фразеологические единицы (ФЕ) связывают язык с внеязыковой действительностью, что отражает и его аутентичность. Как пишет Ю.П. Солодуб, основу их семантики составляет фразеологический образ, в котором сохраняется национальная специфика ФЕ, так как он опирается на реалии, присущие только одной конкретной нации [2. С. 57].

С точки зрения антропоцентрического подхода к изучению языка такие образы и образные системы формируют так называемые коды культуры, которые представляют собой национально окрашенные «образные коды» [3. С. 83], выражающиеся при помощи совокупности языковых средств и регулярно воспроизводящиеся в речи. Образность в этом ключе понимается как «лексико-семантическая категория, обобщающая свойство единиц лексико-фразеологического уровня, проявляющаяся в их способности обозначить определенное явление внеязыковой деятельности (предмет, свойство, процесс, ситуацию) в ассоциативной связи с другим, нетождественным обозначаемому, явлением на основе их реального или мнимого сходства посредством метафорической внутренней формы языковой единицы» [4. 40]. В этом свете для каждой культуры типовыми выступают представления, выражаемые через образы, формируемые из первичного значения слова и его вторичной интерпретации на основании сходства обозначаемых образов, реальных или мнимых их характеристик. Например, в греческих словосочетаниях *γλυκό τσάι* (gliko tsai – сладкий чай) – *γλυκό νερό*

(gliko nego – пресная вода) – γλυκό χαμόγελο (gliko khamoghelo – милая улыбка) в первом случае прилагательное γλυκός (glikos) употребляется в прямом значении, реализуя лексико-семантический вариант (ЛСВ) ‘сладкий, содержащий сахар’, во втором случае (*пресный*) передаёт семантику ‘не содержащий соли’, а в третьем употреблено в метафорическом значении, реализуя ЛСВ ‘милый, вызывающий приятные ощущения’.

Основа любого культурного кода – символ как «итог смыслового развития знака в культуре», который является знаком «для устойчивого и регулярного воплощения ценностного содержания культуры, ее основных категорий и смыслов» [5. С. 211]. ФЕ в лингвокультурологии играют важную роль, так как создают особую символику окружающего мира. «Этот несколькословный языковой знак способен не только образно описывать происходящее, но и воплощать в себе устойчивые смыслы, которые являются частью семантики данного знака и извлекаются из него при употреблении фразеологизма в речи» [Там же. С. 197]. Таким образом, ФЕ наряду с другими средствами образной номинации (ср., напр., различные тропеистические средства: метафоры, сравнения и пр.) берут на себя функции по отображению и выражению материальной, духовной и языковой картины мира человека и нации в целом.

С историей человеческой цивилизации как таковой и каждого народа в отдельности неразрывно связана история еды: пищевые продукты – одна из основных движущих сил истории человечества, и вопрос питания появляется на самом раннем этапе его развития. Прием пищи неотъемлемо присутствует во всех областях межличностных и общественных отношений, с едой связаны важнейшие ритуалы и культы в человеческой жизни. «Еда – это важный фактор национального самосознания <...> и основной элемент идентичности: этнической, религиозной, социальной» [6. С. 11]. В современном обществе еда и все связанное с ней складывается в единый концепт, метафору освоения окружающего мира, и процесс современной коммуникации все больше приобретает характер глоттонический [7], т.е. связанный с потреблением пищи и поддержанием жизни.

Одним из наиболее распространенных культурных кодов является пищевой (или кулинарный) код: кулинария, гастрономия и еда в целом служат для обозначения целого комплекса различных образов (социальных, семейных, религиозных отношений, опосредованное восприятие природы и пр.), что дает возможность для подробного изучения лексико-фразеологического состава этого кода. В восприятии человека «пища выступает как посредник между природой (космосом) и человеком (социумом, культурой) и вместе с тем как мерило ценности, как средство социальной коммуникации» [8. С. 60]. При этом пищевой код «находится в тесном взаимодействии с другими культурными кодами» [9. С. 211], в том числе и с анималистическим, включающим фитонимический код.

Одним из элементов формирования пищевого кода являются названия растений, или фитонимы, составляющие значительную часть греческого пищевого кода. В буквальном значении они представляют собой опреде-

ленные ботанические реалии и уже в метафорическом смысле выступают в качестве воплощения какого-либо явления или свойства. Как пишет Н.Д. Петрова [10. С. 29], символика растений одна из самых древних и в основе ее формирования лежит распад мифологического мышления, тесно связанного с обожествлением природных реалий, и сравнение, которое человек проводит с предметами и явлениями окружающей действительности. В результате такого сравнения создается символический код природных явлений, что способствует формированию концептуальной картины мира, а символика растений приводит к появлению ботанических символов, или фитонимов.

С точки зрения семантической символики фитонимы могут быть разделены на узуальные и окказиональные. *Узуальные* (или константные) образовались на ранней стадии формирования человеческого сознания и доступны пониманию разных народов и национальностей. *Окказиональные* представляют собой отражение свойств и качеств, которые приписывает фитонимам человек [Там же]. Узуальным символам присущи постоянство и стойкость признака, а окказиональные символы, обладая динамическим характером символики, сужают или расширяют сферу своего применения, постепенно теряя ассоциативные связи [Там же]. При этом у каждого народа может быть своя окказиональная символизация [11. С. 132], и это связано с различным восприятием окружающего мира и разнообразием культур. Различные фитонимы формируют так называемое образное лексико-фразеологическое поле, где каждая лексема фигурирует в различных значениях, которые объединяются на основании «единства исходного мотивирующего образа» [8. С. 208].

В греческой фразеологии фитонимическая тематика развита весьма широко, достаточно лишь упомянуть такие примеры, как *βαρύ πεπόνι* (*vari peroni*) букв. «тяжелая дыня», метафорически (мтф.) «насупившийся (человек)», *το μῆλο πέφτει κάτω από τη μηλιά* (*to milo peftei kato apo ti milia*) (букв. «яблочко падает под яблоню», мтф. «они очень похожи, они родственники», ср. рус. «яблочко от яблони недалеко падает»), *σπουδαία τα λάχανα* (*sroudea ta lakhana*) (букв. «важная капуста», мтф. «что за чепуху ты несешь») и т.п. Фитонимы весьма разнообразны и отражают различные функции, используясь как константные или окказиональные символы, передают все богатство менталитета греческого народа.

Обращаясь к такому элементу пищевого кода, как фитоним «огурец», следует отметить, что эта лексема существует в лексическом поле греческой нации с древних времен. При этом наименование огурца в древнегреческом языке архаической и классической эпохи первоначально не имеет ничего общего с современным его названием *αγγούρι* (*angouri*). В древнегреческих текстах этот овощ называется словом *σικύος* (*sikios*), которое употребляется в сочетании со словом *πέπων* (*peron*), что вполне могло означать любой овощ из разряда тыквенных – дыню, кабачок и пр. На основании сохранившихся упоминаний огурца в древнегреческих текстах (согласно анализу, проведенному по базе TLG [12]) этот фитоним сразу же вос-

принимается как продукт питания и встречается или в описаниях застолья (ср., напр., Аристофан, фрагменты комедий (4 упоминания) Афиней «Пир мудрецов» (19 упоминаний) и пр.) или же в трактатах медицинского содержания Галена, Эвсебия и пр. Весьма часто также подчеркивается качество этого овоща как содержащего семена: ср., напр., у Гесихия – *μέγας σικυός* (meghas sikios – большой огурец) – *σπερματίας* (spermatias – (огурец) с семенами) (Hesychius Lexicogr., Lexicon (Π – Ω) (4085: 003)) или же не содержащего семян («*σικυός και πέπον άνευ τοῦ σπέρματος*») (sikios kai pepon anev tou spermatis) (огурец и дыня без семян), Phaenias Phil., Fragmenta 46, 2). Огурец в древнегреческих текстах (в частности, в текстах медицинского характера, ср., напр., трактат II в. н.э. «De rebus boni malique susi», написанный знаменитым римским врачом Галеном) воспринимается как освежающий овощ, который плохо переваривается и может вызвать расстройство желудка.

Современное наименование огурца как *αγγούρι* (angouri) появляется в медицинских трактатах II в. н. э. и перечисляется среди овощей в различных рецептах (Anonymi Medici Med., De urinis in febribus 2, 323, 13: *τροφὴ δὲ αὐτῷ ἔστω πᾶσα ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ διαίτα ὡσπερ χρυσολάχανα καὶ μαλάχη καὶ ἀγγούρια καὶ κντράγγουρα* (trofi de auto esto pasa psikhra kai hygra diaita khris-olakhana kai malakhe kai angouria kai kitrangoura) (а питанием же ему следует <выбрать> любую холодную и влажную диету, как, например, лебеду, мальву, огурцы и цуккини¹)). Псевдо-Гиппократ в медицинском трактате пишет: «...οἱ δὲ σίκυοι ἤγουν τὰ ἀγγούρια τὰ ἡμέρα διουρητικά εἰσι καθάπερ οἱ πέπονες, ἀλλ' ἡπτῶνται ἐκείνων κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ διὰ τοῦτο <οὐδὲ> ῥαδίως διαφθεῖρονται ἐν γαστρῇ (οἱ de sikioi egoun ta angouria ta hemera diouretika eisi kathaper oi pepones all' hettontai ekeinon kata ten ousian kai dia touto <oude> radios diaftheirontai en gastri) (а огурцы, то есть окультуренные огурцы, являются мочегонными, как и дыня, но по сути более действенны, поэтому быстрее перевариваются в желудке)» (Pseudo-Hippocrates Med., Περὶ διαφορᾶς τροφῶν πρὸς Πτολεμαῖον 491, 19), при этом в самых авторитетных современных древнегреческо-английских словарях «A Greek-English Lexicon» [13] или «A Patristic Greek Lexicon» [14] это слово не встречается, а *ἀγγουρος* (angouros) переводится как «кусочек торта или кекса»².

В восприятии носителя современного греческого языка огурец обладает предсказуемыми ассоциациями, и прежде всего является эвфемистической заменой фаллоса. Сложно сказать, когда именно во фразеологическом лексиконе огурец стал выполнять эту специфическую функцию, так как в Тезаурусе греческого языка нам не удалось найти соответствующих фраг-

¹ Китράγγουρο или τετράγγουρο соответствует cucurbita pepo в латинском варианте, что согласно современной терминологии соответствует кабачку-цуккини или же незрелой тыкве. Мы осмеливаемся предложить вариант перевода «цуккини», так как этот овощ наиболее близок по форме к огурцу. При «этимологическом», т.е. поморфемном переводе этот овощ можно интерпретировать как «пимонный огурец».

² Согласно этимологии, приводимой в этимологическом словаре новогреческого языка Г. Бабиньотиса [15], современное название огурца происходит от арабского *agur* и впоследствии полностью замещает древнегреческий термин.

ментов с метафорическим значением. В словаре средневекового греческого языка Э. Криараса [16] встречается указание леммы *αγγουράκι* (angouraki) и приводится как метафорическое значение «мужской член», при этом приводимая ссылка на источник не поддается расшифровке (*αγγουράκι* το μικρό αγγούρι (μεταφ.) το ανδρικό μέριο: (Δεφ., Λόγ. 441). [<ουσ. *αγγούρι* + κατάλ. -άκι.] («angouraki – маленький огурец, (мтф.) мужской член: (Δεφ., Λόγ. 441). [<сущ. *αγγούρι* + оконч. -άκι.»)), но на современном этапе это замещение весьма распространено: как пишет Эвангелос Папазахариу, огурец имеет форму, весьма напоминающую форму мужского полового органа [17], что позволяет денотату (овощу, названному фитонимической лексемой, обозначающей овощную культуру) эвфемистически подменять собой мужской половой орган. Нельзя исключить также возможность восприятия огурца как овоща, содержащего большое количество семян (*σπερματίας* (spermatias)), что опять-таки роднит его с фаллосом.

При анализе корпуса новогреческих текстов ЕФЕГ и вычленении вариантов ФЕ, включающих лексему *огурец*, выявлено 14 наиболее употребительных ФЕ, содержащих лексему *αγγούρι* (angouri), известных 85% носителей языка³, при этом оставшиеся 15% респондентов не знали предлагаемых фразеологизмов или предлагали свои варианты приводимых ФЕ⁴.

Среди скомпонованной группы ФЕ есть практически все категории фразеологизмов: и идиоматические, и устойчивые выражения, и паремии, и речевые формулы (классификация ФЕ проводится по теории Баранова – Добровольского [18. С. 44]). Наибольшее количество приходится на долю идиоматических выражений (5 из 14), затем следуют устойчивые выражения (3 из 14), 3 паремии, 2 речевые формулы и 1 метафорический дериват.

При анализе семантики фитонима *огурец* в различных ФЕ прежде всего выявляются ФЕ, где огурец интерпретируется непосредственно как фаллический символ. Идиома *μου μπήκε το αγγούρι* (mou bike to angouri) (вариант: *μου έχει μπει το αγγούρι / μου έχει μπει μεγάλο αγγούρι* (mou ekhi bi to angouri / to megalò angouri)) дословно означает «в меня вошел огурец» (вариант: «в меня уже вошел огурец / большой огурец») (как правило, говорящий уточняет, куда именно вошел огурец – *στον κόλο* (ston kolo) (букв. «в задницу») [19]) и характеризует трудности, с которыми пришлось столкнуться человеку, причем это выражение почти всегда сопровождается определенной obscene жестуляцией для усиления значения ФЕ.

³ Анализ был произведен путем опроса различных носителей языка, выборка была сделана при сотрудничестве с Лабораторией греческого языка Университета им. Демокрита (Фракия, Греция), возрастной состав участников от 20 до 50 лет, всего в опросе приняли участие 253 человека, которым был предложен специально составленный для этой цели опросник, где содержались представленные в данной статье ФЕ.

⁴ 85% респондентов опознали ФЕ, которые в результате можно отнести к узуальным, оставшиеся 15% респондентов выявили окказиональные ФЕ. Речь в данном случае идет о респондентах, являющихся носителями греческого языка, т.е. и узуальные, и окказиональные ФЕ формируют греческую языковую картину мира (ЯКМ).

Среди речевых формул с лексемой *огурец* весьма примечательной является ФЕ *μιλιόρι αγγούρι* (*miliori angouri*, букв. «миллионы огурцов»). Эта ФЕ ведет свое происхождение из рекламы макарон Misco, где итальянец говорит: *Migliori auguri από Misco, χρόνια πολλά* (*Miliori auguri apo Misco, kronia polla*) (букв. «Всего вам хорошего от компании Миско, с праздником!»). *Auguri*⁵ было услышано как «*anguri*» и истолковано как *αγγούρι* в образе фаллического символа, после чего эта речевая формула вошла в язык с отрицательными коннотациями и стала означать большие неприятности и сложности, причем негативность значения передается также при помощи интонации и соответствующей жестикюляции [19]: *ΜΙΛΙΟΡΙ ΑΓΓΟΥΡΙ (μα μεγάλο αγγούρι) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Χρόνια Πολλά. Και ένα φιλάκι από κοντά όπως έκανε ο μάγειρας* (*MILIORI ANGOURI (ma megalο angouri) ASFALISTIKO. Khronia polla. Ke ena filaki apo konda opos ekane o maghiras*) («ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА (букв. «БОЛЬШОЙ ОГУРЕЦ») (ну очень большая проблема (букв. «ну очень большой огурец»)) – СТРАХОВОЙ ВОПРОС. С праздником. Нежно целую вас по примеру повара <из рекламы>»).

К эвфемистическим ФЕ, где огурец заменяет собой мужской половой орган, относится идиома *αγγούρια καλαβρέζικα* (*angouria kalavrezika*), которая по одной из версий, предлагаемых Никосом Сарантакосом, является эвфемизмом к идиоме *αρχίδια καλαβρέζικα* (*arkhidia kalavrezika*) [Там же]. Эпитет *καλαβρέζικα*⁶ отсылает нас к чему-то качественному, в то время как существительное *αρχίδια* («яйца», бран.) обозначает нечто, не имеющее существенного значения [Там же]. Само выражение *αγγούρια καλαβρέζικα* (*aggouria kalavrezika*, букв. «калабрийские огурцы», мтф. «черт знает что такое», «не пойми что») употребляется для обозначения пренебрежительного отношения говорящего к предмету, причем зачастую выражение включается в рифмованную пословицу-приказку *Κι όσα μας λες κινέζικα, κι αρχίδια / αγγούρια καλαβρέζικα* (*Ke osa mas les kinezika ki arkhidia / angouria kalavrezika*) (букв. «И все, что ты говоришь, – китайская грамота, и яйца / огурцы калабрийские»), где существительное *αγγούρια* может быть вариантом и чередоваться с существительным *αρχίδια*.

Фитоним *αγγούρι* формирует еще одну группу ФЕ, где эта лексема используется применительно к внешности человека. Идиома *περπατάω σαν αγγούρι* (*perpatao san angouri*, букв. «ходить как огурец») употребляется для обозначения человека с косолапой, нескладной походкой: *Αυτά και αυτά είδε ο πετυχημένος σκηνοθέτης Woody Allen και γύρισε όλες τις σκηνές της Carla με μία νεαρή και όμορφη ηθοποιό, και σκέφτεται να συνεχίσει βγάζοντας την Carla από την ταινία, καθώς όταν γύριζαν τις σκηνές, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη, και περπατούσε σαν αγγούρι!* (*Afta ke aft aide o petikhimenos skinothetis*

⁵ Авгурами назывались жрецы, гадавшие по полету птиц в Древнем Риме.

⁶ Это прилагательное нам не удалось обнаружить в существующих толковых словарях греческого языка, но этимологически оно явно происходит от названия итальянского города Калабрия, что позволяет буквально переводить эту лексему как «калабрийский». Безусловно, в самой ФЕ это прилагательное не имеет никакого отношения к конкретному городу и в греческом языке встречается только в составе данной ФЕ.

Woody Alen ke ghirise oles tis skines tis Carla me mia meari ke omorfi ithopio ke skeftete na sinekhisi vgazontas tin Carla apo tin tenia, kathos otan ghirisan tis skines, den mporouse na arthrosi leksi, ke perpatouse san angouri) («Вот и увидел это все успешный режиссер Вуди Аллен, и снял все сцены Карлы с молодой и красивой актрисой, и собирается так и продолжать, убрав Карлу из фильма, так как во время съемок она ни слова не могла произнести и ходила враскоряку (букв. «как огурец»»)).

Необычным является происхождение ещё одной новогреческой речевой формулы: *δες μια μούρη σαν αγγούρι* (*des mia mougi san angouri*, букв. «посмотри на морду как огурец»). Она представляет собой фразу из стихотворения-дразнилки, описывающего уродливого человека:

*Δες μια μούρη σαν αγγούρι,
 Δες μια μύτη σα σημίτη,
 Δες κάτ' μάτια σαν κομμάτια,
 Δες κάτ' πόδια σαν χταπόδια,
 Δες κάτ' χέρια σαν μαχαίρια.
 («Посмотри на морду как огурец,
 Посмотри на нос как у еврея,
 Посмотри на глаза как две плошки,
 Посмотри на ноги как у осьминога,
 Посмотри на руки как ножи.»)*

Обычно в разговоре употребляется только самая первая строка этого стихотворения: *Από πίσω ήταν θεά, αλλά όταν γύρισε προς εμένα, ρε φιλαράκο, είπα μέσα μου δες μια μούρη σαν αγγούρι* (*Apo piso itan thea, ala otan ghirise pros emena, re filarako, ipa mesa mou des mia mougi san angouri*) («Сзади она была просто богиней, но когда повернулась, дружище, я сказал себе: «Глянь-ка на рожу как огурец»).

Следует отметить, что в отличие от греческого в русском языке лексема *огурец* и её диминутив *огурчик* при описании внешности, как правило, употребляются для обозначения привлекательности человека (ср., напр., «он бодр как огурчик» или «встал утром как огурец, бодр и свеж»), в то время как в греческом фитонимы в описании личности всегда имеют отрицательные коннотации (напр., см. выше *βαρύ πεπόνι*).

К сфере «внешность и части тела» относится также пословица с лексемой *αγγούρι*: *το αγγούρι και εάν εγέρασε και άλλαξε η υφή του ούτε το μάκρος του άλλαξε ούτε η δομή του* (*to angouri ke ean egherase ke allakse i ifi tou oute to makros tou allakse oute i domi tou*) («Огурец хоть и состарился и изменил свой облик, у него ни длина не изменилась, ни структура»), вариант к основной пословице *ο λύκος κι αν εγέρασε κι άλλαξε το μαλλί του μηδέ τον τρόπο άλλαξε, μηδέ την κεφαλή του* (*o likos ki an egherase ki allakse to mali tou mide ton tropo allakse mide tin kefali tou*) («Волк хоть и состарился, и шерсть у него цвет изменила, у него ни привычки, ни разум не сменились»). По всей видимости, эта пословица является своеобразным неологизмом, так как в результате проведенного опроса респондентов установлено, что данная паремия упо-

требляется в основном в молодежной среде, появившись в активном разговорном лексиконе лишь в конце XX в. [21].

К группе ФЕ, связанной с описанием внешности, следует отнести и производную от *αγγούρι* лексему *αγγούρω* (*angouro*) (как вариант *ξυλάγγουρω* (*ksilangouro*) (букв. «дикий огурец»)), являющуюся метафорическим дериватом и употребляемую исключительно в форме единственного числа. Этот дериват не имеет парадигмы склонения и используется только для обозначения очень высокой, нескладной и некрасивой женщины.

Фитоним *αγγούρι* представлен также в паремиях, где описываются различные жизненные ситуации. Так, например, пословица *η ζωή είναι αγγούρι που ο ένας το τρώει και δροσίζεται και άλλος το τρώει και ζορίζεται* (*I zoi ine angouri pou o enas to troi ke drosizete ke allos to troi ke zorizete*) (букв. «Жизнь – как огурец: один его ест для свежести, а второй ест и мучается») употребляется для обозначения оптимистов и пессимистов; в русском языке этой пословице может соответствовать изречение о жизни, уподобляемой наполовину полную или пустому стакану. Синонимом к этой пословице, как указывает Н. Сарантакос [19], является паремия *Η ζωή είναι ένα κρεμμύδι που καθώς το ξεφλουδίζεις κλαις* (*I zoi ine ena kremidi pou kathos to ksefloudizis kles*) (букв. «Жизнь – это лук, который ты чистишь и плачешь»).

Ещё одна пословица, содержащая фитоним *огурец*, *πέντε μέρες τρως αγγούρι και το Σάββατο είσαι μούρι* (*Pende meres tros angouri ke to Savato ise mourí*) буквально означает «Пять дней ешь огурцы и в субботу прекрасно выглядишь» и употребляется для иронического обозначения молодых людей, которые стремятся попасть в число знаменитостей, но на это у них нет средств, поэтому пять дней экономии и один день развлечений становится для них стилем жизни [21]: *Πέντε μέρες τρως τ' αγγούρι και το Σάββατο είσαι μούρη. Εγώ αγαπητοί μου μπλόγκερς έφαγα 5 αγγούρια μέχρι στιγμής κ η μούρη μου δεν άλλαξε καθόλου, πόσο μάλλον το πορτοφόλι ή κάποιος από τους πολλούς άδειους λογαριασμούς που έχω... για να'μαι και μούρη, όχι τίποτε άλλο* (*Pende meres tros angouri ke to Savato ise mourí. Ego agapiti mou bloggers efaga 5 angouria mekhri stigmis ke i mourí mou den allakse katholou, poso malon to portofoli i kapios apo tous polous adious logariasmous pou ekho... ghia na'me ke mourí okhi típtee allo*) («Пять дней ешь огурцы и в субботу прекрасно выглядишь. Я, дорогие мои блогеры, пока съел только 5 огурцов, и морда моя совсем не изменилась, а вот кошелек, как, впрочем, и пять пустых счетов, совсем обнищали... И все для того, чтобы и я всего-навсего мог выглядеть как человек»). Весьма часто также употребляются в качестве синонимичных такие пословицы, как *Πέντε μέρες στην δουλειά, για μια νύχτα γκλαμουριά* (*Pende meres ston doulia ghia mia nikhta glamouria*) («Пять дней на работе ради одной ночи гламура») / *Πέντε μέρες χαμαλίκι για μια νύχτα στον Τσαλίκη* (*Pende meres khamaliki ghia mia nikhta ston Tsaliki*) («Пять дней как проклятый (работаю), чтобы провести одну ночь у Цаликиса») / *Κάθε μέρα τρως αγγούρι και το Σάββατο είσαι μούρη* (*Kathe mera tros angouri ke to Savato ise mourí*) («Каждый день ешь огурцы и в субботу будешь прекрасно выглядеть»).

Кроме того, фитоним *αγγούρι* формирует сферу «мировосприятие» и используется для обозначения препятствия, зачастую непреодолимого: ФЕ (*πηγαίνω*) *ξεβράκωτος στ'αγγούρια* (pijeno ksevrakotos st'aggouria, букв. «(иду) бесштаный (= без штанов) в огурцы»), мтф. «принимаюсь за дело, которое мне не по силам»), употребляется для обозначения человека, берущегося за дело, в котором он несведущ и не обладает достаточным опытом. По всей видимости, своим происхождением идиома обязана тем, что растущие на лозах огурцы, как правило, имеют колючки, и без защиты голых участков тела (рук или ног) можно оцарапаться или даже получить различные травмы: *Πάει ο πρωθυπουργός ξεβράκωτος στα αγγούρια να ζητήσει οικονομική στήριξη από την Ε.Ε. Αφού μας έχουνε πάρει χαμπάρι οι Ευρωπαίοι ρεεεεεε!* (Pai o prothiourgos ksevrakotos sta angouria na zitisi ikonomiki stiriksi apo tin EE. Afou mas ekhoune pari khambari oi Evropei reeee!) («Наш премьер лезет не в свое дело (букв. «идет без штанов в огурцы») и хочет получить финансовую помощь от ЕС. Да европейцы нас уже давно раскусили!!!»). Эвфемистическим вариантом для этой ФЕ служит выражение *πηγαίνω ζυπόλητος στ'αγκάθια* (pijeno ksipolitos st' angathia), где *αγγούρι* заменяется лексемой *αγκάθια* (angathia) (колючки).

В сферу «мировосприятие» входит и метафорическое значение *αγγούρι* «сложное, запутанное дело» (что весьма близко к предыдущему значению «зачастую непреодолимое препятствие»): причем здесь сфера «мировоззрение» фитонима *αγγούρι* пересекается со сферой «внешность и части тела» (ср. выше: *μου μπήκε το αγγούρι*), так как в устной речи употребление ФЕ с данной лексемой может сопровождаться соответствующими обценными жестами. Так, среди ФЕ с компонентом *αγγούρι* (angouri) преобладают глагольные идиомы с главным компонентом – глаголом: *είναι αγγούρι* (ine aggouri, букв. «это огурец», мтф. «это сложно»), *το βρίσκω αγγούρι* (to vrisiko aggouri, букв. «я нахожу это огурцом», мтф. «это сложно для меня»), где огурец означает нечто сложное, непреодолимое, создающее большое количество проблем: *Να αλλάξεις το σκληρό μόνοσ σου είναι μεγάλο αγγούρι, καλύτερα να επικοινωνήσεις με την υπηρεσία υποστήριξης* (Na alaksis to skliro monos sou ine megalo angouri, kalitera na epikinonisis me tin omada ipostiriksis) («Самому поменять жесткий диск – это непосильная задача, лучше пообщайся с техподдержкой»). Или: *Ο Καραμανλής τα βρήκε αγγούρι και τα παράτησε* (O Karamanlis ta vrike anguri ke ta paratise) («Караманлис счел это непосильным и все бросил»). Сразу следует отметить, что *αγγούρι* в такого рода ФЕ всегда стоит в форме единственного числа как компонент, полностью утративший свои первоначальные морфологические и семантические признаки. Синонимами к этой фразе служат такие ФЕ, как *τα βρίσκω μπαστούνια* (ta vrisiko bastounia, букв. «я нахожу это палками», мтф. «это сложно для меня»), *τα βρίσκω σκούρα* (ta vrisiko skoura, букв. «я нахожу это темным», мтф. «это сложно для меня»).

Среди устойчивых выражений с лексемой *αγγούρι* преобладают глагольные ФЕ, которые используются для обозначения ненужного, непригодного к употреблению предмета и, как следствие, ненужного и напрас-

ного действия, формируя тем самым сферу «межличностные отношения»: ср., например, ФЕ *αγαπάω κάποιον σαν το πάτο από το αγγούρι* (agapao karion san to pato apo to angouri, букв. «любить кого-либо как «попку» от огурца»). Как пишет Н. Сарантакос [19], «попка» огурца непригодна для еды, поэтому она обозначает что-то совсем не стоящее внимания, при этом синонимом служит выражение *αγαπάω κάποιον σαν κόλλο από το αγγούρι* (agapao karion san kolo apo to angouri, букв. «любить кого-либо как жопку от огурца»). Здесь часть фитонима приобретает значение ненужного, не обладающего ценностью предмета.

Речевая формула *σηκώθηκα τα αγγούρια να γαμήσουν το μανάβη* (букв. «восстали огурцы, чтобы отье...ать зеленщика», русский коррелят «твой номер восемь, жди когда спросим» или «яйца курицу не учат») употребляется для обозначения ситуации, при которой дерзкие, но не имеющие власти люди попытаются изменить ситуацию, не обладая должным опытом и компетенцией. Здесь фитоним используется для обозначения ничтожного, незначительного человека. Эта формула считается грубо-просторечной и обычно произносится язвительно-ироническим тоном, при этом глагол и существительные остаются без изменений: – *Αφεντικό δε μπορώ να το κάνω αυτό που μου ζητάς, είναι πολύ βαριά τα κιβώτια, να τα μεταφέρεις εσύ. – Τι λες ρε κολόπαιδο; Πας καλά; Σηκώθηκα τα αγγούρια να γαμήσουν το μανάβη; Τσακίσου κουβάλα τα, μη σου κόψω τον κόλλο* (– Afendiko de mboro na to kano afto pou mou zitas, ine varia ta kivotia, na ta metaferis esi. – Ti les re kolopedo? Pas kala? Sikothikan ta angouria na gamisoun to manavi? Tsakisou kouvala ta, mi sou kopso ton kolo) («– Начальник, я не могу сам с этим справиться, коробки тяжелые, давай ты их сам отнесешь. – Дрянь такая, ты еще выступаешь? Ну-ка быстро взял и оттащил, иначе я тебя сейчас отымею в зад» (букв. «Что ты говоришь, дитя задницы? С тобой не все в порядке? Поднялись огурцы, чтобы отье...ать зеленщика? Сорвался и тащи, чтобы я тебе зад не порвал»)). К синонимичным ФЕ относятся речевые формулы типа *σηκώθηκα τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι* (sikothikan ta podia na khtipisoun to kefali) (букв. «поднялись ноги, чтобы голову ударить»), *ξεσηκώθηκα τα ρηγά πιάτα και ζητάνε σούπα* (ksesikothikan ta rikha piata ke zitane soupa) (букв. «устроили восстание мелкие тарелки и требуют суп») и обценные ФЕ *ξύπνησαν και οι καπότες και γαμάνε μόνες τους* (ksipnisan ke i kapotes ke gamane mones tous) (букв. «проснулись гондоны и еб...тса сами»), *σηκώθηκα τα σκατά να τραβήξουν το καζανάκι* (sikothikan ta skata na traviksoun to kazanaki) (букв. «всплыли на поверхность какашки, чтобы самим спустить воду в унитазе»), *έβγαλε η μύγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο* (evgale i miga kolo ke ekhese ton kosmo olo) (букв. «вот и муха зад показала и обоср...ла весь мир»), *Έκανε κι η μύγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο* (ekane ki i miga kolo ke exhese ton kosmo olo) (букв. «и муха задницу отрастила и обоср...ла весь мир»), *έμαθε να βελονιάζει και γαμεί το μαστορή του* (emathe na veloniazi ke gami to mastori tou) (букв. «научился он иголкой работать и теперь еб...т своего начальника»).

Таким образом, в результате проведенного анализа выявляется, что лексема *αγγούρι* как элемент греческого пищевого кода в греческом языковом

сознании существует с древних времен и воспринимается прежде всего как название продукта питания, а не растения (ср., напр., ФЕ современного греческого языка, где рядом с существительным *αγγούρι* встречается глагол *τρώω* (troo, «есть, питаться»). Анализ показал, что фитоним *огурец* реализуется в новогреческом языке богатые ассоциативные связи, которые проявляются в различных лексико-фразеологических полях (ЛФП): так, ЛФП «огурец» формирует такие понятийные сферы, как «внешность человека и части тела», «поведение», «межличностные отношения», «мировосприятие», где самым частотным становится поле «внешность и части тела» (5 ФЕ и один метафорический дериват), затем следуют «поведение» (3 ФЕ), «мировосприятие» (3 ФЕ), «межличностные отношения» (2 ФЕ). При этом в значительной мере данные фитонимы носят узуальный характер (это касается, прежде всего, сферы «внешность человека и части тела»), а окказионализмы, в свою очередь, характерны именно для греческой языковой картины мира, как это было показано выше.

Литература

1. *Алефиренко Н.Ф.* Фразеология и культура // Язык и культура: Тезисы Второй международной конференции. Киев, 1993. Ч. 1. С. 67–68.
2. *Солодуб Ю.П.* Контрастивная фразеология // Филологические науки. 1998. № 4. С. 57–65.
3. *Юрина Е.А.* Лексико-фразеологическое поле кулинарных образов в русском и итальянском языках // Язык и культура. 2008. № 3. С. 83–93.
4. *Юрина Е.А.* Образность в системе лексико-семантических категорий языка // Вестник Томского государственного университета: Бюллетень оперативной научной информации. 2004. № 32. С. 25–58.
5. *Ковишова М.Л.* Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры. М.: URSS, 2012.
6. *Павловская А.В.* Нужна ли нам наука о еде? // Еда и культура: По материалам I Международного научно-практического симпозиума «Традиционная культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира», 30 октября – 1 ноября 2014 г. М., 2015. С. 7–4.
7. *Щербинина Ю.В.* Дикта(н)т еды // Нева. 2012. № 7. С. 221–230.
8. *Агапкина Т.А., Толстая С.М.* Пища // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2009. Т. 4.
9. *Юрина Е.А.* «Пищевая метафора»: объем и границы понятия // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 3. С. 207–2011.
10. *Петрова Н.Д.* Лінгво-гносеологічні основи динаміки фразеологічної номінації (на матеріалі англійської фразеології живої природи) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук. Київ, 1996.
11. *Черданцева Т.З.* Идиоматика и культура (постановка вопроса) // Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 58–70.
12. *Thesaurus Linguae Graecae (TLG).* URL: www.tlg.uci.edu/index.prev.php
13. *Liddell H.G., Scott R.* A Greek-English Lexicon. 1996.
14. *Lampe G.W.H.* A Patristic Greek lexicon. Oxford : Oxford Clarendon Press, 1961.
15. *Μπαμπινιώτης Γ.* Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των λέξεων. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ, 2010.
16. *Κριαράς Ε.* Ελληνικό Λεξικό. Λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής γλώσσας. Αθήνα : Εκδοτική Αθηνών, 2007.

17. Παλαζαχαρίου Ε. Λεξικό της πιάτσας. ΑΡΓΚΟ. Αθήνα : Κάκτος, 1999.
18. Баранов А., Добровольский Д. Основы фразеологии. М. : Флинта, 2013.
19. Σαραντάκος Ν. URL: <http://sarantakos.wordpress.com>

THE FOOD CODE OF GREEK PHRASEOLOGY: THE PHYTONYM “CUCUMBER”

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 98–110. DOI: 10.17223/19986645/53/7

Irina V. Tresorukova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: itesir@mail.ru

Keywords: phraseology, food code, language picture of the world, Greek language, cucumber.

The article deals with the problem of the formation of the food code in Greek phraseology on the basis of the analysis of one of its components – the phytonym “cucumber”. The food code is one of the components of the cultural code, which forms images and figurative systems expressed by the combination of linguistic means, and it is regularly reproduced in speech. Phraseological units (PU) are used as the material for research, for they play an important role in linguoculturology, as they create a special symbolism of the surrounding world. Among the other meanings of figurative nomination (e.g. various tropeic meanings like metaphors, comparisons, etc.), PU take on the functions of imaging and expressing the material, spiritual and language picture of the world of man and the nation as a whole.

One of the most common cultural codes is the so-called food code, for the cooking, the gastronomy and food in general help us to designate a whole complex of different images (social, family, religious relations, perception of nature, etc.), which gives us a possibility for a detailed study of the lexico-phraseological composition of this code.

From the point of view of semantic symbolism, phytonyms can be divided into constant and occasional. *Constant* ones were formed at the early stage of the formation of human consciousness and they are accessible to the understanding of different peoples and nationalities. *Occasional* phytonyms represent a reflection of the properties and qualities that the person attributes to phytonyms. Conventional symbols are inherent in the constancy and persistence of the feature, while occasional symbols, because of the dynamic character of their symbolism, narrow or broaden the field of their application, gradually losing associative connections. Different phytonyms form so-called figurative lexical-phraseological fields, where each lexeme appears in various meanings either occasionally or conventionally.

The relevance and originality of this article are that for the moment no one has been engaged in the study of the food code on the material of Greek phraseology in Russian linguistics, and the material, collected as a result of studying the corpus of texts of the Greek language and of field research made directly with speakers, gives us the possibility for making conclusions, which describe another view on the Greek language picture of the world.

As a result of the analysis, it has been identified that the phytonym “cucumber” as an element of the Greek food code and the component of the PU in the Greek linguistic consciousness has existed since ancient times, and is perceived primarily as the name of a food product, and not a plant. The phytonym “cucumber” realizes rich associative connections in the Greek language, which manifest themselves in various lexical-phraseological fields, such as “appearance of a person and body parts” (the most frequent, 5 PU and one metaphorical derivative), “behavior” (3 PU), “world perception” (3 PU), “interpersonal relations” (2 PU). At the same time, to a considerable extent, these PU have a conventional nature (we discern it primarily in the field “appearance of a person and a part of the body”), while occasional PU are only characteristic for the Greek language picture of the world.

References

1. Alefirenko, N.F. (1993) [Phraseology and culture]. *Yazyk i kul'tura* [Language and Culture]. Abstracts of the 2nd international conference. Pt. 1. Kiev: [s.n.]. pp. 67–68. (In Russian).
2. Solodub, Yu.P. (1998) Kontrastivnaya frazeologiya [Contrastive phraseology]. *Filologicheskie nauki*. 4. pp. 57–65.
3. Yurina, E.A. (2008) Leksiko-frazeologicheskoe pole kulinarykh obrazov v russkom i ital'yanskom yazykakh [Lexico-phraseological field of culinary images in Russian and Italian languages]. *Yazyk i kul'tura – Language and Culture*. 3. pp. 83–93.
4. Yurina, E.A. (2004) Obraznost' v sisteme leksiko-semanticheskikh kategoriy yazyka [Figurativeness in the system of lexico-semantic categories of language]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta: Byulleten' operativnoy nauchnoy informatsii*. 32. pp. 25–58.
5. Kovshova, M.L. (2012) *Lingvokul'turologicheskiy metod vo frazeologii: Kody kul'tury* [Linguistic and cultural method in phraseology: Codes of culture]. Moscow: URSS.
6. Pavlovskaya, A.V. (2015) Nuzhna li nam nauka o ede? [Do we need a science of food?]. In: *Eda i kul'tura: Po materialam I Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo simpoziuma "Traditsionnaya kul'tura v sovremennom mire. Istoriya edy i traditsii pitaniya narodov mira"*, 30 oktyabrya – 1 noyabrya 2014 g. [Food and Culture: Based on the materials of the first international scientific and practical symposium "Traditional culture in the modern world. The history of food and traditions of nutrition of the peoples of the world", October 30 – November 1, 2014]. Moscow: Moscow State University. pp. 7–4.
7. Shcherbinina, Yu.V. (2012) Dikta(n)t edy [Dictat-e(ion) of food]. *Neva*. 7. pp. 221–230.
8. Agapkina, T.A. & Tolstaya, S.M. (2009) Pishcha [Food]. In: Tolstoy, N.I. (ed.) *Slavyanskije drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar': v 5 t.* [Slavic antiquities: Ethnolinguistic dictionary: in 5 vols]. Vol. 4. Moscow: Rukopisnye pamyatniki drevney Rusi
9. Yurina, E.A. (2015) "Food metaphor": the scope and limits of the concept. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 3. pp. 207–2011. (In Russian).
10. Petrova, N.D. (1996) *Lingvo-gnoseologichni osnovi dinamiki frazeologichnoi nominatsii (na materialy angliys'koi frazeologii zhivoi prirodi)* [Linguo-gnoseological basis of the dynamism of phraseological nominations (on the material of the English phraseology on nature)]. Abstract of Philology Dr. Diss. Kiev.
11. Cherdantseva, T.Z. (1996) Idiomatica i kul'tura (postanovka voprosa) [Idiomatrics and culture (to the problem setting)]. *Voprosy yazykoznanija*. 1. pp. 58–70.
12. Thesaurus Linguae Graecae (TLG). [Online] Available from: www.tlg.uci.edu/index.prev.php.
13. Liddell, H.G. & Scott, R. (1996) *A Greek-English Lexicon*. Clarendon Press.
14. Lampe, G.W.H. (1961) *A Patristic Greek lexicon*. Oxford: Oxford Clarendon Press.
15. Babiniotis, G. (2010) *Etymological Dictionary of the Modern Greek Language. History of words*. Athens: Center of Lexicology Ltd. (In Greek).
16. Kriaras, E. (2007) *Greek Dictionary. Dictionary of modern Greek language*. Athens: Editorial Athens. (In Greek).
17. Papazachariou, E. (1999) *Dictionary of Slang*. Athens: Cactus. (In Greek).
18. Baranov, A. & Dobrovol'skiy, D. (2013) *Osnovy frazeologii* [Fundamentals of phraseology]. Moscow: Flinta.
19. Sarantakos. (n.d.) [Online] Available from: <http://sarantakos.wordpress.com>. (In Greek).

УДК 11.161.1

DOI: 10.17223/19986645/53/8

М.Д. Шамянова, Л.Г. Ефанова

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНТАМИНАЦИЯ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

Изучается роль синтаксической контаминации в создании речевой художественной формы романа В. Набокова «Защита Лужина». В результате исследования структуры и семантики использованных в романе синтаксических контаминантов, а также стилистического анализа окружающего их контекста выявлено своеобразие в использовании писателем синтаксической контаминации и установлено, что этот прием является одним из наиболее адекватных способов выражения основной для романа идеи двоемирия.

Ключевые слова: контаминация, синтаксический контаминант, синтаксическое наложение, синтаксическое скрещивание, многоместное наложение.

Введение

«Защита Лужина» – первый из романов В. Набокова, многоплановость которого отметили как его современники, так и критики конца XX – начала XXI в. По мнению Г. Барабтарло, этот роман следует отнести «к чрезвычайно малому числу действительно трехмерных произведений словесности» [1]. Данное свойство романа обусловлено как особенностями его формы, так и содержанием. Как и многим другим произведениям В. Набокова, этому роману свойственна амбивалентность – установка на многовариантное, неоднозначное прочтение, что обусловлено игровым характером его текста [2], который «целенаправленно моделируется в расчете на последующие поиски различных версий его истолкования» [3. С. 48]. Что касается содержания романа, то истоки его многоплановости представляются исследователями по-разному: как двоемирие, в котором пребывает художник [4–8], как взаимодействие между реальностью и воспоминанием [9. С. 159] и как конфликт между реальным и воображаемым миром в сознании героя [5; 10. С. 227–228; 11. С. 235] или двумерным миром заурядных людей и трехмерной организацией пространства в восприятии гения [12], а также между реальным миром и миром шахматной игры [13. С. 58–70; 14].

Возможно, именно присутствием нескольких взаимодействующих или существующих параллельно друг другу реальностей, или планов изображения, объясняется использование в романе большого количества синтаксических контаминантов – предложений или их сочетаний, образованных в результате контаминации частей двух или более высказываний или отрезков текста.

В данной статье под контаминацией понимается «структурное объединение по принципу наложения или скрещивания на основе формального или семантического сходства, ассоциативной или функциональной близости элементов языковых единиц одного системного уровня при создании новой номинативной единицы, а также в целях достижения определенного художественного эффекта или вследствие речевой ошибки» [15. С. 104]¹. Образованная в результате контаминации языковая или речевая единица называется контаминантом. Контаминант содержит в своем составе обе исходные единицы или их части, объем которых должен быть достаточным для того, чтобы эти единицы оставались узнаваемыми; данную способность мы называем свойством формально-смысловой целостности контаминанта. В зависимости от того, элементы какого уровня языка вступают во взаимодействие друг с другом при контаминации, выделяются лексическая, фразеологическая, морфологическая и синтаксическая разновидности контаминации. По способу взаимодействия в контаминанте частей исходных единиц различаются две разновидности контаминации: наложение и скрещивание [19. С. 140–141].

В произведениях В. Набокова контаминация регулярно используется в качестве стилистического приема [15, 19, 20]; в его романах можно обнаружить примеры лексического (напр.: *фрески Врублева* – от *Врубель* и *Рублев* [Дар]) и фразеологического наложения (напр.: *автор одной божественной комедии* (о Данте) – от *одна комедия* и «*Божественная комедия*» [«Защита Лужина»]), лексического (*хляпали копыта* – от *хля-бали* и *то-пали* [«Приглашение на казнь»]) и фразеологического скрещивания (*зарябило под ложечкой* – от *зарябило в глазах* и *засосало под ложечкой* [«Отчаяние»]), а также многочисленные синтаксические контаминанты.

Объектом исследования в данной статье являются синтаксические контаминанты как наиболее частотная для романа «Защита Лужина» разновидность единиц, созданных способом наложения или скрещивания. Один из синтаксических контаминантов, образованных путем наложения речи повествователя и персонажа, можно обнаружить уже на первой странице романа (1).

(1) Тучная француженка, читавшая ему [Лужину] вслух «Монтекристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть «бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. *Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия*², и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только

¹ Контаминацию языковых единиц в качестве стилистического приема следует отличать от контаминации стилистических приемов [16], противопоставленной конвергенции [17]. В исследованиях по лингвопоэтике контаминация и конвергенция рассматриваются как сочетание артем – художественно актуализированных слов или их сочетаний [18], в то время как контаминант, образованный в результате взаимодействия языковых единиц, в русле данной теории представляет собой самостоятельную артему.

² Контаминанты в примерах выделены курсивом; полужирным шрифтом отмечены совпадающие при наложении части исходных единиц.

щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста [21. С. 5].

Большое количество и разнообразие синтаксических контаминантов в романе В. Набокова «Защита Лужина» определило цель данной статьи: исследовать формальные и семантические особенности этих единиц, изучить условия, при которых становится возможным их образование, определить функции синтаксических контаминантов в тексте и их роль в создании многомерного художественного пространства романа.

1. Синтаксическое наложение в романе «Защита Лужина»

Синтаксическое наложение представляет собой соединение двух или более предложений, высказываний или фрагментов текста, при котором эти единицы преобразуются таким образом, что их совпадающие по форме элементы (отдельные слова или части предложений, а также целые предложения) не повторяются, а используются лишь однократно: $AB + ab = A(V=a) b$ или $B(A=b)a$ и т.д. Например, в (1) таким совпадающим элементом является словосочетание *бедный Дантес*: «*Бедный (A), бедный Дантес (B)!*» + *бедный Дантес (a) не возбуждал в нем участия (b)*. Необходимым условием для наложения является наличие в двух предложениях или частях текста совпадающих по форме элементов (отдельных слов или их последовательностей). Поскольку соединяющиеся при наложении части текста, как правило, имеют разные значения или передают разные оттенки смысла, которые сохраняются в контаминанте, этот тип трансформации синтаксических единиц способствует компрессии исходного текста и созданию определенного художественного эффекта, в частности, он может использоваться для того, чтобы выразить отношение автора или персонажа к предмету речи. Например, в контаминанте в (1) в сжатом виде представлено, как мы полагаем, следующее содержание: «Эмоции гувернантки, восклицавшей «бедный, бедный Дантес!», казались Лужину преувеличенными, а сама гувернантка – глупой и неискренней, поэтому и сам Дантес не возбуждал в нем участия». С помощью контаминации автору удастся передать внутреннее состояние своего героя (отвращение под маской безучастности) и в то же время отметить отсутствие внешних проявлений этого состояния.

Для наложения частей двух предложений может быть достаточно совпадения в них по форме всего одного однозначного слова. Например, в (2) таким словом является форма многозначного глагола *искать*, который использован в контаминанте одновременно в двух значениях: во-первых, «стараться обнаружить что-л.» (*искать что-то в сумке*); во-вторых, «с трудом подбирать» (*искать тему для разговора*).

(2) [Лужин] продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала рыться в сумке, мучительно *ища* в ней тему для разговора и находя только *сломанный гребешок* [21. С. 48]³.

³ Описание этого контаминанта см. в [15. С. 110].

В тех случаях, когда во взаимодействующих текстах совпадают по форме несколько фрагментов, наложение может быть множественным, как, например, в (3), где при описании детской комнаты Лужина соединяются разные оценки, даваемые ей самим Лужиным и его отцом.

(3) *Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи* [21. С. 15].

В контаминанте в (3) наряду с общей для отца и сына составляющей описания присутствуют элементы, которые выражают оценку комнаты, данную старшим Лужиным: *Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи*. Мнение же самого обитателя комнаты совершенно иное и выражено словами *и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты*, из которых ясно, что мальчику скучно в этой комнате, поэтому он так часто пересчитывал картинки на обоях, что запомнил их количество. С помощью контаминации автору удается отметить различие в восприятии одного объекта двумя родными людьми и передать крайнюю степень отчуждения сына и непонимание его отцом.

Многостепенное синтаксическое наложение может создаваться за счет последовательного соединения друг с другом нескольких отрезков текста, содержащих одинаковые элементы. Этот прием использован Набоковым в (4).

(4) *Лужин снимался для паспорта, и фотограф брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо, просил открыть рот пошире и сверлил ему зуб с напряженным жужжанием. Жужжание прекращалось, дантист искал на стеклянной полочке что-то, и, найдя, ставил штемпель на паспорте, и писал, быстро-быстро двигая пером. «Пожалуйста», – говорил он, подавая бумагу, где были нарисованы зубы в два ряда, и на двух зубах стояли чернилом сделанные крестики* [Там же. С. 143].

В контаминанте в (4) фрагмент *брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо* может относиться и к ситуации фотографирования, и к посещению дантиста; слово *найдя* может сочетаться как с названием стоматологического инструмента (замененного в тексте местоимением *что-то*) так и со словом *штемпель*; отрезок *писал, быстро-быстро двигая пером. «Пожалуйста», – говорил он, подавая бумагу* отражает смешавшиеся в сознании Лужина воспоминания о получении паспорта и о лечении зубов. Многостепенное наложение используется в контаминанте с целью отразить измененное состояние сознания героя накануне самоубийства.

В художественном тексте автор может не только использовать, но и создавать условия для наложения с помощью метафоризации значения слова, как, например, в (5) и (6). В этом случае созданное автором новое значение требует уточнения за счет контекста, который может содержать элементы, позволяющие разделить прямое и метафорическое значение слова, как в

(6), или отражать процесс переноса значения при создании развернутой метафоры, как в (5).

(5) [Бывший одноклассник,] стараясь вспомнить, каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе, как со спины, то сидящего перед ним в классе, *с растопыренными ушами*, то уходящего в конец залы, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике, – руки в карманах, большой пегий ранец на спине, *валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание*. И бывший тихоня говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, – совершенно не помню его лица...» [21. С. 14].

Формальным основанием для наложения во фрагменте (5) является употребление слова *снег* в прямом (*валит снег*) и переносном значении (*снег забвения*). В развернутой метафоре накладываются друг на друга два плана изображения: воспоминания одноклассника Лужина о прошлом (уезжающий на извозчике Лужин, *руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но <...> обильный снег сплошной белой мутью застилал...*) и метафорическое описание его безуспешных попыток вспомнить лицо Лужина (*Он старался... заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание*). Благодаря тому, что метафора является развернутой, переносное значение появляется и у других компонентов предложения (*старался... заглянуть ему в лицо, снег безмолвный, сплошной белой мутью застилал*) и контаминация становится многоместной.

В воспоминаниях о детстве самого Лужина в (6) синтаксическое наложение использовано для воссоздания атмосферы пасхальной службы и праздничного обеда. Эти воспоминания отражают сложный комплекс зрительных, слуховых, вкусовых и тактильных образов, связанных с праздником, однако основанием для контаминации стало лишь сочетание ассоциаций, вызванных чувством голода и звуками церковной службы.

(6) И пасхальные ночи он помнил: дьякон читал рыдающим басом... <...> И он помнил, как *легко и пронзительно, вызывая сосущее чувство под ложечкой, звучало натоцкак слово «пасха»* в устах изможденного священника... <...> Был запах ладана <...> и темный, медовый лоск образа, ожидавшего лобзания. Томные воспоминания, смуглота, поблескивания, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. <...> ...Приходишь домой после заутрени, и ждет тебя масленый баран с золотыми рогами, окорок, девственно ровная *пасха*, за которую хочется приняться раньше всего, минуя ветчину и яйца [Там же. С. 104–105].

Образование контаминанта в (6) стало возможным благодаря многозначности слов *легко* и *пасха*. Слово *легко* ассоциируется у Лужина одновременно с ощущением легкости в теле (*легко натоцкак*) и с высоким голодом священника (*легко и пронзительно звучало*); возможно, использование слова *легко* в значении «высоко» (звучало) объясняется переосмыслением

метафоры: голос поднялся высоко в воздух потому, что лишен веса. Изможденный вид священника заставляет мальчика думать, что он, как и Лужин, утомлен длительным постом, а слово, которое священник произносит по-древнееврейски: «*фасха*», ассоциируется с названием праздничного блюда.

Наиболее частотны в романе синтаксические контаминанты, образованные путем наложения прямой и косвенной речи. Например, в контаминанте в (7) объединены высказывания с косвенной (*генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости*) и прямой речью, на которую указывает характерный для разговорного языка повтор («*Не России нам жаль, а молодости, молодости!*»). Контаминант содержит речевую характеристику персонажа как человека, способного разговаривать только об одном предмете, это объясняет, почему данный персонаж неинтересен Лужину.

(7) [У Лужинных]... появились опять все те люди, которые обыкновенно у них в доме бывали, – как, например, очаровательный старенький генерал, всегда доказывавший, что **не России нам жаль, а молодости, молодости...** [21. С. 74].

В контаминанте в (8), образованном тем же способом, на принадлежность его компонентов к прямой речи (*Мальчик, кажется, не ладит с товарищами*) указывает слово *кажется*, выражающее отношение ее субъекта к сообщаемому. Содержанием контаминанта является прямая характеристика Лужина со стороны учителя.

(8) [Воспитатель] сказал [отцу Лужина], что мальчик мог бы учиться лучше, что **мальчик, кажется, не ладит с товарищами**, что мальчик мало бегаёт на переменах... [Там же. С. 12].

Синтаксическое наложение, при котором совпадают конечная часть предложения, содержащего косвенную речь, и начальная часть предложения с прямой речью, является характерным признаком разговорного языка [22. С. 67]. Оно помогает говорящему сократить передаваемое сообщение и выразить свое отношение к его содержанию или источнику. В романе Набокова этот вид синтаксического наложения принимает более разнообразные формы и выполняет наряду с названными и другие функции. Чаще всего этот прием используется для создания эффекта присутствия, как, например, в (9).

(9) [Лужин] вдруг развивал необычайную скорость, его спутницы отставали, *мать, поджимая губы, смотрела на дочь и свистящим шепотом клялась, что, если этот рекордный бег будет продолжаться, она тотчас же, – понимаешь, тотчас же, – вернется домой* [21. С. 74].

Контаминант в (9) образован путем многоместного наложения элементов косвенной (*мать клялась, что, если этот рекордный бег будет продолжаться, она тотчас же вернется домой*) и прямой речи (*если этот рекордный бег будет продолжаться, тотчас же, – понимаешь, тотчас же домой*). Использование в составе предложения глагола в форме 2 л. ед. ч. создает эффект присутствия читателя при разговоре персонажей.

Многоместное наложение используется в романе для того, чтобы изобразить ситуацию с точки зрения одного из персонажей романа, например в

(8) и (10), описать отношения между персонажами, как в (10), а также отразить их психологическое состояние, как, например, в (11).

(10) [Отец] *приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел, обедал с издателем, – нет, нет, супа не нужно. Он смеялся и говорил очень громко и шумно ел...* [21. С. 32–33].

Контаминант в (10) представляет взгляд на ситуацию маленького Лужина, на это указывает принадлежащий ему комментарий *оказывается*, включенный в контекст объяснений отца. Вместе с тем контаминация прямой (Отец: *Опоздал на поезд, очень много было дел, обедал с издателем, – нет, нет, супа не нужно*) и комментирующей речи (Лужин: *Он приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел*) помогает воссоздать обстановку в столовой: многословные оправдания отца, которого жена подозревает в измене, ее напряженное молчание и замешательство сына, не понимающего причин назревающего конфликта.

В отличие от (10), где контаминация используется для передачи отношений между персонажами, контаминант в (11) отражает смятение героини, вызванное помешательством мужа в момент прихода гостей. При этом косвенная речь соединяется с внутренней речью героини, отмеченной характерными для разговорного языка элементами: повтором *сейчас-сейчас*, частицей *вот*, эллипсисом *а тут...* и оценочным *этот ужас*.

(11) Она [жена Лужина] *спохватилась, что вот, сейчас-сейчас, придут гости, – поздно уже отзванивать, – а тут... этот ужас* [Там же. С. 149].

Как показал анализ имеющихся в тексте романа контаминантов, формальным основанием для синтаксического наложения является наличие в составе соединяемых единиц компонентов, совпадающих по форме вследствие полисемии или благодаря намеренно созданной автором многозначности слов или более крупных фрагментов текста. В примерах (1), (7–9) и (11) такими компонентами являются элементы прямой и косвенной речи; в (3) и (10) – внутренней речи двух персонажей; в (4) основанием для наложения является совпадение по форме объемных фрагментов текста; в (2) контаминация становится возможной благодаря системной полисемии, а в (5) и (6) – метафоризации значений отдельных слов.

Синтаксическая контаминация предполагает существование по крайней мере двух «планов содержания» [23. С. 310], составляющих сложную семантику контаминанта. Связанные с ними смыслы могут отражать разные мнения об одном и том же предмете двух субъектов, как, например, в (1) и (3), или разные события, переживаемые одним субъектом, как в (4). Соединенные в контаминанте фрагменты текста могут обозначать одновременные действия, мысли или переживания субъекта, как в (2) и (6), а также события, происходящие в разное время и / или в разных местах, как в (4) и (5). Вследствие этого содержательной основой синтаксического наложения может быть единство времени и / или места изображаемого события, как, например, в (1), (2) и (6), или наличие одного и того же субъекта у разных действий (отношений, переживаний и т.д.), как в (2), (4–6), а также общего

для разных субъектов объекта действия (восприятия, переживания и т.д.), как в (1) и (3), или предмета речи, как в (7–11).

2. Синтаксическое скрещивание в романе «Защита Лужина»

При контаминации, осуществленной путем скрещивания, происходит взаимная мена компонентов языковых единиц. Структурная схема такого взаимодействия может выглядеть как $ab + AB = aB$ или Ab . Например, фразеологический контаминант *с растопыренными ушами* в (5) образован от словосочетаний, в каждом из которых опорный глагол обладает ограниченной сочетаемостью (*с растопыренными локтями* + *с оттопыренными ушами*).

Синтаксическое скрещивание иногда используется в юмористических произведениях для создания каламбура. На этом принципе основываются, например, юморески, в которых в результате переключения каналов случайно соединяются части сходных по форме фраз из текстов разных теле- или радиопередач. Комический эффект достигается в этом случае за счет того, что начало одной фразы соединяется с конечной частью другой, согласующейся с ней по грамматической форме, но имеющей несовместимый с ней и неожиданный для слушателя смысл, т.е. созданный таким образом каламбурный контаминант обладает свойством формальной, но не смысловой целостности. Набоков использует этот прием с иными целями. Например, в (12) описан семейный досуг Лужиных. Жена читает вслух газеты, в то время как Лужин, которому врачи запретили играть в шахматы, тайком от нее решает напечатанные в газетах шахматные задачи. Фрагмент представляет собой скрещивание отрывков газетных статей, прочитанных вслух женой, и мыслей Лужина о шахматах. Чтение жены и мысли Лужина представляют собой никак не связанные друг с другом параллельные процессы, но в романе они оформлены как диалог.

(12) «...Вся деятельность исчерпывается коренным изменением и дополнением, которые должны обеспечить...» – ровным голосом читала жена. «Построение любопытное, – думал Лужин. – *Ферзь черных совершенно свободен*». «...*Проводит четкую грань между* жизненными интересами, причем нелишним было бы отметить, что ахиллесова пята этой *карающей длани*...». «*Против угрозы* на аш-семь у черных *есть очевидная защита*», – думал Лужин и улыбнулся <...> «*Если в этом плане*, – продолжала она, – *рассматривать их дальнейшие планы*...». «*Ах, какая роскошь*», – мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче – очаровательно изящную *жертву*. «...*И катастрофа не за горами*», – dokonчила статью жена [21. С. 131].

Часть газетного текста с пропущенным подлежащим *...проводит четкую грань между* похожа на продолжение мысленной фразы Лужина *Ферзь черных совершенно свободен*, где отсутствует глагольное сказуемое. В свою очередь, мысли Лужина *Против угрозы на аш-семь у черных есть очевидная защита* внешне напоминают реакцию на упоминание в тексте газеты о *карающей длани*. Оригинальность контаминанта заключается, однако, в том, что Набоков не ограничивается случайным совпадением ча-

стей фраз разных персонажей и за внутренней речью его героя скрыта авторская оценка стилистики газетного текста. [Газета:] *Вся деятельность исчерпывается коренным изменением и дополнением, которые должны обеспечить...* – [Автор:] *Построение любопытное.* [Газета:] *Если в этом плане <...> рассматривать их дальнейшие планы...* – [Автор (иронически):] *Ах, какая роскошь!* Завершает фрагмент ассоциативно связанное со словом *жертва* пророчество автора: *и катастрофа не за горами.*

При скрещивании части исходных единиц отсекаются, что может повлечь за собой утрату их смысла. В (12) сохранение этого смысла не является необходимым, поскольку автор ставит перед собой иные цели. В большинстве же других случаев перед автором встает задача обеспечения формально-смысловой целостности контаминанта, т.е. построения его таким образом, чтобы исходные единицы в его составе оставались узнаваемыми. При скрещивании предложений с прямой и косвенной речью эта задача решается за счет формального и семантического сходства соединяемых единиц. Например, в (13) синтаксическое скрещивание обнаруживается в речи одного из персонажей – гостя из России:

(13) *Даже мой мальчуган, – как, вы не знали, что у меня есть мальчуган? – ну, как же, как же, очаровательный карапуз, – так вот, даже мой Митька говорит, что у нас в Ленинграде работают, а в Беллине бульзуи ничего не делают* [21. С. 123].

Контаминант в (13) образован путем скрещивания обычной косвенной речи (*мой Митька говорит, что у нас в Ленинграде <работают, а в Берлине буржуи бездельничают>*) и подражания детскому языку: (*<у нас в Ленингладе> работают, а в Беллине бульзуи ничего не делают*); на принадлежность первой части контаминанта к косвенной речи указывает правильное произношение сонорного [р] в слове *Ленинград*, в то время как во второй части контаминанта этот звук в подражание детской речи заменен другим сонорным – [л]. Содержащаяся в (13) речевая характеристика персонажа помогает понять, почему гостя с родины не вызывает у героя романа интереса и неприятна его жене: для Лужина поведение гостя и ее подражание детскому языку являются одним из проявлений пошлости, в то время как его жене неприятна бестактность бывшей подруги, упоминающей о «буржуях за границей» в присутствии эмигрантов Лужиных.

В художественном произведении создание синтаксических контаминантов путем скрещивания требует соблюдения особых условий, которые касаются как формы, так и содержания взаимодействующих единиц. В частности, в (14) единство формы контаминанта создается за счет уже описанного выше сходства конструкций с прямой и косвенной речью, в то время как смысловое содержание исходных единиц удастся сохранить благодаря тому, что усеченная часть одной из них содержит общеизвестную информацию: аксиому о сумме углов треугольника.

(14) [Одноклассник Лужина] *Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым.* И вдруг Лужин отчетли-

во услышал за своей спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко, и невпопад стукнуло сердце. <...> Кребс и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске [21. С. 24–25].

В контаминанте (14) соединены конструкции с прямой (<Ради Бога, объясните мне, откуда> *мы знаем, что они равняются двум прямым!*) и косвенной речью: *Петрищев умолял всех объяснить ему, почему* <сумма всех углов треугольника равна сумме двух прямых углов>. Контаминант отражает взгляд на ситуацию ее случайного свидетеля – Лужина; на это указывает местоимение *они*, выполняющее в речи Петрищева анафорическую (заместительную) функцию, отсылая слушателей к той части его высказывания, в которой говорилось о сумме углов треугольника. Лужин не слышал его слов и, по-видимому, не знает этой геометрической аксиомы, поэтому в тексте романа высказывание одноклассника сохраняется в неизменном виде. Контаминант отражает равнодушие Лужина к учебе и к событиям в классе, которое сменяется интересом только при появлении шахмат.

Глазами героя романа представлена и ситуация, описанная с помощью контаминанта в (15).

(15) *Наконец, он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон...* [Там же. С. 26].

В контаминанте (15) скрещивается речь автора: *Наконец, он завидел нужный ему дом*, <лиловый, с атлантами>, *напряженно поддерживающими балкон*, и слова, с помощью которых описывает тот же дом гимназист Лужин: *сливовый, с голыми стариками*. Для обозначения цвета Лужин употребляет слово из своего домашнего обихода (которое Набоков в этом значении не использует). Формально-смысловое единство контаминанта создается в этом случае за счет включения в речь автора-повествователя замещающих ее компоненты синонимичных слов, относящихся к внутренней речи героя. Данный пример демонстрирует ограниченность интересов Лужина, в данном случае отсутствие у него знания античной мифологии, обычно хорошо знакомой гимназистам.

При скрещивании, как правило, соединяются начальная часть одной языковой единицы с конечной частью другой. Однако в (16) Набоков показывает, что это требование не является обязательным.

(16) Лужин старший <...> прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу *жены, уговаривающей тишину выпить какао* [Там же. С. 15].

Ю.И. Левин видит в этом фрагменте «пример контаминирования однородного (звука и тишины), компрессии двух впечатлений в одно» [23. С. 311], и это наблюдение в определенном смысле верно. Однако в тексте Набокова компрессия достигается за счет соединения двух фрагментов текста, обозначающих действия двух разных лиц: матери Лужина, *уговаривающей выпить какао*, и отца, <слышащего в ответ только> *тишину*. Скрещивание в данном случае сопровождается размещением конечного элемента одного предложения (*тишину*) в центре другого.

Как правило, пониманию синтаксических контаминантов, образованных способом скрещивания, способствует окружающий их контекст, как в (13) и (15), или имеющиеся у читателя общеизвестные сведения о предмете речи, как в (14) и (16). Однако иногда этой информации бывает недостаточно для расшифровки набоковских контаминантов. В этом случае читатель вынужден обращаться к более широкому контексту или даже воссоздавать пропущенные части текста самостоятельно, используя собственное воображение. Именно такого внимательного прочтения требует фрагмент (17).

(17)...*Когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием* [21. С. 12].

В отрывке (17) соединены части предложений, описывающих ситуацию на школьном дворе глазами отца и сына Лужиных. С точки зрения Лужина-школьника, совпадающей в данном случае с авторской, ситуация на школьном дворе выглядит так: *...когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, <воспитатель зачем-то> сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и <skonфуженно> засмеялся.*

Для того чтобы объяснить появление в тексте выражений *очаровательное предание, с большим добродушием* и *учитель словесности*, читателю необходимо вспомнить, что отец Лужина – автор книг для юношества, отличающихся обилием литературных штампов и выдающих весьма поверхностные знания их автора о предмете. Описанию анализируемого нами эпизода предшествует изложение мнения старшего Лужина о гимназии, стилизованное под язык его сочинений:

Преданье говорило, что, в первое время ее [гимназии] существования, учителя в час большой перемены возились с ребятами, – физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. <...> Классным воспитателем сына был *учитель словесности*, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону [Там же. С. 11].

Обладая этой информацией, читатель может описать ситуацию в выражениях, свойственных повестям для юношества, написанным Лужиным старшим, например:

<В час большой перемены> *учитель словесности*, <добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт>, *инстинктивно продолжая очаровательное предание*, <веселым восклицанием поощрял игру, получил на бегу крепкий мячик в ребра> и *рассмеялся с большим добродушием*.

При скрещивании элементов синтаксических конструкций перед автором художественного произведения стоят иные задачи, чем при их наложении. Поскольку часть значимых элементов текста при скрещивании

утрачивается, для сохранения его смысла необходимо использовать специальные приемы, требующие от писателя особого мастерства. Вариантами решения этой задачи являются использование синонимичных конструкций с прямой и косвенной речью, как в (13), или замена отдельных компонентов речи повествователя синонимом или местоимением, используемыми тем или иным персонажем, как в (14) и (15). Более сложный путь объяснения значения контаминанта представляет собой обращение к элементам контекста, расположенным на значительном удалении от него, как в (18), или замещение пропущенных компонентов в середине одного из взаимодействующих в контаминанте предложений компонентами другого, как в (17).

При синтаксической контаминации способом скрещивания во взаимодействие друг с другом вступают те же смысловые составляющие текста, что и при синтаксическом наложении. Содержательной основой синтаксического скрещивания могут быть единство времени и / или места изображаемого события, как, например, в (12) и (16), наличие общего для разных субъектов предмета речи, как в (13) и (17), или объекта восприятия, как в (14) и (15).

Заключение

Синтаксическая контаминация в романе «Защита Лужина» является одним из средств, позволяющих показать особенности взаимоотношений его героя с окружающим миром. Иногда эти отношения эксплицитно выражены в отрезках текста, части которых соединяются в контаминанте. Например, контаминанты или их ближайший контекст в (5), (8), (9) и (11) содержат оценки, данные Лужину или его поступкам другими персонажами романа: учителем (*не ладит с товарищами*), одноклассником (*не мог себе его представить иначе, как со спины*), членами семьи (*этот ужас*). Напротив, контаминанты в (7) и (13) используются для характеристики случайных персонажей – гостей Лужиных – как неинтересных или неприятных главному герою людей: *старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, молодости*, гостя из Москвы и ее угрюмый мальчуган *Митька*, который *говорит, что у нас в Ленинграде лябоят, а в Беллине бульзуи ничего не делают*.

Однако наибольшей выразительностью обладают в романе синтаксические контаминанты, в которых отношения Лужина с внешним миром выражены посредством наложения или скрещивания фрагментов высказываний, принадлежащих разным персонажам, или частей предложений, обозначающих разные события или разные стороны одного явления. Среди этих контаминантов только тот, который содержит воспоминания Лужина о пасхальной церковной службе, передает относительную гармонию в отношениях героя и мира, в остальных же случаях контаминация является средством выражения отчуждения героя, который «пребывает рядом с другими, но отгорожен плотной стеклянной стеной» [24. С. 191]. Не случайно именно этот способ использует Набоков для характеристики отношений

своего героя с отцом, матерью и женой, т.е. с людьми, которые должны быть для него самыми близкими. Благодаря использованию контаминации речь отца Лужина звучит диссонансом при описании объектов и событий, которые его сын видит совершенно иначе, разговор матери с сыном превращается в общение с пустотой, а единственный в романе диалог Лужина с женой представляет собой случайное соединение отрывков газетного текста и мыслей героя о совсем ином предмете.

Анализ синтаксических контаминантов в романе «Защита Лужина» подтверждает мнение о центральной роли в нем темы «одиноким, богатой чувствами души во враждебном мире «пошлых» жизненных укладов и чуждых, непонятных и непонимающих людей-кукол» [25. С. 226] и позволяет сделать вывод, что контаминация является одним из наиболее адекватных художественных способов выражения в романе идеи двоемирия.

Литература

1. *Барабтарло Г.* Троичное начало у Набокова // В.В. Набоков: pro et contra: антология. СПб., 1997. Ч. 2. URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/dolinin-a/vladimir-nabokov-pro-et-contra-t2> (дата обращения: 11.03. 2017).
2. *Люксембург А.М.* Амбивалентность как свойство набоковской игровой поэтики // Набоковский вестник. 1998. Вып. 1. С. 16–25.
3. *Рахимкулова Г.Ф.* Олакрез Нарцисса: Проза Владимира Набокова в зеркале языковой игры. Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 2003. 320 с.
4. *Ходасевич В.* «Защита Лужина». URL: <https://www.chitalnya.ru/commentary/8970/> (дата обращения: 11.03. 2017).
5. *Дьячковская Л.* Свет, цвет, звук и граница миров в романе «Защита Лужина» // В.В. Набоков: pro et contra: антология. СПб., 1997. Ч. 2. URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/dolinin-a/vladimir-nabokov-pro-et-contra-t2> (дата обращения: 11.03. 2017).
6. *Alexandrov V.E.* Nabokov's Otherworld. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991. 270 p. / Александров В.Е. Набоков и потусторонность / пер. с англ. Н.А. Анастасьева. СПб. : Алетейя, 1999. 320 с.
7. *Жолковский А.К.* Победа Лужина, или Аксенов в 1965 году // Alexander Zholkovsky. URL: <http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/book/poetik/aksen.htm> (дата обращения: 11.05. 2017).
8. *Погорелова Д.А.* Романтическое двоемирие в прозе В.В. Набокова // Литература в контексте культуры. 2011. Вып. 2 (21). С. 218–226.
9. *Аверин Б.* Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова // Звезда. 1999. № 4. С. 158–163.
10. *Андреев Н.* Сирия // В.В. Набоков: pro et contra: антология. СПб., 1997. Ч. 1. С. 220–230.
11. *Кантор М.* Бремя памяти (о Сирии) // В.В. Набоков: pro et contra : антология. СПб., 1997. Ч. 1. С. 234–237.
12. *Найман Э.* Литландия: аллегорическая поэтика «Защиты Лужина» // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 164–204.
13. *Долнин А.* Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб. : Академ. проект, 2004. 400 с.
14. *Сакун С.В.* Шахматный секрет романа В. Набокова «Защита Лужина» (новое прочтение романа) // Филологический вестник Ростовского государственного университета. 1999. № 1. С. 19–25.

15. Шамяунова М.Д., Ефанова Л.Г. Прием контаминации в прозе В.В. Набокова // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте : науч. тр. каф. совр. рус. яз. и стилистики ТГПУ. Томск, 2000. С. 100–116.
16. Лопаткина С.В. К проблеме разграничения понятий конвергенции и контаминации тропов // Речевое общение: специализированный вестник. Вып. 5–6 (13–14) / под ред. А.П. Сквородникова. Красноярск, 2004. С. 36–41.
17. Новикова Э.Г. Конвергенция речевых художественных приемов в малой прозе Т. Толстой // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 390. С. 26–34.
18. Климовская Г.И. Тонкий мир смыслов художественного (прозаического) текста: Методологический и теоретический очерк лингвопоэтики. Томск : НТЛ, 2009. 168 с.
19. Шамяунова М.Д. Прием контаминации в романе В. Набокова «Дар» // Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6-1. С. 140–144.
20. Шамяунова М.Д. Лексическая контаминация как стилистический прием и ее использование в прозе В. Набокова // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 393. С. 43–47.
21. Набоков В.В. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Правда, 1990. Т. 3. С. 3–152.
22. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М. : Наука, 1981. 278 с.
23. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М. : Школа «Языки русской культуры», 1998. 824 с.
24. Анастасьев Н.А. Феномен Набокова. М. : Сов. писатель, 1992. 320 с.
25. Сахаров В.И. Владимир Набоков – русский писатель // Реалист. Лит. альм. М., 1995. Вып. 1. С. 209–226.

SYNTACTIC BLENDING IN NABOKOV'S NOVEL *THE LUZHIN DEFENSE*

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 111–126. DOI: 10.17223/19986645/53/8

Margarita D. Shamjaunova, Larisa G. Efanova, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: margarita-tomsk@mail.ru / efanova@sibmail.com

Keywords: blending, syntactic blend, syntactic overlap, syntactic clipping, plural overlap.

The article investigates the composition of the syntactic blends used in Vladimir Nabokov's novel *Zashchita Luzhina* [The Luzhin Defense], the conditions conducive to their formation, and also the stylistic effect created with their help. During the research, seventeen syntactic blends were checked for compliance with the structural scheme of overlap (AB + ab = A (B = a) b) or clipping (AB + ab = Ab or aB), a semantic analysis of the components of the blends to identify the conditions for their formation, and a stylistic analysis of the blends and the context surrounding them with the aim of establishing their role in creating the speech artistic form of the novel were made.

Eleven of the syntactic blends used in the novel are formed by the method of overlap, and six by clipping of the original units. The conditions for syntactic overlap are the coincidence of the shape of the parts of the constructions with direct and indirect speech (e.g.: *Bednyy, bednyy Dantes ne vozbuhdal v nem uchastiya*), the ambiguity of one of the components of the blend (e.g.: *ona stala ryt'sya v sumke, muchitel'no ishcha v ney temu dlya razgovora i nakhodya tol'ko slomannyy grebeshok*), as well as creating a detailed metaphor.

Syntactic clipping becomes possible when connecting parts of synonymous constructions with direct and indirect speech (e.g.: . . . *dazhe moy Mit'ka govorit, chto u nas v Leningrade [A] lyabotayut, a v Belline bul'zui nichego ne delayut [b]*) or the replacement of individual components of the narrator's speech with a synonym or a pronoun the character used (e.g.: *Petrishchev umolyal vsekh ob "yasnit' yemu, pochemu [A] my znayem, chto oni ravnyayutsya dvum pryatym [b]*). In Nabokov's novel, clipping can be accompanied by a rearrangement of the components of the original units, it can connect the distant parts of the text or even require

the reader to recreate its missed parts using information obtained from the broad context preceding the blend.

Single and plural overlapping and clipping are used in the novel in order to depict the situation from the point of view of one of the characters in the novel, to describe the relationship between the characters or to reflect their psychological state.

Syntactic blending in the novel *The Luzhin Defense* is one of the means allowing to depict the loneliness of its hero with a high degree of artistic certainty, to demonstrate disharmony in his relations with the surrounding world and people, and is therefore one of the most adequate artistic ways of expressing the idea of duality in the novel.

References

1. Barabtarlo, G. (1997) Troichnoe nachalo u Nabokova [The triad in Nabokov]. In: Dolinin, A. *V.V. Nabokov: pro et contra: antologiya* [V.V. Nabokov: pro et contra: anthology]. Pt. 2. St. Petersburg: Izd-vo Rus. Khristianskogo gumanitar. in-ta. [Online] Available from: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/dolinin-a/vladimir-nabokov-pro-et-contra-t2>. (Accessed: 11.03.2017).
2. Lyuksemburg, A.M. (1998) Ambivalentnost' kak svoystvo nabokovskoy igrovoy poetiki [Ambivalence as a property of Nabokov's game poetics]. *Nabokovskiy vestnik*. 1. pp. 16–25.
3. Rakhimkulova, G.F. (2003) *Olakrez Nartsissa: Proza Vladimira Nabokova v zerkale yazykovoy igry* [Olakrez of Narcissus: Prose of Vladimir Nabokov in the mirror of the language game]. Rostov-on-Don: Rostov State University.
4. Khodasevich, V. (1930) “Zashchita Luzhina” [The Luzhin Defense]. [Online] Available from: <https://www.chitalnya.ru/commentary/8970/>. (Accessed: 11.03.2017).
5. D'yachkovskaya, L. (1997) Svet, tsvet, zvuk i granitsa mirov v romane “Zashchita Luzhina” [Light, color, sound and boundary of the worlds in the novel “The Luzhin Defense”]. In: Dolinin, A. *V.V. Nabokov: pro et contra: antologiya* [V.V. Nabokov: pro et contra: anthology]. Pt. 2. St. Petersburg: Izd-vo Rus. Khristianskogo gumanitar. in-ta. [Online] Available from: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/dolinin-a/vladimir-nabokov-pro-et-contra-t2>. (Accessed: 11.03.2017).
6. Alexandrov, V.E. (1991) *Nabokov's Otherworld*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
7. Zholkovskiy, A.K. (n.d.) *Pobeda Luzhina, ili Aksenov v 1965 godu* [The victory of Luzhin, or Aksenov in 1965]. [Online] Available from: <http://www.bcf.usc.edu/~alikh/rus/book/poetik/aksen.htm>. (Accessed: 11.05.2017).
8. Pogorelova, D.A. (2011) Romanticheskoe dvoemirye v proze V.V. Nabokova [The romantic two worlds in Nabokov's prose]. *Literatura v kontekste kul'tury*. 2 (21). pp. 218–226.
9. Averin, B. (1999) Geniy total'nogo vospominaniya: O proze Nabokova [The genius of total memory: On Nabokov's prose]. *Zvezda*. 4. pp. 158–163.
10. Andreev, N. (1997) Sirin. In: Dolinin, A. *V.V. Nabokov: pro et contra: antologiya* [V.V. Nabokov: pro et contra: anthology]. Pt. 1. St. Petersburg: Izd-vo Rus. Khristianskogo gumanitar. in-ta.
11. Kantor, M. (1997) Bremya pamyati (o Sirine) [The burden of memory (about Sirin)]. In: Dolinin, A. *V.V. Nabokov: pro et contra: antologiya* [V.V. Nabokov: pro et contra: anthology]. Pt. 2. St. Petersburg: Izd-vo Rus. Khristianskogo gumanitar. in-ta.
12. Nayman, E. (2002) Litlandiya: allegoricheskaya poetika “Zashchity Luzhina” [Litlandia: allegorical poetics of “The Luzhin Defense”]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 54. pp. 164–204.
13. Dolinin, A. (2004) *Istinnaya zhizn' pisatelya Sirina: Raboty o Nabokove* [The true life of the writer Sirin: Works about Nabokov]. St. Petersburg: Akademi. proekt.
14. Sakun, S.V. (1999) Shakmatnyy sekret romana V. Nabokova “Zashchita Luzhina” (novoe prochtenie romana) [The chess secret of V. Nabokov's novel “The Luzhin Defense”]

(new reading of the novel)]. *Filologicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta*. 1. pp. 19–25.

15. Shamyayunova, M.D. & Efanova, L.G. (2000) Priem kontaminatsii v proze V.V. Nabokova [Blending in Nabokov's prose]. In: Bolotnova, N.S. (ed.) *Kommunikativno-pragmaticheskie aspekty slova v khudozhestvennom tekste* [Communicative-pragmatic aspects of the word in the artistic text]. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University. pp. 100–116.

16. Lopatkina, S.V. (2004) K probleme razgranicheniya ponyatii konvergentsii i kontaminatsii tropov [To the problem of distinguishing the concepts of convergence and blending of tropes]. *Rechevoe obshchenie*. 5–6 (13–14). pp. 36–41.

17. Novikova, E.G. (2015) Convergence of speech art devices in the small prose by T. Tolstaya. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 390. pp. 26–34. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/390/5

18. Klimovskaya, G.I. (2009) *Tonkiy mir smyslov khudozhestvennogo (prozaicheskogo) teksta: Metodologicheskii i teoreticheskii ocherk lingvopoetiki* [The subtle world of meanings of artistic (prosaic) text: A methodological and theoretical essay of linguopoetics]. Tomsk: NTL.

19. Shamyayunova, M.D. (2015) Priem kontaminatsii v romane V. Nabokova “Dar” [The reception of contamination Blending in V. Nabokov's “The Gift”]. *Mezhdunar. zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy*. 6-1. pp. 140–144.

20. Shamyayunova, M.D. (2015) Lexical blending as a stylistic device in the prose of Vladimir Nabokov. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 393. pp. 43–47. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/393/6

21. Nabokov, V.V. (1990) *Sobranie sochineniy: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 3. Moscow: Pravda. pp. 3–152.

22. Zemskaya, E.A., Kitaygorodskaya, M.V. & Shiryayev, E.N. (1981) *Russkaya razgovornaya rech': Obshchie voprosy. Slovoobrazovanie. Sintaksis* [Russian colloquial speech: General questions. Word formation. Syntax]. Moscow: Nauka.

23. Levin, Yu.I. (1998) *Izbrannye trudy. Poetika. Semiotika* [Selected works. Poetics. Semiotics]. Moscow: Shkola “Yazyki russkoy kul'tury”.

24. Anastas'ev, N.A. (1992) *Fenomen Nabokova* [The phenomenon of Nabokov]. Moscow: Sov. pisatel'.

25. Sakharov, V.I. (1995) Vladimir Nabokov – russkiy pisatel' [Vladimir Nabokov, a Russian writer]. *Realist*. 1. pp. 209–226.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821 (091)

DOI: 10.17223/19986645/53/9

В.С. Абрамова

ЭТНОСТЕРЕОТИПЫ И ИХ РОЛЬ ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА

Анализируется функциональная нагрузка образов «иной» культуры в прозе А.П. Чехова и определяются цели обращения писателя к этностереотипам. Выделяются три особенности представления писателем национальных стереотипов. Доказывается, что этностереотипы не столько отделяют одну культуру от другой, сколько характеризуют сознание персонажей и служат для выявления их ценностной и этической позиции. В текстах мы видим взаимодействие разных ценностно-смысловых позиций, а не противопоставление культур

Ключевые слова: проза А.П. Чехова, национальное, образ иностранца, образ заграничного пространства, этностереотип, оппозиция «свое/чужое».

За рубежом в качестве «самого русского» писателя, в художественных произведениях которого наиболее полно воплощено русское бытие, нередко рассматривают именно А.П. Чехова. При этом представители других культур признают Чехова «своим», считая его творчество близким своей ментальности и указывая на поэтические особенности художественного мира писателя, которые воплощают «вненациональные» ценности и характеризуют *принципы сознания* человека любой культуры (см. работы: [1–4]).

В чём же причины такого явления? Д.С. Лихачев в статье «Национальное единообразие и национальное своеобразие» (1968) поднимает вопрос о национальном своеобразии литератур и рассуждает: «<...> Национальное своеобразие литературы в значительной мере зависит от национального характера её писателей и определяется национальным своеобразием их героев. Литература же, в свою очередь, очень важна для определения национального своеобразия, так как своеобразие, в первую очередь, раскрывается в творчестве, в характере творчества людей данной нации» [5. С. 168]. Поэтому важным представляется вопрос, *как выявить национальное* в художественном тексте и *какие художественные компоненты* составляют данное понятие.

По замечанию В.А. Редькина, воплощение национального характера того или иного народа не должно сводиться «только к психологическому складу конкретной личности». Выявляя особенности национального характера, необходимо «стремиться к анализу содержательной формы, поэтики» [6. С. 26]. Национальное в художественном тексте выделяется в сюжетно-

композиционной и пространственно-временной организации, образном строе, национальной топике, символах, мотивах и лейтмотивах, речевой характеристике персонажей, а также определяется через художественное осмысление традиций и обычаев, которые основываются на определённой системе ценностей и определённом типе переживания национальной истории и её особенностей (см. об этом: [7–10]).

Особую роль для выявления национально-специфического играет сопоставление «своего» и «чужого» в художественном тексте, ведь данное противопоставление является одной из ключевых оппозиций национального сознания. Оппозиция «свое / чужое» несёт ценностно-смысловую нагрузку: «свое» нередко выступает со знаком плюс и ассоциируется с хорошим, правильным, естественным; «чужое» идет со знаком минус и выражает плохое, ошибочное, странное. Как наполненность членов оппозиции может быть иной, так и воплощение данного противопоставления в творчестве конкретного автора имеет свои особенности.

В произведениях многих русских писателей появляется образ представителя другой культуры (немца, француза, англичанина, поляка, еврея и др.). А.П. Чехов также часто прибегает к использованию образов «иной» культуры в своих произведениях. Рассуждая об особенностях представления иностранных персонажей в творчестве Чехова, можно отметить, что, с одной стороны, писатель продолжает традицию Д.И. Фонвизина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина в создании образа иностранца: персонажа характеризует речь, «говорящая» фамилия (Вральман, Штольц и др.), а также то, как называют нерусских те или иные персонажи («нехристь», «ферфлюхтер» и т.д.); иноземец нередко воспринимается как «чужой» и противопоставляется русскому персонажу. С другой стороны, в отличие от многих своих предшественников художник создает образы чужеземцев без национального колорита, который бы выражался через детали, и за основу характеристики персонажа часто берет готовое, *стереотипное описание* представителя той или иной культуры, которое подчиняет своим особым целям. Например, англичанка – высокая, тонкая и презрительно глядящая («Дочь Альбиона». 1883); француз – маленький, патриот и душится («На чужбине». 1885); поляки – интересные brunety («Степь». 1888); немцы – честные и сентиментальные («Учитель». 1886).

В.Б. Катаев одним из первых в чеховедении обратил внимание на использование Чеховым стереотипов: «Неизменны в чеховском мире относительность, обусловленность идей и мнений, стереотипов мышления и жизненного поведения, отказ от абсолютизации любого индивидуального решения, неосновательность разнообразных претензий на обладание «настоящей правдой» [11. С. 207–208]. В.В. Ерофеев в статье «Миф Чехова о Франции» (1992), рассуждая о национальной теме в русской литературе, отмечает, что в русской литературе, и в частности в творчестве Чехова, «само определение национальности становится более доминирующим, нежели характер любого героя, который связан с этой национальностью» [12]. Искажение чеховскими героями иностранных слов и выражений,

уничижительное изображение иностранцев вообще, аморфное представление заграницы исследователь объясняет ксенофобией писателя. «Потому что здесь, конечно, есть и традиционная внутренняя русская ксенофобия, которая видит всегда в иностранце подозрительную фигуру. И традиционное русское высокомерие, которое всегда за границей своего мира видит прежде всего персонаж, а уже потом человека» [12]. Не согласимся с выводами исследователя. На наш взгляд, в творчестве Чехова функциональная роль образов «иной» культуры совсем другая.

Работ, в которых исследуется национальное восприятие «чужого» в творчестве Чехова, немало, но в большинстве своем они сводятся к обзору, ограничивающемуся перечислением и краткой характеристикой персонажей-иностранцев и свойственных им национальных стереотипов (см., например, работы: [13–16]). Через многие труды проходит мысль о том, что русские персонажи идентифицируют себя через противопоставление героям-иностранцам: «Чехов <...> играет национальными стереотипами, демонстрируя через взаимодействие двух культур не только французский, но и русский национальный характер» [15. С. 400]. Кроме того, подчеркивается, что Чехов использует распространенные представления о представителях другой культуры «преимущественно в юмористических целях» [16. С. 89]. Таким образом, факт обращения Чехова к национальным стереотипам (этностереотипам) не нуждается в доказательстве. Однако функции образов «иной» культуры и *проблематика* этностереотипов заграницы и иностранца в прозе писателя требуют детального изучения. Нуждается, на наш взгляд, в уточнении и понятие «этностереотип».

Национальный стереотип, или *этностереотип*, представляет собой «упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы, распространяемый на всех ее представителей» [17. С. 149]. Этностереотипы содержат как реальные знания о нации, так и эмоционально-оценочное отношение к ее представителям, могут быть пристрастными, аккумулировать в себе предубеждения, предвзвешенности. Использование национальных стереотипов тесно связано с видением мира: «Как и всякий стереотип, он является своеобразным социальным конструктом, способствует ориентации индивида в жизни, выступает источником мотивации общественных действий последнего. Стереотип, в том числе национальный, тесно связан с языковым фактором и, подобно национальной идентичности, имеет дискурсивную природу» [18. С. 142]. В художественном тексте этностереотип отражается через хронотоп, место персонажа в образной системе произведения, его участие в сюжетном действии, предметной и речевой детализации.

Задача настоящей статьи – на примере ранних и поздних рассказов и повестей Чехова изучить, какую ценностно-смысловую нагрузку несут в творчестве писателя образы «иной» культуры, и определить, какова сверхзадача автора, обращающегося к национальным стереотипам в своем творчестве. В качестве методологии исследования нами используются приемы сравнительного, культурно-исторического анализа, а также подхо-

ды к анализу текста, используемые художественной имагологией (см. об этом: [19–23]).

Анализ рассказов и повестей, в которых присутствует образ иностранца в лице персонажей и сопутствующих им жизненных подробностей, а также наличествует оппозиция «русское / иностранное», позволил нам сделать следующие выводы.

Первое, что обращает на себя внимание в произведениях писателя, – это то, что образ иностранца часто дается в восприятии русского персонажа или раскрывается читателю в монологе, поступках, поведении самого иноязычного героя. Из произведений Чехова мы мало узнаем о социальном статусе чужеземца, его национальном самосознании, образе жизни. Русский герой видит представителя другой культуры упрощенно, воспринимает его как «чужого» и приписывает ему негативные характеристики. Оценочно представлены модели повседневного поведения, особенности физических движений, походки, речи.

В рассказе «На чужбине» (1885) помещик Камышев уничижительно отзывается о народе «гладко выбритого старика французика» Шампуня, который работает у него гувернером, и противопоставляет русское французскому, не имея на то никаких убедительных оснований: «Согласен, французы все ученые, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! *Духу того в нем нет!* Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, *во французе не хватает чего-то такого, этакого...* (говорящий шевелит пальцами) *чего-то такого... юридического.* Я, помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то *никакой ваш профессор не сравняется.* <...> Вообще... *не нравятся мне французы!* Я про вас не говорю, а вообще... *Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут как собаки...*». [24. Т. 4. С. 163–164].

В рассказе «Глупый француз» (1886) гастрономические пристрастия характеризуют двух персонажей – француза Генри Пуркуа и русского, «полного благообразного господина». Своеобразное столкновение разных ценностных систем происходит за столом. Огромное количество еды на столе у русского: балык, сёмга, икра, блины, селянка – говорит о необузданности и неумеренности. Консоме и гренки, которые потребляет француз, свидетельствуют об умеренности, экономности, разумности, заботе о здоровье. Думается, сверхзадача Чехова связана не с выявлением различий национальных характеров русского господина и француза. *Французское* вовсе не высмеивается автором и не кажется ему глупым. Напротив, «глупым» в рассказе оказывается не француз, с ужасом наблюдающий за русским, который с жадностью поглощает большую гору еды, но этот «полный благообразный господин», которого больше ничего не интересует в жизни, а только много и вкусно поесть: «Порядки, нечего сказать! – проворчал сосед, обращаясь к французцу. – Меня ужасно раздражают эти длин-

ные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к чёрту, и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде» [24. Т. 4. С. 357–358]. С нашей точки зрения, стереотипный образ представителя другой культуры не является для Чехова самоцелью так же, как самоцелью не является изображение типично русского поведения. Обыгрывание стереотипных представлений о французской экономности, разумности и русской расточительности, необузданности потребовалось писателю для того, чтобы донести мысль о превосходстве духовных ценностей над материальными.

Национальные характеристики русских также даются как стереотипные. «Русскими» в рассказах являются такие признаки, как «внутренняя красота», «бледность», «наивность», «лень», «усмешка». Приведём пример из рассказа «По делам службы» (1899): «Это был старик за шестьдесят лет, *небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый, на лице наивная улыбка, глаза слезились*, и всё он почмокивал, точно сосал леденец. Он был в коротком полушубке и в валенках и не выпускал из рук палки» [Там же. Т. 10. С. 88]. Не согласимся со словами критика Ю. Павлова: «Русскость Чехова проявлялась и в том, что он прежде и больше всего писал о недостатках своего народа. В редких случаях он перегибал палку, сбиваясь на обобщенно-несправедливые, оскорбительные оценки (как, например, в письме М.П. Чеховой от 13 июля 1890 года). Подчеркну: в основе национальной самокритики писателя лежит любовь к России и русским, эмоциональная реакция на поведение людей, «оскверняющих русское имя» (письмо А.С. Суворину от 9 декабря 1890 года). Поэтому несостоятельны постоянные попытки либеральных авторов сделать из Чехова своего союзника или единомышленника. Также несостоятельны версии о Чехове – ненавистнике евреев, крымских татар, немцев и т.д.» [25. С. 260–261]. Действительно ли Чехов писал о недостатках русских? Полагаем, что негативную оценку у писателя вызывал человек бездеятельный, бездуховный, безнравственный, с ложной системой ценностей (а таким человеком может быть представитель любой национальности).

Рассказ «Обыватели» (1887) представляет нам ситуацию, когда русский и иностранец меняются местами: нерусский персонаж противопоставляет себя русскому и насмехается над ним. Суть произведения заключается в том, что целый день поручик из поляков Иван Казимирович Ляшкевский и немец Франц Степаныч Финкс, городской архитектор, наблюдают из окна за русским, празднично сидящим во дворе, и обличают его: «*Русский человек, ничего не поделаешь!* – говорит Финкс, снисходительно улыбаясь. – У русского кровь такая... *Очень, очень ленивые люди!* Если б всё это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города <...> Вот как сел на лавочку, так и будет, *проклятый*, сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно *ничего не делают, дармоеды и тунеядцы!*» [24. Т. 6. С. 191–192]. Внимание писателя сосредоточено на раскрытии образа поляка, а для изображения «лентяя во дворе» он использует уже готовый, стереотипный образ русского, хорошо знакомый читателю. Обзывая русского

обывателя лентяем, дармоедом и мошенником, живущим только мелкими личными интересами, говорящим только о политике и лузгающим семечки, поляк и немец тоже ничего не делают и ведут себя как самые настоящие обыватели. Весь день приятели проводят за посиделками, пустыми разговорами, бранью, едой, играми в пикет и сном, включая послеобеденный: «Злобно оглядывая синие панталоны, Ляшкевский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах его выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог; под конец мешочки под его глазами надуваются, он оставляет русских подлецов, мерзавцев и каналий в покое и, тараща глаза, кашляя от напряжения, начинает сыпать польскими ругательствами» [24. Т. 6. С. 192]. Праздные разговоры и картёжный азарт заставляют немца Финкса забыть о том, что ему нужно посмотреть стену, треснувшую в школе. Вместо полезных дел он остаётся слушать брань Ляшкевского и пить чай: «В шесть часов просыпается Финкс. – Поздно уж в гимназию, – говорит он, потягиваясь. – Придется завтра сходить, а теперь... отыграться, что ли? Давайте еще одну партию...» [Там же. С. 196].

Показывая ложные представления и мнения героя о необходимости противопоставления «своего» «чужому», художник ставит героев в комические ситуации. Не русский персонаж-обыватель, а герой-поляк Ляшкевский, который ничего не делает, играет в пикет и ругает русских, вызывает у читателя только улыбку и сожаление своей невоспитанностью, пошлостью, ворчливостью, грубостью и ленью: «Восемь... девять... десять... Да, удивительный народ эти русские! Одиннадцать... двенадцать. *Русская инертность – единственная на всем земном шаре* <...> У, пся крев! *И как это ты не околеешь от лени!* Ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а *одни только растительные процессы*... Гадость! Тьфу!» [Там же. С. 194–196]. Ляшкевский показывает крайнюю степень грубости и невоспитанности, когда подобные бранные слова начинает уже говорить об ушедшем приятеле-немце, а потом принимается брюзжать и на собственное кресло и пружину матраца: «Прроклятый, целый день просидел без всякого дела... Только жалованье даром получают, чёрт бы их побрал... Немецкая свинья...» [Там же. С. 196]. Обличая русского обывателя, поляк Ляшкевский сам оказывается ничуть не лучше того, кого он высмеивает или противопоставляет себе. Таким образом, *чеховская ирония* оказывается обращенной не на «свою» или «чужую» национальную культуру, а на *общий уровень культуры и образования человека*. Близким художнику является свободный, независимый, нравственно и физически богатый герой, который ставит духовные ценности выше материальных.

В поздних произведениях писателя встречаются немногочисленные образы иностранцев, и мы также можем говорить о том, что образ чужеземца не является для Чехова самоцелью, а подчинен определенным функциям. В отличие от ранних рассказов, где образы иностранцев предельно обобщены, в более поздних текстах образы иноземцев отличаются динамичностью. У зрелого Чехова носитель «иной» культуры нередко выступает

представителем другого взгляда на жизнь или воплощает другой тип человеческого поведения. В центре внимания писателя – *сознание героя* и его этическая и ценностная позиция, особенности взаимодействия этого сознания с изображённым бытием. Так, в повести «Дуэль» (1891) антагонистом Лаевского, мягкого, легкомысленного, ведущего разгульный образ жизни русского человека, выступает немец Фон Корен, «натура твёрдая, сильная, деспотическая» [24. Т. 7. С. 397]. Будучи зоологом, немец предлагает отвечать на вечные вопросы жизни, обращаясь к логике и точным наукам: «Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую, или так называемую христианскую почву; этим вы только отдаляйтесь от решения вопроса» [Там же. С. 430].

С нашей точки зрения, в произведении на первый план выходит *внутренний конфликт* каждого из персонажей, представляющих *разные системы ориентирования в жизни*. Фон Корен презирает Лаевского за его поведение и жестко проводит свою позицию: «У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лаевского же она – всё, и притом только любовница. Она, то есть сожительство с ней – счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован – от женщины; жизнь опостылела – женщина виновата; загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы – и тут ищи женщину... Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти» [Там же. С. 372]. Отличаясь излишней категоричностью и жесткостью в начале повествования, фон Корен становится более мягким, терпимым и понимающим к концу, и система его оценок также претерпевает изменения вместе с его внутренним «я».

Вторая отличительная черта использования Чеховым этностереотипов связана с хронологическими особенностями представления «чужого» в произведениях. Сюжет чеховских рассказов и повестей разворачивается в основном в провинциальных уездных, губернских городах; в усадьбах; в столичных городах Москве и в Петербурге, где мы и встречаем «живых» героев-иностранцев. В произведениях Чехова создаются также образы европейских государств – Франции, Германии, Италии, и географическое пространство другой страны рисуется штрихами.

В рассказе «Ариадна» (1895) роман героя начался в его подмосковном имении и продолжился в Италии и других странах. Иная страна с ее историей и искусством остается в тени, заграничное пространство дано штрихами, герои погружены в собственные переживания и обеспокоены тем, как сытно и вкусно поесть и где достать средства: «Мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей восемьсот. Мы останавливались в Венеции, в Болонье, во Флоренции и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. <...> А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам, с постоянною мыслью, как

бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искал глазами стула и лицемерно повторял за другими: “Какая прелесть! Сколько воздуха!” <...> То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра и, благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились» [24. Т. 9. С. 121–122].

Нередко образ заграницы возникает лишь в сознании персонажей на основе прочитанных книг, рассказов других людей об этой стране, каких-то общих мнений, ложных представлений, витающих в воздухе. Собственно самой страны словно не существует: существуют только многообразные мнения о той или иной стране и об «иной» культуре. Помещик Камышев («На чужбине». 1885) так представляет себе Францию: «...Ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота – конца краю не видно! Едешь, едешь...» [Там же. Т. 4. С. 163–164].

Рассказ «К характеристике народов (Из записок одного наивного члена Русского географического общества)» (1884) построен как энциклопедия, в которой дана характеристика разных народов. Член Русского географического общества описывает каждый народ, его обычаи и традиции поверхностно, стереотипно и однобоко, невольно открывая читателю своё собственное обыденное, некультурное сознание. Реалии «иной» культуры, представленные в искажённом виде, смешиваются у «географа», с трудом представляющего себе географическое положение страны, о которой он говорит, с реалиями русской культуры. Так, французы, по его мнению, легкомысленны и безнравственны, потому что «читают нескромные романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают “Московских ведомостей”» [Там же. Т. 3. С. 113]. Шведы «ездят на шведках, слушают в ресторанах пение шведок и подмазывают колеса норвежским дегтем. Живут в местах отдалённых» [Там же]. «Испанцы дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим “Тигрёнка” и “Желаю быть испанцем”» [Там же]. У англичан «нет досуга... Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане. На рандеву вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия», а живут они «в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине» [Там же. С. 114]. Как мы видим, характеристики культур не даются с позиции национального своеобразия той или иной культуры, иного менталитета в сравнении с русской культурой и русским менталитетом. «Иная» культура как другой образ жизни не принимается обывателем, принижается им. Не «иная» культура, а «географ», уничижительно и карикатурно представляя «иную» культуру, высмеивается автором, который обнажает ложную систему ценностей героя.

В поздних произведениях писателя с образом заграницы связан *мотив бегства*, сопряжённый с *другими мотивами* – *одиночества, скуки, недовольства жизнью*, которые сопровождают пребывание героев как в России, так и за границей. Герой, стремясь заполнить экзистенциальный вакуум, бежит в другую страну мысленно или в реальности, но, попав в новое культурное пространство, он снова не находит себе места, и прежнее ощущение недовольства возвращается. В «Рассказе неизвестного человека» (1893) рассказчик, названный Неизвестным, бежит с Зинаидой Фёдоровной за границу от окружавшей героев пошлости. Но и там герой не находит покоя, скука и раздражение преследуют его: «В Венеции у меня *начались плевритические боли*. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в Hôtel Bauer. *Пришлось с первого же дня лечь в постель* и пролежать недели две <...> И я уходил к себе. Так мы прожили целый месяц. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дождя, как марля, закрыла взморье, *нам обоим вдруг стало скучно*. В тот же день мы уехали во Флоренцию <...> Потом я вышел на террасу и долго глядел на море. Вдали на горизонте ни одного паруса, на левом берегу в лиловой мгле горы, сады, башни, дома, на всем играет солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то» [24. Т. 8. С. 197–198, 201, 203]. Мучается и страдает Зинаида Фёдоровна: «Владимир Иванович, – сказала она тихо и прерывисто дыша; *ей тяжело было говорить*. – Владимир Иванович, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем... *зачем вы тащили меня из Петербурга?* Зачем обещали и *зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды?*» [Там же. С. 205].

В «Архиерее» (1902) преосвященному Петру «захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось. Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешёвых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха» [Там же. Т. 10. С. 199]. Но мы знаем, что, когда герой был за границей, то «тосковал по родине». Мотивы экзистенциального одиночества и недовольства собой и жизнью проходят через всё произведение. А.С. Собенников в работе «Чехов и христианство» (2005), анализируя рассказ, справедливо отмечает: «Эстетическая оппозиция “Россия – Европа” не разворачивается в социально-экономический дискурс: чья жизнь лучше? Бедность русской жизни в конечном счете ставит экзистенциальную проблему “бедности” мира вообще, не способного ответить на вопрошания человеческого духа» [26. С. 59]. «Он думал о том, что вот *он достиг всего*, что было доступно человеку в его положении, он веровал, *но все же не все было ясно*, чего-то еще не доставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что *нет у него чего-то самого важного*, о чем случайно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же *надежда на будущее*, какая была и в детстве, и в академии, и за границей» [24. Т. 10. С. 195]. Мы понимаем, что герой тоскует не по другому месту («загранице»), страдает не от неустроенности провинциальной жизни, но от одиночества, от-

сутствия общения, душевного тепла и понимания. И приходим к выводу, что тоска героя не по другой обстановке, его тоска – *экзистенциальная*. Поэтому другая страна предстаёт, с нашей точки зрения, как равноправное с русским пространство, пребывание на котором не вносит существенных изменений в жизнь героя, что приводит нас к выводу, что для писателя главным является именно воплощение экзистенциального опыта человека в пространстве жизни.

И наконец, третья отмеченная нами особенность представления национальных стереотипов заключается в отсутствии в сознании *автора* оппозиции «свое / чужое», которая тем не менее может постоянно присутствовать в сознании *героя*, что в свою очередь приводит к насмешке автора над его позицией. И это свидетельствует об особенностях мировоззрения писателя и особенностях его художественного мира, где обычно отсутствует резкая противопоставленность.

В рассказах «Дочь Альбиона» (1883), «На чужбине» (1885), «Обыватели» (1887) звучит тема превосходства своего над чужим. Невозмутимая, высокая, тонкая и презрительно глядящая англичанка мисс Тфайс (рассказ «Дочь Альбиона») спокойно удит рыбу и не обращает внимания на хозяина, который голый лезет в воду, чтобы отцепить крючок. Вся образная система рассказа построена на том, что и помещик Грябов, и гувернантка мисс Тфайс представляются в рассказе носителями этностереотипов. Но цель автора отнюдь не в дискредитации стереотипов и разрушении их. Внимание читателя направлено именно на поведение и поступки помещика. Грябов презрительно отзывается о гувернантке-англичанке и ставит её как представителя иной культуры ниже себя по образованию, воспитанию, поведению: «Живет *дурища* в России десять лет, и *хоть бы одно слово порусски!*.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо поихнему брехать научится, а они... *чёрт их знает!* Ты *посмотри на нос!* На нос ты посмотри! <...> Она не женщина, а девица... О женихах, небось, мечтает, *чёртова кукла*. И *пахнет от нее какою-то гнилью*. Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как *взглянет* на меня своими *глазницами*, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже *любит рыбу ловить*. Погляди: ловит и священнодействует! *С презрением на всё смотрит*... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? *Уилька Чарльзовна Тфайс!* Тьфу!.. и не выговоришь!» [24. Т. 2. С. 196].

Мисс Тфайс не столько воплощает «иную» английскую культуру, иной национальный характер (характеристики её национальной ментальности даны как стереотипные), сколько служит некоторой точкой отсчёта для оценки действий и поступков других персонажей. Такие черты английского национального характера, как невозмутимость, беспристрастность, не противопоставляются русским национальным чертам характера. На фоне англичанки, которая на протяжении рассказа не произносит ни слова, помещик Грябов и предводитель дворянства Отцов показывают всю свою грубость, невоспитанность, невежество, хотя и охотно противопоставляют

себя англичанке: «Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка» [24. Т. 2. С. 198].

Жизнь в России в сопоставлении с жизнью за границей представляла в произведениях многих русских писателей как серая, неудобная и невыносимая. Жизнь за границей, напротив, изображалась как комфортная, цивилизованная и полная надежд. В творчестве Чехова оппозиция «заграница / Россия» решается иначе, чем у его предшественников. Выше нами кратко было отмечено и показано на анализе конкретных произведений, что в художественном мире писателя важны не своя и чужая страна как географические и культурные пространства, а важно *отношение* к ним человека, их *субъективно-ценностная окрашенность*. Характерно в этом отношении очень ценное наблюдение А.С. Собенникова: «...любая вещь в мире Чехова с аксиологической точки зрения нейтральна. Бумажки, пахнущие ворванью, кусок синей материи, горшочки со сметаной, крыжовник значат только то, что значат, но в определенной системе ценностных отношений они превращаются в знак “мирка”. Поэтому когда говорят, что в “Ионыче” выпускник университета Дмитрий Ионыч Старцев стал жертвой среды, то это неправда. У героя Чехова была внутренняя готовность превратиться в Ионыча» [27. С. 149]. Поэтому в художественных текстах писателя мы видим взаимодействие разных ценностно-смысловых позиций, а не противопоставление культур.

В рассказе «Свистуны» (1885) помещик Алексей Федорович Восьмёркин водит по своей усадьбе приехавшего погостить из Петербурга брата-магистра. Рассказ построен преимущественно как монолог Восьмёркина, реплики брата сведены к минимуму. Авторские отступления немногословны, они больше представляют обстановку, действия персонажей: «А полёбка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок» [24. Т. 4. С. 111]. В центре рассказа – многочисленные, плаксивым голосом высказываемые негодования Восьмёркина на себя и себе подобных и одновременно неумеренные восхваления русского народа и его представителей. Восьмёркин всячески противопоставляет якобы исконное русское и европейское, что воплощает, по его мнению, Петербург. Помещик укоряет брата за то, что западники (таким он назвал магистра) чужое выучили, своего не хотят знать. Помещик восхваляет (конечно же, на словах) русский народ, умаляя другие народы: «Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ! Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа всё то свиньи, тля!» [Там же. С. 108].

Казалось бы, подвыпившие братья ведут себя противоположно, но они не отличаются друг от друга отношением к работникам. Брат говорит, что у каждого народа своё прошлое, т.е. не соглашался с карикатурным возвеличиванием своего народа братом, но одновременно курит «для чистоты

воздуха сигару» [24. Т. 4. С. 108]. А когда дело доходит до издевательств над людьми, магистр не высказывает протеста и также участвует в издевательствах брата-помещика над дворовыми. Восьмёркин не принимает дворовых за людей, но считает их животными. Например, он говорит о людях, как о породистых лошадях: «Погляди, магистр! В плечах – косая сажень! Грудыща, словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы-то этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит...» [Там же. С. 110]. Когда Восьмёркин потряс пастуха Фильку за плечо, то Филька ухмыльнулся и издал звук «гы-ы». Помещик заявил, что преклоняется перед русским народом: «Веришь ли? Учусь у них!» [Там же. С. 109]. В людской, где обедали дворовые, издевательства также не прекращались. Людям не дали спокойно пообедать. Хозяин приказывал им петь, обсуждал особенности каждого «вольнонаёмника». Дело дошло бы и до танцев, но лакей доложил господам, что кушать подано. Сами братья вовремя сели обедать и за обедом снова говорили о преклонении перед русским народом, но на деле издевались над ним. Ключевым в рассказе становится не противопоставление русского и европейского, а праздные разговоры, «свистёжь» братьев, которые, рассуждая о своей культуре (на самом деле – просто болтая о ней), противопоставляя ее другой культуре, выдают себя, невольно высвечивая собственную систему ценностей.

Проблема использования Чеховым национальных стереотипов, конечно, нуждается в дальнейшей детальной разработке и привлечении нового материала. Анализ отдельных произведений показывает, что, с одной стороны, проза Чехова дает богатый материал для размышления над проблемой национального, а именно: писатель создаёт образы русских людей и представителей других культур, рисует бытовую обстановку дома и усадьбы конца XIX в., творчески осмысляет национальные традиции и обычаи. С другой стороны, упоминание «иной» культуры в художественных произведениях отсылает читателя к стереотипу. Этностереотипы не столько отделяют одну культуру от другой, сколько характеризуют сознание персонажей и служат для выявления их ценностной и этической позиции. Писателя в первую очередь интересует *ценностное* сознание человека *любой* культуры, и авторская точка зрения выражает антропологический взгляд на человека как на носителя онтологического начала. На первый план у Чехова выходит не то, что разделяет и, следовательно, создает национальный колорит, а, напротив, то, что сближает разные культуры. Этим, на наш взгляд, можно объяснить факт огромной популярности чеховского творчества у зарубежного читателя, воспринимающего писателя одновременного и как «своего», и как «чужого». В представленных образах иностранцев присутствует ярко выраженный эмоционально-оценочный компонент.

Литература

1. *Finke M. Metapoesis. The Russian Tradition from Pushkin to Chekhov. Durham ; London, 1995. P. 221.*

2. *Sherbinin J.W.* De Chekhov and Russian Religious Culture: The Poetics of the Marian Paradigm. Evanston, IL : Northwestern University Press, 1997. P. 189.

3. *Senelick L.* Chekhov and the bubble reputation // Chekhov Then and Now: The Reception of Chekhov in World Culture. N.Y. : Peter Lang, 1997. P. 5–18.

4. *Kirjanov D.A.* Chekhov and the Poetics of Memory. Studies on Themes and Motifs in Literature. N.Y. : Peter Lang, 2000. P. 193.

5. *Лихачев Д.С.* Национальное единообразие и национальное разнообразие // Русская литература. 1968. № 1. С. 135–141.

6. *Редькин В.А.* Русский национальный характер как литературоведческая категория // Проблемы национального самосознания в русской литературе XX века / отв. ред. В.А. Редькин. Тверь, 2005. С. 18–36.

7. *Захаров В.Н.* Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX вв. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. Вып. 1. С. 5–11.

8. *Захаров В.Н.* Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX вв. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1998. Вып. 2. С. 5–30.

9. *Котельников В.А.* Православная аскетика и русская литература: (На пути к Оптиной). СПб. : Призма-15, 1994. 208 с.

10. *Шеинунова С.В.* Национальный образ мира как категория этнопоэтики русской словесности // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX вв.: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 2008. Вып. 5. С. 6–17.

11. *Катаев В.Б.* Проза Чехова: проблемы интерпретации. М. : Изд-во МГУ, 1979. 327 с.

12. *Ерофеев В.В.* Миф Чехова о Франции // Чеховиана: Чехов и Франция. М. : Наука, 1992. С. 19–24. URL: <http://www.chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/41-chekhovetfrance/186-erofeev> (дата обращения: 15.05.2016).

13. *Желтова Н.Ю.* «Русское» и «Английское» в рассказе А.П. Чехова «Дочь Альбиона» // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2011. № 12. С. 310–312.

14. *Поджхан М.А.* Национальные стереотипы в художественном пространстве: цель или средство? // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. 2013. Вып. 2. С. 59–64.

15. *Бузлак Т.О.* Французы и Франция в творчестве А.П. Чехова: основные лейтмотивы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 400–403.

16. *Крюкова О.С.* Немцы и «немецкое» в раннем творчестве А.П. Чехова // А.П. Чехов и мировая культура: к 150-летию со дня рождения писателя : сб. материалов Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 1–4 октября 2009 г. Ростов н/Д: ЛОГОС, 2009. С. 89–94.

17. *Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.* Этнология. М. : Академия: Высш. шк., 2000. 304 с.

18. *Филлюшкина С.Н.* Национальный стереотип в массовом сознании и литературе (опыт исследовательского подхода) // Логос. 2005. № 4. С. 141–155.

19. *Дима А.* Образ иностранца в различных национальных литературах // Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М., 1977. С. 148–153.

20. *Михальская Н.П.* Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. М. : МПГУ, 1995. 152 с.

21. *Михальская Н.П.* Россия и Англия: проблемы имагологии. Москва ; Самара : Порто-Принт, 2012. 224 с.

22. *Поляков О.Ю.* Актуальные проблемы изучения рецепции и репрезентации национальных образов в свете имагологии // Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур / отв. ред. О.Ю. Поляков. Киров, 2012. С. 3–14.

23. Патилова Е.В. Художественная имагология: немцы глазами русских: на материале литературы XIX в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. 23 с.

24. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Сочинения : в 18 т. Письма : в 12 т. М. : Наука, 1974–1983.

25. Павлов Ю.М. Чехов как русский человек: [Бунин о Чехове] // Наш современник. 2014. № 6. С. 258–264.

26. Собенников А.С. Чехов и христианство. Иркутск : Иркут. ун-т, 2000. 84 с.

27. Собенников А.С. Оппозиция дом – мир в художественной аксиологии А.П. Чехова и традиция русского романа // Чеховиана. Чехов и его окружение. М., 1996. С. 144–149.

ETHNIC STEREOTYPES AND THE ROLE THEY PLAY IN THE REPRESENTATION OF FOREIGNERS IN CHEKHOV'S PROSE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 127–142. DOI: 10.17223/19986645/53/9

Viktoriia S. Abramova, Perm State University (Perm, Russian Federation). E-mail: abramovavictoria@yandex.ru

Keywords: A.P. Chekhov's prose, national, foreigner image, foreign space image, ethnic stereotype, us vs. them category.

This article discusses the artistic functions of “the other” culture in Anton Chekhov's prose and looks at some problems of ethnic stereotypes reflection in the character's and the author's minds. Analyzing the most representative works in the designated aspect (short stories “In a Strange Land”, “The Stupid Frenchman”, “Aborigines”, “A Daughter of Albion”, “Whistlers”, “To Characteristic of the Nations”, “Ariadne”, “On Duty”, “The Bishop”, “An Anonymous Story”, “The Duel”), the author of the article identifies three distinctive features of national stereotypes representation in Chekhov's works. Firstly, the mention of “the other” culture in Chekhov's texts always refers the reader to a stereotype. At the same time characteristics of the “Russian” are also given as stereotypic. It is noted that Chekhov subordinates the ready, clichéd description to his special purposes. The image of the other is often presented by the Russian character or revealed to the reader in the foreign character's monologue and actions. It is proved that the foreigner can be the subject of a mockery and can make fun of the other culture representative, but after all he appears no better than the one he makes fun of. As a result, he becomes an object of the author's mockery that discloses the cultural and educational level of the person in question. Also the foreigner can represent a different system of ethics and values in comparison with which the existing system is shaded, integrated or discredited. Besides, he can introduce another outlook on life. A free, independent character, who puts spiritual values above material ones, is highly appreciated by the writer. Secondly, the writer draws the geographical space of a foreign country only in strokes. The image of a foreign space is quite often presented through the character's eyes, and that discloses his consciousness. In the artistic world created by Chekhov, both the homeland and a foreign country are not important as geographical and cultural spaces. Important is how the character feels about a country. In late Chekhov's works, the motif of escape is related to the foreign space image and accompanies characters' stay in Russia and abroad. Another country seems no different from Russia, and a stay in any country does not make significant changes to the character's life. This allows us to draw a conclusion that the existential experience of man in the life space is the most important for the writer. Last but not least, there is no opposition us vs. them in the author's mind; however, it may constantly be present in the character's mind, and that leads to the author's mockery of his point of view. It is noted that in Chekhov's texts we see interaction of different value and semantic positions, but not the opposition of cultures. The article draws a conclusion that ethnic stereotypes are not ends in themselves for Chekhov as in the center of his attention is human ethics and values of any nationality.

References

1. Finke, M. (1995) *Metapoesis. The Russian Tradition from Pushkin to Chekhov*. Durham; London: Duke University Press.
2. Sherbinin, J.W. de. (1997) *Chekhov and Russian Religious Culture: The Poetics of the Marian Paradigm*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
3. Senelick, L. (1997) Chekhov and the bubble reputation. In: Clayton, J.D. (ed.) *Chekhov Then and Now: The Reception of Chekhov in World Culture*. N.Y.: Peter Lang.
4. Kirjanov, D.A. (2000) *Chekhov and the Poetics of Memory. Studies on Themes and Motifs in Literature*. N.Y.: Peter Lang.
5. Likhachev, D.S. (1968) Natsional'noe edinoobrazie i natsional'noe raznoobrazie [National uniformity and national diversity]. *Russkaya literatura*. 1. pp. 135–141.
6. Red'kin, V.A. (2005) Russkiy natsional'nyy kharakter kak literaturovedcheskaya kategoriya [Russian national character as a literary category]. In: Red'kin, V.A. (ed.) *Problemy natsional'nogo samosoznaniya v russkoy literature XX veka* [Problems of national self-consciousness in Russian literature of the twentieth century]. Tver: Zolotaya bukva.
7. Zakharov, V.N. (1994) Russkaya literatura i khristianstvo [Russian literature and Christianity]. In: *Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vv. Tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr* [The Gospel text in Russian literature of the 18th–20th centuries. Quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Is. 1. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. pp. 5–11.
8. Zakharov, V.N. (1998) Pravoslavnye aspekty etnopoetiki russkoy literatury [Orthodox aspects of the ethnopoetics of Russian literature]. In: *Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vv. Tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr* [The Gospel text in Russian literature of the 18th–20th centuries. Quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Is. 2. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. pp. 5–30.
9. Kotel'nikov, V.A. (1994) *Pravoslavnaya asketika i russkaya literatura: (Na puti k Optinoy)* [Orthodox asceticism and Russian literature: (On the way to Optina)]. St. Petersburg: Prizma-15.
10. Sheshunova, S.V. (2008) Natsional'nyy obraz mira kak kategoriya etnopoetiki russkoy slovesnosti [National image of the world as a category of ethnopoetics of Russian literature]. In: *Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vv. Tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr* [The Gospel text in Russian literature of the 18th–20th centuries. Quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Is. 5. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. pp. 6–17.
11. Kataev, V.B. (1979) *Proza Chekhova: problemy interpretatsii* [Chekhov's prose: problems of interpretation]. Moscow: Moscow State University.
12. Erofeev, V.V. (1992) Mif Chekhova o Frantsii [Chekhov's Myth about France]. In: Kataev, V.B. et al. (eds) *Chekhoviana: Chekhov i Frantsiya* [Chekhoviana: Chekhov and France]. Moscow: Nauka. [Online] Available from: <http://www.chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/41-chekhovetfrance/186-erofeev>. (Accessed: 15.05.2016).
13. Zheltova, N.Yu. (2011) “Russian” and “English” in A.P. Chekhov's story “Daughter of Albion”. *Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy*. 12. pp. 310–312. (In Russian).
14. Podzhkhan, M.A. (2013) National stereotypes in author's artistic world: purpose or means? *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Literaturovedenie, zhurnalistika – RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*. 2. pp. 59–64. (In Russian).
15. Buglak, T.O. (2014) French and France in the works of A.P. Chekhov: the main leitmotifs. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya*. 3. pp. 400–403. (In Russian).
16. Kryukova, O.S. (2009) [Germans and the “German” in the early works of A.P. Chekhov]. *A.P. Chekhov i mirovaya kul'tura: k 150-letiyu so dnya rozhdeniya pisatelya* [A.P. Chekhov and world culture: to the 150th anniversary of the writer's birth]. Proceedings

of the conference. Rostov-on-Don. 1–4 October 2009. Rostov-on-Don: LOGOS. pp. 89–94. (In Russian).

17. Sadokhin, A.P. & Grushevitskaya, T.G. (2000) *Etnologiya* [Ethnology]. Moscow: Akademiya: Vyssh. shk.

18. Filyushkina, S.N. (2005) Natsional'nyy stereotip v massovom soznanii i literature (opyt issledovatel'skogo podkhoda) [National stereotype in the mass consciousness and literature (experience of the research approach)]. *Logos*. 4. pp. 141–155.

19. Dima, A. (1977) *Printsipy sravnitel'nogo literaturovedeniya* [Principles of comparative literary studies]. Moscow: Progress. pp. 148–153.

20. Mikhal'skaya, N.P. (1995) *Obraz Rossii v angliyskoy khudozhestvennoy literature IX–XIX vv.* [The image of Russia in the English fiction literature of the 9th–14th centuries]. Moscow: Moscow State Pedagogical University.

21. Mikhal'skaya, N.P. (2012) *Rossiya i Angliya: problemy imagologii* [Russia and England: problems of imagology]. Moscow; Samara: Porto-Print.

22. Polyakov, O.Yu. (2012) Aktual'nye problemy izucheniya retseptsii i reprezentatsii natsional'nykh obrazov v svete imagologii [Topical problems of studying reception and representation of national images in the light of imagology]. In: Polyakov, O.Yu. (ed.) *Imagologicheskie aspekty russkoy i zarubezhnykh literatur* [Imagological aspects of Russian and foreign literatures]. Kirov: Raduga-PRESS.

23. Papilova, E.V. (2013) *Khudozhestvennaya imagologiya: nemtsy glazami russkikh: na materiale literatury XIX v.* [Artistic imagology: Germans through the eyes of Russians: on the material of the literature of the 19th century]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.

24. Chekhov, A.P. (1974–1983) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 30 t. Sochineniya: v 18 t. Pis'ma: v 12 t.* [Complete works and letters: 30 vols. Compositions: 18 vols. Letters: 12 vols]. Moscow: Nauka.

25. Pavlov, Yu.M. (2014) Chekhov kak russkiy chelovek: [Bunin o Chekhove] [Chekhov as a Russian: [Bunin about Chekhov]]. *Nash sovremennik*. 6. pp. 258–264.

26. Sobennikov, A.S. (2000) *Chekhov i khristianstvo* [Chekhov and Christianity]. Irkutsk: Irkutsk State University.

27. Sobennikov, A.S. (1996) Oppozitsiya dom – mir v khudozhestvennoy aksiologii A.P. Chekhova i traditsiya russkogo romana [Opposition “house – world” in artistic axiology. Chekhov and the tradition of the Russian novel]. In: Kataev, V.B. et al. (eds) *Chekhoviana. Chekhov i ego okruzhenie* [Chekhoviana. Chekhov and his entourage]. Moscow: Nauka.

УДК 82-144

DOI: 10.17223/19986645/53/10

Е.Е. Анисимова

**«ТО ЗНАКОМЫЙ ГОЛОС БЫЛ...» ЖАНРОВЫЙ
АРХЕТИП БАЛЛАДЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ:
САМОЗВАНЧЕСТВО¹**

Исследуется адаптация жанрового архетипа баллады к широкому кругу исторических (войны с наполеоновской Францией) и индивидуально-авторских (биографический миф В.А. Жуковского) контекстов. Изучается историзирующее преобразование балладной коллизии живого и мертвого в конфликт законного и незаконного, а также типологическая связь баллады с ключевым национальным сюжетом – самозванчеством.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, баллада, жанр, мотив, сюжет, самозванец.

Понятие *легитимности* вошло в европейскую общественную мысль на рубеже XVIII–XIX вв. в результате осмысления революций и противопоставления двух типов власти – династического и «харизматического» [1. С. 27], введенного в политическую практику Нового времени Наполеоном. Начавшийся в это же время процесс нациестроительства в России, подготовленный сентиментализмом и активизированный Отечественной войной 1812 г., был, как отмечает В.М. Живов, конструированием и обретением именно новой легитимности. «Нацию воображают для того, чтобы поновому легитимировать власть», – пишет исследователь [2. С. 114]. При этом, например, для Пушкина точкой отсчета в его размышлениях о «легитимности власти, и в частности монарха», становится, по мысли Е.Г. Эткинда, фигура Бонапарта: «В “Наполеоне на Эльбе” чувствуется осуждение узурпатора, восклицаящего “Царем воссяду на гробах” – перед которым “побегли с трепетом законные цари”» [3. Р. 61]. Позднее, в «Борисе Годунове» поэт уравнивает образы самозванца Григория Отрепьева и Наполеона, используя исторический анекдот о французском императоре для иллюстрации случая из жизни Лжедмитрия [Ibid. Р. 55–56]. Наконец, венцом исторической и литературной рефлексии Пушкина на тему самозванчества становятся предпринятые им обширные разыскания, посвященные Е. Пугачеву.

Ассоциативные связи феномена самозванчества и фигуры Наполеона в восприятии русского общества были обстоятельно изучены Р.Г. Лейбовым, показавшим, что закрепившийся за главой новой Франции статус самозванца «актуализировался не в связи с созданием французской империи, а в обстановке похода на Москву». Привлеченные документы эпохи позволили ученому сказать, что в России начала XIX в. «Бонапарт предстает не

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-012-00046 А.

просто одним из самозванцев в мировой истории, но очередным русским самозванцем, а нашествие – едва ли не повторением столь еще памятной всем пугачевщины. <...> В народной культуре самозванчество Наполеона никак уже не соотносилось с его коронацией. С этой точки зрения отождествление с Отрепьевым-Лжедмитрием, конечно, призвано было противостоять этим тенденциям. Насколько они были значимыми в обстановке 1812 г., можно судить по тому, что сам Наполеон проявлял интерес к Пугачеву и даже затребовал в московских архивах пугачевские материалы» [4. С. 93–94].

О распространенности такого мнения в России французам было хорошо известно. По воспоминаниям адъютанта Наполеона А. де Коленкура, во время пребывания предводителя Великой Армии в Москве он запретил любые переговоры на французских аванпостах с русскими, комментируя это следующим образом: «Единственная цель этих сообщений, – говорил император, – в том, чтобы напугать армию рассказами о морозах и расстоянием, отделяющим ее от Франции. Я знаю, эту войну изображают несправедливой и неполитической, а мое нападение – незаконным» [5. С. 157–158]. Аналогия «Наполеон – Пугачев» в русском обществе подпитывалась и циркулирующими слухами о том, что французский император может освободить крепостных, а также беспокоемством о том, как эти известия воспримут сами крестьяне и, в частности, дворовые и работники мануфактур, оказавшиеся особенно ненадежными во время Пугачевского восстания [6. С. 197]¹. Наполеон, как отмечается в современной историографии, не пошел на этот радикальный шаг именно из желания дистанцироваться от репутации незаконного правителя:

Как любой узурпатор, он изо всех сил стремился, перед лицом европейских монархов, подчеркнуть легитимность своей власти, и потому для него было неприемлемо, провозглашением антикрепостнических лозунгов в России, лишней раз напоминать о своем революционном происхождении. Потому-то он и хотел вести войну по правилам «политической войны», принятой в кругу легитимных монархов. Беда состояла в том, что настоящие монархи Европы не считали Бонапарта легитимным и потому Александр I, например, считал возможным применить против него не совсем легитимные методы [8. С. 137].

Помимо исторической рефлексии и общественных опасений очевидцами событий начала XIX в. была зафиксирована и обратная, комическая сторона этого явления. В воспоминаниях об Отечественной войне 1812 г. весьма частотен неотделимый от сюжета самозванчества мотив переодевания. Например, свидетель отступления французов, А.Д. Сысоев, передает следующий случай, демонстрирующий амбивалентный характер переодевания в наполеоновской армии:

¹ По наблюдению К.В. Чистова, вытесненная впоследствии официальной пропагандой легенда о Наполеоне-избавителе бытовала в 1805–1807 гг. [7. С. 234–235].

Раз встретился мне Француз: он ехал верхом и каску держал в руке, а на голове у него кокошник. Едет, подбоченясь, во все стороны озирается, а сам смеется. Веселый народ, нечего сказать, да уж под конец-то им не до смеха пришлось. Удалось мне увидеть, как они от нас уходили. Я стоял на Ильинке, и вижу они посыпали к Красной Площади. Уже тут они не в кокошники рядились для потехи, а навьючили на себя всякого тряпья. Кто в женском капоте или капоре, кто подвязал уши полотенцем, кто в поповской ризе, а у самого губы посинели от холода, у одного нога босая, а другая в сапоге [9. С. 273].

По воспоминаниям А.Ф. Ланжерона,

Это был полный маскарад: гренадеры с длинными усами были украшены чепцами и одеты в женские шубы, другие облечены в одеяния русских священников, иные одеты в вышитые камергерские мундиры, разграбленные из повозок. Фигура самого Наполеона, как меня уверяли некоторые очевидцы, была не менее забавна. Когда он решался совершать путь верхом (это было редко, обыкновенно он восседал в прекрасной карете, закутанный в шубы), то садился на лошадь соловой масти облаченный в огромную зеленую, расшитую галуном шубу, похищенную в Москве, и в большом меховом чепце. Он, как и другие, представлял собою настоящую карикатуру [10. С. 176].

Самозванчество, в узком смысле представляющее собой символическое «переодевание» в царя, в русской истории действительно нередко сопровождалось фактической сменой одежды. Причем не всегда такое переодевание было обусловлено конкретными бытовыми или политическими обстоятельствами: исторический сюжет словно «помнил» о своем карнавалльно-праздничном архетипе. Как отмечает Б.А. Успенский, «весьма показательно, что на голове крестьянского “царя” Першки Яковлева в <...> деле 1666 г. была *девичья* шапка: переодевание в платье противоположного пола – в частности, переодевание мужчины в женское платье – типично вообще для масленичных, святочных и других ряженых» [11. С. 170]. Частным, но весьма показательным в данном контексте примером из истории русской баллады является то, что творец ее национального жанрового канона В.А. Жуковский, создавая свою «Светлану» в разгар Отечественной войны 1812 г., когда исторический вызов актуализировал старый национальный сюжет о самозванце, творчески переработал балладу Бюргера о мертвом женихе, погрузив сюжет произведения в атмосферу русских святок¹.

¹ Однажды знаменитая баллада поэта прозвучала и непосредственно в окружении, связанном с героем Отечественной войны и спасителем России М.И. Кутузовым. 11 июня 1815 г. Жуковский писал А.П. Елагиной: «Кутузова (вдова фельдмаршала. – Е.А.), узнавши о моем приезде, требовала, чтобы меня к ней привели. <...> Вдруг подводит она ко мне своего маленького внука Опочинина <...>. Его заставили читать мне *Светлану*, он сперва упирался, потом зачитал и наконец уж и унять его было нельзя. Признаюсь, в семье вождя победителей мне было приятно себя увидеть» [12. С. 92].

* * *

Сформулируем основную проблему данной статьи. И как следует из приведенной в самом начале работы мысли М. Вебера, и как показывает русская традиция «царей-избавителей», центральным мотивом в историях о переосмыслении старой и/или обретении новой легитимности является мотив *происхождения* главного (анти)героя сюжета. В домодерном архаическом обществе по-другому быть и не могло. Любопытно, однако, что сюжетное пространство русских баллад эпохи становления жанра, а также жизнестроительная программа их главного творца Жуковского, стремившегося придать своему творчеству характер «не сделано[го]», но «безусловно данно[го]» [13. С. 423], т.е. преодолеть эстетическую дистанцию между «текстом» и «жизнью», позволяют наметить отчетливое взаимодействие между ассоциативными полями *власти, семейственности* и *статуса* – опорами «самозванческого» мифа.

С точки зрения исторической поэтики, как подчеркнул В.И. Тюпа, баллада восходит «к сигналу тревоги, к перформативу угрозы, к колдовскому вызыванию злых духов, к инверсии миростроительного ритуала» [14. С. 132]. «Коммуникативная стратегия дискурсов тревоги <...> – пишет исследователь, – центробежна: ситуация опасности разомкнута, граница своего мира угрожающе проницаема для чужих» [Там же. С. 129]. Причем ближайшим «соседом» баллады, ставшим в историко-поэтической ретроспективе мишенью для деструктивного воздействия со стороны нового жанра, была старинная идиллия, «система ценностей» которой «базируется на магических обрядах домашнего культа предков» [Там же. С. 130], а первообразом является ситуация объятий, ставящая (как правило – ребенка) «в центр этого круга умиротворения» [Там же. С. 129]. «Семейственность» идиллии преобразуется в кризис семейственности в балладе¹: В.И. Тюпа во всем разнообразии ее жанровых подвидов главными справедливо называет именно истории о мертвом (ложном) женихе, невесте и т.д. [Там же. С. 134].

Жуковским эта довольно абстрактная модель жанровой динамики убедительно историзована² и персонализирована. Лейтмотивом недавней работы И. Виницкого о романтизме поэта как вехе в русской истории эмоций ста-

¹ Примечательно, что в пародийном автоматетексте Жуковского баллада и идиллия точно соотнесены: «Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада», «Любовная карусель, или Пятилетние меланхолические стручья сердечного лобления. Тульская баллада», «Похождения, или Поход первого апреля».

² Исторические подтексты баллад неоднократно обращали на себя внимание исследователей, отмечавших как содержательные переклички балладных сюжетов с событиями актуального для их создателей настоящего (значимо в этой связи наблюдение Ф.З. Кануновой о «наполеоновском» контексте баллад Жуковского [15. С. 79]), так и в целом способность жанра отвечать условиям «пробуждения национального самосознания» [16. С. 106–107], выступать поэтическим камертоном «масштабных социальных катаклизмов» [17]. Нарботанные в науке о Жуковском многочисленные экскурсы в исторические подтексты его произведений систематизированы И. Виницким, который впервые сформулировал вопрос об историософии поэта как отдельную монографическую проблему. См.: [18].

ло многократно повторенное на страницах этой книги наблюдение: глубоко переживавший травму своего «незаконного» рождения В.А. Жуковский («Василий Афанасьевич Бунин», – как не без некоторой личной «присваивающей» амбиции именовал его столетие спустя И.А. Бунин) на протяжении десятилетий всякий раз создавал для себя с психологической точки зрения отчетливо компенсаторный миф некоего идеально-утопического семейства, с которым поэт, переживший по причине своей «незаконности» катастрофу несостоявшегося брака с возлюбленной, мог бы наконец соединиться. «Эмоциональная биография поэта, – пишет И. Виницкий, – является особой разновидностью семейного романа, движущей силой которого была любовь Жуковского к семье Буниных и его желание легитимного воссоединения с нею» [19. Р. 13]. В контексте разнообразных религиозных исканий, присущих эпохе, это стремление неизбежно обретало сакральные коннотации, простиравшиеся от поисков (в масонском духе) символического отца [Ibid. Р. 41 et passim] до «софийного» образа идеальной возлюбленной [Ibid. Р. 44], «религии сердца», отыскивавшейся то в исполненных меланхолической обреченности отношениях с М.А. Протасовой [Ibid. Р. 97–98], то в семейно-геополитическом союзе Романовых и Гогенцоллернов, детали которого Жуковский как придворный человек наблюдал воочию [Ibid. Р. 207, 210, 212], то наконец в идиллии собственного позднего брака.

По наблюдению А.Л. Зорина, 1806–1807 гг. ознаменовались в отечественной идеологии сменой парадигмального первособытия национальной истории. Если в течение всего XVIII в. эта роль традиционно отводилась Петровским реформам, то в перспективе неизбежной схватки с Наполеоном в центр русского национального мифа выдвигается окончание Смутного времени и установление законной власти – династии Романовых [20. С. 161]. Прямую связь между этим подспудным течением русской мысли и пришедшимся на конец 1806 г. [21. Т. 13. С. 36] началом разработки Жуковским теории и практики баллады установить едва ли возможно, но, как мы увидим, вопрос о «сшивании» воедино изначально разноприродных ассоциативных полей – личного и исторического – станет лишь вопросом времени. Значительные перспективы для соотнесения одного с другим открыло драматическое (с годами становившееся трагическим) увлечение поэтом юной М.А. Протасовой, по отношению к которой Жуковский сразу ощутил двусмысленность своего положения. 9 июля 1805 г. он пишет в своем дневнике:

Что со мною происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? <...> Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве! Вижу ее не такую, какова она теперь, но такую, какова она будет тогда, и с некоторым нетерпением это себе представляю. <...> Я был бы с ней счастлив конечно! Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастья и не захотела бы светской рассеянности. Но может ли это быть? К.А., если не

ошибаюсь, дала мне что-то предчувствовать. Но родные? Может быть, они этому будут противиться? Кто ж родные? Один В. и одна М.! Неужли для пустых причин и противоречий гордости К.А. пожертвует моим и даже ее счастьем, потому что она конечно была бы со мною счастлива <...> [21. Т. 13. С. 15–16].

Позднее Екатерина Протасова («К.А.» в цитированной записи), сводная сестра поэта и мать Маши, разъяснила свое отношение к ухаживаниям Жуковского за дочь в письме к родственникам со стороны мужа, которые пытались убедить ее дать разрешение на брак. 10 октября 1815 г. Е.А. Протасова пишет:

Я говорила с умными и знающими закон священниками; никто (даже Ив.Влад. Л [опухин]), который есть истинный покровитель В.А., следовательно и брака его) не уничтожил нашего родства с ним. Родство наше признано церковью. Ни один священник венчать не станет сына моего отца с моею дочерью. Ежели В.А. подкупит попа, или каким-нибудь другим образом согласятся их обвенчать, то таинство ли это будет? Скажите, как я позволю брак сей? Не истинное ли это прелюбодейство, которым еще наругаются закону? <...> И так вы думаете, что я должна переменить закон в удовлетворение страсти В.А.? <...>

Вы знаете доброту сердца и милые дарования моего брата, вы видите, что моя привязанность к нему основательна. Я зачала его любить тогда, когда еще он и не понимал этого слова. Он вырос в моих глазах, мы одного отца дети. Батюшка был к нему привязан страстно. Я имела мать примерной добродетели, она после кончины бабушки привязалась к нему как к сыну. Пример ее заставил меня еще более его любить. – Так жили мы до 1805 года. – Тут Василий Андреевич сделался поэтом, уже несколько известным в свете. Надобно было ему влюбиться, чтобы было кого воспевать в своих стихотворениях. Жребий пал на мою бедную Машу. Ей было тогда 11 лет. Она не могла кокетством его привязать к себе, ни блестящими отличными достоинствами, потому что еще не имела ничего своего, а была истинный ребенок [22. С. 293, 295].

Как видим, роли влюбленных прописаны Е.А. Протасовой вполне определенно: если Жуковский демонизируется, то Маша оказывается в амплу жертвы: «За Машеньку же я Вам ручаюсь, что она давно вышла из заблуждения»; «Также и Машу не завели бы в эту пропасть, ежели бы она мной была предуведомлена»; «Дай Господи, чтобы это очистило в ваших глазах мою бедную Марию» [Там же. С. 293, 295, 296].

* * *

Обсуждая грани этого жизненно-поэтического сверткста, ставшего питательной почвой для всего творчества поэта, обратимся к его лирике. Важно, что мотивная структура некоторых обращенных к возлюбленной стихотворений содержит переключки с поэтикой параллельно развиваемой Жуковским баллады. И. Виноцкий, в частности, отметил стихотворение «Младенцем быть душою...» (9 окт. 1806 г.) и назвал его одним из прояв-

лений конструируемой Жуковским «лирико-педагогической утопии», в которой «определяется, кто Маша сейчас и какой он желал бы видеть ее в будущем» [19. Р. 91]. В числе прочих достоинств образцовой супруги автор, руководствующийся стремлением видеть «ее не такую, какова она теперь, но такую, какова она будет», наделяет свой идеал следующими чертами:

В бедах не быть унылой;
На радость уповать;
И мощной веры силой
Печали отражать;
Собою наслаждаться;
Свой рай в душе хранить;
За призраком не гнаться.
И путь житейский чтить [23. С. 79].

В цитированном фрагменте скрыт будущий конфликт баллады¹. Так, героиня «Людмилы» выступает против уготованной ей судьбы, споря не только с призывающей ее к смирению матерью («О Людмила, грех поптанье»; «Ад – бунтующим сердцам; / Будь послушна небесам»), но и с Богом («Небо к нам неумолимо; / Царь небесный нас забыл...»); «Нет, забыл меня спаситель!» и т.д.). Людмила словно намеренно следует программе поведения, прямо противоположной той, что обращена поэтом к Маше: унывает в беде («Так Людмила, приуныв»), не уповает на радость («Где твоя, Людмила, радость?»), перенеся удар судьбы, не опирается на веру («Так Творца на суд звала...»), не находит наслаждения в себе и своей душе («С милым розно – райский край / Безотрадная обитель» [21. Т. 3. С. 9–11]), наконец, гонится за призраком – не только в переносном, но и в прямом смысле.

Внимание привлекает и другая системная тенденция. Поскольку стремление придать черты идеала центральному женскому образу создающегося поэтом лирического мира оттеняется общей неудачей реальной истории любви, Жуковский временами может прибегать к иным приемам – юмору, самоиронии, остранению, помогающим в психологическом отношении полнее раскрыть образ влюбленного человека, а с точки зрения жанровой поэтики – создать своего рода литературную метапозицию относительно главного сюжета, связавшего поэта и его избранницу. Любопытно, что такой метапозицией становится опять баллада. Так, в шутовском послании <К Екатерине Афанасьевне Протасовой>, написанном не позднее 3 августа

¹ И. Виницкий указал на установление в более поздний период деятельности поэта отчетливой корреляции двух «архетипических для творческого сознания Жуковского» историй: кощунственного соединения «бунтующей» героини с мертвецом и преобразования Марии Протасовой в ангелоподобного призрака [18. С. 233–234]. Добавим, что разрабатывая жанр баллады, Жуковский делает «погоню» за призраком одним из устойчивых мотивов. Ср.: «Ты призраком прельщен: / Опасен твой путеводитель – / Над бездной светит он» («Пустынный»), «От ней удаляся, как призрак, пропал...» («Эолова арфа») и т.д. [21. Т. 3. С. 20; 78].

1812 г. (в решающий для Жуковского момент окончательного, по инициативе Екатерины Афанасьевны, отлучения его от дома Протасовых), лирический герой, рассуждая о том, что неуступчивая потенциальная теща заняла в его душе непропорционально значительное место (иронический «перенос по противоположности», в котором Маша подменена ее матерью), увенчивает стихотворение юмористическим воспроизведением балладного конфликта – в данном случае названного как таковой, т.е. превращенного в метатекст.

Скажите, Катерина!
 Какая бы причина,
 Что вы в душе моей
 Сидите да сидите!
 <...>
 От сей болезни милой
 Я заживо умру!
 И сам своей рукою
 С досады раздеру
 Подписанный судьбою
 На жизнь сию билет!
 Пугать собою свет!
 Таскаться привиденьем!
 Быть скучным мертвецом,
 И в свете с отвращеньем –
 В занятии таком
 Не вижу я отрады!
 Я жить для вас готов!
 А скучных мертвцов
 Оставим для баллады! [21. Т. 1. С. 220–221].

* * *

Первые критики «Людмилы» сразу обратили внимание на ключевое отличие «русской баллады» от немецкого оригинала, которое состояло в том, что героиня Жуковского словно не хочет замечать иноприродности «жениха»: «То знакомый голос был», – сразу решает она [Там же. Т. 3. С. 14]. «Мертвец говорит о себе Людмиле так открыто, – пишет Н.И. Гнедич, – что словами его она не могла быть введена в заблуждение <...> между тем как у Бюргера он ответами неопределенными держит ее в вероятии до самого конца; он даже старается обманывать ее» [24. С. 8–9]. «Я бы, например, после этого ни минуты с ним не остался, но не все видят вещи одинаково. – Людмила обхватила мертвеца нежною рукой и помчалась с ним», – комментирует этот же эпизод А.С. Грибоедов [25. С. 159]. В итоге конфликт, структурированный мертвым женихом и не замечающей его истинной зловещей природы «взбунтовавшейся» героиней, создавал почву не только для историзации сюжета, в котором на основании архетипической

близости идей власти и свадьбы рано или поздно не мог не появиться Наполеон¹, но затем – даже для известной суверенизации самозванческого сюжета, превращения его в аллгорию пагубности игры с изначально данными человеку статусом и судьбой. Характерный в данном контексте мотив мены одежды должен быть отмечен специально.

Вновь обратившись к сюжету о мертвом женихе в 1812 г., Жуковский несколько приблизился к фольклорному источнику немецкой баллады, вдохновившей Бюргера. По наблюдению Ю.В. Шатина, три ее обязательных элемента (приход мертвеца к невесте, просьба отправиться с ним и ее отказ) восходят к структуре жанра загадки, где «отгадкой <...> является узнавание мертвеца и счастливый финал» [26. С. 53]. В «Светлане» органичный для святочных празднеств мотив переодевания позволяет балладной героине Жуковского реализовать счастливую версию «страшного» сюжета, не покидая, однако, его рамок. В балладах 1810-х гг. появление героя-«самозванца» становится одним из общих мест («Светлана», «Пустынник», «Адельстан», «Алина и Альсим») и затем с предельной четкостью концентрируется в лаконичном «Мщении» (1820), где пожелавший бросить вызов судьбе слуга убивает господина и переодевается в его одежду. Катастрофа самозваного претендента, позавидовавшего чужому «сану» («Изменой слуга паладина убил / Убийце завиден сан рыцаря был»), описывается именно как переодевание-перевоплощение преступника во внешний облик его жертвы: «И шпоры и латы убийца надел, / И в них на коня паладинова сел». Конь и мост – живой и предметный символы перехода в иной мир – помогают изобличить вероломного героя и воздать ему по заслугам:

И мост на коне проскакать он спешит:
Но конь поднялся на дыбы и храпит.
Он шпоры вонзает в крутые бока:
Конь бешеный сбросил в реку седока [21. Т. 3. С. 146].

Обращает на себя внимание циклическая природа сюжета, ход которого Жуковский, следующий здесь за оригинальной балладой Л. Уланда, взятой за основу, считает возможным начать, а затем вернуть в образный локус одежды. Фабула произведения может быть описана двумя глаголами: первым и последним в тексте (вдобавок они еще и спонтанно рифмуются): «убил» – главный поступок героя, обращенный на его жертву; «утопил» – ответное действие жертвы, мстящей из-за гроба своему обидчику. В середину между полюсами этой глагольной пары помещены еще два действия героя, выраженные глаголами «надел» и «сел»: «надел» – чужую одежду, «сел» – на чужого коня. «Утопил», напомним, относится к «панцирю тяжелому», субституции погибшего хозяина, главной детали рыцар-

¹ Напомним здесь о разыгравшейся в 1807–1808 гг. истории неудачного сватовства Бонапарта к сестре русского императора вел. княжне Екатерине Павловне. См.: [20. С. 224–228].

ского убранства, которой в сюжете дарована функция возмездия: «Он выплыть из всех напрягается сил: / Но панцирь тяжелый его утопил». Циклизм сюжета, таким образом, позволяет подчеркнуть значимость вещных атрибутов: претензия на одежду и коня (понятого здесь как один из символов статуса, равный панцирю, шлему и оружию) – смерть от коня и одежды. Падение трупа жертвы, а затем и убийцы в одну и ту же реку опять-таки сигнализирует о циклизме, но уже на уровне хронотопа.

Являющаяся жанровым маркером баллады посмертная активность одного из героев, который действует на символической границе легитимного / иллегитимного (смыслового варианта мертвого / живого), приводит Жуковского непосредственно к образу Наполеона. Этапным произведением в развитии наполеоновской темы становится «фантастическая баллада» [27. С. 216] «Ночной смотр» (1836), в которой «к старым солдатам своим / На смотр генеральный из гроба / В двенадцать часов по ночам / Встает император усопший», а его мертвое войско поднимается «из-под русских снегов» [21. Т. 2. С. 300]. Наполеон занимает функциональную позицию пробуждающегося в полночь балладного мертвеца-самозванца – вспомним слова жениха Людмилы: «Лишь полночный час пробьет – / Мы коней своих седлаем» [Там же. Т. 3. С. 12]. Переводя оригинал, принадлежащий перу Й.К. Цедлица, Жуковский включает в «Ночной смотр» отсутствующий в источнике и важный для самозванческой сюжетике мотив узнавания/неузнавания. Если в немецком тексте в полночь пробуждаются скелеты («Mit seinen entfleischten Armen», «Es grinsen die weißen Schädel» [28. С. 346, 348]), то Жуковский не только опускает все подробности внешности мертвецов, но, напротив, добавляет жизнеподобия их облику: «молодцы егеря», «старика гренадеры», «седые гусары», «усахи кирасиры» [21. Т. 2. С. 300].

Важно подчеркнуть, что едва ли не первым шагом на пути к будущим итоговым обобщениям темы Наполеона («Ночному смотру» в том числе) была ранняя «Песнь барда над гробом славян-победителей» (1806), посвященная трагическим страницам австрийского похода русской армии осени – зимы 1805 г. Противоборство с армиями французского императора, жертвы, принесенные русскими на алтарь единственной – шенграбенской – победы, впервые описываются с помощью мотива возвращения мертвых женихов, поданного, однако, пока еще в содержательном контуре высокой героики. Осмысление конфликта с Францией и ее лидером, таким образом, направляет поэта и к будущим историософским раздумьям, и к тем его литературным триумфам, которые внешне-тематически, казалось бы, от наполеоновской темы далеки, – к балладам.

*Песнь барда над гробом
славян-победителей*

О витязи! за вами вслед
Славянских дев любовь, возлюбленных
желанье

<...>

Людмила

«Возвратится ль он, – мечтала, –
Из далеких, чуждых стран
С грозной ратию славян?»

| | |
|---|---------------------------------|
| О час блаженнейший свиданья! | <i>Пыль туманит отдаленье;</i> |
| <i>Летят – в крови, в пыли, теснятся в от-</i> | Светит ратных ополченье; |
| <i>чий дом!</i> | Топот, ржание коней; |
| Благословенья, лобызанья! | Трубный треск и стук мечей; |
| Восторг души, лишённой слов! | <i>Прахом панцири покрыты;</i> |
| <i>Супруги, в божий храм; встречайте женихов</i> | Шлемы лаврами обвиты; |
| <i>В одежде брачной, обрученны</i> | Близко, близко ратных строй; |
| Да льётся слез бальзам на раны их священные; | Мчатся шумною толпой |
| <i>Отрем с ланит геройских прах;</i> | <i>Жены, чада, обрученны...</i> |
| Да видом не страшат, ни грозными <i>бронями</i> | «Возвратились незабвенны!..» |
| Отцы, на колыбель склоненны над <i>сынами.</i> | А Людмила?.. Ждет-пождет... |
| А вы, <i>недвижные</i> пред нами на <i>щитах,</i> | «Там дружину он ведет; |
| <i>Безгласные</i> среди молитв и ликований, | |
| <i>О падише</i> друзья, о <i>прах</i> полубогов, | Сладкий час – соединенье!..» |
| Примите скорбный дар и стонов и лобзаний | Вот проходит ополченье; |
| От <i>жен рыдающих, от родших и сынов</i> | Миновался ратных строй... |
| [21. Т. 1. С. 85–86]. | Где ж, Людмила, твой герой? |

[21. Т. 3. С. 9]

Впитывание балладой образов батального происхождения после этого станет системной тенденцией: в «русских» балладах невесты ожидают возвращения своих женихов с поля брани, в «античных» события отнесены ко времени Троянской войны. Сюжеты «Кассандры» и «Ахилла» восходят к Троянскому циклу мифов, влияние которого в европейских литературах традиционно возрастало в периоды масштабных военных кампаний¹. Античные баллады перекликаются с создаваемым в это же время «Певцом во стане русских воинов», в котором, по наблюдению Р.В. Иезуитовой, «весь стан русских воинов был костюмирован под античность», а само стихотворение «принесло Жуковскому славу “Русского Тиртея”» [30. С. 30]. Написанная в 1809 г. «Кассандра» посвящена тревожному предчувствию надвигающейся катастрофы. Оригинал переведенной Жуковским баллады Шиллера был написан в 1802 г. и уже отражал предвидение грозящего Европе столкновения с наполеоновской Францией. По мысли О.Б. Лебедевой, «перевод был выполнен в тот момент, когда предчувствие военного конфликта России и Франции, вызванное событиями Наполеоновских войн 1805 – 1807 гг., было очень острым, а в личной жизни Жуковского ощущение безнадежности перспектив его любви к М.А. Протасовой уже было актуально и порождало в оригинальной лирике поэта мотивы неотвратимости несчастья <...>» [31. С. 273]. В «Кассандре», как и в балладах о мертвом женихе, соединяются исторический и матримониальный планы: с одной стороны, речь идет о событиях военной истории, с другой – сюжет баллады связан с невозможностью брачного союза. В начатой в 1812 г. балладе «Ахилл» Жуковский, создавая символические для современников поэта картины военных сражений, по сути, опирался на ту же сюжетную модель

¹ См., например: [29. С. 45–46].

прихода мертвого жениха (тени Патрокла), редуцируя лишь ее брачную составляющую:

Вспомяни тогда Ахилла:
Быстро в мире он протек;
Здесь судьба ему сулила
Долгий, но бесславный век;
Он мгновение со славой,
Хладну жизнь презрев, избрал
И на друга труп кровавой,
До могилы верный, пал [21. Т. 3. С. 72].

Рассуждая в историко-типологической перспективе, необходимо отметить, что брачная символика, пронизывающая «Людмилу» и «Светлану» Жуковского, традиционно использовалась в сюжетах о силовых притязаниях на власть, что объясняется, по словам А.М. Панченко, «исконной связью (в сфере топики) брачного венчания и венчания на царство» [32. С. 241]. Так, именно эта сюжетная модель была применена в «Сказании о Мамаевом побоище», в котором рассказывается о типологически сходном историческом событии – вынужденной войне, а Мамай (кстати сказать, сам самозванец на ордынском престоле) предстает в качестве «ложного жениха»: «...не сужено ему обладание ни Русской землей, ни татарской, ему сужен брак с сырой землей» [Там же. С. 242]. Позднее ассоциативная связь брачного венчания и венчания на царство была спонтанно воспроизведена Пушкиным в «Метели» и «Капитанской дочке»: и Бурмин, и Пугачев – появляющиеся в метели «женихи»-самозванцы (первый – Марьи Гавриловны, второй, объявивший себя Петром III, – Екатерины II). Тот факт, что Жуковский разрабатывает тему самозванчества и в драматургии, обратившись к переводу трагедии Шиллера о Дмитрие Самозванце и составив план оригинальной трагедии о Смутном времени¹, доказывает, что русский баллажник, находясь внутри этого огромного ассоциативного поля, несомненно учитывал в своем творчестве его правила.

В поэтической традиции XIX в. образ Наполеона формировался при помощи мифологических кодов предшествующей эпохи («дракон кровавый», «гибра стоголовая», «страшный дракон», «алчный, лютый зверь», «лютый крокодил»), что во многом определило поэтику стихотворений, посвященных 1812 г. [34]². Жуковский нашел другой язык описания Наполеона, погрузив его образ в балладный контекст и тем самым акцентировав не столько его нечеловеческую, мифическую природу, сколько беззаконный характер его притязаний. Подобно балладным героям, созданным по этому в период наполеоновских войн, – мертвым женихам из «Людмилы» и «Светланы» или Адельстану из одноименной баллады, Наполеон по зако-

¹ Об этом см.: [33. С. 684–688; 707–724].

² Об этом см.: [35. С. 13].

нам жанра оказывался «пришлецом», самозванцем, незаконно претендовавшим на пространство легитимного и тем самым неизбежно судимым Провидением. В 1800–1810-е гг. в балладике Жуковского сформировался герой, выходящий за пределы отведенных ему границ и концентрирующий в себе черты нового типа личности эпохи Наполеона. Ранее отечественная традиция осмысления героя-самозванца предполагала альтернативу – фольклор (народные легенды, предания) или трагедия («Димитрий Самозванец» А.П. Сумарокова). Сюжет о мертвом женихе, впоследствии ставший центральным в истории русской баллады, позволил Жуковскому творчески освоить обе эти традиции. Поэт наполнил свои русские баллады фольклорными элементами и одновременно использовал характерный для трагического модуса художественности прием двойничества¹.

Черты балладной поэтики вошли практически во все произведения условного «наполеоновского цикла» Жуковского. В полижанровой структуре гимна Отечественной войне 1812 г., «Певца во стане русских воинов», ключевой конфликт носит отчетливо балладный характер: вторжение не-легитимной силы в законное пространство «живых» как повторяющаяся в русской истории ситуация:

Давно ль, о хищник, пожирал
Ты взором наши грады?
Беги! твой конь и всадник пал:
Твой след – костей громады.
<...>

Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых Провиденье!» [21. Т. 1. С. 226, 237].

Зимний колорит этой коллизии («Пробей тропу среди снегов»; «Зима, союзник наш, гряди!» и т.д.) включает «Певца...» в контекст писавшейся в то же время «зимней» баллады Жуковского «Светлана» (1812–1813). Характерно, что и у европейских авторов «русский» сюжет наполеоновской темы находит воплощение в балладном жанре. Так, Р. Саути в 1813 г. пишет сатирическую балладу «Поход на Москву» (“The March to Moscow”)², в которую подобно Жуковскому с его «Певцом...» вводит целую галерею прогоняющих Наполеона русских полководцев Кутузова, Ермолова, Пла-

¹ Об этом см.: [36. С. 62–64].

² Об этом см.: [37]. Характерно, что второе слагаемое этой «наполеоновской» дилогии усваивается русской культурой при содействии Л.Н. Толстого, который переводит и адаптирует для детей сказку Р. Саути «Три медведя». В 1810-е гг. аллегорический смысл этой истории был более чем прозрачен – за вторжением героини к трем медведям стоял неудачный поход на Россию, тем более что с конца XVIII в. образ «русского медведя» становится в Англии хрестоматийным, а в период наполеоновских войн на европейских карикатурах русский солдат изображался в виде медведя. Об этом см.: [38, 39].

това, Тучкова, Дохтурова и др. (“The Russians they stuck close to him / All on the road from Moscow. / There was *Tormazow* and *Jemalow*, / And all the others that end in «ow»” etc. [40]).

В послании Жуковского «Императору Александру» Наполеон изображен создателем «ужасной могилы» европейского масштаба: «От Рейнских твердынь до Немана валов, / От Сциллы древняя до Бельта берегов / Одна ужасная простерлася могила» [21. Т. 1. С. 369]. Сюжет наполеоновской судьбы, кратко сформулированный в послании «Вождю победителей», поэт вскоре разворачивает в написанной двумя месяцами позднее балладе «Адельстан». Вынесенный челном судьбы на берег герой незаконно приобретает всевозможные блага, обнаруживает свои преступные намерения и получает возмездие:

Вождю победителей

Закон судьбы для нас неизъясним.
Надменный сей не ею ль был храним?
Вотще пески ливийские пылали –
Он путь открыл среди песчаных волн;
Вотще враги пучину осаждали –
Его промчал безвредно легкий челн;
Ступил на брег – в руке его корона;
Уж хищный взор с *похищенного трона*
Вселенную в неволю оковал;

<...>

Здесь грозная Судьба его ждала;
Она успех на то ему дала,
Чтоб старец наш славней его *низринул*.

<...>

И скажет мать, любуясь на детей:
«Его рука мне милых сохранила»

[21. Т. 1. С. 245–247].

Адельстан

Алым парусом играет
Легкокрылый ветерок,
И ко берегу приплывает
С спящим рыцарем челнок.

Белый лебедь встрепенулся,
Распустил криле свои;
Дивный плаватель проснулся –
И выходит из ладьи.

<...>

Он у всех залог победы
На турнирах похищал;
Он вечерние беседы
Всех милее оживлял.

И приветны разговоры
И приятный блеск очей
Влили нежность в сердце Лоры –
Милый стал супругом ей.

<...>

«Тише, тише; он с тобою.
Скоро... ах! кто даст мне сил?
Я ужасною ценою
За блаженство заплатил.

<...>

И воскликнула: «Спаситель!..»
Глас достигнул к небесам:
Жив младенец, а губитель
Ниспровергнут в бездну сам

[21. Т. 3. С. 25–31]¹.

¹ В журнальной редакции баллады финал был более драматичным: «И воскликнула: Спаситель! / Руку рыцаря схвати. / Нет спасения! губитель / В бездну бросил уж дитя» [41. С. 218]. В собрании стихотворений Жуковского 1815–1816 гг. злодея постигает возмездие [42. С. 283].

Показательно, что образ Наполеона остается актуальным для Жуковского вплоть до самого конца его творческого пути: именно французскому императору адресована исповедь главного героя в поэме «Странствующий жид». Заметим, что встречу Агасвера и готовящегося к самоубийству Наполеона поэт проецирует на зачин баллады «Громобой», в которой старец останавливает героя-самоубийцу аналогичным образом:

Странствующий жид

Громобой

Явился некто, и необычайный,
Глубоко движущий всю душу голос
Сказал: «Куда, Наполеон!»... При этом зове,
Как околдованный, он на краю скалы
Оцепенел <...>

Готов он прыгнуть с крутизны...
И вдруг пред ним явленье;
<...>
И тот, как вкопанный, стоит,
Зря диво пред собою.

[21. Т. 4. С. 271].

«Куда?» – неведомый спросил

[21. Т. 3. С. 83].

А.Г. Тартаковский отметил, что «Описание последних месяцев – иногда даже и лет – перед 1812 г. является как бы прелюдией к рассказу о нем, пронизано предощущением надвигающейся схватки с Наполеоном <...>» [43. С. 51]. Это необходимо учитывать, говоря об историко-культурном контексте, в котором формировался жанровый канон русской баллады. Как отметил А.С. Янушкевич, в 1808–1814 гг. поэт, размышляя о связи исторических событий с настоящим, изучает русские летописи и исторические сочинения, а в годы придворного наставнического служения именно история Великой французской революции становится предметом бесед с наследником престола на тему политической законности [16. С. 465]. Представляется, что разработка Жуковским русской баллады являлась, по существу, не отказом от написания национальной поэмы, которую в это время ожидали от поэта, а оригинальным художественным решением этой литературной задачи. Баллада как нельзя лучше отвечала запросу эпохи – описанию и осмыслению национальной истории в определенном ракурсе. Однако предложенное Жуковским решение не столько актуализировало исторически-достоверный материал (результатом чего стал так и не осуществленный замысел поэмы о князе Владимире), сколько открывало специфику национальной истории типологически, как повторяющееся столкновение *легитимных* и *нелегитимных* сил, конкретизированных не столько в эпическом «всеобщем», сколько в предельной личностной заостренности баллады. Она органично становилась «формой времени», а одним из сюжетов, которые «питали» этот жанр, делалось самозванчество – наиболее характерная сюжетная ситуация, в которой столкновение с незаконной силой является структурообразующим.

Подводя предварительные итоги, необходимо отметить, что осмысление сформировавшегося в начале XIX в. жанрового первообраза баллады нуждается в историзации, погружении в контекст ключевых событий и

дискуссий эпохи. Показательно, что русская баллада создается в эпоху Наполеоновских войн и впоследствии актуализируется в периоды исторических катаклизмов и их (пере)осмысления. Жанрообразующая балладная коллизия *живого* и *мертвого* на историко-социальном срезе функционирования текста трансформируется в конфликт *законного* и *незаконного*.

Литература

1. Вебер М. Избранные произведения / сост. Ю.Н. Давыдова, предисл. П.П. Гайденко. М., 1990.
2. Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. С. 114–140.
3. Эткинд Е.Г. «Сей ратник, вольностью венчанный...»: Гришка Отрепьев, император Наполеон, маршал Ней и другие // *Revue des études slaves*. Tome cinquantene neuvieme. Fascicule 1–2. Alexandre Puškin. 1799–1837. 1987. P. 55–62.
4. Лейбов Р.Г. 1812: Две метафоры // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, II. (Новая серия) / ред. Л. Киселева. Тарту, 1996. С. 68–104.
5. Коленкур А. де. Поход Наполеона в Россию. Смоленск, 1991.
6. Ливен Д. Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807–1814. М., 2012. С. 197.
7. Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003.
8. Попов А.И. Социальная политика Наполеона в России 1812 года // Французский ежегодник. 2012. Т. 44. С. 118–142.
9. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе [под ред. Т. Толычевой] // Русский вестник. 1872. Ноябрь. Т. 102. С. 266–304.
10. Из записок А.Ф. Ланжерона об отступлении армии Наполеона после перехода через Березину // Отечественная война 1812 г.: сб.к документов и материалов / под ред. Е.В. Тарле. Л. ; М., 1941. С. 175–177.
11. Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Успенский Б.А. Избр. тр. : в 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 142–183.
12. Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1852 / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиликовой. М., 2009.
13. Лебедева О.Б. Принципы романтического жизнетворчества в дневниках В.А. Жуковского // Полн. собр. соч. : в 20 т. М., 2004. Т. 13. С. 420–442.
14. Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013.
15. Канунова Ф.З. Трансформация сюжетного мотива возвращения жениха-мертвеца за своею невестой в балладах В.А. Жуковского // Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 4: Интерпретация текста: Сюжет и мотив. Новосибирск, 2001. С. 77–88.
16. Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006.
17. Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно: О том, как метод исследования конструирует литературный канон // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/ku16.html> (дата обращения: 05.01.2018).
18. Виницкий И. Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М., 2006.
19. Vinitzky I. Vasily Zhukovsky's Romanticism and the Emotional History of Russia. Evanston, 2015.
20. Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
21. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М., 1999–.

22. *Уткинский сборник*. Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / под ред. А.Е. Грузинского. М., 1904.
23. *Хитрово Л.К.* Тексты стихотворений В.А. Жуковского: (По архивным материалам Пушкинского Дома) // Пушкин и его современники. СПб., 2009. Вып. 5 (44). С. 77–98.
24. *Гнедич Н.И.* О вольном переводе Бюргеровой баллады «Ленора» // Сын отечества. 1816. Ч. 31, № 27. С. 2–22.
25. *Грибоедов А.С.* О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора» // Сын отечества. 1816. Ч. 31, № 30. С. 150–160.
26. *Шатин Ю.В.* Мотив и жанр: приход живого мертвеца за жертвой (от «Леноры» Бюргера до «Революционной казачки» Пригова) // Литература и фольклорная традиция : сб. науч. тр.: к семидесятилетию проф. Д.Н. Медриша. Волгоград, 1997. С. 52–63.
27. *Канунова Ф.З.* «Ночной смотр» В.А. Жуковского: Эстетика перевода // Поэтика русской литературы: к 70-летию профессора Юрия Владимировича Манна : сб. ст. М., 2001. С. 215–221.
28. *Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского* : в 2 т. М., 1985. Т. 2.
29. *Шарытина Т.А.* Восприятие античности в литературном сознании Германии XX в. (Троянский цикл мифов) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1998.
30. *Иезутова Р.В.* «Русский Тиртей» // Бомбардир. 2000. № 10. С. 29–32.
31. *Лебедева О.Б.* Кассандра: Комментарий // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем : в 20 т. М., 2008. Т. 3. С. 271–276.
32. *Панченко А.М.* О топике культуры // Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII – начало XVIII века). М., 1996. С. 233–246.
33. *Лебедева О.Б.* Дмитрий Самозванец: План оригинальной трагедии на сюжет из эпохи Смутного времени: Комментарий // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем : в 20 т. М., 2011. Т. 7. С. 684–688, 707–724.
34. *Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году: Юбилейное издание / подгот. И.А. Айзикова, В.С. Киселев, Н.Е. Никонова.* М., 2015.
35. *Янушкевич А.С.* Жанровый состав лирики Отечественной войны 1812 года и «Певец во стане русских воинов» В.А. Жуковского // Проблемы метода и жанра : сб. ст. Томск, 1982. С. 3–23.
36. *Тюпа В.И.* Трагизм // Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н.Д. Тмарченко. М., 2004. Т. 1. С. 62–64.
37. *Рогова А.Г.* Главные «Другие» 1812 года: противостояние России и Наполеона в восприятии англичанина // Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур. Киров, 2012. С. 45–52.
38. *Хрусталева Д.* Происхождение «русского медведя» // Новое литературное обозрение. 2011. № 1. URL: <http://www.plobooks.ru/node/2495> (дата обращения: 05.01.2018).
39. *Успенский В.* Типология изображений «русских медведей» в европейской карикатуре XVIII – первой трети XIX века // «Русский медведь»: История, семиотика, политика / под ред. О.В. Рябова, А. де Лазари. М., 2012. С. 87–104.
40. *Southey R.* The March to Moscow // Bartleby.com. URL: <http://www.bartleby.com/270/10/43.html> (дата обращения: 04.10.2017).
41. *Вестник Европы.* 1813. № 3–4.
42. *Айзикова И.А.* Адельстан: (Комментарий) // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем : в 20 т. М., 2008. Т. 3. С. 280–284.
43. *Тартаковский А.Г.* 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 1980.

“THIS VOICE WAS FAMILIAR . . .” THE ARCHETYPE OF THE BALLAD GENRE IN THE HISTORICAL CONTEXT: IMPOSTURE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 143–163. DOI: 10.17223/19986645/53/10

Evgeniya E. Anisimova, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation)
E-mail: eva1393@mail.ru

Keywords: V.A. Zhukovsky, ballad, genre, motif, plot, impostor.

The author of the article attempts to historicize the genre archetype of the Russian ballad, which, since the time when this genre emerged in the Russian belle letters, the poets insistently involved into the discussions on the theme of national identity. The starting point for the analysis is the chronological coincidence of Vasily Zhukovsky's awoken interest towards ballads and the collisions of Napoleonic wars – a factor that determined the rhythm of the subsequent genre actualizations at times of historical cataclysms (revolutions, civil and Great Patriotic wars, Russian emigration). It should be noted that the plots of early Russian ballads are based on the distinct interaction between the associative fields symbolizing power, domesticity and status – the pivotal constructions for the “imposture” historical myth. As it is shown in the article, Zhukovsky's practice of ballad-writing reveals the confluence of historical and poet's personal perspectives.

One of the influential tendencies of Napoleon's image perception by the Russian society lay in the associative approximation of the French Emperor with impostors – actors of the 17th- and 18th-century Russian history. As it is shown in the analysis of ballads and verses written by Zhukovsky on Bonaparte, the image of the Grande Armée leader occupies the functional position of the ballad-like dead fiance, whereas the genre-building juxtaposition of *living vs. dead* transformed into the conflict of *legitimate vs. illegitimate*. The poet's reflection of the dramatic relationship between him and Maria Protasova, who could not become his official bride due to their close kinship (by Maria's family Zhukovsky was seen as bastard-son) was a significant contribution to the elaboration of a paradigmatic ballad plot. Zhukovsky's diaries, correspondence and verses dedicated to his beloved became an authentic biographic commentary to the ballads which the poet started to compose in synchronicity with the outbreak of his feelings towards Maria. The conflict intrinsic to the future Zhukovsky's ballad was worked out in these autobiographical texts and private documents separating here into two main scenarios of the heroine's behavior: riot and resignation (“earthly way”) depicted in “Lyudmila” and “Svetlana” respectively.

The author tried to argue that the poet's elaboration of the Russian ballad was not, in fact, the refusal from writing a national epos (*poema*), which was long-awaited from Zhukovsky by his milieu, but the original artistic solution of this literary problem. The ballad, in the best way possible, responded the challenges of this historical epoch – to depict and to comprehend the national history at a specific viewing angle. However, the solution presented by Zhukovsky not so much actualized the material, authentic in historical terms, as it discovered the Russian national history's peculiarities in the typological perspective – as a repetitive standoff of legitimate and illegitimate forces defined concretely in an utmost personal and psychological focus of a ballad. In this way the latter was organically morphing into a “form of time” whereas one of the plots in which the genre found its nourishment was the Russian imposture – a most representative plot-situation, in which the collision with an illegitimate force played a structure-forming role.

References

1. Weber, M. (1990) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Translated from German. Moscow: Progress.
2. Zhivov, V.M. (2008) *Chuvstvitel'nyy natsionalizm: Karamzin, Rostopchin, natsional'nyy suverenitet i poiski natsional'noy identichnosti* [Sensitive nationalism: Karamzin, Rostopchin, national sovereignty and the search for national identity]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 91. pp. 114–140.
3. Etkind, E.G. (1987) “Sey ratnik, vol'nost'yu venchanny...”: Grishka Otrep'ev, imperator Napoleon, marshal Ney i drugie [Grishka Otrepyev, Emperor Napoleon, Marshal Ney and others]. *Revue des études slaves*. 59(1–2). pp. 55–62.

4. Leybov, R.G. (1996) 1812: Dve metafory [Two metaphors]. *Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii. Literaturovedenie*. II. pp. 68–104.

5. Kolenkur, A. de. (1991) *Pokhod Napoleona v Rossiyu* [Napoleon's campaign in Russia]. Smolensk: Smyadyn'.

6. Liven, D. (2012) *Rossiya protiv Napoleona: bor'ba za Evropu, 1807–1814* [Russia against Napoleon: the Battle for Europe, 1807 to 1814]. Translated from English by A.Yu. Petrov. Moscow: ROSSPEN.

7. Chistov, K.V. (2003) *Russkaya narodnaya utopiya (genesis i funktsii sotsial'no-utopicheskikh legend)* [Russian folk utopia (genesis and functions of socio-utopian legends)]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin.

8. Popov, A.I. (2012) Sotsial'naya politika Napoleona v Rossii 1812 goda [Social policy of Napoleon in Russia in 1812]. *Frantsuzskiy ezhegodnik*. 44. pp. 118–142.

9. Tolycheva, T. (ed.) (1872) *Rasskazy ochevidtsev o dvenadtsatom gode* [Stories of eyewitnesses about 1812]. *Russkiy vestnik*. 102. pp. 266–304.

10. Tarle, E.V. (ed.) (1941) *Otechestvennaya voyna 1812 g.: sb.k dokumentov i materialov* [The Patriotic War of 1812: collection of documents and materials]. Leningrad; Moscow: USSR AS. pp. 175–177.

11. Uspenskiy, B.A. (1996) *Izbr. tr.: v 2 t.* [Selected works: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: RSUH. pp. 142–183.

12. Zhilyakova, E.M. (ed.) (2009) *Perepiska V.A. Zhukovskogo i A.P. Elaginoy: 1813–1852* [Correspondence between V.A. Zhukovsky and A.P. Elagina: 1813–1852]. Moscow: Znak.

13. Lebedeva, O.B. (2004) Printsipy romanticheskogo zhiznetvorchestva v dnevnikakh V.A. Zhukovskogo [Principles of romantic life creation in the diaries of V.A. Zhukovsky]. In: Zhukovsky, V.A. *Poln. sobr. soch.: v 20 t.* [Complete works: in 20 vols]. Vol. 13. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

14. Tyupa, V.I. (2013) *Diskurs / Zhanr* [Discourse / Genre]. Moscow: Intrada.

15. Kanunova, F.Z. (2001) Transformatsiya syuzhetnogo motiva vozvrashcheniya zhenikha-mertvetsa za svoeyu nevestoy v balladakh V.A. Zhukovskogo [Transformation of the plot motif for the return of the dead groom for his bride in ballads by V.A. Zhukovsky]. In: Romodanovskaya, E.K. (ed.) *Materialy k Slovaryu syuzhetov i motivov russkoy literatury* [Materials to the Dictionary of plots and motives of Russian literature]. Is. 4. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.

16. Yanushkevich, A.S. (2006) *V mire Zhukovskogo* [In the world of Zhukovsky]. Moscow: Nauka.

17. Kukul'in, I. (2008) Ot Svarovskogo k Zhukovskomu i obratno: O tom, kak metod issledovaniya konstruiuet literaturnyy kanon [From Swarovsky to Zhukovsky and back: About how the method of research constructs the literary canon]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 89. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/ku16.html>. (Accessed: 05.01.2018).

18. Vinit'skiy, I. (2006) *Dom tolkovatelya: Poeticheskaya semantika i istoricheskoe voobrazhenie V.A. Zhukovskogo* [The interpreter's house: Poetic semantics and historical imagination of V.A. Zhukovsky]. Moscow: NLO.

19. Vinit'skiy, I. (2015) *Vasily Zhukovsky's Romanticism and the Emotional History of Russia*. Evanston: Northwestern University Press.

20. Zorin, A.L. (2001) *Kormya dvuglavogo orla... Russkaya literatura i gosudarstvennaya ideologiya v posledney treti XVIII – pervoy treti XIX veka* [Feeding the double-headed eagle . . . Russian literature and state ideology in the last third of the 18th – first third of the 19th centuries]. Moscow: NLO.

21. Zhukovskiy, V.A. (1999) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

22. Gruzinskiy, A.E. (ed.) (1904) *Utinskiy sbornik. Pis'ma V.A. Zhukovskogo, M.A. Moyer i E.A. Protasovoy* [Utinsky collection. Letters of V.A. Zhukovsky, M.A. Moyer and E.A. Protasova]. Moscow: [s.n.].

23. Khitrovo, L.K. (2009) *Teksty stikhotvoreniy V.A. Zhukovskogo: (Po arkhivnym materialam Pushkinskogo Doma)* [Texts of poems by V.A. Zhukovsky: (By archival materials of the Pushkin House)]. *Pushkin i ego sovremenniki*. 5 (44). pp. 77–98.

24. Gnedich, N.I. (1816) O vol'nom perevode Byurgerovoy ballady "Lenora" [On the free translation of Burger's ballad "Lenore"]. *Syn otechestva*. 31(27). pp. 2–22.

25. Griboedov, A.S. (1816) O razbore vol'nogo perevoda Byurgerovoy ballady "Lenora" [On the analysis of the free translation of Burger's ballad "Lenore"]. *Syn otechestva*. 31(30). pp. 150–160.

26. Shatin, Yu.V. (1997) Motiv i zhanr: prikhod zhivogo mertvetsa za zhertvoy (ot "Lenory" Byurgera do "Revol'yutsionnoy kazachki" Prigova) [Motive and genre: the arrival of the living dead after the victim (from "Lenore" by Burger to "The Revolutionary She-Cossack" by Prigov)]. In: Gol'denberg, A.Kh (ed.) *Literatura i fol'klornaya traditsiya: sb. nauch. tr.v: k semidesyatiletyu prof. D.N. Medrisha* [Literature and folklore tradition: collection of works on the seventieth anniversary of Prof. D.N. Medrish]. Volgograd: Peremena.

27. Kanunova, F.Z. (2001) "Nochnoy smotr" V.A. Zhukovskogo: Estetika perevoda ["The Night Review" by V.A. Zhukovsky: Aesthetics of translation]. In: Belaya, G.A. et al. (eds) *Poetika russkoy literatury: k 70-letiyu professora Yuriya Vladimirovicha Manna* [Poetics of Russian literature: to the 70th birthday of Prof. Yuri Mann]. Moscow: RSUH.

28. Gugnin, A.A. (ed.) (1985) *Zarubezhnaya poeziya v perevodakh V.A. Zhukovskogo: v 2 t.* [Foreign poetry in the translations of V.A. Zhukovsky: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Raduga.

29. Sharypina, T.A. (1998) *Vospriyatie antichnosti v literaturnom soznanii Germanii XX v. (Troyanskiy tsikl mifov)* [The perception of antiquity in the literary consciousness of Germany in the twentieth century. (The Trojan cycle of myths)]. Abstract of Philology Dr. Diss. Moscow.

30. Iezuitova, R.V. (2000) "Russkiy Tirtsey" ["Russian Tirtesus"]. *Bombardir*. 10. pp. 29–32.

31. Lebedeva, O.B. (2008) *Kassandra: Kommentariy* [Cassandra: Commentary]. In: Zhukovsky, V.A. *Poln. sobr. soch.: v 20 t.* [Complete works: in 20 vols]. Vol. 3. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

32. Panchenko, A.M. (1996) O topike kul'tury [On the topic of culture]. In: Panchenko, A.M. et al. (eds) *Iz istorii russkoy kul'tury* [From the history of Russian culture]. Vol. 3. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

33. Lebedeva, O.B. (2011) *Dmitriy Samozvanets: Plan original'noy tragedii na syuzhet iz epokhi Smutnogo vremeni: Kommentariy* [Dmitry the Pretender: The plan of the original tragedy on the plot from the Time of Troubles epoch: Commentary]. In: Zhukovsky, V.A. *Poln. sobr. soch.: v 20 t.* [Complete works: in 20 vols]. Vol. 7. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

34. Ayzikova, I.A., Kiselev, V.S. & Nikonova, N.E. (eds) (2015) *Sobranie stikhotvoreniy, odnosyashchikhsya k nezabvennomu 1812 godu. Yubileynoe izdanie* [A collection of poems relating to the unforgettable 1812 year. Anniversary edition]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

35. Yanushkevich, A.S. (1982) *Zhanrovyy sostav liriki Otechestvennoy voyny 1812 goda i "Pevets vo stane russkikh voynov" V.A. Zhukovskogo* [Genre composition of the lyrics of the Patriotic War of 1812 and "The Singer in the camp of Russian soldiers" by V.A. Zhukovsky]. In: *Problemy metoda i zhanra* [Problems of method and genre]. Is. 7. Tomsk: Tomsk State University. pp. 3–23.

36. Tyupa, V.I. (2004) *Tragizm* [Tragedy]. In: Tamarchenko, N.D. (ed.) *Teoriya literatury: v 2 t.* [Theory of literature: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Akademiya.

37. Rogova, A.G. (2012) *Glavnye "Drugie" 1812 goda: protivostoyanie Rossii i Napoleona v vospriyatii anglichanina* [The main "Others" of 1812: the confrontation between Russia and Napoleon in the perception of the Englishman]. In: Polyakov, O.Yu. (ed.) *Imagologicheskie aspekty russkoy i zarubezhnykh literatur* [Imagological aspects of Russian and foreign literatures]. Kirov: Raduga-Press.

38. Khrustalev, D. (2011) Proiskhozhdenie “russkogo medvedya” [The Origin of the “Russian Bear”]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 1. [Online] Available from: <http://www.nlobooks.ru/node/2495>. (Accessed: 05.01.2018).

39. Uspenskiy, V. (2012) Tipologiya izobrazheniy “russkikh medvedey” v evropeyskoy karikature XVIII – pervoy treti XIX veka [Typology of images of “Russian bears” in the European caricature of the 18th – first third of the 19th centuries]. In: Ryabov, O.V. & Lazari, A. de (eds) “*Russkiy medved*”: *Istoriya, semiotika, politika* [“Russian Bear”: history, semiotics, politics]. Moscow: NLO.

40. Southey, R. (c. 1876) *The March to Moscow*. [Online] Available from: <http://www.bartleby.com/270/10/43.html>. (Accessed: 04.10.2017).

41. *Vestnik Evropy*. (1813). 3–4.

42. Ayzikova, I.A. (2008) Adel’stan: (Kommentariy) [Adelstan: (Commentary)]. In: Zhukovsky, V.A. *Poln. sobr. soch.: v 20 t.* [Complete works: in 20 vols]. Vol. 3. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury.

43. Tartakovskiy, A.G. (1980) *1812 god i russkaya memuaristika: Opyt istochnikovedcheskogo izucheniya* [1812 and Russian memoirism: The experience of source study]. Moscow: Nauka.

УДК 808.1 + 4 (Нем) + 78.089.1
DOI: 10.17223/19986645/53/11

Г.М. Васильева

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПОЭМА Г. ГЕЙНЕ «ДОКТОР ФАУСТ»: АКСИОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА

Исследуется сочинение Гейне, которое дает представление о способах формирования сценарной драматургии XIX в. Танцевальная поэма «Доктор Фауст» рассматривается в связи с аксиологией ее замысла. Гейне был убежден, что каждый должен написать свою трагедию «Фауст», полагая при этом, что Гёте не почувствовал истинный дух и внутреннюю душу сказания о Фаусте. Определение «танцевальная поэма» включает выраженную жанровую рефлексию, не являясь литературоведческим понятием.

Ключевые слова: Г. Гейне, И.В. Гёте, аксиологическая доминанта, мифопоэтическое мышление, национальная почва, конфессиональная эпоха, искушение танцем, воздаяние.

Начиная с XVI в. идея «Фауста» пронизывает европейскую культуру [1. Р. 10]. Поэт Э. Ведекинд приводит в дневнике слова Гейне: «Я тоже думаю написать своего “Фауста” <...> но не для того, чтобы соперничать с Гёте, а потому, что каждый человек должен написать своего “Фауста”» [2. С. 77]. Сказание о Фаусте связано с тем, что человек может испытать и встретить в жизни. «Написать своего “Фауста”» – значит духовно разделить ответственность и вину за тот мир, в который пришел. Подобные признания являются призывом к действию и верификацией уникальности трагедии. В ней есть константа и переменная величина: типологические характеристики вроде «фаустовский человек», «фаустовская смерть», «натура Мефистофеля», понимание свойств личности, мотивов действий. Такие тексты обеспечивают и сохраняют культурную континуальность.

«Доктор Фауст. Танцевальная поэма» (1847) Г. Гейне была написана в период между двумя революциями. Писатель отмечал, что в сказаниях о Фаусте «веет дыхание реформационного времени» [3. Т. 9. С. 42]. Будучи историческим и политическим мыслителем, идею Фауста он рассматривает в контексте конфессиональной эпохи (европейской Реформации), которая началась пятьсот лет назад: 31 октября 1517 г. Поэма, таким образом, имеет актуальное историософское содержание. В ней ставится вопрос, возможно ли с помощью догматической одержимости осуществить переход к «освободительному энтузиазму», переживая эмоциональную и практическую двойственность между наслаждением благами и их аскетическим отрицанием, между властью и свободой духа, между действием и созерцанием.

Исследования танцевальной поэмы «Фауст» по объёму и основательности значительно уступают исследованиям классических произведений Гейне. Имя Гейне-либреттиста упоминается в работах по общей истории

балета, прежде всего, в связи с романтическим хореографическим театром – балетом «Жизель», например, в монографиях Ю.И. Слонимского [4. С. 141], В.М. Красовской [5. С. 20]. Вместе с тем П.М. Карп, специалист в области теории балета, переводчик Гёте и Гейне [6], никогда к этой теме не обращался. В обобщающих литературоведческих трудах В.А. Пронина и Г.В. Стадникова о творчестве Гейне поэма не рассматривается. А. Гест [7], А. Мейер [8], М. Штрасснер [9], В. Салмен [10] лишь упоминают имя Гейне среди других авторов либретто. В научной литературе не представлен целостный анализ сюжета поэмы. Э. Бриссон называет «Фауста» лишь в общем обзоре: он приводит слова Г. Гейне о том, что «Фауст» Гёте стал «светской Библией всех немцев» [1. Р. 155].

Цель данной статьи состоит в изучении фаустовской традиции в танцевальной поэме Г. Гейне «Доктор Фауст» с учетом основных компонентов культурного сознания эпохи – художественно-эстетического, религиозно-философского, что позволит поставить вопрос об аксиологии замысла этого произведения, отражающего аксиологические доминанты его художественной системы в целом. Цель предопределяет и необходимость анализа знаков авторефлексивности в поэме (авторская рефлексия о создании текста), а также рассмотрения того, как тема Фауста проецируется на политико-конфессиональную проблематику эпохи и вскрывает цивилизационную драму в ее исторической диалектике. Изучение гетерогенной жанровой природы художественного текста позволяет обратиться к более общей проблеме: степени традиционности и новаторства художественной системы Гейне.

Привлеченный к исследованию эмпирический материал не подвергался ранее сравнительно-типологическому анализу в рамках единой научной традиции. Между тем он позволяет обосновать эвристическое значение идей и критериев оценки художественного произведения, представленных в литературно-философской мысли Гейне.

Методы исследования определены его целью и конкретными задачами. Творческая история произведения, его фольклорные и литературные источники изучаются в русле историко-литературного подхода. При рассмотрении общих законов поэтики жанра используется структурно-генетический и интермедиаальный анализ. Эстетико-аксиологический метод, главный в нашей работе, восстанавливает ценностно-смысловую роль авторского замысла танцевальной поэмы Гейне о Фаусте в контексте разных эпох.

Писатель Л. Винбарг утверждал, что Гейне «по своему поэтическому дарованию и выдающемуся эстетическому сознанию» стоял ближе всех к Фаусту. И при этом он не знал никого, «кто в своей области, менее идеальной и дающей мало свидетельств о мужественной борьбе с проблемами жизни и науки, был бы более Фаустом и Мефистофелем одновременно, чем Генрих Гейне» [2. С. 129]¹. Тема Фауста перешла из области историко-

¹ Современники не раз отмечали сходство Гейне с Мефистофелем. По замечанию братьев Гонкуров, Гейне был «Аполлон с примесью Мефистофеля» [2. С. 364]. Элиза

поэтической мифологии в реальность биографии Гейне. Восстановление жизненного контекста – необходимая ступень понимания текста, самого его замысла. Гёте занимал важное место в системе культурно-эстетических ценностей младшего современника. Гейне подчеркивал полноту его присутствия в своем художественном мире, в «личной истории», воспринимал Гёте и себя как соотносимые фигуры в национально-культурном контексте [3. Т. 9. С. 456]. По собственному признанию, он «прочел всего Гёте за исключением кое-каких мелочей!!!» [Там же. С. 340]. Он постоянно апеллирует к авторитетному имени и отзывается о классике с подчеркнутой почтительностью. Поэт считал, что такие книги, как «Фауст», воспитывают вкус [2. С. 36], становятся критерием оценки других сочинений. Так, например, Гейне пишет о стихах Функе: «<...> но в этих стихах есть что-то ясное, чистое, крепкое, доброе. Он с очевидной пользой читал Гёте и понимает, что прекрасно» [3. Т. 9. С. 276]. «Божественного Саади» Гейне называет «персидским Гёте» [Там же. С. 275]. Он знакомился с переводами трагедии на европейские языки. Писатель и критик Блез де Бюри Анж-Анри (1818–1888), автор статей о немецкой литературе, перевел «Фауста» на французский язык. Он был уверен в расположении Гейне к нему: «Услышав, вероятно, об успехе моего перевода “Фауста”, он попросил меня перевести “Книгу песен”» [2. С. 160]. Но Гейне отозвался о нем с иронией: «Блез де Бюри разглядывает мелких писателей в увеличительное стекло, а великих – в уменьшительное» [3. Т. 9. С. 171].

Писатель следил за публикациями, связанными с Гёте; с интеллектуальной и эмоциональной заинтересованностью относился к отзывам классика. Адресаты писем Гейне – К.-А. Фарнхаген фон Энзе и его жена Ракхель, друг Рудольфи Христиани – являлись самыми горячими, неистовыми гётеанцами [Там же. С. 360].

Личные отношения двух авторов были исполнены драматизма. Гейне написал статью, предназначавшуюся для сборника «Гёте в свидетельствах современников» под редакцией Фарнхагена фон Энзе. Сборник вышел в 1823 г. в Берлине. Но статья не была напечатана. Рукопись не сохранилась, о ее содержании нет достоверных сведений.

Гейне выслал Гёте первый сборник лирики, приложив письмо. «Я долго не мог решить, в чем сущность поэзии. Мне сказали: “Спроси Шлегеля”. Тот сказал: “Читай Гёте”. Я честно выполнил его совет, и если когда-нибудь из меня выйдет что-либо путное, я буду знать, кому я этим обязан. Целую священную руку, указавшую мне и всему немецкому народу путь к вечности» [Там же. С. 280].

Их единственная встреча состоялась в Веймаре 2 октября 1824 г., на следующий день после того, как было отправлено письмо. Гейне поделил-

Криниц («Камилла Зельден») писала в статье о Гейне: «Вообразите улыбку Мефистофеля, которая порою мелькает на лице Христа – Христа, допивающего свою чашу» [2. С. 447]. Как отмечал Г. Лукач, пара Фауст – Мефистофель воплощает в представлении Гейне породийное двойничество [11. С. 52].

ся впечатлениями с товарищами по Гёттингенскому университету: Гёте принял его «до неприличия холодно» [2. С. 85]. Младший брат поэта Максимилиан упоминает эпизод встречи в книге «Воспоминания о Генрихе Гейне и его семье» (1868). Гёте, болезненно относившийся к попыткам современников дописать трагедию, прервал беседу, узнав, что начинающий автор работает над «Фаустом». Здесь проявился также латентный характер «литературной войны», которую вели романтики и писатели круга Гёте. В «Романтической школе» (1833) Гейне говорится об этом противостоянии между классиками и романтиками, хотя внешне отношения выглядели как дружественные [13].

В середине 1820-х гг. Гейне принимает осознанное творческое решение: начинает сочинять драму о Фаусте. Писатель сообщает Ф. Меркелю о том, что «фантазия работает над несколькими начатыми произведениями», среди них над «новыми сценами к моему “Фаусту”» [3. Т. 9. С. 416]. В записи от 16 июля 1824 г. Ведекинд пересказывает замысел Гейне. Он оформлялся в продуктивном несогласии с основным собеседником – Гёте – и представлял собой случай демонстративных отношений с материалом Гёте. «“Фауст” Гейне будет прямой противоположностью гётевскому. У Гёте Фауст все время действует, именно он приказывает Мефистофелю сделать то или другое. У Гейне действующим началом будет Мефистофель, который склоняет Фауста ко всякой чертовщине. У Гёте дьявол – отрицательное начало. У Гейне он станет началом положительным – Фауст же у Гейне будет гёттингенским профессором, которому наскучила собственная ученость». Ведекинд полагает, что Гейне, может быть, «так и не доведет дело до конца, потому что тем самым получит возможность внести в пьесу многое, что собственно к ней не относится» [2. С. 80]. Действительно, писатель возвращается к теме только в конце 1840-х гг.

Драматургия о Фаусте не предназначалась предшественниками Гейне для воплощения на балетной сцене. Он первый выступил с этим материалом как балетный сценарист. Он сочинил балетное либретто (сценарный проект) по заказу Бенджамена Лемлея, директора лондонского театра Ее Величества королевы. Автор сообщал знакомым, что пишет текст для «лондонской сцены» [Там же. С. 335]. «Остроумный, изобретательный импресарио» высказал пожелание, чтобы Гейне придумал несколько сюжетов. Они должны были лечь в основу «большой постановки с пышными декорациями и костюмами» [3. Т. 9. С. 75]. Писателю был предоставлен срок в один месяц. Гейне, идя навстречу просьбе, создал сочинение «Доктор Фауст. Танцевальная поэма» (1847). В эти же годы Лемлей предложил служебный ангажемент балетмейстеру Жюлю Перро. Тот высказался против постановки балетного спектакля [8]. В 1848 г. специально для Ла Скала Перро сочинил балет «Фауст», выступив в качестве автора либретто. Перро предпочитал сюитные формы, лишённые симфонического развития. Гейне в течение нескольких лет пытался поставить произведение во французских театрах и в Берлине. Безуспешными оказались и попытки Г. Ляубе, художественного директора венского «Бургтеатра». Зрелищный текст

(как единство сценического и хореографического начал) не был воплощен на сцене. Отдельной книгой поэма вышла в 1851 г. в Гамбурге, в издательстве «Гофман и Кампе». В «Обзрении двух миров» («*Revue des Deux Mondes*») она появилась под названием «Мефистофелла и легенда о Фаусте», в переводе Сен-Рене Тайандье. Эта публикация стала одной из последних, подписанных Гейне (от 15 февраля 1852) [2. С. 450]. Процесс развития замысла от первых набросков к музыкальной партитуре балета, к режиссерской экспликации и окончательному виду произведения проследить невозможно. Однако тот факт, что Гейне опубликовал либретто, дает право воспринимать его как завершенное произведение.

«Доктор Фауст» создан в форме «танцевальной поэмы» – хореографического представления из пяти действий. Она примыкает к своеобразной триаде произведений: «Боги в изгнании», «Богиня Диана», «Духи стихий». В одном из них – «Богиня Диана» – появляется фигура Гёте. «Пантомиму в духе “Фауста” под названием “Диана”» – «Богиня Диана (Дополнение к “Богам в изгнании”» (1846) – Гейне создал за год до танцевальной поэмы «Доктор Фауст» [2. С. 435]. Впервые она была напечатана в 1854 г. в «Разных сочинениях Генриха Гейне» наряду с «Богам в изгнании». Гейне сымпровизировал легенду о Диане и создал ее беглый эскиз. Писатель не стал разрабатывать сценарий, поскольку он тоже не был востребован. В четвертом действии Гейне населяет подземный чертог «прославленными мужами и женами», «которых народное предание перенесло в Венерину гору в силу их сенсуалистической репутации или за их баснословные подвиги» [3. Т. 9. С. 82]. Среди них он помещает Гёте.

Аксиологию замысла поэмы Гейне о Фаусте помогает понять присущая писателю уникальная рефлексивность. Она проявлялась в «филологизме», в стремлении к «антологизации»: перечислении источников, замечаниях, обрамлениях, авторефлексии о процессе работы. Писатель создал сопроводительное объяснение к либретто, обращенное к Лемлеу. Авторские полевые маргиналии по ходу чтения либретто представляют собой содержательный очерк: в нем предварительные наброски, тематические прообразы, отражающие творческий процесс. Записи частей либретто, композиционно более или менее оформленных, эскизный материал – все это ведет к тайне роста и разветвления мысли, создающей органическое целое.

В сопроводительном объяснении к либретто Гейне, вновь отталкиваясь от Гёте, замечает, что он имел преимущество «уже хотя бы в смысле свежести материала». У Гёте «была возможность посвятить обработке этого материала свою долгую, цветущую, олимпийскую жизнь» [Там же. С. 26]. В полемически усиленной форме Гейне допускает конфликтность толкования трагедии предшественника, в частности, он сомневается в серьезном значении фольклорного материала для Гёте, проявлявшего, по мнению Гейне, особый интерес к одному ареалу: к мифологии Древней Греции и Рима. Гейне предполагал, что Гёте в то время, когда писал первую часть «Фауста», не был знаком с народными книгами, опирался исключительно на кукольные комедии [Там же. С. 38, 39]. Но при этом утверждал, что Гё-

те «многое присвоил», например «преданные ныне забвению народные песни» [2. С. 67], использовал мотивы, образы не только классического, но и народного искусства. В подтверждение Гейне цитировал поэта: «Мое творчество – это произведение коллективного существа, имя которому Гёте» [3. Т. 9. С. 647]. «Как Гомер не один сложил “Илиаду”, так и Шекспир не один создал свои трагедии – он придал им лишь дух, ожививший работу предшественников. У Гёте мы видим нечто подобное – его плагиаты» [Там же. С. 173]. При этом Гейне убежден, что старший современник не следовал подлинному сказанию, не испытывал пиетет перед его истинным духом, не был способен почувствовать его внутреннюю душу [Там же. С. 26]. Писатель называет Гёте «скептиком восемнадцатого века», который обосновывает любое знание в соответствии с подтверждениями, основанными на разуме и логике [Там же]. Культ разума, считает Гейне, привел к демифологизации трагедии Гёте, который использует мифологический образ как аллегория, условную фабулу, наполняемую философским содержанием. Гейне, в свою очередь, подчеркивает уникальность форм мифопоэтического мышления. Ему близка романтическая идея «новой мифологии», творцы которой исходят из «глубин духа», выражают единство природы и человека, возвращение к первоначалам.

Отзываясь о второй части «Фауста» Гёте как о «безжизненной» [Там же. С. 39, 26], писатель делает лишь одно исключение: выражает «всю глубину восторга» перед изображением Елены. О «классически-романтической “Елене”» он судил по отрывку (акт 3), опубликованному в 1827 г.² «Начало прекрасно; кажется, что слышишь пафос древних трагедий, но постепенно он переходит в шиканедровский оперный текст» [Там же. С. 450]. Писатель проводит нелестное сравнение, поскольку Э. Шиканедер известен как автор либретто не только к «высоким», но и к низким зингшпилям – пьесам комедийного характера со вставными музыкальными сценами. Объяснить это можно, скорее всего, тем, что в этих сценах Гёте не следует народным сказаниям, в которых Елена является дьявольским соблазном. В трагедии Гёте она воплощает античный идеал, как и в «Трагической истории доктора Фауста» Марло.

Гейне отдавал предпочтение драмам, созданным на основе «старых сказаний, до сих пор хранимых немецким народом», «написанным по народным книжкам» «в старой, наивной, простодушной форме» [Там же. Т. 6. С. 205]. Он рассматривает свою поэму как конгениальную народным книгам и не уступающую в художественном отношении трагедии предшественника. Писатель связывает собственное постижение темы Фауста именно с проблемой истолкования первоисточников. По его признанию, он основательно занимался немецкими народными верованиями, в частности, «для уяснения новоромантической литературы» [Там же. С. 27]. Гейне об-

² «Елена» была напечатана сначала отдельно, а затем в виде 3-го акта второй части. Многие рассматривали ее как самостоятельный текст. С.П. Шевырев назвал трагедию «фантазмагорией» [14. С. 88].

ращается прежде всего к легенде о Фаусте XVI в. и ее обработке в книге И. Шписа «История о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике и т.д.» (1587), которая возникла в протестантской среде и восходит к фольклорным жанрам. Опираясь на обширную традицию прототекстов, в поисках смысла и духа народных форм он помещает сказание о Фаусте в широкий контекст западноевропейской истории. Автор перечисляет множество исходных источников «фаустовского» сюжета, варианты инвариантного персонажа, выстраивает последовательность развития литературных знаний о Фаусте, дает комментарии.

Гейне изучил такие раритетные издания, как сочинения о ведовстве Н. Реми, П. де Ланкра³, латинская книга И. Вира «О чудесах демонов» (1568), литературная обработка легенды о Фаусте, сочинение «Ключи ада» Г.Р. Видмана (1599), представляющее собрание заклинаний духов на латинском и немецком языках. Гейне был знаком с научным трудом своего друга, поэта и филолога К.Й. Зимрока. В его сочинения входила, в частности, народная книга о Фаусте.

Писатель объединил результаты разысканий о возникновении и развитии «сказочного легендарного Фауста» и включил главные элементы старинного сказания «в единое драматическое целое» [3. Т. 9. С. 8, 26]. Особенно обстоятельно он осмысливал народные верования, относящиеся к Плутону и его царству, чтобы показать, «как древнее царство теней обратилось в законченный ад, а древний мрачный повелитель его – в совершенного дьявола» [Там же. С. 64].

Кроме того, аксиология замысла поэмы Гейне связана с его пониманием центральной философской, фаустианской коллизии: «Ненависть к папству и вообще к католической церкви ярко выступает повсюду в сказании о Фаусте». Его подлинной идеей «был бунт реалистической, сенсуалистической жажды жизни против спиритуалистической древнекатолической аскезы» [Там же. С. 41, 35]. «С наивной наглядностью» здесь представлена «борьба между религией и наукой, между авторитетом и разумом, между верой и мышлением, между покорным отречением и дерзкой жаждой наслаждения <...>» – пишет Гейне [Там же. С. 30]. За экспрессивным стилем прослеживается четкая конфигурация авторской мысли, противопоставляющей католическую теократию (Ватикан под властью пап) и протестантскую теократию (Женева под властью Кальвина). Гейне понимал протестантизм очень широко. Он почувствовал «новую, демократическую и протестантскую стихию» в античном трагике Еврипиде в противоположность «олимпийски-католическому Аристофану» [Там же. Т. 6. С. 197]. Писатель не раз подчеркивал «протестантскую ясность» истинной литературы [6. С. 159]. Родина Фауста в народных книгах – Виттенберг – «является местом рождения и лабораторией протестантизма», – подчеркивал поэт [3. Т. 9. С. 30]. Гейне не был приверженцем католицизма. В такой

³ «Описание непостоянства злых демонов» (1612), «Невероятность и неверие в чары» (1622) и «Колдовство» (1627).

принципиальной позиции, как противостояние папству, «папистскому» идолопоклонству, он солидаризировался с протестантами. Гейне противопоставляет себя тем немецким романтикам, которые «образовали нечто вроде очереди перед римской церковью», бросились «с фанатическим пылом в лоно католической церкви», боролись «против просветительства и протестантства». Они отдавали предпочтение не религиозной культуре Германии, но влиянию романских стран, пролагали путь к мифу через религиозный мистицизм, дышали «только феодальным средневековьем» [З. Т. 6. С. 164, 206].

Однако, оставаясь сторонником духа протестантской церкви, Гейне между тем был чужд ее догматике и «тиранической букве» [Там же. С. 91, 79]. По его собственному утверждению, он ни к чему не подходил «со строго буквальной точки зрения» [Там же. С. 128]. Но самым главным представляется убежденность Гейне в том, что Божественное начало жизни не предполагает конфессиональной конкретизации: оно символизирует не отдельную конфессию, но вечность и совершенство. В демонизме все(лже)церковности Гейне видит отсутствие органического содержания, которое вырастает из национальной почвы. Сам писатель не различает виды аскетизма в католической и реформаторской традициях. С его точки зрения, Женева конфессиональной эпохи отличалась мелочной регламентацией всех сторон жизни. Гейне отмечал также жесткий детерминизм швейцарского учения, суровое отношение к чувственно-визуальной стороне в богослужении и в жизни [15]. Лютер, по мнению Гейне, по происхождению «нижнесаксонский мужик», прежде всего, противостоял грубым проявлениям народной веры – суевериям [З. Т. 6. С. 167]. По убеждению писателя, верующих из народа не беспокоила согласованность религиозных воззрений. Они имели свои представления о Дьяволе, потустороннем мире. При этом жизнь и творчество, считает Гейне, неотделимы от «теплой, многоцветной чувственности» и «религии радости», от природной, стихийной, непосредственной формы религиозности [Там же. С. 25]. Сам писатель, по его словам, следует «религии сердца».

В обострении конфликта с интерпретацией образа Фауста у Гёте Гейне нашел возможность его развития в плане и содержания и формы. Он соединил оппозиции в образе танца, наделив его конкретно-историческим и метафорическим смыслом. Писатель создает своеобразную мистерию искушения танцем. В основу поэмы положен реальный эпизод из истории женовской Реформации 1541–1564 гг.⁴ В 1546 г. Совет почти в полном составе был приговорен к публичному покаянию за участие в танцах, источник искусов и соблазнов. При Кальвине даже высших сановников наказывали за танцы: сфера деятельности светской власти должна касаться всех членов христианского Тела. На взгляд Гейне, формальной дисциплине подчиняются, но не следуют сердцем. Нарушая меру, доктринальная

⁴ Гейне понимал, насколько связаны балетные пачки, клубок и корона. Это было время, когда «красивая плясунья» Лола Ментес забрала власть над Баварией. Король Людвиг осыпал милостями ее, выдававшую себя за испанскую танцовщицу [2. С. 174].

одержимость (принципами, законами разума) переходит в иррациональность. Застывшая связь идей приводит к экстатическому поведению и к хаотической пляске. В «Демонии колдунов» («La Démonomanie des Sorciers», 1580) Жана Бодена Гейне прочитал рассказ о том, как Дьявол «принудил танцевать благочестивый город Женеву, этот кальвинистский Иерусалим!». Писатель с иронией замечал, что у него возник замысел создать балет под названием «Пляшущая Женева»: «<...> чопорные, угловатые фигуры учителей и священников вдруг завертелись в гальярде!» [3. Т. 9. С. 41]. Таким образом, в поэме антиномичное смысловое единство составляют запрещаемые танцы эпохи Реформации и балет персонажей поэмы, имеющий роковой, наступательный характер неуправляемой силы. Он соотносится с плясками смерти старинных легенд и образует устойчивую эмоциональную среду в художественном словаре автора.

Дьявол унижает Фауста заурядностью и пошлостью: «<...> из раскрявшего пола, как из цветочной корзины, подымается балерина в обычном газе и трико и начинает выделять самые банальные пируэты». Танцоры исполняют «самые банальные па», – пишет Гейне [Там же. С. 12, 13]. Мефистофель – «великий танцмейстер», «“утонченный дух”, большой барин, очень знатный и высокопоставленный в адской иерархии» – переходит в женское естество кокетливой танцовщицы, «улыбающегося изящного существа» [Там же. С. 12]. Феминизация Дьявола в поэме Гейне соответствует народной традиции. В народных книгах о Фаусте Дьявол охотно принимал образ красивой женщины – Мефостофелы, Мефостофелессы⁵. Изменение морфологической структуры имени приводит к фигуре подмены, к морфо-логике. Явления, отношения перерождаются и преворачиваются. Дьявол «благоприятствует танцевальному искусству, желая досадить благочестивым людям» [Там же. С. 41]. Среди женских партий Гейне отдает предпочтение именно ей: она обрела в либретто выразительные танцевальные монологи. Мефистофела выступает в роли хореографа, инициатора поэтической идеи балета. Она обучает Фауста ухищрениям профессионального танцора, архитектонике движений.

«Высшая школа классического танца» предполагает академические формы, этикетную и риторическую эстетику. Но Мефистофела искажает хореографическую стилистику, фривольно толкует движения классического балета. Во время кадрили страсть принимает все более дерзкие формы. Фауст-ученик исполняет с Мефистофелой замысловатые фигуры и вакхические танцы. В повадке Фауста, «во всем его существе проявляется смесь беспомощности и мужества, учительской неуклюжести и вызывающей докторской спеси». Фауст проявляет отвращение «ко всей этой готической вакханалии, которая представляет собой лишь грубое и низменное издевательство над церковным аскетизмом и противна ему не менее, чем этот последний» [Там же. С. 14, 19], но принимает в ней участие. В поэме Гейне классический и характерный танцы служат пластическим выражением ан-

⁵ В старинных народных книгах Дьявол называется Мефостофилем.

титезы «дух и плоть». С одной стороны, танец – культурный и социальный феномен – в идеале представляет собой необычное и чудесное зрелище. Человек, через это чувство живой силы, совершает выбор в пользу истины. С другой стороны, танец превращается в коллективный экстаз, который становится метафорой губительной страсти. Трактовка танца из-за сходства с «плясками смерти» усиливает трагический пафос сцен.

Внутренние коллизии выражены в раздвоенности танцевальной партии, через пластическое противопоставление Фауста и его страстей, в отражении «легкомысленного кордебалета преисподней». Гейне вводит в форму балетного спектакля элементы низового искусства в виде сюит характерных танцев. Итальянская «гальярда», изобретенная Дьяволом, становится лейтмотивом произведения [З. Т. 9. С. 40]. Этот действенный танец, *pas d'action*, утрачивает свою непосредственную и наивную жизненную форму, сочетается с «пародийной» драматургией.

Кордебалетный ансамбль превратился из «фона», на котором действуют персонажи, в полноправного участника представления. Массовые танцы, являясь драматургическим элементом в развитии сюжета танцевальной поэмы Гейне, характеризуют место действия, среду. Ссылаясь на старинные книги, поэт замечает, что «во времена доктора Фауста уже существовал бесовский кордебалет» [Там же. С. 39]. Он подтверждает этот факт выдержками из жизнеописания Кристофа Вагнера, ученика Фауста. В одной из глав рассказывается, как «великий беспутник» Вагнер давал в Вене пир. В третьем действии Гейне описывает «конвент», или «рейхстаг» ведьм, их «бесовское собрание» на Блоксберге и «сладострастную тягу к пляске» [Там же. С. 43, 45].

В своей танцевальной поэме о Фаусте Гейне дает экспрессивно-гротескное изображение реальности, в соответствии с принципом аксиологической инверсии. В ней отсутствуют описания переходов – из реального мира в фантастический и обратно, внутри инобытийного, волшебного мира. Происходит искажение, деформация образов и ценностей, «оборотничество» персонажей. Человек изображается в категориях животного мира и наоборот: «безобразная обезьяна» превращается в «стройного красавца танцора», танцовщицы становятся чудовищами [Там же. Т. 6. С. 13, 16]. Предметы наделяются признаками живых существ. Природа населена мифологическими существами, которые олицетворяют ее тайную жизнь и отражают качества, присущие людям.

Вместе с тем автор воплощает строгое триединство пространственной организации художественного мира либретто. Он совмещает три уровня легенды о Фаусте. Первый уровень – архаический: роман Фауста с герцогиней, избранницей Сатаны. Второй – античный и ренессансный: писатель посвятил отдельное действие истории Елены Спартанской. Третий – бюргерский, в его центре – свадьба со скромной дочерью бургомистра, когда Фауст возвращается в сферу существования человека. Персонажи образуют строгую классическую структуру. Разыграна каноническая схема любовного треугольника.

Особое внимание уделено финалу поэмы, в котором очевидно очередное отталкивание от развязки трагедии Гёте. По убеждению Гейне, разрешение конфликта затрагивает глубокие уровни структуры мифа. Он выделяет сотериологический аспект – мотив осуждения, спасения – и не принимает «оправдательный» финал. В топографии поэмы предстают зримый образ мира и его ценностные пределы: представления об искушении, истине и воздаянии. Понимание воздаяния, направленного на восстановление справедливости, восходит к фольклору. В отличие от фольклорных историй, в протестантской гуманистической традиции, в набросках Лессинга и в трагедии Гёте душа Фауста обретает прощение и спасается. Гейне отрицает идею апокатастасиса, всеобщего спасения, согласно которой грешники, приняв очистительное страдание, вернутся к Богу. Он сопротивляется примирительной вере в состоявшуюся победу добра, истины, когда через мучения душа приходит к свету истины. «В этой второй части Гёте освобождает некроманта от когтей дьявола; он не посылает его в ад, но торжественно возносит в царство небесное в сопровождении пляшущих ангелочков, этих католических купидонов, и жуткий договор с дьяволом, внушавший нашим отцам панический ужас, кончается как фривольный фарс, – я чуть было не сказал: “как балет”» [3. Т. 9. С. 26]⁶.

Гейне домысливает биографию литературных героев и предлагает наименее ожидаемый исход ситуации. Фауст просит руки дочери бургомистра, на свадьбе они «чинно исполняют пристойнейшую пляску Гименя» [Там же. С. 24]. Мефистофела, женщина-вдохновительница, остается демоном. Дьявольское начало и вакханалия нечистых сил торжествуют. Но Фаусту, обретающему гармонию и любовь, не удается избежать трагической участи. Мефистофела душит его, превратившись в змею. Здесь Гейне, в котором жил «дух еврейских пророков» и его «божественного родича Иисуса Христа», обращается к демонологии евреев [Там же. Т. 6. С. 65]. Согласно легендам Лилит-суккуб соблазняет мужчин. В христианской традиции суккуб воплощает Дьявола в женском облики. Ее спутником является змея.

Идея жанра вырисовывалась в сознании писателя также в самом начале создания произведения, в 1820-е гг. В письме Фарнхагену фон Энзе от 14 мая 1826 г. Гейне замечает: «<...> для вас недостаточно, чтобы я показал, сколько звуков издает моя лира, вам хочется услышать, как эти звуки сливаются в целостный большой концерт. Таким концертом будет мой “Фауст”, который я пишу для вас» [Там же. Т. 9. С. 408]. Автор сравнивает драматические сцены с «организмом» концертного исполнения, в котором участвуют музыканты и слушатели. Подобный концерт заслуживает названия «рапсодия».

⁶ Неодобрительное сравнение с балетом не случайно. В балетоведении отсутствовали дефиниции классического наследия. Балет существовал как один из элементов оперного спектакля. Хореографические эпизоды вносили дисгармонию в действие, переклочали восприятие с одного «языка» на другой, уничтожая правдоподобие.

Гейне дает уникальное определение в применяемой жанровой классификации. Смысловая многозначность жанра «танцевальной поэмы» приводит к неопределенности значения, к антиэмфазе. Словосочетание «танцевальная поэма» создано по типу «симфоническая поэма». Заметим, что Гейне называет «поэмой» и трагедию Гёте [3. Т. 9. С. 26]. Авторское жанровое определение имеет сложную мотивировку. Оно включает жанровую рефлексию, не являясь литературоведческим понятием. Гейне заимствует определение из музыки, выходя за границы выразительности, присущей литературе. Он прибегает к универсализации языка описания: с помощью термина «поэма» он выстраивает линию взаимодействия, синтеза литературы, музыки и танца. Семантический ореол вокруг понятия «поэма» сформировали сочинения Дидро. На развитие литературной и хореографической мысли повлияли его «Беседы о “Побочном сыне”» (1757). Конечно, нужно учитывать эстетические установки конкретной эпохи. При возможном созвучии идей Дидро, их значение может быть понято только в контексте эстетики просветительского реализма. По убеждению французского философа, поэма является идеальным воплощением мелодико-танцевального образа. В «Беседе третьей» Дорваль определяет – от имени автора – задачу театра и музыкальной сцены: придать танцу форму поэмы. «Танец – это поэма. Такая поэма должна бы иметь свое отдельное представление. Это подражание посредством движений, которое требует содействия поэта, художника, музыканта и пантомимиста» [16. С. 198].

Кроме того, известно, что Гейне «изучал несметическую часть Азии» по трудам «подлинного санскритолога среди немцев» Франца Боппа [3. Т. 6. С. 192]. В них упоминались трактаты по технике хореографии. Они входили в круг сочинений по теории драмы и сценическому искусству. Древнеиндийские эпические поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата» изображались в танце. Писатель рассматривал первый пролог к «Фаусту» в восточно-ориентальном культурном контексте: «Гёте в начале “Фауста” использовал “Сакунталу”», – писал Гейне [Там же. Т. 9. С. 160]. Имеется в виду пролог к драме Калидасы «Сакунтала» (приблизительно V в.).

Вместе с тем сюжет либретто Гейне отвечает драматическому жанру. Театральный деятель Г. Лаубе не раз повторял, что в основании таланта Гейне лежала страсть к драматической форме [2. С. 369]. Сюжетно-образная концепция выстроена автором с учетом законов условности балетного театра. Пластика, ритм не могут выразить все мыслительные процессы. Но при этом они углубляют экспрессивный смысл произведения. Автор передает танцевальное (пластическое) обозначение сил миропорядка как целого. Они наличествуют в мире еще до совершаемых ими действий.

Подведем итог. Поэма является единственным произведением Гейне на сюжет «Фауста», но фаустианская идея воплощена во многих его сочинениях. История Фауста органически встраивается в персональный миф автора и становится фактом его биографии. В понимании Гейне, миф о Фаусте отражает изменения, которые происходят с человечеством на протяжении столетий. Образ прирастает смыслами традиционными и вместе с тем

глубоко личными. То, что в 1840-е гг. оформилось в личную жизненную философию, уже существовало в его сознании в 1820-е гг., когда возник замысел произведения. Идея обрела программный характер: она развернулась как модус существования художника, стала формой осмысления опыта предыдущих поколений и, в определенной мере, формой его преодоления.

Произведение свидетельствует о том, какие общие темы владели сознанием поэта. Он находил их в историческом опыте и в фольклорных, литературных сюжетах. Причем именно мифопоэтическая образность изначально формирует облик текста. Гейне рассматривает мир мифа как гармоничный и аксиологически упорядоченный. Фольклорные образы являются константой поэтики Гейне, даже если они воплощены в сниженной форме. В представлении писателя, народно-религиозная традиция является основой аксиологической, культурной, исторической картины мира. Сказание о Фаусте вовлекается Гейне и в сферу межконфессиональных конфликтов. Танец и религиозные образы оказываются в одном аксиологическом контексте: идея может подчинить себе естественное начало, разрушить единство с жизнью вещей и природы, искушение связано с возмездием.

Небольшая по объему «танцевальная поэма» вызывает в восприятии психологический эффект развернутого повествования. Поэма вместила трагедию и бурлеск, дивертисмент. Одни жанровые формы проявляются внутри других. Литературный, музыкальный материал дает представление о способах формирования сценарной драматургии XIX в. Фаустовский сюжет возникает как рефлексия над предельными универсалиями культуры. Первое место в этом процессе Гейне отводит «просвещению чувств». Оно является конституирующим принципом культуры и цивилизации. Гейне, подобно Гёте, и своей жизни придавал черты художественного произведения [17. P. 15].

Литература

1. *Brisson E.* Faust. Biographie d' un mythe. Paris: Ellipsis, 2013. 360 p.
2. *Гейне* в воспоминаниях современников / подгот. текста и коммент. А.С. Дмитриева. М. : Худож. лит., 1988. 575 с.
3. *Гейне Г.* Собрание сочинений. : в 10 т. М. : Худож. лит., 1956–1959.
4. *Слонимский Ю.И.* Драматургия балетного театра XIX века: Очерки. Либретто. Сценарии. М. : Искусство, 1977. 343 с.
5. *Красовская В.М.* Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. Роман-тизм. СПб. : Лань, 2008. 512 с.
6. *Карп П.М.* Балет и драма. Л. : Искусство, 1980. 246 с.
7. *Guest I.* JulesPerrot. Master of the Romantic Ballet. London : Dance Books, 1984. 383 p.
8. *Meier A.* Faustlibretti. Geschichte des Fauststoffs auf der europäischen Musikbühne nebst einer lexikalischen Bibliographie der Faustvertonungen. Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris : Lang, 1990. 828 s.
9. *Sträßner M.* Tanzmeister und Dichter. Literaturgeschichte(n) imUmkreis von Jean Georges Noverre, Lessing, Wieland, Goethe, Schiller. Berlin : Henschel, 1994. 307 s.
10. *Salmen W.* Goethe und der Tanz. Tänze – Bälle – Redouten – Ballette – im Leben und Werk Hildesheim. Zürich ; New York : Olms, 2006. 138 s.

11. Лукач Д. Теория романа: (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики) // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 19–78.

12. Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М. : Худож. лит., 1986. 669 с.

13. Keppler-Tasaki S. Die doppelte Lucinde: Verdeckte Kriegsführung zwischen Goethe und Friedrich Schlegel. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Stuttgart, 2009. № 83. Н. 3. S. 375–395.

14. Шевырев С.П. Елена, классическо-романтическая фантазмагория. Междудействие кь Фаусту из соч. Гёте // Московский вестникъ. Журнал, издаваемый М. Погодинымъ. М., 1827. Ч. 6. С. 79–93.

15. Гарнак А. фон. История догматов. Общая история европейской культуры : в 7 т. СПб. : Брокгауз-Ефрон, 1911. Т. 6: Раннее христианство. 468 с.

16. Дидро Д. Беседы о «Побочном сыне» // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 135–207.

17. Safranski R. Goethe: Kunstwerk des Lebens: Biographie. München : Carl Hanser Verlag, 2013. 750 s.

HEINE'S DANCE POEM "DOCTOR FAUST": THE AXIOLOGY OF THE CONCEPTION

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 164–178. DOI: 10.17223/19986645/53/11

Galina M. Vasilyeva, Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: personal_work@mail.ru

Keywords: H. Heine, J.W. Goethe, axiological dominant, mythopoetic thought, national soil, confessional age, dance temptation, requital.

The article examines a work by Heine which indicates methods of the formation of the scenario dramatic art of the 19th century. The “dance poem” was written between two revolutions. The writer considers the Faust idea in the context of the confessional era (European Reformation). The poem has a relevant historiographical content. It raises the question of whether it is possible to make a transition to the kingdom of freedom through violence. The aim of the article is to study the Faust tradition in Heine’s works, taking into account the main components of the cultural consciousness of the age – artistic and aesthetic, religious and philosophical. In connection with the aim, the signs of self-reflection (writer’s reflection on text development) are analyzed, the Faust theme projection onto political and confessional issues is considered. The author’s interpretation is included in the text of the poem: images refract in the system of concepts. The artistic text of a heterogeneous genre nature is studied. The analysis of the genre specificity of the poem allows to address a more general problem: the degree of tradition and innovation of Heine’s art system.

In Heine’s literary biography, Goethe’s figure took an exclusive place. The writer considered that such books as *Faust* refine taste. He was convinced that everyone had to write his own Faust tragedy. Heine believed that Goethe did not achieve the goal. He did not feel the true spirit and the inner soul of the legend about Faust. Heine stresses the uniqueness of the forms of mythopoetic thinking. In the middle of the 1820s, the writer composed a drama about Faust. In the 1840s, he went back to the conception and formed it in a productive disagreement with his main interlocutor – Goethe. Heine regarded his poem as congenial to folk books and not inferior in the artistic attitude to the tragedy of the predecessor. Heine’s interpretation is based on the vast tradition of prototexts. Heine, first of all, refers to the legend of Faust of the 16th century, and its version in the folk book by Johann Spies “Historia von Dr. Iohann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwartzkünstler etc.”, which emerged in the Protestant environment and which is based on folklore genres.

In the topography of the scenes there is a visible image of the world and its axiological limits: perceptions of temptation, truth, requital. The writer emphasizes the soteriological

aspect – the motive of salvation – and does not accept the “acquittal” finale. The understanding of requital aimed at restoration of justice goes back to folklore. In the German Protestant humanistic tradition, in Goethe’s tragedy Faust’s soul finds forgiveness and escapes. Searching for the way of salvation in culture is connected with a discussion of the ways to achieve it (ascesis, love, predestination of events). Heine denies the idea of apocatastasis, universal salvation, according to which sinners will return to God by taking the cleansing suffering.

References

1. Brisson, E. (2013) *Faust. Biographie d'un mythe* [Faust. Biography of a myth]. Paris: Ellipsis.
2. Dmitriev, A.S. (ed.) (1988) *Geyne v vospominaniyakh sovremennikov* [Heine in the memoirs of contemporaries]. Moscow: Khudozh. lit.
3. Heine, H. (1956–1959) *Sobranie sochineniy.: v 10 t.* [Works: in 10 vols]. Translated from German. Moscow: Khudozh. lit.
4. Slonimskiy, Yu.I. (1977) *Dramaturgiya baletnogo teatra XIX veka: Ocherki. Libretto. Stsenarii* [Dramaturgy of the ballet theater of the 19th century: Essays. Libretto. Scenarios]. Moscow: Iskusstvo.
5. Krasovskaya, V.M. (2008) *Zapadnoevropeyskiy baletnyy teatr: Ocherki istorii. Romantizm* [West European Ballet Theater: Essays on History. Romanticism]. St. Petersburg: Lan’.
6. Karp, P.M. (1980) *Balet i drama* [Ballet and drama]. Leningrad: Iskusstvo.
7. Guest, I. (1984) *Jules Perrot. Master of the Romantic Ballet*. London: Dance Books.
8. Meier, A. (1990) *Faustlibretti. Geschichte des Fauststoffs auf der europäischen Musikbühne nebst einer lexikalischen Bibliographie der Faustvertonungen* [Faust librettos. History of the Faustus on the European music stage together with a lexical bibliography of the Faust settings]. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris: Lang.
9. Sträßner, M. (1994) *Tanzmeister und Dichter. Literaturgeschichte(n) im Umkreis von Jean Georges Noverre, Lessing, Wieland, Goethe, Schiller* [Dance master and poet. Literary history in the circle of Jean Georges Noverre, Lessing, Wieland, Goethe, Schiller]. Berlin: Henschel.
10. Salmen, W. (2006) *Goethe und der Tanz. Tänze – Bälle – Redouten – Ballette – im Leben und Werk* [Goethe and the dance. Dances – balls – redoubts – ballets – in the life and work]. Hildesheim; Zürich; New York: Olms.
11. Lukach, D. (1994) *Teoriya romana: (Opyt istoriko-filosofskogo issledovaniya form bol'shoy epiki)* [Theory of the novel: (The experience of historical and philosophical study of the forms of the great epic)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 9. pp. 19–78.
12. Ekkerman, I.-P. (1986) *Razgovory s Gyote v poslednie gody ego zhizni* [Conversations with Goethe in the last years of his life]. Moscow: Khudozh. lit.
13. Keppler-Tasaki, S. (2009) *Die doppelte Lucinde: Verdeckte Kriegsführung zwischen Goethe und Friedrich Schlegel* [The double Lucinde: Covert warfare between Goethe and Friedrich Schlegel]. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*. 83(3). pp. 375–395.
14. Shevyrev, S.P. (1827) *Elena, klassicheskoy romanticheskoy fantasmagoriya. Mezhdudeystvie k" Faustu iz soch. Gyote* [Elena, the classic-romantic fantasy. Interaction with Faust from Goethe’s works]. *Moskovskiy vestnik*”. 6. pp. 79–93.
15. Garnak, A. von. (1911) *Istoriya dogmatov* [History of dogmas]. In: Kareev, N.I. & Rostovtsev, M.I. (eds) *Obshchaya istoriya evropeyskoy kul'tury: v 7 t.* [The general history of European culture: in 7 vols]. Vol. 6. St. Petersburg: Brokgauz-Efron.
16. Diderot, D. (1980) *Eстетика i literaturnaya kritika* [Aesthetics and literary criticism]. Translated from French. Moscow: Khud. lit. pp. 135–207.
17. Safranski, R. (2013) *Goethe: Kunstwerk des Lebens: Biographie* [Goethe: Artwork of Life: Biography]. Munich: Carl Hanser Verlag.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/53/12

Л.П. Жулёва

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ В ПРОЗЕ Э.А. ПО И ИХ РУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ

Рассматриваются иноязычные вкрапления в новеллах Э.А. По в аспекте их жанровой специфики. Характер использования элементов иных языковых систем в пародиях, страшных и психологических новеллах 1830-х гг. коррелирует с этапами эволюции системы жанров в творчестве американского писателя. Предлагаются результаты исследования русских переводов прозаических произведений указанного периода с точки зрения воссоздания в них комплекса иноязычных вкраплений.

Ключевые слова: билингвизм, иноязычные вкрапления, проза Эдгара По, жанр, русская рецепция.

Различные аспекты интернационального взаимодействия приобрели необычайно яркое звучание в современном мире в связи с процессами глобализации и необходимостью поиска новых смыслов в межкультурном диалоге. В современном литературоведении в связи с этим значительная доля исследований относится к изысканиям в сфере литературного билингвизма, специфика которого рассматривалась Г. Гачевым, А. Гируцким, Ч. Гусейновым, Т. Черторижской и др. В XXI в. весомый вклад в изучение художественного билингвизма внесли работы, выполненные М. Амалбековой, У. Бахтикиреевой, С. Гринберг, Е. Кремер, Р. Туксайтовой. В самых новых публикациях освещаются особенности функционирования и практического применения билингвальных текстовых форматов. Например, Н. Никонова пишет о принципах составления научного издания *texte en regard* [1].

Внимание ученых привлекает не только изучение процесса создания художественного произведения одним писателем на разных языках, но и другая, более распространённая форма этого литературного диалога, имеющая характер иноязычных вкраплений.

Эта традиционная форма творческого многоязычия рассматривалась в трудах А. Леонтьева, Л. Крысина, Д. Розенталя. Большую роль в развитии данной тематики сыграла работа Ю. Листровой-Правды «Отбор и употребление иноязычных вкраплений в русской литературной речи XIX века», в которой исследователь разрабатывает тему иноязычных вкраплений в оригинальных и переводных художественных текстах XVIII и XIX вв. Подробный обзор трудов, посвящённых иноязычным вкраплениям, представлен в статье Е. Палкиной [2].

В 2000-е гг. наибольший интерес исследователей вызывают стратегии перевода иноязычных элементов переводного текста: главная задача переводчика в таком случае заключается в обеспечении вхождения текста в

культуру принимающего языка без значительных смысловых потерь (И. Манина, Э. Китанина, С. Николаев, А. Еремия). В своем основополагающем труде «Непереводимое в переводе» болгарские компаративисты С. Влахов и С. Флорин утверждали, что переводчик при работе с подобными единицами должен опираться в первую очередь на степень знакомства с ними читателя. Такой установке созвучны и взгляды И. Левого, который считает, что восприятие перегруженного вкраплениями текста можно облегчить путем введения пояснения и сохранения лишь некоторых наиболее ясных заимствований для намека на чужеродность речи.

Различные подходы к передаче иноязычных включений представлены и в современном переводоведении, предлагающем как равные альтернативы сохранение исходной формы оригинала, использование сносок для введения перевода и культурную адаптацию элементов другого языка. Однако в двух последних случаях остается открытым вопрос о степени свободы переводчика литературного текста, принимающего решения относительно воспроизведения целой художественной системы через ее отдельные компоненты.

Роль иноязычных вкраплений в творчестве Э.А. По. Для наиболее точного следования замыслу оригинального произведения необходимо усиливать взаимодействие переводчиков и литературоведов. Предпереводческий анализ обязательно должен включать системное изучение художественного мира иноязычного писателя, ведь ответственность за полноценное воссоздание всего комплекса художественных особенностей переводного текста целиком и полностью возложена на переводчика. Одним из показательных примеров, демонстрирующих необходимость такой работы, является русская рецепция прозы Э.А. По.

В текстах Эдгара По не было случайных изменений, все манипуляции с повествовательной тканью были осмысленными и нацеленными на создание единства эффекта, о чем он сам писал в эссе «Философия композиции» [3]. Важным свойством иноязычных вкраплений в прозе Э. По является их системность: на комплексное восприятие читателем той или иной новеллы влияют абсолютно все заимствования, использованные автором. Таким образом, проблема перевода элементов чужого языка в данном случае становится актуальной именно в силу особенностей творчества американского писателя и его взглядов на литературное мастерство: переводческая вольность, ведущая к элиминации некоторых фрагментов или их подмене культурной адаптацией, вряд ли допустима.

О важной роли, которую иноязычные вкрапления играли в художественном мире американского писателя, писал еще классик отечественного поэведения Ю.В. Ковалев: «Его новеллы перегружены “учённостью”, переполнены французскими, испанскими, греческими, латинскими, древнееврейскими фразами и выражениями, цитациями из всевозможных известных, малоизвестных и вовсе неизвестных авторов. Почти все они требуют обстоятельного комментария – исторического, лингвистического и реального» [4. С. 170].

Иноязычные вкрапления в прозе Э. По выполняют несколько важных функций. Согласно наблюдениям многих исследователей в первую очередь они служат созданию эффекта правдоподобия – необходимого, по мнению американского писателя, компонента хорошей новеллы. Учитывая контекст современных исследований можно утверждать, что лексические средства иных языков использовались им для формирования особой многоголосой структуры повествования, в котором герой мог обладать характеристиками разных личностей. Кроме того, иноязычные вкрапления становились основой словесной игры Э. По, наделяющей детективной аурой его многие новеллы.

О роли заимствований в оригинальном творчестве Э.А. По подробно пишет Э. Абсальямова [5]. Исследователь типологически сближает его прозу с творчеством Ш. Бодлера и Ф.М. Достоевского и приходит к выводу, что в целом иноязычные вкрапления использовались американским писателем для изображения сверхъестественной силы, которая по-разному проявлялась в зависимости от типа новеллы: «Художественные ресурсы звуков чужого языка или акцента, имитируемых или лишь упомянутых, задействованы в произведениях По и в ранней прозе Достоевского с целью обозначить нечеловеческое вмешательство («Убийство на улице Морг», 1839) или создать атмосферу опьянения или сумасшествия («Ангел необъяснимого» По, 1844; «Двойник» Достоевского, 1846)» [Там же. С. 134]. В свете изучения русской рецепции иноязычных вкраплений новелл Э.А. По это предположение видится весьма продуктивным: для демонстрации взаимодействия с потусторонней силой в сатирических новеллах и пародиях американский писатель обращался к приему макаронической речи, ломаному языку; для сюжетной дифференциации существ, обладающих неординарными качествами, могли быть внедрены староанглийские формы слов; латинские и греческие слова придавали тексту философский оттенок, вводили дискурс учености. Экзотические языковые системы использовались и в детективных новеллах для обозначения чуждой, непонятной речи преступников, которые тоже, по замыслу писателя, воплощали идею брутальности. К вариантам реализации концепта неземного, т.е. непонятного, чужого, можно отнести сверхспособности сыщиков, текстуально представленные в виде лингвистической подкованности и учености последних. Кроме того, именно языковые игры в детективных новеллах становились ключом к загадке, обычно лежащей в основе таких повествований. Иноязычные вкрапления в новеллах Эдгара По служат для реализации темы иллюзорности существования, которая через внедрение таких элементов проявляется в формате описания абсурдных ситуаций.

В статье рассматриваются оригиналы новелл Э. По 1830-х гг. и одной новеллы 1844 г., в процессе работы над которыми происходило формирование жанровой системы его прозы. Также исследуются особенности русской рецепции данных новелл с точки зрения воссоздания комплекса иноязычных вкраплений, игравших важную роль в становлении типологии рассказов писателя.

Первой новеллой, переведенной на русский язык, в которой возникает проблема переноса заимствований, является мистическая новелла «William Wilson» (1839).

В оригинале новеллы немногим более десяти иноязычных вкраплений, среди которых можно отметить несколько слов на латинском, демонстрирующих, согласно замыслу автора, высокий статус директора школы и актуализирующих важную роль школы в становлении личности героя. Дополняет впечатление и фраза на французском языке, сказанная главным героем относительно времени, проведенного в школе: «Oh, le bon temps, que ce siecle de fer!» [6. P. 265].

Естественно, что в первом русском переводе, выполненном в 1858 г., включения представлены не полностью, в частности, отсутствует фраза на французском языке, она переведена дословно: «О, славно вспомнить это железное время!» [7]. Переводчик 1909 г. оказался более внимателен к оригиналу и оставил иноязычные вкрапления в их оригинальном виде [8].

Нет последовательности в работе с рассматриваемыми элементами текста в более современных переводах новеллы.

| Оригинал [6] | Перевод В. Рогова [9] | Перевод Р. Облонской [10] |
|--|--|--|
| In a remote and terror-inspiring angle was a square enclosure of eight or ten feet, comprising the sanctum , «during hours», of our principal, the Reverend Dr. Bransby | В отдаленном, внушавшем ужас углу располагалось отгороженное пространство футов в восемь иль десять – sanctum главы нашей школы, преподобного доктора Бренсби, на время занятий | В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь – десять – кабинет нашего директора, преподобного доктора Бренсби |
| It was a solid structure, with massy door, sooner than open which in the absence of the « Dominie », we would all have willingly perished by the peine forte et dure | Это было солидное сооружение с тяжелой дверью – все мы охотнее согласились бы погибнуть от the peine forte et dure , нежели бы открыть ее в отсутствие « Dominie » | И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками , чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью |

Как можно заметить, В. Рогов не переводит иноязычные вкрапления, оставляя их в своем тексте. Он дает сноски в конце страницы, предлагая читателям русскоязычные эквиваленты. Что касается работы Р. Облонской, то переводчица прибегает к приему контекстуального перевода, который не всегда достигает цели: «sanctum» в оригинале используется для создания ауры недостижимости директора и обозначает «уединенное убежище, святая святых», а слово «кабинет» в русской версии не до конца передает всю степень «сакральности» данного места.

В случае с переносом важной лексической единицы «Dominie» в качестве эквивалента Р. Облонская выбирает слово «хозяин», вновь теряя его оригинальную коннотацию, связанную с восприятием фигуры директора школы в среде учеников, а также являющуюся элементом готической атмосферы в рассказе. В. Рогов в приведенном контексте вновь сохраняет заимствование и делает сноску с пояснением.

Для понимания роли иноязычных вкраплений в новеллах Эдгара По важным является обращение к его ранним сатирическим новеллам.

В пародийном ключе свое понимание «единства впечатления» от литературного произведения и способов его создания Э.А. По программно выразил в новелле «How to Write a Blackwood Article» (1838). Данный текст важен и с точки зрения становления Эдгара По как американского писателя, и в перспективе развития американской новеллы. Э.А. По был писателем и журналистом, учился мастерству у авторов английских журналов: «Иными словами, за бурлескной речью господина Блэквуда (персонаж новеллы. – Л.Ж.) стоит энергичная работа критической мысли Эдгара По, выявляющей инвариант, структурную схему, “рецепт” блэквудовского “рассказа ощущений”» [4. С. 169]. С одной стороны, он высмеивал страшные истории, бывшие бестселлерами благодаря журналу Блэквуда, который на них и специализировался. С другой стороны, Э. По частично использовал поэтику этих статей в своих страшных новеллах: «Чудовищные преступления, переселение душ, месмерические откровения, путешествия во времени, фатальные трагедии – все эти вполне «блэквудовские» мотивы и предметы сплошь и рядом возникают в прозе По отнюдь не в сатирическом контексте... Блэквуд цепко держал Эдгара По, и смысл деятельности последнего заключался не в отрицании традиции, а в ее преобразовании» [Там же. С. 170]. В этой сатире декларировались принципы работы со средствами чужого языка для создания различных текстовых эффектов и порождения новых смыслов. По мысли Эдгара По, в любой успешный рассказ должны быть добавлены иноязычные вкрапления – «пикантные фразы». Кроме того, необходимо соблюдать принцип языкового разнообразия: в успешной новелле обязательно должны быть представлены современные языки (такие как испанский, греческий, немецкий, французский), античность (латынь, греческий), а также одно из экзотических наречий.

Однако данные идеи, озвученные в рассматриваемом нами рассказе-подражании, получили реализацию в художественном наследии автора гораздо раньше: до появления рассказа о журнале Блэквуда были созданы основные сатирические новеллы писателя, вошедшие в условный цикл «Tales of the Folio Club» (1832–1836). В связи с тем, что соотношение и характер иноязычных вкраплений в сатирах Э. По, публиковавшихся в англоязычных печатных изданиях на протяжении нескольких лет, значительно менялись, становится очевидной определенная эволюция взглядов писателя относительно этого стилистического элемента, выраженная в виде своеобразной сатирической концепции. Новелла, имитирующая стиль издания Блэквуда, таким образом, стала подведением итогов работы, проделанной за первые годы творческого пути Эдгара По.

Можно сказать, что в России новелла «Как писать рассказ для Блэквуда» не пользовалась популярностью: впервые она была опубликована лишь в 1896 г. в переводе М. Энгельгардта, осуществившего проект по подготовке полного собрания сочинений Э. По. В том же году и из-под пера того же переводчика впервые вышли русские переводы тех новелл, где эти

принципы отчетливо реализуются: «Bon-Bon», «The Duc de L'Omelette», «Lionizing», «Loss of Breath», «The Spectacles». Тем не менее семена сатиры некоторых других произведений американского писателя уже попали на российскую почву.

Самой первой сатирической новеллой, переведённой на русский язык, стала новелла «The Devil in the Belfry. An Extravaganza» (1839). В оригинале в ней присутствуют как собственно иностранные слова, так и авторские неологизмы, имитирующие системы неродных языков, а также ломаная речь, цель введения которой – стилизация акцента действующих лиц. Все эти три вида чуждых элементов по-разному были воплощены в разных переводах. Впервые рассказ был переведен Д.Л. Михаловским для журнала «Время» в 1861 г. и отобран Ф.М. Достоевским для демонстрации стиля американского писателя [11]. По всей видимости, перевод был сделан с английского языка, так как Бодлер, выступивший на тот момент проводником творчества Эдгара По в России, эту новеллу не переводил. Нужно отметить, что переводчик постарался максимально воссоздать систему иноязычных вкраплений оригинала. Однако этого нельзя сказать о более поздних переводах, выполненных М. Энгельгардтом в 1896 г. [12. Т. 2. С. 210–216] и Л. Уманцем в 1909 г. [13]. В их текстах частично сохранились собственно иноязычные включения, а неправильность речи, производящая комический эффект, исчезла. На долгое время пародийный аспект этой чистой сатиры был потерян для русского читателя.

В 1878 г. во втором номере журнала «Будильник» был опубликован русский перевод еще одной, более поздней, юморески Эдгара По – «The Angel of the Odd – An Extravaganza» (1844). В целом в нем передана ломаная речь странного существа, привидевшегося герою. Но в оригинале помимо этого есть французские и латинские вкрапления, которые не были включены в переводной русский текст 1878 г. [14], так же как было сильно урезано начало текста, в котором перечислялись иностранные авторы и названия книг, прочитанных главным героем за короткое время: «Glover's "Leonidas", Wickliffe's "Epigoniad", Lamartine's "Pilgrimage"». В случае с этой новеллой более точный перевод, соответствующий концепции По, был выполнен М. Энгельгардтом и опубликован в 1896 г. [12. Т. 2. С. 352–360].

Работа с иноязычными вкраплениями велась Эдгаром По не только для формирования собственного яркого стиля: в 1830-е гг. он занимался жанровыми поисками, созданием наиболее приемлемой формы для выражения идей о сущности человеческого бытия. В связи с этим грань между собственно страшными новеллами и рассказами-пародиями в некоторых случаях едва различима. Изучение жанровых особенностей иноязычных включений в прозе Эдгара По помогает разграничить эти два типа повествований: в них они различаются и количественно, и качественно. Характер изменений и непостоянство в количестве заимствований свидетельствуют о том, что писатель стремился к более четкой жанровой градации и тематическому ранжированию своих произведений.

В качестве примера тенденции к постепенной жанровой кристаллизации сочинений Эдгара По можно привести разные издания сатирической новеллы «Bon-Bon», впервые напечатанной под заголовком «The Bargain Lost» в 1831 и 1832 г. [15]. Если первым публикациям предшествовал эпиграф на английском языке из пьесы «As you like it», то 1835 г. в качестве эпиграфа использованы слова Ф. Вольтера на французском языке, а в самом тексте появилось больше французских слов – обозначений пищевых продуктов, действие было перенесено во Францию. В 1845 г. эффект комического усилился за счет внедрения в текст нового эпиграфа – большого отрывка из французского водевиля. Изменилось и название новеллы: англоязычное название «The Bargain Lost» уступило место французскому «Bon-Bon» [16]. Таким образом, комический подтекст данной новеллы, пародирующей французских философов, стал более очевидным.

В период с 1832 по 1837 г. не только оформлялся жанр сатиры в творчестве Эдгара По, но происходило и становление его страшных и психологических новелл, генезис которых можно проследить как раз в эволюции используемых автором иноязычных вкраплений.

Интересной в плане анализа жанрового перехода представляется новелла «Assignation» (в первых изданиях 1835 г. она была опубликована под заголовком «Visionary» [17]). С одной стороны, этот рассказ можно отнести к жанру пародии (в данном случае – на чувствительную английскую литературу), с другой – характер изменения иноязычных элементов свидетельствует о трансформации взгляда Э. По на новеллу, результатом чего стала ее жанровая модификация. Важное замечание относительно жанровых колебаний у американского писателя сделал Ю.М. Ковалёв: «Если окинуть общим взором раннюю прозу По, то есть рассказы, написанные между 1831 и 1837 годами, то нетрудно заметить, что наряду с «чистыми» пародиями встречаются сочинения, о которых невозможно сказать, в шутку они написаны или «всерьез». Ироничность повествования в них не обладает абсолютностью, но имеет степени концентрации. Временами она очевидна и несомненна. Временами – приглушена, а то и вовсе пропадает. И если, скажем, «Герцог де Л Омлет» и «Без дыхания» – новеллы недвусмысленно ироничные и пародийные, то относительно «Свидания» или «Метценгерштейна» мы не можем быть вполне уверены... По-видимому, правы те критики, которые полагают, что, сочиняя пародии и сатиры, Эдгар По учился писать серьезную прозу и что в ранних его опытах, какова бы ни была их стилистика, кристаллизовался жанр психологической новеллы» [4. С. 170].

О сознательной работе Э. По над жанрово-стилистической принадлежностью данного повествования говорит характер изменений, внесенных автором в его разные издания. Так, первой публикации 1835 г. был предпослан большой эпиграф на немецком языке, сам текст не был целостен в плане использования иноязычных единиц. В следующих версиях в качестве эпиграфа использовались слова английского поэта Генри Кинга, епископа Чичестерского, написанные по случаю смерти его жены. Таким об-

разом, систематизация национальной маркированности вкраплений позволила автору более четко озвучить пародийный смысл новеллы. Однако, несмотря на присутствие в ней явной сатирической переключки с европейской чувствительной литературой, можно сказать, что главная героиня Афродита пополняет ряды прекрасных героинь По, с которыми ее роднят некоторые речевые особенности. В минуты наивысшего напряжения она использует староанглийские словоформы, хотя действие происходит в Италии: «*Thou hast conquered, she said, or the murmurs of the water deceived me; thou hast conquered – one hour after sunrise – we shall meet – so let it be!*»

Несоответствие реплики месту и времени действия наводит на мысль о ее особой специфической функции, выделяющей героиню из ряда обычных людей. Отмечая значимость иноязычных вкраплений для создания комического эффекта, Э. Абсалямова вместе с тем указывает и на жанроформирующую функцию и использование таких элементов языка «для создания драматического эффекта в преддверии развязки»: «Отметим, что драматизирующая роль отведена не только иностранным языкам, но и архаичному английскому» [5. С. 135].

К сожалению, русский переводчик, выполнивший перевод в 1861 г., не до конца понял эту особенность оригинала: «Ты победил, – прошептала она (если только шум воды не помешал мне хорошо расслушать), – ты победил! Через час после восхода солнца я приду на свиданье. Жди меня!» [18]. Эта закономерность оказалась неотраженной и в переводе М. Энгельгардта (1896 г.) [12. Т. 1. С. 207–216], и в современном переводе, выполненном В. Роговым (1976 г.) [19]. Таким образом, для достижения задуманного эффекта необходимо осуществить комплексный перенос системы иноязычных вкраплений источника.

В плане работы над жанровой спецификой интересны и оригиналы новелл «*Morella*» и «*Ligeia*», в которых едва ли очевиден водораздел «между пародией на литературу кошмаров и ужасов и серьезным повествованием». Тема переселения душ использовалась писателем для создания карикатуры на английскую романтическую литературу о привидениях: «Грань между реальностью и галлюцинациями воспаленного разума практически неуловима. Можно считать все описанное лишь плодом воображения, поскольку герой открывает тайники своей души, посвящая читателя в свои переживания и думы» [4. С. 408–410].

Использование архаичного английского языка представляет собой стилистическую особенность речи главной героини в новелле «*Лигея*», которую большинство критиков относят к страшным и психологическим новеллам, но никак не пародийным: «*And the will therein lieth, which dieth not. Who knoweth the mysteries of the will, with its vigor? For God is but a great will pervading all things by nature of its intentness. Man doth not yield himself to the angels, nor unto death utterly, save only through the weakness of his feeble will.*»

«*“O God!” half shrieked Ligeia, leaping to her feet and extending her arms aloft with a spasmodic movement, as I made an end of these lines – “O God!*

O Divine Father! – shall these things be undeviatingly so? – shall this conqueror be not once conquered? Are we not part and parcel in Thee? Who – who knoweth the mysteries of the will with its vigor? Man doth not yield him to the angels, nor unto death utterly, save only through the weakness of his feeble will”» [20. P. 309–310].

В переводе, осуществлённом Н. Шелгуновым в 1874 г., этот стилистический нюанс не нашел воплощения, видимо, в связи с тем, что критик и переводчик, работу которого Д. Гроссман назвала первой дофрейдистской нотой в русской рецепции творчества По, в первую очередь стремился передать страдания больной души: «В ночь ее смерти она подозвала меня к себе и заставила прочесть стихотворение, недавно ею написанное; она говорила много и кончила словами, что человек отдается смерти только по недостатку его бедной воли. Она умерла. Я не мог переносить ужаса одиночества» [21. Т. 1. С. 235].

Не придал значения архаичным формам английского языка и К.Д. Бальмонт, который вставил в перевод стихотворный отрывок собственного сочинения. Лигей же в его рассказе лишена каких-то ярких речевых характеристик: «“О, Боже мой”, – почти вскрикнула Лигейя, быстро вставая и судорожно простирая руки вверх, – “О, Боже мой, о, Небесный Отец мой! неужели все это неизбежно? неужели этот победитель не будет когда-нибудь побежден? Неужели мы не часть и не частица существа Твоего? Кто – кто знает тайны воли и ее могущества? Человек не уступил бы и ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля”. И потом, как бы истощенная этой вспышкой, она бессильно опустила свои бледные руки и торжественно вернулась на свое смертное ложе» [22. Т. 1. С. 153–173]. В современном переводе И.В. Гуровой речь главной героини также ничем не выделяется [23. С. 2].

Ряд героинь, использующих нетипичные формы английского языка, пополняет и Морелла – центральный персонаж одноименной новеллы Э. По (1835). В этом рассказе для создания особой торжественной атмосферы помимо использования греческого эпитафия американский писатель вновь задействовал излюбленный прием архаизации речи главной героини в момент ее смерти. Пророческие слова умирающей Мореллы, обращенные к мужу Эгею, одновременно страшны и высокопарны, а старообразность наделяет лексику взвездным звучанием. Частичное воссоздание эффекта наблюдается в переводе М. Энгельгардта, сохранившего греческий эпитаф [12. Т. 1. С. 281–285]. Однако полностью исчезает сила воздействия в переводе Л. Уманца, в котором предложен только перевод эпитафия на русский, а патетика речи главной героини передается лишь через пунктуацию – восклицательными знаками [13]. В современном переводе И.В. Гуровой в связи со ставшим традиционным нивелированием архаичных форм речевые особенности героини тоже не сохраняются [24].

Таким образом, тема сверхъестественности героинь Э. По не была до конца реализована в русском переводческом дискурсе, а своеобразный и сложный баланс пародии и страшного рассказа, присутствующий в ориги-

нальном творчестве Э. По, уступил место другой рецептивной модели, в которой жанровые разновидности оказались более дифференцированы: эти новеллы были восприняты как психологические и ужасные. Перевод же этих текстов и достижение задуманного эффекта предполагает осуществление комплексного переноса системы иноязычных вкраплений для полноценного отражения их жанровой специфики.

К произведениям, в работе над которыми наиболее ярко проявился характер эволюции литературного многоязычия в творчестве По, можно отнести одно из самых загадочных его произведений – новеллу «Silence. A Fable» (1832). Известная под названиями «Молчание» и «Тишина» в русских переводах, это рассказанная устами Демона притча о проклятии Тишиной, о слабости и страхе, который человек испытывает перед ней. Ранняя рукопись новеллы (с утерянной первой страницей) восходит к 1832 г. и имеет название «Siope – A Fable» (от др.-греч. σιωπή – «тишина»). Впервые она была опубликована в 1838 г. как продолжение небольшой истории «Shadow. A Parable». В 1840 г. этот рассказ был переиздан с изменённым эпиграфом в сборнике «Гротески и арабески».

Интересны наблюдения исследователей относительно изменяющегося заглавия новеллы, которое само по себе представляет иноязычное включение. В зарубежном литературоведении сложились совершенно противоположные теории о целях создания «Тишины». А. Хаммонд полагает, что «Тишина» – это пародия Э. По на самого себя, и видит в первоначальном заглавии («Siope – A Fable») не только греческое слово «siope», но анаграмму фразы «Is Poe» [25]. Некоторые критики поддерживают А. Хаммонда и отрицают то, что Э. По хотел поведать нечто серьёзное посредством этого повествования: Э. Карлсон считает, что писатель имел намерение лишь показать талант воображения, воплощенный в импрессионистском стиле [26]. Г. Томпсон придерживается той же гипотезы: он причисляет новеллу «Тишина» к сатирико-юмористическому жанру и называет ее пародией на псевдопоэтические трансцендентальные произведения Бульвера-Литтона и Де Квинси, отмечая некоторые сходства в произведениях писателей [27]. Б. Поллин утверждает, что, возможно, Э. По стремился сделать «Тишину» сатирической новеллой, но написал её с «поэтическим шармом и эмоциональным накалом», которые исключают ее прочтение как пародии [28]. Иногда этот текст относят к немецкой метафизике и мрачному спиритуализму, называя его одной из самых загадочных работ американского романтика.

Б. Фишер отмечает важность эпиграфа произведения при его восприятии [29]. Эпиграфом к «Тишине», опубликованной в 1838 г., служит отрывок из стихотворения Э. По «Аль Арааф»: «Ours is a world of words: Quiet we call / “Silence” – which is the merest word of all» [30. P. 79]. Это автоцитирование акцентирует внимание на всеобъемлющей природе слов: они не просто описывают наш мир, они являются нашим миром или (в библейском понимании) создают наш мир. В качестве эпиграфа к публикации новеллы 1840 г. Э. По выбрал фразу из произведения древнегреческого поэта Алкмана: «The

mountain pinnacles slumber; valleys, crags, and caves are silent» («Горные вершины дремлют; долины, скалы и пещеры молчат») [31. Р. 19].

По мнению Б. Фишера, новый эпиграф «заставляет» читать произведение как притчу, оно исключает прочтение новеллы как психологической и автобиографической пародии, так как пропадает отсылка Э. По к собственному тексту. Цитата Алкмана проста – она описывает пейзаж в тишине, а строки из «Аль Аараафа» отражают определенное восприятие тишины. Б. Фишер делает вывод, что рассмотрение ранней публикации новеллы как самопародии автора допустимо, однако переизданный в 1840 г. вариант следует воспринимать не иначе как притчу. В статье Б. Фишера приводятся два анонимных отзыва о новелле «Тишина», где говорится о неистовом напряжении и ярком языке, свойственном Э. По. На основании данных отзывов Б. Фишер сделал вывод, что ранние читатели не распознали сатирической составляющей новеллы «Тишина».

О значении эпиграфов в оригинальном творчестве Эдгара По писали и многие отечественные исследователи. Например, А. Уржа отмечает: «Эпиграфы у Э. По обладают следующими чертами: они преимущественно написаны на иностранных языках: на латыни, итальянском, французском (что создает эффект остранения и привлекает дополнительное внимание), а их философское или мистическое содержание соотносится с повествованием не только косвенно, но зачастую и буквально, при помощи ключевых слов (обычно выделенных автором)» [32. С. 324]. Таким образом, очевидна особая роль данного элемента в формировании структуры прозаического произведения американского писателя, наполненной интертекстуальной игрой с читателем, которая выражается не только путем внедрения иноязычных вкраплений, цитат, заимствований, но и посредством графического выделения отдельных единиц текста. Полноценная передача всего этого сложного комплекса – задача, до сих пор не выполненная.

Если говорить о русских переводах новеллы «Тишина», то их стратегии разнообразны. Иноязычное звучание эпиграфа воспроизводится в переводах, выполненных М. Энгельгардтом [12. Т. 2. С. 149–152] и К. Бальмонтом [22. Т. 1. С. 321–325]. Русскоязычный вариант эпиграфа без его оригинала предлагается в самом первом переводном тексте, опубликованном в журнале «Русское богатство» в 1881 г. [33], а также в современном переводе В. Рогова [34]. Перевод В. Голикова, осуществленный в 1907 г. в поэтической форме, является важным фактом рецепции рассматриваемой притчи, но совершенно не воспроизводит иноязычные включения, присутствующие в оригинале [35].

Использование элементов иных языковых систем для выражения мотива внеземного вмешательства, присутствия неведомых сил характерно как для сатирических новелл Эдгара По, так и для его страшных и мистических рассказов. Проведенное исследование показало, что иноязычные компоненты в повествовательной ткани прозы американского писателя составляют единый подвижный комплекс, тем не менее проблема его целостного перевода на русский язык еще не до конца решена. В XIX в. в

силу малоизученности творчества Э. По и преобладания биографического и психологического подходов этому вопросу не уделялось должного внимания. Однако и анализ современных переводов обнаружил существующий в настоящее время дефицит в воспроизведении всех хитросплетений авторских идей, визуализированных в тексте с помощью заимствованных слов и целых фраз. Для максимального приближения к эффекту оригиналов новелл, а также для актуализации их жанровой специфики необходимо разработать стратегии для комплексного переноса системы иноязычных вкраплений прозы Э. По средствами русского языка.

Отдельного исследования заслуживают иноязычные элементы в детективных новеллах Эдгара По, в которых потенциал разных языков использовался для формирования сюжетной линии, демонстрации ирреальных способностей сыщиков, а также становился основой игры писателя с читателем.

Литература

1. Никонова Н.Е. Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского: принципы научного издания *texte en regard* и его место в эдиционной истории наследия // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 48. С. 181–193.
2. Палкина Е.А. Иноязычные вкрапления в тексте как форма межкультурного взаимодействия: к истории изучения в отечественной гуманитаристике // Диалог культур: поэтика локального текста : материалы V Междунар. науч. конф. / под ред. П.В. Алексеева : в 2 т. Горно-Алтайск, 2016. Т. 1. С. 246–256.
3. Poe E.A. The Philosophy of Composition // Stuart and Susan F. Levine. Edgar Allan Poe: Critical Theory. Chicago : University of Illinois Press, 2009. P. 55–76.
4. Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л., 1984. 296 с.
5. Абсаямова Э.Н. Языки необъяснимого: Страх, смех и творчество // По, Бодлер, Достоевский: Блеск и нищета национального гения. М. : НЛЮ, 2017. 336 с.
6. Poe E.A. William Wilson // Tales of Mystery and Imagination. London : Harper Press, 2011. P. 260–284.
7. По Э.А. Вильям Вильсон. Сочинение Эдгара По. СПб., 1858.
8. По Э.А. Вильям Вильсон // Э.А. По. Вильям Вильсон. Овальный портрет. Перевод В. И. Т. СПб., 1909.
9. По Э.А. Вильям Вильсон // Э.А. По. Полное собрание рассказов. М. : Наука, 1970. С. 200–215.
10. По Э.А. Вильям Вильсон // Э.А. По. Стихотворения. Проза. М., 1976. URL: <http://lib.ru/INOFAANT/POE/wilson.txt>
11. По Э.А. Черт в ратуше // Время. 1861. Т. 1, № 1. С. 248–256.
12. По Э.А. Собрание сочинений. СПб., 1896. Т. 2.
13. По Э.А. Необыкновенные рассказы и избранные стихотворения в пер. Льва Уманца. М., 1908.
14. По Э.А. Гений фантазии // Будильник. 1878. № 2. С. 19–20.
15. Poe E.A. The Bargain Lost // Saturday Courier. Vol. 2, № 88. December 1, 1832. P. 1.
16. Poe E.A. Bon-Bon // Southern Literary Messenger. Vol. 1, № 12. August 1835. P. 693–698.
17. Poe E.A. The Visionary // Southern Literary Messenger. Vol. 1, № 11. July 1835. P. 637–640.
18. По Э.А. Свидание // Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык, 1861. № 5. С. 106–118.

19. По Э.А. Свидание // Эдгар По. Стихотворения. Проза. М., 1976. URL: <http://lib.ru/INOFANT/POE/rendez-vous.txt>
20. Poe E.A. Ligeia // Tales of Mystery and Imagination. London : Harper Press, 2011. P. 301–319.
21. По Э.А. Лигейя // Дело. 1874. № 5. С. 234–241.
22. По Э.А. Собрание сочинений / пер. с англ. К.Д. Бальмонта. М. : Скорпион, 1901. Т. 1–2.
23. По Э.А. Лигейя // По Э.А. Рассказы. С. 1–3. URL: <http://poe.velchel.ru/?cnt=7>.
24. По Э.А. Морелла // Эдгар По. Стихотворения. Проза. М., 1976. 877 с. URL: <http://lib.ru/INOFANT/POE/morella.txt>
25. Hammond J.R. An Edgar Allan Poe companion : a guide to the short stories, romances and essays. London : Macmillan, 1981. 250 p.
26. Carlson E.W. A companion to Poe studies. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1996. 604 p.
27. Thompson G.R. Silence – A Fable and the Folio Club: Who Were the “Psychological Autobiographers”? // Poe Newsletter. January. 1969. P. 23.
28. Pollin B.R. Discoveries in Poe. Notre Dame, Ind. : Univ. of Notre Dame Pr., 1970. 303 p.
29. Fisher B.F. The Power of Words in Poe’s “Silence” // Poe at Work: Seven Textual Studies Baltimore. 1978. P. 56–72.
30. Poe E.A. Silence (Siope) // The Baltimore Book. 1838. P. 79–85.
31. Poe E.A. Siope. A Fable // Tales of the Grotesque and Arabesque. Baltimore, 1840. Vol. 2. P. 19–24.
32. Уржа А.В. Эпиграфы к прозе Э. По в русских переводах: особенности интерпретации // Перевод как средство взаимодействия культур : материалы II Междунар. науч. конф. М., 2015. С. 322–332.
33. По Э.А. Молчание // Русское богатство. СПб. 1881. Май.
34. По Э.А. Тишина // По Э.А. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 142–144.
35. Стихотворения Э. По в лучших русских переводах / под ред. Н. Новича. М. : Стелла, 1911.

FOREIGN INCLUSIONS IN EDGAR POE’S PROSE AND THEIR PERCEPTION IN RUSSIAN TRANSLATIONS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 179–193. DOI: DOI: 10.17223/19986645/53/12

Lidia P. Zhulyova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lidiadmitrieva@ngs.ru

Keywords: bilingualism, foreign inclusions, Edgar Poe’s prose, genre, literary perception in Russia.

The paper is devoted to a topical issue of modern literary studies, particularly, to the literary bilingualism in Edgar Allan Poe’s prose and in its Russian translations.

Most Russian translations of Poe’s short stories seem to be incomplete, as some freedom and inconsistencies in them led to elimination of meaningful fragments. Their cultural adaptation is hardly to become an alternative either. All units of different languages in the authentic prose by Poe constitute a particular system, and the reader is influenced by absolutely all foreign components the author used.

The aim of the paper is to analyze the units of different languages in Poe’s prose. The paper also deals with the Russian perception of Poe’s short stories. Here are attributed the results of the study on how Russian translators of different periods were introducing the complex of foreign inclusions.

The empirical material includes the authentic stories by Poe of the 1830s, and one text of 1844. The comparative linguistic and literary analyses, as well as the methods of the history of literature, were applied to achieve the goals of the study.

The research included two phases: 1) the study of Poe's original prose of the period under discussion; 2) the analysis of the Russian reception of the material.

The following conclusions have been made. In the period from 1832 to 1837 not only the genre of satire was being formed by Poe, but also the stories of horror and psychological stories were emerging. Sometimes the line between the stories of horror and parodies was barely discernible. The nature of the changes and the inconstant number of foreign inclusions indicate that Poe was looking for a clearer genre classification and thematic ranking of his works. The foreign language units were also aimed at creating the most acceptable form to convey the motive of extraterrestrial interference and the ideas about the essence of human existence.

The study has revealed that the problem of incomplete translation of foreign units in Poe's texts into Russian has not been fully solved yet. In the 19th century, due to the prevailing biographical and psychological approaches, this issue was not paid close attention to. Meanwhile the analysis of modern translations has revealed the deficit in the reproduction of all the intricacies of the author's ideas, visualized in the text with the help of foreign inclusions. To achieve the effect of the original short stories, as well as to make their genre specificities vivid, it is necessary to develop strategies for the complex and systematic transfer of foreign language units found in Poe's prose by means of the Russian language.

References

1. Nikonova, N.E. (2017) V.A. Zhukovsky's complete works and self-translations in German: the principles of scientific publication and its role in the poet's literary heritage publishing history. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 48. pp. 181–193. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/48/13
2. Palkina, E.A. (2016) [Foreign-language inclusions in the text as a form of intercultural interaction: to the history of study in Russian humanities]. *Dialog kul'tur: poetika lokal'nogo teksta* [Dialogue of cultures: poetics of the local text]. Proceedings of the international conference: in 2 vols. Vol. 1. Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. pp. 246–256. (In Russian).
3. Poe, E.A. (2009) The Philosophy of Composition. In: Levine, S. & Levin, S.F. *Edgar Allan Poe: Critical Theory*. Chicago: University of Illinois Press.
4. Kovalev, Yu.V. (1984) *Edgar Allan Po. Novellist i poet* [Edgar Allan Poe. Novellist and poet]. Leningrad: Kud. lit.
5. Absalyamova, E.N. (2017) Yazyki neob'yasnimogo: Strakh, smekh i tvorchestvo [Languages of the inexplicable: Fear, laughter and creativity]. In: Fokin, S. & Urakova, A. (eds) *Po, Bodler, Dostoevskiy: Blesk i nishcheta natsional'nogo geniya* [Poe, Baudelaire, Dostoevsky: The brilliance and poverty of the national genius]. Moscow: NLO.
6. Poe, E.A. (2011) *Tales of Mystery and Imagination*. London: Harper Press. pp. 260–284.
7. Poe, E.A. (1858) *Vil'yam Vil'son. Sochinenie Edgara Po* [William Wilson. A work by Edgar Poe]. Translated from English. St. Petersburg: Izd. A. Smirdina.
8. Poe, E.A. (1909) *Vil'yam Vil'son. Oval'nyy portret* [William Wilson. The Oval Portrait]. Translated from English by V. I. T. St. Petersburg: Tipografiya Spb. T-va "Trud". Fontanka, 86.
9. Poe, E.A. (1970) *Polnoe sobranie rasskazov* [Complete collection of short stories]. Translated from English. Moscow: Nauka. pp. 200–215.
10. Poe, E.A. (1976) *Vil'yam Vil'son* [William Wilson]. In: *Stikhotvoreniya. Proza* [Poems. Prose]. Translated from English. Moscow: Khud. lit. [Online] Available from: <http://lib.ru/INOFANT/POE/wilson.txt>.

11. Poe, E.A. (1861) Chert v ratushe [The Devil in the Belfry]. Translated from English. *Vremya*. 1(1). pp. 248–256.
12. Poe, E.A. (1896) *Sobranie sochineniy* [Collected works]. Translated from English. Vol. 2. St. Petersburg: Tipografiya br. Panteleyevykh.
13. Poe, E.A. (1908) *Neobyknovennye rasskazy i izbrannye stikhotvoreniya v per. L'va Umantsa* [Extraordinary stories and selected poems in translations by Lev Umanets]. Moscow: I.D. Sytin.
14. Poe, E.A. (1878) Geniy fantazii [The Angel of the Odd]. Translated from English. *Budil'nik*. 2. pp. 19–20.
15. Poe, E.A. (1832) The Bargain Lost. *Saturday Courier*. 2:88. December 1. pp. 1.
16. Poe, E.A. (1835) Bon-Bon. *Southern Literary Messenger*. 1:12. August. pp. 693–698.
17. Poe, E.A. (1835) The Visionary. *Southern Literary Messenger*. 1:11. July. pp. 637–640.
18. Poe, E.A. (1861) Svidanie [The Assignment]. Translated from English. *Sobranie inostrannykh romanov, povestey i rasskazov v perevode na russkiy yazyk*. 5. pp. 106–118.
19. Poe, E.A. (1976) Svidanie [The Assignment]. In: *Stikhotvoreniya. Proza* [Poems. Prose]. Translated from English. Moscow: Khud. lit. [Online] Available from: <http://lib.ru/INOFANT/POE/rendez-vous.txt>.
20. Poe, E.A. (2011) *Tales of Mystery and Imagination*. London: Harper Press. pp. 301–319.
21. Poe, E.A. (1874) Ligeia. Translated from English. *Delo*. 5. pp. 234–241.
22. Poe, E.A. (1901) *Sobranie sochineniy* [Works]. Translated from English by K.D. Bal'mont. Vols 1–2. Moscow: Skorpiion.
23. Poe, E.A. (n.d.) *Ligeia*. Translated from English by I. Gurova. [Online] Available from: <http://poe.velchel.ru/?cnt=7>.
24. Poe, E.A. (1976) Morella. In: *Stikhotvoreniya. Proza* [Poems. Prose]. Translated from English. Moscow: Khud. lit. [Online] Available from: <http://lib.ru/INOFANT/POE/morella.txt>.
25. Hammond, J.R. (1981) *An Edgar Allan Poe companion: a guide to the short stories, romances and essays*. London: Macmillan.
26. Carlson, E.W. (1996) *A companion to Poe studies*. Westport, Conn.: Greenwood Press.
27. Thompson, G.R. (1969) Silence – A Fable and the Folio Club: Who Were the “Psychological Autobiographers”? *Poe Newsletter*. January. pp. 23.
28. Pollin, B.R. (1970) *Discoveries in Poe*. Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Pr.
29. Fisher, B.F. (1978) The Power of Words in Poe’s “Silence”. In: Fisher, B.F. (ed.) *Poe at Work: Seven Textual Studies*. Baltimore: The Edgar Allan Poe Society.
30. Poe, E.A. (1838) Silence (Siopie). In: Carpenter, W.H. & Arthur, T.S. (eds) *The Baltimore Book*. Baltimore: Bayly and Burns.
31. Poe, E.A. (1840) Siopie. A Fable. *Tales of the Grotesque and Arabesque*. 2. pp. 19–24.
32. Urzha, A.V. (2015) [Epigraphs to E. Poe’s prose in Russian translations: features of interpretation]. *Perevod kak sredstvo vzaimodeystviya kul'tur* [Translation as a means of interaction of cultures]. Proceedings of the II international conference. Moscow: MAKS Press. pp. 322–332. (In Russian).
33. Poe, E.A. (1881) Molchanie [Silence]. *Russkoe bogatstvo*. May.
34. Poe, E.A. (1970) *Polnoe sobranie rasskazov* [Complete collection of short stories]. Translated from English. Moscow: Nauka. pp. 142–144.
35. Novich, N. (ed.) (1911) *Stikhotvoreniya E. Po v luchshikh russkikh perevodakh* [Poetry by E.A. Poe in the best Russian translations]. Moscow: Stella.

УДК 82:111.852

DOI: 10.17223/19986645/53/13

Д.И. Иванов, Д.Л. Лакербай

ПРОБЛЕМА СТИЛЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ М.М. БАХТИНА И А.Ф. ЛОСЕВА

Рассматриваются методологические стратегии ранних М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева в аспекте новой постановки проблемы стиля. Персоналогическая бахтинская эстетика убедительно аргументирует «внеаходимость» автора и «эстетическое завершение», но жестко разделяет эстетический объект и «материал». Лосевская диалектика логически «схватывает» художественную форму, но ей «не нужен» автор-творец. Однако оба мыслителя сохраняют антропологическую и бытийную природу художественной формы.

Ключевые слова: философская эстетика, методологические стратегии, эстетический объект, материал, самообъективация, дуализм, художественная форма, диалектика.

В рамках разрабатываемой авторами теории субъектности текста одно из важнейших мест занимает процессуальное понимание художественного произведения в бахтинской традиции (субъектная «онтология» художественного текста) и связанная с этим новая постановка проблемы индивидуального стиля (см. [1–4]). «Процессуален язык, точнее, возникающее уникальное речевое произведение; процессуальна переходящая через порог «снятия» субъективность: объективирующаяся в языке (речевом произведении) авторская субъективность и «воссоздающая» (эстетический объект из речевого произведения) или «волюнтаристская» («наслаждение от текста») – читательская» [3. С. 101–102]. Между пришедшими из лингвистики понятиями *идиолект* и *идиостиль* существует принципиальный (и с трудом осознаваемый в рамках самой лингвистики) разрыв [2. С. 20–21]: язык *стильного* художественного произведения – не «украшенный», но «другой», *трансцендирующий* язык, что делает невозможной операцию «обратного превращения» (так школьники пытаются пересказать лирику). Перешедшее в язык субъектное начало создает «матрицу» индивидуального стиля, который, однако, реализуется лишь в аспекте «сотворческого» с читателем эстетического объекта (а не «материально» понимаемого вербального текста). Стиль как различительная уникальность виден и осязаем далеко не во всех исследовательских ракурсах [4. С. 25–26]. Более того, многие методологические стратегии, составившие славу научной и философской мысли, содержат, на наш взгляд, «ограничители» понимания стиля. Особенно интересно оценить в этой перспективе концептуальные решения М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева, без которых не была бы возможна сама постановка проблемы.

Эти методологические стратегии часто принято противопоставлять как «диалогическую» и «диалектическую», однако в гуманитаристике противопоставление всегда предполагает наличие общих планов и ракурсов видения. И здесь важнейшим для нас оказывается отказ обоих мыслителей сводить эстетическую проблематику к строгой модели, стремление всё время выходить к целому – человеку, бытию, жизни. М.М. Бахтин в самом начале программной работы указывает, что «стремление построить науку во что бы то ни стало» часто приводит «к обеднению предмета, подлежащего изучению, и даже к подмене этого предмета – в нашем случае – художественного творчества – чем-то совсем другим», что сохранить «всю сложность, полноту и своеобразие предмета, – дело в высшей степени трудное» [5. Т. 1. С. 266]. А.Ф. Лосев, разъясняя логику своего философского пути, подчеркивал, что находит в диалектике «единственный метод, способный охватить живую действительность в целом. Больше того, диалектика есть просто ритм самой действительности» [6. С. 616–617]. Задача диалектики, по Лосеву, – дать «логическую конструкцию антиномико-синтетического строения вещей реального опыта», «объяснить смысл во всех его смысловых же связях, во всей его смысловой, структурной взаимосвязанности и самопорождаемости» [Там же. С. 616], т.е. преодолеть любые отвлеченность и схематизм («Гуссерля с Кассирером»), что роднит его с Бахтиным: «...и тот и другой занят постижением смысла бытия в его целостности и конкретности, разница лишь в модусах постижения смысла, Бахтин **слышит** голоса в сфере целого социального пространства, Лосев **видит** смысл в диалектическом «скелете» мифа как конкретного бытия» [7. С. 94].

Сопоставляя ранее (в рамках той же гуманитарной корреляции, казалось бы, противоположного) стратегии М.М. Бахтина и Р. Барта, мы убежились, что, несмотря на резкое различие (у Бахтина «внезаходимый» автор обеспечивает эстетическую целостность и, следовательно, стиль; Барт идет *мимо* стиля и эстетического к «означающей практике»), и в этом ракурсе «автор» нефункционален, навязан), оба «улавливают нечто чрезвычайно схожее – невозможность подстановки фигуры автора как маркера прямой субъектности текста <...> Текст обладает *абсолютным диапазоном воплощения авторского начала*, демонстрирует любую степень и форму его игровой определенности – или «смерть автора», т.е. невозможность вообще определить его» [1. С. 20]. Но об этом же в рамках традиционной эстетики пишет и А.Ф. Лосев: «...реальное художественное восприятие требует, чтобы для художественной формы не было никакого автора, чтобы художественная форма воспринималась как нечто творящее себя саму» [8. С. 87]. Как возможно такое сближение и какое значение это имеет для понимания природы стиля (того носителя субъектности, который «представляет» в эстетическом объекте за автора)?

Бахтин в 1920-е гг., размышляя об архитектонике («воззрительно-интуитивно необходимом, не случайном расположении и связи конкретных, единственных частей и моментов в завершенное целое») [5. Т. 1.

С. 70], настаивал на том, что подобное «упорядочение смысла» не могут сами по себе осуществить ни мысль, ни проблема, ни тема, ни система, а только человек как ценностно-смысловой центр. К «автору» он шел от «героя», но обоих понимал прежде всего в модусе антропологии культуры: «Человек есть условие возможности какого бы то ни было эстетического видения...» [5. Т. 1. С. 85]. Необходимость даже не самого героя, но «инстанции героя» (как особой позиции *другого*, в форме которого только и возможно *эстетическое инобытие личности*) для Бахтина очевидна: «...менее всего в себе самом мы умеем и можем воспринять данное целое своей собственной личности. В художественном же произведении в основе реакции автора на отдельные проявления героя лежит единая реакция на целое героя <...> Специфически эстетической и является эта реакция на целое человека-героя...» [Там же. С. 89]. С тотальностью эстетической реакции на «другого» прямо связаны как неустраняемая асимметрия членов этой пары, так и сама возможность возникновения художественного целого («завершение»): «Автор не только видит и знает все то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально не доступно, и в этом всегда определенном и устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения целого» [Там же. С. 95].

«Избыток видения» автора Бахтин называет «почкой, где дремлет форма и откуда она и разворачивается, как цветок» [Там же. С. 106], и обуславливает его экзистенциальными соображениями, «единственностью и незаместимостью моего места в мире», резко противопоставляя их и традиционной гносеологии, и психологической самоидентификации [Там же. С. 104–105]. Идя от субъекта-творца к произведению, Бахтин интерпретирует данный путь, «инобытийно» сохраняя субъекта в эстетическом объекте как того, кто сумел не просто «помыслить», но провести «самообъективацию», «перевести себя с внутреннего языка на язык внешней выразительности и вплести себя всего без остатка в единую живописно-пластическую ткань жизни» [Там же. С. 111]. Персонологический ракурс бахтинской эстетики, однако, «самообъективацию» превращает в «развитую впоследствии теорию о невозможности прямого авторского слова, о погруженном в молчание первичном авторе и т.д.» [9. Т. 1. С. 420]. Последний не отвлеченная философема, но понимание субъекта творчества (прежде всего романного автора) как носителя высшей свободы в несвободном мире: инспирируемое им художественное «“завершение” служит бунтарской демистификации всего “социально-идеологического мира”» через «жесткую объективацию социально-идеологических языков» [10. С. 11–12]. Акцентируем, что позиционная свобода от «социально-идеологических языков» означает и невозможность *непосредственной* материализации первично-авторского (субъектного) начала в самом тексте: «Первичный автор – *natura non creata, quae creat*; вторичный автор – *natura creata, quae creat*. Образ героя – *natura creata, quae non creat*. Первичный автор не может быть образом: он усколь-

зает из всякого образного представления. Когда мы стараемся *образно* представить себе первичного автора, то мы сами создаем его образ, т. е. сами становимся первичным автором этого образа. Создающий образ (т. е. первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ. Слово первичного автора не может быть *собственным* словом...» [11. Т. 6. С. 412]. Принципиально важно для нас, что результатом этой стратегии оказываются не только герои, «но также и автор-творец, который оформил и направил их. Он отделяется от автора-личности, чтобы стать тайным законодателем текста, которому дала существование его энергия. Короче говоря, автор, определяющий текст, не есть лицо» [12. Т. 2. С. 65].

Идея «самообъективации» и «геройности» эстетического инобытия автора привела даже к утверждению, что концептуализированный в рамках бахтинских взглядов герой (а именно герои Достоевского) оказывается по сути *лирическим героем* [13. С. 34]. Вряд ли это так, ведь лирическая и эпическая объективации *в своем пределе* разнонаправленны: в лирической объективации (лирический герой во «внутренней ситуации» лирики) автор стремится *совпасть* со своим героем (никогда, естественно, не совпадая); в эпической объективации (герой во внешней ситуации повествования) – *отделить* его от себя (с разной степенью успешности). К тому же при резкой однозначности интерпретации всегда есть опасность «монологизации» Бахтина [14. С. 347]. Но *почему* при восприятии его концепции возникает такое совмещение, *почему* Бахтин говорит о свободе и незавершенности *эстетического другого* – а слышится лирическое *другой-для-меня, я другой?*

Ответ, на наш взгляд, обрисовывает познавательные границы методологии бахтинской философской эстетики. Лежащая в ее сердцевине *эстетическая антропологизация* бытия «завязана» на герое как *единственной* форме эстетического инобытия авторской личности – где нет героя, там есть его «тенденция», «потенция», граница между «условием видения» и героем «зыбкая», и т.п. Автор *видит* героем – и потому, с одной стороны, эта неразрываемая связь порождает «лирическую» интерпретацию, а с другой – вызывает риторический вопрос: *разве вся связанная с автором художественность может быть увидена в перспективе героя, отнесена к нему?*

Мир литературы – это мир человека, но бахтинская интерпретация человеческого как «геройного» слишком *ракурсна*, т.е. проистекает из перспективы автора-субъекта творчества, но никак не из перспективы художественного текста. Из того, что ни одно слово произведения непосредственно автору принадлежать не может, а всегда принадлежит кому-то из «репертуара масок» и «системы голосов», следует возможность увидеть «субъектную организацию текста», но никак не *весь текст в его стиливой уникальности*. Однако, перейдя к «объектной организации текста» (несущей конструкцией которой служит сюжет), мы оказываемся с другой стороны этой уникальности, но стороны не складываются арифметически: здесь творящая субъектность уступает место разнообразным единицам анализа от детали до хронотопа и интерпретативной конвергенции их конструктивных смыслов. По сути дела, мы никак не можем перейти от автора

к стилю в аспекте уникальности (стильности) последнего: анализ в бахтинской традиции, твердо усвоив, что «авторское лицо» в тексте искать незачем, все равно ищет «лица» (голоса), т.е. знаки *прямого* человеческого присутствия. «Объектный» анализ, напротив, исходит лишь из общей концепции этого присутствия (или вообще его игнорирует), но в нем, в принципе, не нуждается (на чем и основана вера формалистов и структуралистов в самодостаточность «приемов» и «структур»). Так индивидуальный стиль, будучи со всей возможной яркостью явлен феноменально, «утекает» в зазор между «субъектным» и «объектным», поскольку простирается из первого во второй, нераздельно объемлет оба, таким образом «заведует» целостностью и не может быть адекватно увиден и смоделирован *либо* «субъектно», *либо* «объектно».

В случае Бахтина это особенно заметно в тот момент, когда он, вероятно под влиянием Г.Г. Шпета [15. С. 12–13], временно переакцентировал свое внимание с «автора / героя» на «содержание / форму / материал». Пока речь идет о содержании и форме, т.е. собственно эстетическом объекте в понимании Бахтина (вне материала, над ним), односторонность, «ракурсность» его субъектной эстетики не воспринимается как ограничивающее начало. Казалось бы, нет необходимости спорить с указанием на «посторонность» материала эстетическому объекту: «...объединяется, индивидуализуется, оцельняется, изолируется и завершается не материал – он не нуждается ни в объединении, ибо в нем нет разрыва, ни в завершении, к которому он индифферентен, ибо, чтобы нуждаться в нем, он должен приобщиться к ценностно-смысловому движению поступка, – а всесторонне пережитый ценностный состав действительности, событие действительности» [5. Т. 1. С. 289–290]. Бахтина «материал» не волнует, его волнует «внеаходимость», которая «позволяет художественной активности извне объединять, оформлять и завершать событие» [Там же. С. 290]. Однако «материал» писателя – это слово, за которым стоит Язык – по современным представлениям, никак не пассивное орудие мысли, но соучастник всего человеческого. И чем больше разворачивается бахтинская концепция, тем больше становится видна ее односторонность: «...отношение художника к слову – как к слову – есть вторичный производный момент, обусловленный его первичным отношением к содержанию <...> Собственно словесный стиль (отношение автора к языку и способы оперирования с языком) есть отражение на данной природе материала его художественного стиля (отношения к жизни и миру жизни и обусловленного этим отношением способа обработки человека и его мира); художественный стиль работает не словами, а моментами мира, ценностями мира и жизни, – его можно определить как совокупность приемов формирования и завершения человека и его мира, и этот стиль определяет собою и отношение к материалу, слову» [Там же. С. 251–252]. Разрыв эстетического объекта (содержания эстетической деятельности, направленной на произведение) и слова-материала порождает представление о двух стилях – собственно-художественном и словесном, т.е. полный дуализм. Причину такой резко-

сти раскрывает Л.А. Гогтишили: язык у Бахтина всего лишь «“слуга” события бытия, т. е. слепка ставшего “принципиально иным” мира; повысить этот статус хоть чуть-чуть – значило бы поставить язык на место самого “события бытия” и самого “мира”, сделать его из адекватного выражения полноты бытия – “домом бытия”» [9. Т. 1. С. 410], т. е. выйти на хайдеггеровскую линию, а в отдаленной перспективе – к современной философии языка.

Так обнаруживается методологическая граница: «Язык в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного искусства не входит» [5. Т. 1. С. 303]. Однако язык – не просто «преодолеваемый» материал. Содержание и форма находятся в коррелятивных отношениях нераздельности-неслиянности, автор-субъект творчества эстетически *завершает* их (т.е. созидает из *иного*) – и язык *завершения* является «техническим моментом»? Думается, перед нами некий предел субъектно-ориентированной методологии, проявление, как мы это называем, «моделирующей машины», жестко обозначающей параметры допустимого моделирования и механически контролирующей их («механически» означает здесь не бессознательность исследователя, но принцип исследования, который нельзя отменить внутри модели).

Бахтинская «моделирующая машина» *требует* отделить эстетический объект (инобытие художника) от материала – но «техника» может *творчески «преодолеть»* материал только в том случае, если она (используем терминологию Бахтина) *движима процессуальностью эстетического завершения, не только разделяюще-преодолевающего, но и соединяющего материал и эстетический объект*. Ведь сама «лингвистическая определенность» языка до «встречи» с автором – это «теоретическая абстракция, игнорирующая изначальную тотальную *вовлеченность* автора в язык. *Преодоленный* язык оказывается не «максимально использованным», а *другим, индивидуально-авторским языком, создание которого невозможно только с одной стороны*. Живым соучастником творения язык становится благодаря тому, что автор соотносит свою внутреннюю жизнь с его непостижимой, объемлющей человечество потенциальной жизненностью» [1. С. 21], переводит «внутреннюю речь» на неповторимый «язык внешней выраженности». Возникает своеобразная бытийная «ниша», где «субъект» и «объект» не только нераздельны, но и взаимнообратимы. И феномен стиля – это «феномен явленности языка внутри языка, индивидуального языка-места в его бытийности внутри общего <...> индивидуальный стиль реализуется в особом *субъектно-языковом пространстве*, пространстве сотворчества языка и человека. Оно феноменально воплощено в индивидуальном стиле, его можно увидеть, услышать, ощутить во всей его уникальности. <...> Так, в соавторстве художника и языка-места, снимается дуализм «материала» и эстетического объекта» [Там же. С. 22].

Игнорирование или недооценивание многоаспектности «встречи» потенциального автора и языка (в его пространстве, на его территории) превращают художника в какой-то механический агрегат, экскаваторкомбайн, захватывающий ковшем некую «реальность» и совершенно ми-

стическим образом «переживающий» ее. См., например: «Искусство начинается с освоения и переработки жизненного материала, и только в результате этой работы <...> возникает художественное содержание, т.е. в системе отношений между жизненным материалом и творческой волей художника, где художник осваивает и «представляет», «выражает» и перерабатывает, осмысливает и переосмысливает сопротивляющуюся творцу реальность» [16. С. 6].

С бахтинской «точки зрения», однако, само место этой встречи увидеть невозможно: вне субъекта бытие пассивно, у «материала» нет возможности «ответить». Если перефразировать Бродского, у раннего Бахтина язык всегда инструмент поэта – и никогда наоборот, а настоящее «завершение», т. е. создание полноценной формы, в которой язык есть не только «что», но прежде всего «как», проблематично. Поэтому в бахтинской эстетике, глубоко разработавшей *индивидуальный (субъектный) источник и суть эстетического моделирования (с позиции субъекта)*, ни проблема формы (в обоих видах ее материальности одновременно), ни проблема стиля не могут быть поставлены интересующим нас образом. Вот здесь и становится видна и «плодотворная односторонность» глубокого моделирования – и «комплементарность» моделей по отношению друг к другу, если мы хотим приблизиться к феномену. Бессубъектная, «объективно-идеалистическая» лосевская «диалектика художественной формы», в другой категориальной системе и с другой стороны, *но логически схватывает* именно то, что не видно из перспективы субъекта.

Поскольку это в высшей степени рациональная система, мы можем отвлечься от исходных и финальных неоплатонических интуиций и попытаться увидеть осмысленную на языке диалектики процессуальность самой художественной формы. Важнейшее обстоятельство – у А.Ф. Лосева мостом «между субъективностью человека и объективностью вещи» является язык, истолкованный как «средство, цель и продукт <...> изначально творческого эйдетического акта, устремляющего сознательное здесь-Бытие, Dasein, к вершине мифа <...> ставшего *культурой*. Без него, без этой мировой пифии, вещающей о судьбе (Хайдеггер), была бы немыслима встреча *мира* и *человека*, то грандиозное (пра)со-бытие, отзвуки которого побуждают дух к осуществлению собственной судьбы, ведя его через конечность многообразного к вечно животворящему огню единого космоса» [17. С. 41–42].

«Бессубъектность» в плане *человеческого источника творения* вовсе не означает у Лосева игнорирование художника – у него здесь другое место: смысловая предметность сама стремится к форме, т.е. к тому, чтобы быть выраженной в некоей инаковости, поэтому «художник в определенном смысле выступает лишь посредником, орудием самовыражения смысла. “Художник – медиум сил, идущих через него и чуждых ему”, поэтому он должен быть предельно пассивен в акте творчества и открыт для самовыражения через него художественной формы» [18. С. 147]. Личность художника не устранена, но «овнутрена» становлением формы, объективирована как неотъемлемый момент становления и самой жизни формы. Пони-

мая под мифом «эйдос, данный в своей интеллигентной полноте», «выражение как интеллигенцию», под «интеллигентией» (сознанием) – «соотнесенность смысла с самим собой», под символом – «специально выражающую» сторону мифа, его «внешнеявленный лик», Лосев, акцентируя момент «становления сущности в ином», формулирует: ««Выражение, или форма, сущности есть *становящаяся в ином сущность*, неизменно струящаяся своими смысловыми энергиями <...> Она – «твердо очерченный лик сущности, в котором отождествлен логический смысл с его алогической явленностью и данностью. Говоря вообще, выражение есть *символ*» [8. С. 15]. Поскольку миф у Лосева и есть «интеллигентно данный символ», ясной делается модификация, которую претерпевает миф, мыслимый как несомый при помощи *факта*: «Если вместо эйдоса мы получаем вещь, вместо топоса – качество, вместо схемы – количество и т. д., *то вместо мифа мы получаем личность*, «я». Таким образом, личность есть факт <...> взятый с точки зрения стремящейся к себе, утверждающей себя смысловой самоотнесенности, устремившейся также и на иное, но возвращающейся на себя саму, с обогащением моментами самозавершенности и самодовления. *Короче: личность есть интеллигентный миф как факт, или – факт, данный как тождество вне-интеллигентного и интеллигентного смысла, или – символически осуществленный миф*» [Там же. С. 33–34]. Перед анализом собственно *выражения* Лосев осмысляет, как *вообще* возможна форма и как она связана со смыслом, а личностный момент оказывается имманентной характеристикой становления смысла в ином.

Расширение гегелевской триады до «тетрактиды», введение факта («наличности», «ставшего») позволило Лосеву увидеть художественную форму в ее динамической специфике. Если бахтинская эстетика не могла адекватно отразить *материально-смысловую процессуальность произведения как такового*, то лосевская делает это с виртуозным изяществом. Три начала: единое (тождество), многое (различие) и становление – развертывают диалектическую систему, а четвертое – «факт и носитель триадного смысла», «носитель алогического становления, или алогически ставшее, данное опять-таки или как единичность, или как подвижной покой, или как самотождественное различие. Факт – иное смысла; факт – носитель смысла, ставший смысл» [Там же. С. 19].

Лосев сумел диалектически вывести нераздельно-неслиянное процессуальное единство всех основных сторон художественного произведения: его материальный, наличный факт (текст) есть *ставший* смысл, но в то же время он наделен ставшим *смысла*, т. е. формой, выражением, данным как «вне-смысловая инаковость, адекватно воспроизводящая ту или иную смысловую предметность. <...> Это – такая алогическая инаковость смысла, для понимания которой не надо сводить ее на первоначально данный отвлеченный смысл. И это такой смысл, который понимается сам по себе, без сведения его на его внешнюю алогическую данность. Художественное в форме есть принципиальное *равновесие* логической и алогической стихий» [Там же. С. 45].

Лосевская «формула формы» такова: *«Художественное выражение, или форма, есть то выражение, которое выражает данную предметность целиком и в абсолютной адекватности, так что в выраженном не больше и не меньше смысла, чем в выражаемом. <...> Художественная форма есть такая форма, которая дана как цельный миф, цельно и адекватно понимаемый»* [8. С. 45]. Философ совершенно прав, когда говорит, что такое определение преодолевает метафизический дуализм «идеального» и «реального» и позволяет не умерщвлять «живое восприятие действительности». Данный подход к форме имплицитно подразумевает множество важных последствий, в частности органическую целостность не как отвлеченную идею, но как внутреннюю закономерность становления формы-мифа-личности, а также самодостаточность художественного выражения.

Отсюда видно, почему лосевская диалектика формы не нуждается в художнике-творце – дело даже не в «трансцендентности» источника, а в самой диалектической систематике, телосом которой является миф. Человек оказывается необходимым посредником и в то же время – в качестве «образа и подобия» – высшей формой выраженности в жизни и в искусстве. Человеческое, по Лосеву, – это и есть принцип искусства, и, если какой-либо, самый отвлеченный, пейзаж есть произведение искусства, «он есть всегда нечто «живое» <...> В нем есть внешнее, в нем есть внутреннее, в нем есть смысл, есть понимание, есть интеллигенция. Следовательно, он принципиально есть некая живая и разумная личность. Самая рьяная «беспредметная» живопись подпадает под вышеформулированное понятие художественной формы» [Там же. С. 47].

Лосев показывает, как можно логически помыслить, рационально смоделировать те – сущностные! – свойства произведения, о которых чаще всего говорят эссеистическим языком или оставляют за скобками анализа: *«...выражение, форма, есть нечто среднее между смысловой предметностью и инаковостью, которая ее воспроизводит. <...> Художественная форма есть становящаяся (и, стало быть, ставшая), т. е. энергийно-подвижная инаковость смысловой предметности, или смысловая предметность, данная как своя собственная энергийно-подвижная инаковость»* [Там же. С. 52, 54].

Приводя в пример лермонтовские строки («Мы пьем из чаши бытия // С закрытыми глазами»), Лосев показывает, как реализуется тождество / различие предметности и формы: «Тождественна она потому, что о предметности мы узнаем здесь только из образа чаши, из которой пьет некто, закрыв глаза. Различна же она со своей предметностью потому, что последняя могла быть выражена и еще другими, бесчисленными способами. Эта смысловая предметность, которая отвлеченно могла бы быть здесь обозначена как, примерно, «безотчетное и слепое пользование жизнью, или стремление жить», может быть выражена тысячью способов, оставаясь везде одной и той же. Ясно, значит, что выражение как *такое* отлично от выражаемой предметности. И вот, одновременно возникает тождество и различие, тождество в различии и различие в тождестве. <...> «питие»

вносит нечто совершенно новое, ни в коем случае не содержащееся в голой предметности «безотчетного стремления к жизни». «Чаша» вносит нечто, ничего общего не имеющее с жизнью и со стремлением к ней <...> дана цельная форма, в которой предмет и выражение самоотжественно переливаются один в другое, взаимопроникаются, и в которой они так же четко и расчленимы, и различимы» [8. С. 54, 55]. Логически доказуема таким способом вся «номенклатура» свойств художественной формы, в том числе целостность и самоотжественность: «Будучи одновременно тождественной себе и различной с собою, форма не может быть вообще ничем, кроме самоотжественного различия <...> Переходя от одного к другому в пределах формы, мы все время продолжаем стоять на месте, ибо и одно и другое есть тут одно и то же – в их принадлежности к форме» [Там же. С. 59].

Вот почему в основе эстетики и Бахтина, и Лосева стиль играет факультативную роль (поздний Лосев поставит проблему стиля заново): его «законодательная тотальность» не очевидна с одной из вышеназванных позиций – нужны обе, виртуозно развивающие разнонаправленные перспективы: Бахтин исходит из человека-творца и «не доходит» до формы, впоследствии «перескакивая» к слову; Лосев блестяще теоретизирует форму в неразрывной связи с бытием, а не раздельно-спецификаторски (отчего и становится возможен *общий* взгляд на форму), но «недооценивает» художника. Однако оба замечательным образом сохраняют главное – антропологическую и бытийную природу художественной формы, которая, подобно живой жизни, и свободна, и причинно зависима: «Живая жизнь искусства и живое его восприятие говорят о том, что художественная форма наделена синтетической слитостью, и в этом диалектическая разгадка той непринужденности и блаженной самодовленности художественной формы. Это то и волнует нас в искусстве; и, воспринимая это, мы сами погружаемся в необычный для нас мир, где мы сами свободно полагаем свою ограниченность и обусловленность и где мы сами по необходимости – свободны. Оттого так легко дышится в этих сферах, и оттого уходим мы из концертного зала с небывалыми мечтами о свободе и о ее необходимости» [Там же. С. 91–92].

Литература

1. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Проблема стиля и язык // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6 (72) : в 3 ч. Ч. 3. С. 19–22.
2. Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Текст, стиль, идиостиль в лингвистике и литературоведении: замечания к привычному // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 4 (70) : в 2 ч. Ч. 2. С. 18–22.
3. Лакербай Д.Л. Автор, читатель, произведение (к теории индивидуального стиля) // Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. кн. 2. С. 98–105.
4. Лакербай Д.Л. Стиль как методологическая проблема литературоведения // Вестник Ивановского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. Вып. 1 (13). С. 25–46.

5. *Бахтин М.М.* Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. / ред.: С.Г. Бочаров, Н.И. Николаев. М. : Русские словари: Языки славянской культуры, 2003. 957 с.
6. *Лосев А.Ф.* Философия имени // Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос / сост. А.А. Тахо-Годи ; общ. ред. А.А. Тахо-Годи, И.И. Маханькова. М., 1993. С. 613–801.
7. *Данилин С.Ю.* А.Ф. Лосев и М.М. Бахтин. Диалектика и диалог // СОФИЯ. Вып. 1: А.Ф. Лосев: ойкумена мысли. Уфа, 2005. С. 92–96.
8. *Лосев А.Ф.* Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А.А. Тахо-Годи ; общ. ред. А.А. Тахо-Годи, И.И. Маханькова. М., 1995. С. 6–296.
9. *Гоготшивили Л.А.* Комментарий // Бахтин М.М. Собр. соч. : в 7 т. / ред. С.Г. Бочаров, Н.И. Николаев. М., 2003. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. 957 с.
10. *Косиков Г.К.* «Человек бунтующий» и «человек чувствительный» (М.М. Бахтин и Р. Барт) // Лики времени : сб. ст. М., 2009. С. 11–12.
11. *Бахтин М.М.* Собрание сочинений : в 7 т. Т. 6: Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. / ред.: С.Г. Бочаров, Л.А. Гоготшивили. М. : Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. 800 с.
12. *Кларк К., Холквист М.* Архитектоника ответственности // М.М. Бахтин: PRO ET CONTRA: Творчество и наследие М.М. Бахтина в контексте мировой культуры: антология : в 2 т. СПб., 2002. Т. 2. С. 37–71.
13. *Калыгин А.И.* Ранний Бахтин: Эстетика как преодоление этики. Эго-персонализм, лирический герой и единство эстетических теорий. М. : РГО, 2007. 129 с.
14. *Тамарченко Н.Д.* «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М. : Изд-во Кулагиной, 2011. 400 с.
15. *Бабич В.В.* Диалог поэтик: Андрей Белый, Г.Г. Шпет и М.М. Бахтин // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 1. С. 5–54.
16. *Рымарь Т.Н., Скобелев В.П.* Теория автора и проблема художественной деятельности. Воронеж : Логос-Траст, 1994. 262 с.
17. *Сватко Ю.* «Текст – мир человека – культура»: в пространстве современного эйдетизма // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1994. Т. 2. С. 37–60.
18. *Бычков В. В.* Эстетика : учеб. М. : Гардарики, 2004. 556 с.

THE STYLE PROBLEM AND METHODOLOGICAL STRATEGIES OF M.M. BAKHTIN AND A.F. LOSEV

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 194–206. DOI: 10.17223/19986645/53/13

Dmitry I. Ivanov, Guangdong University of Foreign Studies (Guangzhou, China), Ivanovo State University (Ivanovo, Russian Federation). E-mail: Ivan610@yandex.ru

Dmitry L. Lakerbai, Ivanovo State University (Ivanovo, Russian Federation). E-mail: lakomotion@yandex.ru

Keywords: philosophical aesthetics, methodological strategies, aesthetic object, material, self-objectification, dualism, artistic image, dialectics.

This article considers the methodological strategies in the earlier research of Mikhail Bakhtin and Aleksei Losev (the works of the 1920s) in terms of the piece of art's procedurality idea. There is a multi-aspect problem including the subjective style problem that is in the focus of attention. In terms of the theory of subjectivity the authors elaborate, a complex methodology with the hermeneutic and structural-typological principles is used.

The strategies of Bakhtin and Losev are often set against each other as “dialogic” and “dialectic”, but more important is the scholars’ renounce to resolve the aesthetic problem to a strict model and the aspiration to head to Man, Existence and Life. Bakhtin’s personological aesthetics demonstratively proves the author’s “outsidedness” and “aesthetic conclusion”, but definitely tells the aesthetic object from the “material”. The *aesthetic anthropologism* of ex-

istence that lies within the core of Bakhtin's personological aesthetics is closely connected with the character as the *only* form of the author's impersonation – there is “tendency” and “potency” if there is no character, etc. The aesthetic object (the aesthetic activity load within the piece of art) and the material suffer a division that generates the image of two styles: personal-artistic and verbal, i.e. complete dualism. The current concept is that the word (the language) is the “associate” of man's artistic creation rather than the “material for overcoming”, that is why Bakhtin's aesthetics that completely develops *the individual (subjective) source and the essence of the aesthetic modeling (from the subject's point of view)* can actually set neither the form problem (within the both its substantivity types) nor the style problem.

Compared to Bakhtin's concept, Losev's dialectics logically embraces the artistic image though “it does not need” the author-creator. Losev's “subjectlessness” in terms of *the source of man's creativity* does not mean the artist's disregard for he has a specific role: notional objectification heads to the form, in other words, to be expressed in some kind of “otherness”; therefore, the artist has a mediating role. The artist's personality is not removed but filled by the form setting and objectified as the inherent life setting of the form. That is why the earlier works of Bakhtin and Losev consider the style as oblique to the aesthetics basis, in other words, its “legislative tone” is questionable from *one of the noted points of view* – both of the counterdirectional developing perspectives *are needed*.

Thus, Bakhtin originates from man-creator and “does not touch” the form “leaping” straight to the text; Losev masterfully theorizes the form that is *indissociable* to existence (therefore, *the general view* on the form is possible), but “underrates” the artist. Both of the researchers wonderfully preserve the key – the anthropological and existential nature of the artistic image, which, like Life, is free and casually tangled at the same time.

References

1. Ivanov, D.I. & Lakerbai, D.L. (2017) Style problem and language. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 6(72):3. pp. 19–22. (In Russian).
2. Ivanov, D.I. & Lakerbai, D.L. (2017) Text, style, individual style in linguistics and literary criticism: comments to generally accepted concepts. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 4(70):2. pp. 18–22. (In Russian).
3. Lakerbai, D.L. (2014) Avtor, chitatel', proizvedenie (k teorii individual'nogo stilya) [Author, reader, work (to the theory of individual style)]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Ser. Gumanitarnye nauki – Proceedings of Kazan University. Humanities Series*. 156(2). pp. 98–105.
4. Lakerbai, D.L. (2013) Stil' kak metodologicheskaya problema literaturovedeniya [Style as a methodological problem of literary studies]. *Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki*. 1 (13). pp. 25–46.
5. Bakhtin, M.M. (2003) *Sobranie sochineniy: v 7 t.* [Works: in 7 vols]. Vol. 1. Moscow: Russkie slovari: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
6. Losev, A.F. (1993) Filosofiya imeni [Philosophy of the name]. In: Takho-Godi, A.A. & Makhan'kov, I.I. (eds) *Bytie – imya – kosmos* [Being – name – cosmos]. Moscow: Mysl'.
7. Danilin, S.Yu. (2005) A.F. Losev i M.M. Bakhtin. Dialektika i dialog [A.F. Losev and M.M. Bakhtin. Dialectics and dialogue]. *SOFIYA*. 1. pp. 92–96.
8. Losev, A.F. (1995) Dialektika khudozhestvennoy formy [Dialectics of the artistic form]. In: Takho-Godi, A.A. & Makhan'kov, I.I. (eds) *Forma – Stil' – Vyrazhenie* [Form – style – expression]. Moscow: Mysl'.
9. Gogotishvili, L.A. (2003) Kommentariy [Commentary]. In: Bakhtin, M.M. *Sobranie sochineniy: v 7 t.* [Works: in 7 vols]. Vol. 1. Moscow: Russkie slovari: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

10. Kosikov, G.K. (2009) “Chelovek buntuyushchiy” i “chelovek chuvstvitel’nyy” (M.M. Bakhtin i R. Bart) [A “rebellious person” and a “sensitive person” (M.M. Bakhtin and R. Barthes)]. In: *Liki vremeni* [Faces of time]. Moscow: Yustitsinform.
11. Bakhtin, M.M. (2002) *Sobranie sochineniy: v 7 t.* [Works: in 7 vols]. Vol. 6. Moscow: Russkie slovari; Yazyki slavyanskoy kul’tury.
12. Clark, K. & Kholkvist, M. (2002) Arkhitektonika otvetstvennosti [The architectonics of answerability]. In: Isupov, K.G. *M.M. Bakhtin: PRO ET CONTRA: Tvorchestvo i nasledie M.M. Bakhtina v kontekste mirovoy kul’tury: antologiya: v 2 t.* [M.M. Bakhtin: PRO ET CONTRA: Creativity and heritage of M.M. Bakhtin in the context of world culture: anthology: in 2 vols]. Vol. 2. St. Petersburg: Nauka.
13. Kalygin, A.I. (2007) *Ranniy Bakhtin: Estetika kak preodolenie etiki. Ego-personalizm, liricheskiy geroy i edinstvo esteticheskikh teoriy* [Early Bakhtin: Aesthetics as overcoming ethics. Ego-personalism, lyrical hero and unity of aesthetic theories]. Moscow: RGO.
14. Tamarchenko, N.D. (2011) “Estetika slovesnogo tvorchestva” M.M. Bakhtina i russkaya filosofsko-filologicheskaya traditsiya [“Aesthetics of Verbal Creativity” by M.M. Bakhtin, and the Russian philosophical and philological tradition]. Moscow: Izd-vo Kulaginoy.
15. Babich, V.V. (1998) Dialog poetik: Andrey Belyy, G.G. Shpet i M.M. Bakhtin [Dialogue of poetics: Andrei Bely, G.G. Shpet and M.M. Bakhtin]. *Dialog. Karnaval. Khronotop.* 1. pp. 5–54.
16. Rymar’, T.N. & Skobelev, V.P. (1994) *Teoriya avtora i problema khudozhestvennoy deyatel’nosti* [The author theory and the problem of artistic activity]. Voronezh: Logos-Trast.
17. Svatko, Yu. (1994) “Tekst – mir cheloveka – kul’tura”: v prostranstve sovremennogo eydetizma [“Text – world of man – culture”: in the space of modern eideticism]. *Filosofiya yazyka: v granitsakh i vne granits.* 2. pp. 37–60.
18. Bychkov, V.V. (2004) *Estetika* [Aesthetics]. Moscow: Gardariki.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/53/14

И.А. Новокрещенных

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ О. БЕРДСЛИ И Д. ЛОУРЕНСА

На материале незавершенного романа О. Бердсли «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера», его иллюстраций к произведениям О. Уайльда и А. Суинберна и романа Д. Лоуренса «Белый павлин» исследованы художественные связи Бердсли и Лоуренса. Интертекстуальные и интермедийные взаимодействия раскрываются в результате анализа впечатлений героев романа Лоуренса от листов Бердсли и дополнены анализом мотивов воды и купания (вариант – мотив туалета) в обоих романах.

Ключевые слова: художественные связи, Бердсли, Лоуренс, «Белый павлин», модерн, интермедийность, интертекстуальность.

Роман «Белый павлин» (*The White Peacock*, 1906–1911) Дэвида Герберта Лоуренса (*David Herbert Lawrence*, 1885–1930) неоднозначно оценивается зарубежной критикой [1. С. 96–106]. Так, отмечается «низкая реалистичность» романа [2. С. 188], фактографические ошибки Лоуренса [3]. Вместе с тем исследуется двойственность женских [4. Р. 117–136] и мужских образов [5. Р. 216–231]), тема брака [6. Р. 90–97], пафос трагического в судьбе героев, в частности Джорджа Сакстона [7. Р. 210], проблемы искусства [8. Р. 237–259; 9. Р. 9–24; 10]. Подчеркивается связь биографии Лоуренса и сюжета романа [11. Р. 127–144], автобиографизм рассказчика Сирила Бердсолла [12].

В России первые переводы романов Лоуренса появились в 1920-е гг. и после почти 60-летнего перерыва начали издаваться вновь [13. С. 8]. Роман «Белый павлин» на русском языке опубликован в 1996 г. Однако в этом переводе отсутствует одна из ключевых для понимания художественной концепции романа глава *A Shadow in Spring* [14]. А.А. Аникст в «Истории английской литературы» не упоминает роман «Белый павлин», а «первым значительным романом» Лоуренса называет произведение «Сыновья и любовники» (1913) [15. С. 454]. Другие исследователи подчеркивают реалистическую манеру «Белого павлина» [16. С. 356], упоминают о связи с романами Дж. Элиот и Т. Гарди, а также о жанровых и сюжетных особенностях, о своеобразии повествовательной структуры [17. С. 39; 18. С. 314–315], уделяют незначительное внимание системе образов романа [19. С. 13–14]. Диссертационные исследования 1990–2000-х гг. посвящены анализу интертекста и элементов протомодернизма в романе [20], механизмов номинации заглавия романа [21]. В отдельных статьях рассматриваются категория героя и проблематика первого романа Лоуренса [22].

Предметом исследования в работах разных лет становилась связь поэтики романа «Белый павлин» с живописью прерафаэлитов [23. С. 128], им-

прессионистов и постимпрессионистов (Ван Гог, Сезанн) [24]. Лоуренс считал живопись тем видом искусства, «который с наибольшей полнотой отражает сдвиги в эмоциональной и духовной жизни людей» [13. С. 15]. Роман «Белый павлин» автор называл «а novel of sentiment» [17. С. 38]. Экфрасис графических листов родоначальника стиля модерн в графике, представителя эстетизма Обри Бердсли (*Aubrey Vincent Beardsley*, 1872–1898) становится в нем приемом анализа психики и изучения скрытых желаний героев.

Роман «Белый павлин» Лоуренс написал, как справедливо подметил Дж. Стюарт, в первое десятилетие после «бума Бердсли» [9. Р. 9], в период раннего модернизма. Бердсли был «знаком» эпохи *fin de siècle* [25. Р. 3] и «составной частью английского декаданса» [26. С. 42]. «Периодом Бердсли» (*Beardsley period*) с подачи М. Бирбома называется конец 1890-х гг. (цит. по: [27]). Не только графическое, но и литературное творчество Бердсли отразило тенденцию к синтезу культурных эпох, жанров, видов искусства [28; 29. С. 101–112].

На культуру начала XX в. Бердсли оказал большое воздействие [30, 31]. О его влиянии на творчество Лоуренса исследователи лишь упоминают [9. Р. 10–11; 23. С. 128; 32. Р. 107]. Цель нашей статьи – исследование интертекстуальных и интермедиальных взаимодействий Бердсли и Лоуренса через анализ упоминаний графики и имени Обри Бердсли в романе Лоуренса «Белый павлин», а также через сравнение образов героев и сюжетных линий романа Лоуренса и незавершенного романа Бердсли «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера» (*Under the Hill, or The Story of Venus and Tannhäuser*, 1894–1898).

Название романа Лоуренса «Белый павлин» акцентирует внимание на образе павлина, который был особенно популярен в стиле модерн. Особый интерес к павлину у Бердсли отмечается в 1894 г., когда график сделал серию листов к драме О. Уайльда «Саломея». На листах «Павлинье платье», «Глаза Ирода» график помещает изображение павлина и детали его облика. Тремя годами позже, работая в журнале «Савой», за несколько месяцев до смерти график делится с другом и издателем Л. Смитерсом художественной концепцией нового журнала «Павлин». Бердсли планирует делать обложку и даже быть его издателем (письмо от 19.12.1897) [33. Р. 409].

Лоуренс мог быть знаком как с отдельными главами романа Бердсли, опубликованными в журнале «Савой» в 1896 г., так и с книгами, изданными в 1904 и 1907 гг. и содержащими разный объем романа (подробнее об истории публикации романа см. нашу работу: [28. С. 131–134]).

Фрагменты листов Бердсли помещены на обложку каждой книги семитомного собрания сочинений Лоуренса, выпущенного издательством «Вагриус» в 2007 г.: «Ценезиус, склоняющий Миррину к соитию» (1896) к комедии Аристофана «Лисистрата» (т. 1), «Смерть Пьеро» (1896) для журнала № 6 «Савой» (т. 2), рисунок для рекламного плаката альманаха «Желтая книга» (1895) (т. 3); «Флоссхильда» (1896) (т. 4); «Павлинье платье» (1894), «Танец живота» (1894) и «Глаза Ирода» (1894) к пьесе О. Уайльда «Саломея» (т. 5–7 соответственно) [34].

Реминисценции к графике Обри Бердсли и его роману «Под Холмом» обнаруживаются во второй части романа Лоуренса «Белый павлин». В третьей главе «Ирония моментов вдохновения» (*The Irony of Inspired Moments*) герои Сирил Бердсолл, Эмили и Джордж Сакстоны рассматривают альбом с репродукциями рисунков Обри Бердсли, среди которых «Аталанта» и концовка к «Саломее»: *I came upon reproductions of Aubrey Beardsley's Atalanta, and of the tailpiece to Salomé, and others* [35]¹. Сначала альбом попадает к рассказчику Сирилу Бердсоллу, с точки зрения которого ведется повествование в романе.

Эпизод разглядывания листов Бердсли героями романа Лоуренса начинается словами «Это случилось на следующий день после похорон...», которые подчеркивают значительность дальнейших событий и связывают их с предшествующей второй главой «Весенняя тень», в которой говорится о смерти и похоронах лесничего Аннабеля. Образ лесничего в «Белом павлине» играет важную роль в раскрытии романного конфликта во взаимоотношениях мужчины и женщины, которые Лоуренс «признает основными» среди других жизненных отношений [17. С. 60]. Тема «унижения человеческого и мужского достоинства», пережитого Аннабелем в браке с аристократкой леди Кристабел [20. С. 128], и в целом тема ненависти к женщине и дьявольского начала ее души находит интерпретацию в главе «Ирония моментов вдохновения» и связана с упоминаемыми листами Бердсли.

Первым среди рисунков Бердсли Сирил называет лист «Аталанта в Калидоне». Он создан графиком к одноименной поэме А. Суинберна (1865) и известен в двух вариантах. Аталанта – героиня сюжета о Калидонской охоте из греческой мифологии. Когда царь Калидона забыл принести в жертву Артемиде часть урожая, богиня наслала на город вепря. Аталанта стала единственной женщиной, вышедшей на охоту против зверя, и первая ранила его [36. С. 120, 615]. На листе Бердсли 1895 г. спортивное телосложение Аталанты подчеркивает мужские черты в ее облике. По словам критика Н. Евреинова, гермафродит – «любимец графической музыки» Бердсли [37. С. 262]. Героиня изображена босая, в руке – лук. Фон листа – лилии у ее ног, а на заднем плане – деревья, в изображении которых, по словам А. Сидорова, «чувствуется» влияние Японии [38. С. 142]. На другом варианте листа (1897) Аталанта более «европеизирована» – на ее голове шляпа с перьями, на ногах – сапоги с отворотами, рядом – собака, которая поохотничьи прижала уши, вытянула лапы и тело, застыв в прыжке. Словно изящную трость, Аталанта тремя пальцами правой руки держит лук. Изображения прически на голове Аталанты выполнено в виде «рядов маленьких черных точек на белом фоне» [37. С. 240] и напоминает другие листы

¹ Роман «Белый павлин» цитируется без указания номера страниц по изданию: *Lawrence D.H. The White Peacock*. URL: <http://gutenberg.net.au/ebooks07/0700641h.html> (дата обращения: 14.10.2016) [35]. Во всех случаях, кроме специально оговоренных, дан наш перевод на русский язык.

Бердсли (в частности, листы к роману «Под Холмом» и к поэме А. Поупа «Похищение локона»).

Второй лист, упоминаемый в романе Лоуренса, – это «Похороны Саломеи. Концовка» (*Tailpiece to Salomé*). Он создан Бердсли к драме О. Уайльда «Саломея» (1893). Критик, поэт, современник Бердсли, А. Саймонс отмечает, что на листе Саломея изображена в виде «маленького, вялого тельца» [37. С. 247], которое Сатир и Пьеро кладут в гроб-пудреницу. Тело сладострастной Саломеи, в экстазе повторяющей «Дайте мне голову Иоканаана!», изображено схематично одной линией, тогда как натуралистично и с подробностями выписаны розочки на пудренице и волоски пуховки. Еще Т. Гарди в своих литературных заметках отметил, что, будучи проиллюстрирована Бердсли, «Саломея» Уайльда освещена его «убийственной иронией» (*Beardsley's deadly irony*), которая не дает возможности вынести суждение пьесе: книга становится «забавным поединком». При этом «автор говорит: “Это потрясающе!”, а художник: “Это вздор!”» [39. Р. 196]. Эта ирония графика «врывается» на листы «Туалет Саломеи», «Черная накидка», и Саломея «постоянно меняет маски, превращаясь то в богиню вожделения и мести, то в изящную даму в черном капоте, то в беззащитное хрупкое тельце девочки-подростка» [40. С. 78]. Миф о Саломее, созданный Бердсли, оказывается близок модернизму с его интересом к игре. Введение в текст романа Лоуренса образов Аталанты и Саломеи проясняет интерес романиста к проблеме взаимоотношения полов, мужского и женского начал, сущности и роли женщины.

Листы Бердсли представлены через описание впечатления от них, эмоционального отклика Сирила. Он долго рассматривает альбом репродукций (*I looked a long time*). Пятикратное повторение в одном абзаце личного местоимения (*I*), двукратное повторение словосочетания «моя душа» (*my soul*) подчеркивают личностное, интимное переживание героем графических образов Бердсли. Особую впечатлительность Сирила демонстрирует цепочка последовательно идущих глаголов (*I was bewildered, wondering, grudging, fascinated*). Рисунки Бердсли для него – это «новая вещь», которая вызывала противоречивые чувства. Его душа словно «набрасывалась» на них, «не согласовывалась» с ними. Одновременно он был «очарован и побежден», но еще полон «сопротивления и упрямства», потому что столкнулся с новым, непривычным для него стилем.

Сирил – художник-акварелист. Его фамилия созвучна фамилии Бердсли: *Beardsall – Beardsley*, а имя Сирилл (*Cyril*) принадлежало сыну Оскара Уайльда. На свадьбу Джорджа Сирил дарит другу четыре акварельные картины. На них изображены вода и мельничные поля, серый дождь и сумерки, солнце, разливающее золотые лучи в туман, полдневный пруд в середине лета (ч. 3, гл. 1). Живописные сюжеты картин находят эмоциональный отклик в душе Джорджа: «...память о наших минувших днях вмиг опьянила его, и он задрожал перед этой красотой жизни, оваянной магией лет. Он осознал, как прекрасна была вереница прошедших дней» [14]. Акварельные образы выражают связь героев с местом и друг с другом. Осо-

бую острогу повествованию придает сюжетный эпизод, в котором говорится о том, что герои, «дети Неттермера» (*the children of the valley of Nethermere*), должны покинуть ферму, леса, воды, потому что наступило время «отправляться каждому в другую сторону, в изгнание» [14]. Полотна Сирила напоминают пейзажи романтиков и импрессионистов, тогда как в графике Бердсли ландшафт, по словам Р. Росса, «всегда строго формален, примитивен, условен; дуновение ветерка почти не колышет тесную листву стройных тополей и ив, растущих вдоль его змеистых ручейков» [37. С. 233]. Однако в романе «Под Холмом» Бердсли тоже обращается к живописи К. Лоррена, У. Тернера, К. Коро, к импрессионистам (подробнее об этом см. в нашей работе: [41. С. 151–159]). Живопись К. Коро становится предметом интерпретации Лоуренса в его стихотворении «Cogot».

Графика Бердсли оказывает воздействие на восприятие женщины Сирилом, «вытесняя жившие прежде в его сознании образы, созданные прерафаэлитами» [23. С. 128]. Через реминисценции к живописи прерафаэлитов создан образ Эмили Сакстон, которой увлечен Сирил. Повествуя о ней, рассказчик дважды употребляет слово *troublesome*: «беспокойная» душа, отраженная в глазах, и «волнующие» тени, пролегающие под глазами. Сирил сравнивает Эмили с образами дев Берн-Джонса и противопоставляет ее героиням Античности Хлое и вакханкам. Печаль, которой одержима Эмили, близка героиням Берн-Джонса. По словам критика С. Маковского: «Его (Берн-Джонса. – *И.Н.*) чувствительность такая тонкая, что становится печалью, такая одухотворенная, что кажется бесстрашием» [42. С. 328]. Это же состояние печали в Эмили замечает Сирил.

Лоуренс подчеркивает в Эмили женское, материнское начало. В ней сильны эмоции и чувства, а не интеллект и юмор. Сначала она работает учительницей в школе Ноттингема, затем ухаживает за детьми миссис Аннабель, жены сторожа. Нянит детей своего брата Джорджа, а, выйдя замуж, живет на ферме в Папльвике. Эмили ухаживает за братом, который болен белой горячкой (в его глазах теперь «горят» (*combusting*) виски и бренди). В этой деятельности она нашла свое место, и на вопрос Сирила, счастлива ли она, героиня отвечает «да». Образ Эмили, созданный глазами рассказчика и самого автора, ближе к образам Берн-Джонса, чем к образам Бердсли. Вероятно, поэтому она пугается ироничных, сатирических и андрогинных изображений на рисунках графика к «Саломее». Сирил демонстрирует ей альбом репродукций внезапно и непосредственно, положив книгу на стол и открыв на рисунке к «Саломее». «Посмотри! Посмотри сюда!» – Сирил с нетерпением ждет ответа Эмили. Она, пристально рассматривая репродукции, становится «застенчива», в ее голосе появляется «сомнение». Героиня называет их «пугающими» и пытается избежать разговора о них, «мягко» отвечая ему. В диалоговой реплике Эмили «*It makes you feel – Why have you brought it?*» соединяются не проговоренное до конца эмоциональное впечатление и недоуменный вопрос о том, зачем Сирил принес ей этот альбом. Однако, как и Сирила, рисунки Бердсли околдовали и подчинили себе Эмили (*she too was caught in the spell*).

Бердсли испытал сильное влияние Э. Берн-Джонса [33. Р. 23], беря у него уроки живописи. С. Маковский пишет, что творчество и Берн-Джонса и Бердсли идет от одного источника – Д.Г. Россетти: «Берн-Джонс и Бердслей – два пути, расходящиеся от одного начала. Положительный и отрицательный полюсы англосаксонского эстетизма» [42. С. 327]. В доме мистера Лиланда, состоятельного коллекционера произведений искусства, Бердсли познакомился с коллекцией живописи (назвал ее «восхитительной»), в которую входили такие полотна Берн-Джонса, как «Мерлин и Вивьен», «Ночь», «Утро», «Четыре сезона», «Зеркало Венеры», «Купидон, оживляющий Психею», «Вино Церцеи», «Филлис и Демофонт» [33. Р. 19]. Личная встреча юного графика с Берн-Джонсом состоялась в 1891 г. Живописец сказал о Бердсли как о «величайшим из ныне здравствующих художников Европы» [33. С. 20, 21–23; 42. С. 111–112]. Юный график показал Берн-Джонсу свои рисунки «Святая Вероника вечером в Страстную Пятницу», «Данте при дворе дона Гранде делла Скала», «Богоматерь при луне», «Данте, рисующий ангела», «Бессоница», «После смерти» и др. Берн-Джонс высоко оценил их: «У вас *много* мыслей, поэзии и воображения. Природа дала вам дар, необходимый, чтобы стать великим художником. Я *редко*, нет, *никогда* не советую делать из живописи профессию, но вам *не могу пожелать ничего другого*» [42. С. 112]. Художник принимает дальнейшее участие в судьбе Бердсли, отправив ему «обаятельное послание» на четырех страницах, в котором дан совет относительно двух школ для обучения, это Школа искусства Фредерика Брауна в Вестминстере (импрессионистская) и Королевский колледж искусства в Южном Кенсингтоне. Берн-Джонс покровительственно предполагает, что юноша не будет бояться работы, но необходимость дисциплины в школе будет далека от его естественных интересов и симпатий. Художник наставляет юношу изучать «грамматику» искусства и упражняться в ней и говорит, что хотел бы видеть его работы время от времени, например через три-шесть месяцев [33. Р. 23–24].

В романе Лоуренса «Белый павлин» наиболее яркую реакцию на рисунки Бердсли демонстрирует Джордж Сакстон, брат Эмили. Не получив систематического образования, он много читает, а знания черпает из бесед со своим другом Сирилом. В отличие от Эмили Джордж просит дать ему книгу рисунков Бердсли, садится и рассматривает ее, не давая никому более взглянуть на альбом (его сестра Молли подкралась ближе любопытствовать, но он сердито прикрикнул на нее и прогнал). Как и Сирил, Джордж «долго разглядывает» рисунки. Получив альбом, он уже не выпускает его из рук. Заложив палец между страницами книги, он «молча» идет на берег реки. В финале беседы с Сирилом герой просит оставить «книгу» у себя. После знакомства с рисунками взгляд Джорджа меняется: в его глазах появляется «новое выражение». В жизни Джорджа рисунки Бердсли обозначают рубеж в отношениях с Летти Темпест, в которую он влюблен, а она вскоре обручится с другим мужчиной. Поэтому символично звучит сказанная им «очень тихо» во время «изучения иллюстраций» фраза о том,

что «теперь нет нужды торопиться». Книга Бердсли отражает процесс душевных движений Джорджа.

В диалоге с Сирилом соединяются ответы Джорджа на бытовые вопросы Сирила о том, что его семье отказывают в продлении аренды фермы, на которой они живут и работают, и собственные размышления Джорджа над его отношениями с Летти и чувствами к ней: ««<...> Мы получили уведомление, знаешь?» – Я с изумлением вскочил на ноги. – “Уведомление об отъезде? Из-за чего?” – “Полагаю, из-за кроликов. Я скучаю по ней, Сирил”. – “Покинуть Стрели-Милл!” – повторил я. – “Да... но я даже рад этому. Как ты думаешь, могло бы у нас с ней получиться что-нибудь серьезное, Сирил?”». Так в одной фразе переплетаются «практика социальной жизни» [17. С. 34] и желание, порыв, страсть. Поэтому так нелогичны с рациональной точки зрения ответы Джорджа, в которых отражены влечения к Летти, стремления, «не поддающиеся анализу разума» [Там же. С. 35]: «Я не знаю, о чем говорю». Обращение к графике Бердсли позволяет герою открыто выразить свои переживания: «Я хочу ее больше, чем что-либо».

Рисуя отношения Джорджа и Летти, Лоуренс использует прием параллелизма между изобразительными средствами графики Бердсли и чувствами героя. Сопоставляется «тонкое острое чувство» Джорджа к Летти и изогнутые линии на рисунках Бердсли (*It's a sort of fine sharp feeling, like these curved lines*). В словах Джорджа отражено взаимодействие между разглядываем рисунка и сексуальным желанием («чем больше я смотрю на эти голые (*naked*) линии, тем больше я хочу ее»). Эпитеты «обнаженные», «изогнутые» относятся к линиям Бердсли, но они связаны и с остротой чувств Джорджа к Летти. Дж. Стюарт утверждает, что рисунки Бердсли помогли Джорджу ясно «выразить» подавленные желания [9. С. 10]. Джордж соотносит физическое влечение с характеристикой графических образов Бердсли как ясных, а также острых (*If she did perhaps she'd want me – I mean she'd feel it clear and sharp coming through her* (выделено мною. – И.Н.). Сопоставление чувств героя и стиливых примет графики Бердсли (линии и пятна, а в линиях, по словам А. Саймонса, – «тайна» Бердсли [42. С. 354]) создает интермедиаальную поэтику романа Лоуренса.

Альбом репродукций Бердсли, или, по словам Джорджа, «книга» (*book*), попал к нему в руки в тяжёлый период его жизни: семья вынуждена покинуть арендуемую ферму. Джордж чувствует, что у него «земля уходит из-под ног». Книга рисунков Бердсли покорила Джорджа и изменила его: «...я не такой, как был вчера...». Книга «держит» (дважды повторяется слово *keep*) героя и толкает его на что-то необычное. После того как Джордж познакомился с рисунками Бердсли, его чувства к Летти «проясняются». В эстетизме творчества Бердсли Джордж увидел выражение своих чувств к Летти, так называемый зов плоти и крови.

После просмотра книги Джорджем овладевает настойчивое желание увидеть Летти, поговорить с ней, что подчеркнуто повтором слова «ask». Герой хочет показать ей рисунки Бердсли, которые, как он думает, производят на нее сильное впечатление. Летти не увидела рисунка, а долго-

жданная встреча с ней продемонстрировала Джорджу различие Летти и героинь графики Бердсли и его «обнаженных» линий. Одетая в белое, как героини Бердсли Аталанта и Саломея (на листе «Туалет Саломеи»), она обладала «мягкостью», которой нет у них.

Рисунки Бердсли в романе созданы через фиксацию ощущений воспринимающих их героев, т.е. речь идет о «психологическом аспекте воздействия произведения искусства на человека, что выражается в перенесении акцента с описания самого произведения на описание субъективного впечатления от него» [43. С. 146–154]. Художник Сирил акцентирует внимание на том, как они отозвались на его творческих предпочтениях. Для Джорджа рисунки Бердсли – попытка обосновать свои эмоциональные переживания. Разные реакции героев на рисунки Бердсли и их связь с неосознанными первоначальными желаниями (мужское желание обладания женщиной) формируют миф о Бердсли в раннем модернизме.

В главе 9 «Поэма о дружбе» романа Лоуренса с образами Джорджа и Сирила связаны мотивы воды и купания (вариант – мотив туалета), которые могут рассматриваться как визуальные мотивы и дополнять реминисценции к графике Бердсли и его роману «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера» (1872–1898). Мотивы воды и купания вписываются в типологический ряд сюжетов утреннего мужского туалета, созданных в «модных» романах (*fashionable novel*) XIX в. («Пелэм, или Приключения джентльмена» Э.Д. Бульвер-Литтона и др.).

В романе Бердсли мотив воды представлен озером (*lake*) в парке Венеры, которое мерцает тихой серебристой водой среди деревьев. В его «молчаливых романтических водах» водятся тончайшие рыбки. По краям водоема «спят» деревья, камыши, ирисы. Прогуливаясь по лесу, Тангейзер смотрит на озеро и впадает в «странное состояние». Ему кажется, что водоем оживает, может заговорить, произнести какое-то прекрасное слово, но он не смеет потревожить его – «вызвать морщины на бледном лице озера», сквозь воду которого просвечивало галечное дно [44. Р. 118]. Озеро сравнивается с театральными декорациями. Эпитеты *wonderful*, *beautiful* передают красоту водоема. В мечтах эстета Тангейзера озеро могло бы стать ванной, но герой боится, что утонет в ней [Ibidem]. На берегу озера Тангейзеру грезятся изменения озера и лягушек. Озеро то вырастает в двадцать раз, то становится миниатюрным. Когда в воображении героя вода поднималась, Тангейзер пугался и думал, какими огромными должны были стать лягушки и их глаза и какими безобразными – их серые лапки. Когда вода спадала, он смеялся над собой и представлял, какими крошечными должны были стать лягушки. Он думал об их ножках, которые выглядели тоньше паучьих, и об их кваканье, которое не было слышно [Ibidem].

Фантастичность озера в романе Бердсли противопоставлена естественности и реалистичности водоема в романе Лоуренса. Озеро Нетермер (*Nethermere*) формирует ландшафт местности, на которой живут герои. Это «самое нижнее в цепи трех озер (*ponds*). И самое большое и красивое из них. Длинной в милю и почти в четверть мили шириной. <...> На противо-

положной стороне, на холме, в дальнем конце озера стоит Хайклоуз [14]. Два других пруда – мельничные верхний и нижний (*millponds*) – находятся в Стрелли-Милл. По названию озера Нетермер Лоуренс дает наименование жителям, поселившимся около него, а первая глава романа носит заглавие «Люди Нетермера» (*The People of Nethermere*).

Водоемы – постоянный факт жизни героев романа Лоуренса. «Белый павлин» открывается встречей на мельничном пруду главных героев-друзей – Сирила и Джорджа. «Травянистый край Нетермера» является одним из мест прогулки Сирила и Летти Бердсоллов. Вода связана с драматичными, но жизненными событиями, происходящими с героями: в нижнем мельничном пруду Джордж топит кошку, которой перебило лапы капканом. Это событие стало причиной критического разговора между героями романа о степени жестокости мужчин и женщин. Грезы наяву, которым подвержен Тангейзер на берегу озера, совершенно не свойственны героям романа Лоуренса. Напротив, они очень реалистично и естественно воспринимают природу, не боясь ее. Сирил и Джордж купаются в мельничном пруду. Это же не против сделать и Летти. Близость героев к природе обуславливает такую «поэтологическую единицу» художественной системы Лоуренса, как «природность» [45. С. 70].

В романе Бердсли с образом Тангейзера связаны рыбы, точнее «хорошенькие рыбки» (*pretty fish*) как метафорическое название молодых слуг. В Холме Венеры они помогают герою принять ванну, плавая около него и участвуя в его эротических забавах [44. Р. 109]. В романе Лоуренса рыбы являются естественной частью долины Нетермер. Роман открывается повествованием о том, как Сирил на берегу пруда наблюдает за рыбами и рассказывает историю их появления в нем: «Я стоял, наблюдая, как тень рыбы скользила во мраке пруда у мельницы. Рыбешки теперь стали из серебристых серыми, эти шустрые потомки завезенных сюда монахами в то далекое время, когда вся долина дышала покоем и благоденствием. Здешняя природа как бы вспоминала былое» [14]. Рыбы в мельничном пруду такие же древние, как сама природа Нетермера, ее органическая часть. Обращение к древности актуализирует мифологическую природу воды.

В сюжете обоих романов мотив купания тоже воплощен по-разному. В романе Бердсли Тангейзер, прогуливаясь по вечернему лесу, боится утонуть в открытом пруду [44. Р. 118]), но зато в воду закрытого бассейна он входит «изящно», «чуть встревожив зеркальную гладь ногой» и «грациозно» оплыв его дважды [42. С. 74]. Ванная комната Холма «самая большая» и «самая красивая» из всех отведенных Тангейзеру апартаментов, она украшена длинным зеркалом (*long mirror*). Создавая интерьер ванной комнаты, повествователь ссылается на «известную гравюру Лоретта (*Lorette*), выполненную на фронтисписе “Архитектуры XVIII века” Мильвуа (*Millevoye's Architecture du XVIIIme Siècle*)». Имя автора книги об архитектуре XVIII в. созвучно имени французского поэта *Charles Hubert Millevoye* (1782–1816), автора поэм в форме посланий и элегий. Замечание повествователя о том, что «на гравюре Лоретта ванна, погру-

женная в пол, немного мала» [42. С. 73], демонстрирует «заигрывание» Бердсли с историей искусства.

В романе Лоуренса купание Сирила и Джорджа в открытом пруду (*the pond*) предвывает игра Джорджа с псом Трипом. Физический контакт хозяйина, торс и руки которого обнажены, с животным подчеркивает природность и натуралистичность героя. Они катались по траве, Джордж прижал собаку брюхом к земле, а она старалась лизнуть его, после чего они лежали некоторое время, не шевелясь. Потом все трое – люди и собака – бросились в воду. Купание героев сопровождается смехом, который связан с радостью физического движения (например, смех звучит и во время танца: [46. С. 235]). Глагол *laugh* и производные от него (*laughing, laughed, laughter* и др.) в эпизоде купания, занимающем примерно одну страницу текста, встречаются 12 раз.

Тангейзер купается в прохладной и душистой воде (*scented water, cool basin*), и она лишь подчеркивает его грациозное погружение, тогда как пруд, где плавают Джордж и Сирил, был «ледяным». Погружение в воду на мгновение «лишило» Сирила чувств. Воздух под стать воде – «прохладный». Джордж «дрожал на холоде», пока не окунулся в воду, движение в которой согрело его.

В обоих романах герои сравниваются с мифологическими античными персонажами: Тангейзер – с Нарциссом, Джордж – с Хароном. Согласно мифу Нарцисс не мог оторваться от своего отражения в источнике: «Воду он пьет, а меж тем – захвачен лица красотой, / Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает. / Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен» (Овидий. *Метаморфозы*, III, 416–418). Тангейзер также в ванной комнате в Холме Венеры был «поглощен своим отражением в зеркале». Образ обнаженного героя, любующегося собой перед зеркалом, создан реминисценцией к художественным произведениям «ранних итальянских мастеров» [44. Р. 108]. Тангейзер «подобно Нарциссу <...> остановился на мгновение, глядя на свое отражение в спокойной, душистой воде» [42. С. 73–74]. Если любви Нарцисса, согласно мифу, «добивались многие женщины, но он был безразличен ко всем» [36. С. 201], то Тангейзер окружен «толпой слуг-мальчиков», «остановившихся в восхищении на почтительном расстоянии, ожидая его приказаний» [44. Р. 201].

Харон перевозит души умерших по водам холодных подземных рек, а Джордж перевез Сирила по пруду к островку, около которого они потом купались. Сравнивая Джорджа с мифологическим Хароном, рассказчик иронически называет его «мой Харон», подчеркивая симпатию и степень близости к Джорджу. Внешность Джорджа и Сирила противопоставлены. Особенно это заметно, когда они вытираются после купания. Визуальные впечатления выражены глаголами *stood, looked*. Образ Сирила создан через ассоциации с графическими образами Бердсли. Видя Сирила обнаженным, Джордж со смехом говорит, что тот напоминает ему длинных, тощих и уродливых «парней» Обри Бердсли (*long, lean, ugly fellows*). Аллитерация сонорных [l], [n] и носового [ŋ] в эпитетах *long, lean, ugly* создают впечат-

ление длинных и изогнутых линий Бердсли. На его рисунках, действительно, фигуры с худыми телами и удлинненными конечностями. Длинные, тонкие силуэты на рисунках 1894 г. к «Саломее» Уайльда – это «Выход Иродиады», фронтиспис «Луна в образе мужчины или женщины», «Павлинья юбка», «Танец живота», а также на листе «Таинственный розовый сад» для альманаха «Желтая книга». Использование Джорджем слова *fellows* в обозначении человека мужского рода, подчеркивает стилевую черту Бердсли – неразличение и слияние мужского и женского начал, отражение их друг в друге.

Смотря на Джорджа и описывая его внешность, Сирил использует физиологическую лексику (*muscles of his shoulders, physique, heavily limbed, fruitfulness of his form*). Природность и «благородное» в своей тяжести телосложение подчеркнуто противопоставлением белого тела (дважды повторяется *white*) и зеленой травы (*mass of green*). Естественность процесса купания, сцены работы в поле, купания в озере, вытирания после него подчеркивают мужскую красоту и силу Джорджа Сакстона, его близость к миру природы.

В романе Бердсли «высыхание и растирание» Тангейзера после купания названо «утонченным процессом», который Венера поручила самым искусным слугам. Его важность подчеркнута «благодарностью», которую испытывал герой. Купание в Холме Венеры – это обряд (*the rites*), после которого у Тангейзера исчезла даже тень тоски по родине [44. С. 109]. Процесс одевания Тангейзера продолжает эстетико-эротическую линию сюжета купания и вытирания. Декоративность туалета героя усиливают участвующие в нем персонажи: парикмахер Синель (*Chenille*) бреет Тангейзера, костюмер Докур (*Daucourt*) помогает выбрать и надеть платье. Глава завершается подробным описанием наряда. Тангейзер из целого ряда костюмов выбирает «премиленкий сюртук из голубино-розового атласа, свободно свисавший вокруг его бедер, брюки из черных кружев, спадавших волнами, совсем как юбка, до колен и тонкая сорочка из белого муслина с золотыми крапинками и в обильных складках [42. С. 74–75]. В хронотопе Холма Венеры в мельчайших подробностях представлены туалеты героев (утренний – Тангейзера, вечерний – Венеры), сопровождаемые особыми персонажами. Туалеты героев – это важный элемент хронотопа в череде завтраков, игр и любовных приключений. Так, глава 7 романа завершается одеванием Тангейзера, а в начале главы 8 он идет поздороваться с Венерой, на чье милое белое муслиновое платье непременно указывает повествователь.

В романе Лоуренса мотив вытирания, сопровождающийся смехом, определяет взаимоотношения героев. Сирил для Джорджа в этой ситуации был «ребенком» или «женщиной», которую он любил и не боялся. Во время вытирания после купания физические касания «обнаженного» тела вызывают у героев природную радость. Смех снижает гротескность сравнения Сирила с образами Бердсли и усиливает природность и естественность в образе Джорджа. Сначала купание, потом вытирание интерпретируются

как акт возникновения совершенной любви, в которой нет разделения полов: *our love was perfect for a moment, more perfect than any love I have known since, either for man or woman*. Натуралистические подробности купания, игры с собакой, сопровождаемые катанием по траве, вытирание героями друг друга приобретают символический характер. Мотив неразличения и слияния мужского и женского начал, характерный для творчества Бердсли, в романе Лоуренса преобразован в мотив натуралистического, чувственного удовольствия. Важная роль воды в сюжете этого романа проявляется и в другом романе Лоуренса – во «Влюбленных женщинах». В нем «на воде» происходят все знаменательные встречи героев, и в какой-то степени это символично», а «движение воды <...> созвучно движению чувств героев, колебаниям и изменениям в их отношениях» [47. С. 92].

Художественные связи двух английских авторов – родоначальника стиля модерн в графике Обри Бердсли, оставившего небольшое литературное наследие, и писателя, поэта, критика модерниста Д.Г. Лоуренса рассматриваются через интертекстуальные и интермедийные взаимодействия. Экфрасис рисунков Бердсли воплощен в форме впечатлений и субъективных переживаний на тему искусства. С одной стороны, это однозначное отрицание и нежелание видеть рисунки, продемонстрированное героиней их семьи фермеров Эмили Сакстон. Ее образ, созданный реминисценциями к живописи прерафаэлитов, выписан, противопоставлен графике Бердсли. С другой стороны, листы Бердсли, представителя английского эстетизма, становятся способом объяснить переживания и сформулировать неосознаваемые до знакомства с графикой Бердсли желания героя раннемодернистского романа. Параллелизм изобразительных средств графики Бердсли (линии) и чувств героя Джорджа Сакстона высвечивает особенность отношений Джорджа и Летти Бердсолл. Фантастичность ландшафта в романе Обри Бердсли «Под Холмом», эстетико-эротическая интерпретация образа Тангейзера, с которым в романе Лоуренса соотносится Сирил Бердсолл, преобразована в «Белом павлине» так, что натуралистическое, чувственное удовольствие приобретают символический и всеобщий характер.

Литература

1. *Стырник Н.С.* Творчество Д.Г. Лоуренса в рецепции западного литературоведения // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. 2010. Вип. 1 (61). Частина перша. URL: http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2010/Literaturoznavstvo_naukovi_zapusku_61_1/13.html (дата обращения: 18.11.2016).
2. *Mason H.A.* Lawrence in Love // Cambridge Quarterly. 1969. P. 181–200. URL: <http://camqtly.oxfordjournals.org/> (дата обращения: 16.11.2016).
3. *Richards B.A.* botanical mistake in Lawrence's *The White Peacock* // Notes and Queries. 1989. June. Vol. 36, Iss. 2. P. 202.
4. *Storch M.* The lacerated male: ambivalent images of women in the *White peacock* // D.H. Lawrence Review. Summer 1989. Vol. 21, Iss. 2. P. 117–136.
5. *Mason H.A.* D.H. Lawrence and *The White Peacock* // Cambridge Quarterly. 1977. P. 216–231. URL: <http://camqtly.oxfordjournals.org/> (дата обращения: 16.11.2016).

6. *Jiang Jiaguo*. D.H. Lawrence's Concept of Marriage Reflected in *The White Peacock* // *Foreign Literature Studies*. 2010. Vol. 32, Iss. 6. P. 90–97.
7. *Dean P.* 'A great kick at misery': D. H. Lawrence's sense of tragedy // *English*. 2015. Vol. 64, № 246. P. 207–221. doi:10.1093/english/efv014.
8. *Sproles K.Z.* Shooting *The White peacock*: victorian art and feminine sexuality in D.H. Lawrence's first novel // *Criticism*. 1992. Vol. 34, Iss. 2. P. 237–259.
9. *Stewart J.* *The Vital Art of D. J. Lawrence: Vision and Expression*. Carbondale, IL : Southern Illinois University Press, 1999. 251 p.
10. *Cushman K.* Jack Stewart. Color, Space, and Creativity: Art and Ontology in Five British Writers [review] // *D.H. Lawrence Review*. 2011. Vol. 36, № 1.
11. *Gu M. D.* Lawrence childhood traumas and the problematic form of *The White peacock* // *D. H. Lawrence review*. 1992. Vol. 24, Iss. 2. P. 127–144.
12. *Ingersoll E.* «What's in a Name?»: Naming Men in Lawrence's Novels // *D.H. Lawrence Review*. 2012. Vol. 37, № 1.
13. *Михальская Н.П.* Дэвид Герберт Лоуренс: роман и чувства // Лоуренс Д.Г. Сын-овья и любовники / пер. с англ. Р. Облонской. СПб., 2010. С. 5–22.
14. *Лоуренс Д.Г.* Терзание плоти: Роман и новеллы / пер. с англ. ; вступ. ст. Р.О. Олдингтона ; худож. В. Лапин. М. : Локид, 1996. 393 с. (Ураган любви).
15. *Аникст А.А.* История английской литературы. М. : Учпедгиз, 1956. 483 с.
16. *Жантиева Д.Г.* Английская литература от первой до второй мировой войны // История английской литературы : в 3 т. М., 1958. Т. 3. С. 350–447.
17. *Михальская Н.П.* Литературно-критические взгляды и теория романа Дэвида Герберга Лоуренса // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. 1967. Т. 280: Вопросы зарубежной литературы. С. 33–77.
18. *Аникин Г.Н., Михальская Н.П.* История английской литературы. 2-е изд., перераб. и испр. М. : Высш. шк., 1985. 431 с.
19. *Ивашева В.В.* Литература Великобритании XX века. М. : Высш. шк., 1984. 488 с.
20. *Бушиманова Н.И.* Проблема интертекста в литературе английского модернизма: проза Д.Х. Лоуренса и В. Вулф : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1996. 32 с.
21. *Тикунова С.Г.* Взаимодействие структурных и содержательных характеристик художественного текста и его заглавия: на материале английского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 24 с.
22. *Господарева М.В.* Первый роман Дэвида Лоуренса // Ученые записки Курского государственного университета. 2015. № 2 (34). URL: <http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=39> (дата обращения: 04.10.2015).
23. *Михальская Н.П.* Д.Г. Лоуренс: поэтика романа и ее отношение к живописи // Проблемы зарубежной литературы XIX–XX веков. М., 1974. С. 119–131.
24. *Антонова К.Н.* Художественный мир прозы Д.Г. Лоуренса 1910-х годов: интермедийный аспект : дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2011. 174 с.
25. *Vade P.* *Aubrey Beardsley*. N.Y. : Parkstone Press Ltd, 2001. 96 p.
26. *Хорольский В.В.* Эстетизм и символизм в поэзии Англии и Ирландии рубежа XIX–XX веков. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. 144 с.
27. *Burdett O.* *The Beardsley Period: An essay in perspective*. Hardcover, 1969.
28. *Бочкарева Н.С., Табункина И.А.* Художественный синтез в литературном наследии Обри Бердсли. Пермь, 2010. 254 с.
29. *Табункина И.А., Бочкарева Н.С.* Образы вымышленных художников в романе Обри Бердсли «Под Холмом» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. Вып. 2 (34). С. 101–112. URL: http://rfp.psu.ru/abstracts/2.2016/tabunkina_bochkareva.pdf. doi 10.17072/2037-6681-2016-2-101-112.
30. *Стернин Г.Ю.* Русская художественная культура второй половины XIX – начала XX в. М. : Сов. художник, 1984. 296 с.
31. *Вязова Е.* Гипноз англофании: Англия и «английское» в русской культуре рубежа XIX–XX веков. М. : НЛЮ, 2009. 576 с.

32. Raby P. Aubrey Beardsley and the Nineties. L.: London Houser, Great Eastern Wharf Parkgate Road, 1998. 117 p.
33. *The Letters of Aubrey Beardsley* / ed. by H. Maas. L.: Rutherford, Fairleigh Dickinson university press, 1970. 472 p.
34. Лоуренс Д.Г. Собрание сочинений : в 7 т. М. : Вагриус, 2006–2008.
35. Lawrence D.H. *The White Peacock*. URL: <http://gutenberg.net.au/ebooks07/0700641h.html> (дата обращения: 14.10.2016).
36. Ботвинник М.Н. Аталанта. Калидонская охота // Мифы народов мира: энцикл. : в 2 т. М., 1980–1982. Т. 1. С. 120, 615.
37. Бердслей О. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее / сост. А. Басманов. М. : Игра-техника, 1992. 288 с.
38. Бердслей О. Шедевры графики / сост. И. Пименова. М. : Эксмо, 2002. 216 с. (Шедевры графики).
39. *The Literary Notebook of Thomas Hardy*. Vol. 2 / ed. by Lennart A. Björk. London ; Basingstoke : The Macmillan Press Ltd., 1985. 591 p.
40. Ковалева О.В. О. Уайльд и стиль модерн. М. : Едиториал УРСС, 2002. 168 с.
41. Табункина И.А. Комментарий к картине Клода Лоррена в романе Обри Бердсли «Под Холмом» в контексте эстетического движения конца XIX века // *Мировая литература в контексте культуры*. 2015. Вып. 4 (10). С. 151–159.
42. Бердслей О. Многоликий порок: История Венеры и Тангейзера, стихотворения, письма / сост. Л. Володарская. М. : Эксмо-пресс, 2001. 368 с.
43. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев : Путь к истине, 1991. URL: http://krotov.info/lib_sec/02_b/bych/kov_02.htm (дата обращения: 30.10.2012).
44. Beardsley A. *Under the Hill* // Wilde O. *Salome*. Beardsley A. *Under the Hill*. L. : Creation Books, 1996. P. 65–123.
45. Проскурнин Б.М. Английская литература 1900–1914 годов (Дж.Р. Киплинг, Дж. Конрад, Д.Г. Лоуренс): текст лекций. Пермь, 1993. 96 с.
46. Табункина И.А., Шестакова А.С. Мотив луны в романе Д.Г. Лоуренса «Белый павлин» // *Мировая литература в контексте культуры*. 2016. Вып. 5 (11). С. 231–239.
47. Михальская Н.П. Роман Д.Г. Лоуренса «Влюбленные женщины» // *Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина*. 1967. Т. 280: Вопросы зарубежной литературы. С. 78–95.

ARTISTIC CONNECTIONS OF A. BEARDSLEY AND D.H. LAWRENCE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 207–223. DOI: 10.17223/19986645/53/14

Irina A. Novokreshchennykh, Perm State University (Perm, Russian Federation). E-mail: iratabunkina@mail.ru

Keywords: artistic connections, Beardsley, Lawrence, *The White Peacock*, Art Nouveau, intermediality, intertextuality.

The article is devoted to the research of the artistic connections of two English authors: Aubrey Vincent Beardsley and his unfinished novel *Under the Hill, or the History of Venus and Tannhauser* (1894–1898), as well as his illustrations for the drama *Salome* by Oscar Wilde and the poem *Atalanta in Calidone* by Algernon Charles Swinburne, and David Herbert Lawrence and the novel *The White Peacock* (1911). The work used the poetological, intertextual methods and the intermedial approach.

The research showed the significance of the peacock's image for the both artists and for the era of the modern style in general. The references of Beardsley's graphic works *Atalanta* and *Cul de Lampe to Salome* in Lawrence's novel *The White Peacock* are analyzed through a comparison of the impressions of the characters Cyril Beardsall, Emily Saxton and George Saxton. The novels of Beardsley and Lawrence are juxtaposed from the point of view of

common motives and images of the protagonists created with the help of intermedial links with graphics.

In Lawrence's novel, Beardsley's drawings, which the main characters look through in the album, are created through the fixation of the sensations and emotions of Cyril, Emily and George, who perceive them. Intermedial interactions are carried out by transferring the emphasis from the description of the sheets to the description of the subjective impression of them. Beardsley's drawings have an impact on the artistic style of the watercolorist Cyril, who is the main narrator. The image of Emily, created with the eyes of the narrator and the author himself, is closer to the images of Bern-Jones than to the images of Beardsley. Therefore, the heroine is frightened of ironic, satirical and androgynous images in the drawings of *Salome*. For George, Beardsley's drawings are an attempt to substantiate his emotional feelings to Letty he is in love with, and she will soon get engaged to another man, and also express her sensual desires. Lawrence uses parallelism between the graphic means of Beardsley's graphic lines and the character's feelings: George's "thin sharp sense" is compared to Letty and the curved lines in Beardsley's drawings. Different reactions of the characters to Beardsley's drawings and their connection with sexual desire form the myth of Beardsley in early modernism.

The motives of water and bathing in Lawrence's novel are considered as visual motives and add to the reminiscences of Beardsley and his novel. Beardsley's motive of nondiscrimination and the fusion of male and female beginnings in Lawrence's novel is connected with the motive of naturalistic, sensual pleasure. Imaginary settings and the aesthetic-erotic image of Tannhäuser in Beardsley's novel *Under the Hill* correspond with the naturalism of nature and the symbolism of male images of Cyril and George.

References

1. Styrnik, N.S. (2010) Tvorchestvo D.G. Lourensa v retseptsii zapadnogo literaturovedeniya [Works of D.H. Lawrence in the reception of Western literary criticism]. *Naukovi zapiski Kharkivs'kogo natsional'nogo pedagogichnogo universitetu im. G.S. Skovorodi. Seriya literaturoznavstvo*. 1(61):1. [Online] Available from: http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2010/Literaturoznavstvo_naukovi_zapusku_61_1/13.htm l. (Accessed: 18.11.2016).
2. Mason, N.A. (1969) Lawrence in Love. *Cambridge Quarterly*. pp. 181–200. [Online] Available from: <http://camqtly.oxfordjournals.org/>. (Accessed: 16.11.2016).
3. Richards, B.A. (1989) Botanical mistake in Lawrence's The White Peacock. *Notes and Queries*. 36:2. pp. 202.
4. Storch, M. (1989) The lacerated male: ambivalent images of women in The White Peacock. *D.H. Lawrence Review*. 21:2. pp. 117–136.
5. Mason, N.A. (1977) D.H. Lawrence and The White Peacock. *Cambridge Quarterly*. pp. 216–231. [Online] Available from: <http://camqtly.oxfordjournals.org/>. (Accessed: 16.11.2016).
6. Jiang Jianguo. (2010) D.H. Lawrence's Concept of Marriage Reflected in The White Peacock. *Foreign Literature Studies*. 32(6). pp. 90–97.
7. Dean, P. (2015) 'A great kick at misery': D.H. Lawrence's sense of tragedy. *English*. 64(246). pp. 207–221. DOI:10.1093/english/efv014
8. Sproles, K.Z. (1992) Shooting The White Peacock: Victorian art and feminine sexuality in D.H. Lawrence's first novel. *Criticism*. 34(2). pp. 237–259.
9. Stewart, J. (1999) *The Vital Art of D. H. Lawrence: Vision and Expression*. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 251 p.
10. Cushman, K. (2011) Jack Stewart. Color, Space, and Creativity: Art and Ontology in Five British Writers [review]. *D.H. Lawrence Review*. 36(1).
11. Gu, M. (1992) D. Lawrence childhood traumas and the problematic form of The White Peacock. *D.H. Lawrence Review*. 24(2). pp. 127–144.

12. Ingersoll, E. (2012) "What's in a Name?": Naming Men in Lawrence's Novels. *D.H. Lawrence Review*. 37(1).
13. Mikhal'skaya, N.P. (2010) Devid Gerbert Lourens: roman i chuvstva [David Herbert Lawrence: novel and feelings]. In: Lawrence, D.H. *Synov'ya i lyubovniki* [Sons and Lovers]. Translated from English by R. Oblonskaya. St. Petersburg: Azbuka.
14. Lawrence, D.H. (1996) *Terzanie ploti: Roman i novelly* [The Thorn in the Flesh: novel and short stories]. Translated from English by R.O. Aldington. Moscow: Lokid.
15. Anikst, A.A. (1956) *Istoriya angliyskoy literatury* [History of English literature]. Moscow: Uchpedgiz, 483 pp.
16. Zhantieva, D.G. (1958) Angliyskaya literatura ot pervoy do vtoroy mirovoy voyny [English literature from the First to the Second World War]. In: Anisimov, I.I. (ed.) *Istoriya angliyskoy literatury: v 3 t.* [History of English literature: in 3 vols]. Vol. 3. Moscow: RAS.
17. Mikhal'skaya, N.P. (1967) Literaturno-kriticheskie vzglyady i teoriya romana Devida Gerberta Lourensa [Literary-critical views and theory of the novel by David Herbert Lawrence]. *Uchen. zap. MGPI im. V.I. Lenina*. 280. pp. 33–77.
18. Anikin, G.N. & Mikhal'skaya, N.P. (1985) *Istoriya angliyskoy literatury* [History of English literature]. 2nd ed. Moscow: Vyssh. shk.
19. Ivashева, V.V. (1984) *Literatura Velikobritanii XX veka* [UK Literature of the 20th century]. Moscow: Vyssh. shk.
20. Bushmanova, N.I. (1996) *Problema interteksta v literature angliyskogo modernizma: proza D.Kh. Lourensa i V. Vulf* [The problem of intertext in the literature of English modernism: Prose by D.H. Lawrence and V. Woolf]. Abstract of Philology Dr. Diss. Moscow.
21. Tikunova, S.G. (2005) *Vzaimodeystvie strukturnykh i sodержatel'nykh kharakteristik khudozhestvennogo teksta i ego zaglaviya: na materiale angliyskogo yazyka* [Interaction of structural and content characteristics of an artistic text and its title: on the material of the English language]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
22. Gospodareva, M.V. (2015) D.H. Lawrence's First Novel. *Uchenye zapiski Kurskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2 (34). [Online] Available from: <http://scientificnotes.ru/index.php?page=6&new=39>. (Accessed: 04.10.2015). (In Russian).
23. Mikhal'skaya, N.P. (1974) D.G. Lourens: poetika romana i ee otnoshenie k zhivopisi [D.H. Lawrence: poetics of the novel and its relation to painting]. In: Michal'skiy, N.P. (ed.) *Problemy zarubezhnoy literatury XIX–XX vekov* [Problems of foreign literature of the 19th–20th centuries]. Moscow: Moscow State Pedagogical Institute.
24. Antonova, K.N. (2011) *Khudozhestvennyy mir prozy D.G. Lourensa 1910-kh godov: intermedial'nyy aspekt* [The artistic world of D.H. Lawrence's prose of the 1910s: an intermedial aspect]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.
25. Bade, P. (2001) *Aubrey Beardsley*. N.Y.: Parkstone Press Ltd.
26. Khorol'skiy, V.V. (1995) *Estetizm i simvolizm v poezii Anglii i Irlandii rubezha XIX–XX vekov* [Aestheticism and symbolism in the poetry of England and Ireland at the turn of the 20th century]. Voronezh: Voronezh State University.
27. Burdett, O. (1969) *The Beardsley Period: An essay in perspective*. N.Y.: Cooper Square Publishers.
28. Bochkareva, N.S. & Tabunkina, I.A. (2010) *Khudozhestvennyy sintez v literaturnom nasledii Obri Berdsli* [Artistic synthesis in the literary heritage of Aubrey Beardsley]. Perm: Perm State University.
29. Tabunkina, I.A. & Bochkareva, N.S. (2016) Images of fictional artists in Aubrey Beardsley's novel "Under the Hill". *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* – Perm University Herald. *Russian and Foreign Philology*. 2 (34). pp. 101–112. [Online] Available from: http://rfp.psu.ru/abstracts/2.2016/tabunkina_bochkareva.pdf. (In Russian). DOI: 10.17072/2037-6681-2016-2-101-112
30. Sternin, G.Yu. (1984) *Russkaya khudozhestvennaya kul'tura vtoroy poloviny XIX – nachala XX v.* [Russian artistic culture of the second half of the 19th – early 20th centuries]. Moscow: Sov. khudozhnik.

31. Vyazova, E. (2009) *Gipnoz anglomanii: Angliya i "angliyskoe" v russkoy kul'ture rubezha XIX–XX vekov* [Hypnosis of Anglomania: England and the "English" in Russian culture at the turn of the 20th century]. Moscow: NLO.
32. Raby, P. (1998) *Aubrey Beardsley and the Nineties*. London: London Houser, Great Eastern Wharf Parkgate Road.
33. Maas, L. (ed.) (1970) *The Letters of Aubrey Beardsley*. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press.
34. Lawrence, D.H. (2006–2008) *Sobranie sochineniy: v 7 t.* [Works: in 7 vols]. Translated from English. Moscow: Vagrius.
35. Lawrence, D.H. (2007) *The White Peacock*. [Online] Available from: <http://gutenberg.net.au/ebooks07/0700641h.html>. (Accessed: 14.10.2016).
36. Botvinnik, M.N. (1980–1982) *Atalanta*. Kalidonskaya okhota [Atalanta. Caledonia hunting]. In: Tokarev, S.A. (ed.) *Mify narodov mira: entsikl.: v 2 t.* [Myths of the peoples of the world: encyclopedia: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
37. Beardsley, A. (1992) *Risunki. Proza. Stikhi. Aforizmy. Pis'ma. Vospominaniya i stat'i o Berdslee* [Drawings. Prose. Poems. Aphorisms. Letters. Memories and articles about Beardsley]. Translated from English. Moscow: Igra-tekhnika.
38. Beardsley, A. (2002) *Shedevry grafiki* [Masterpieces of graphics]. Moscow: Eksmo.
39. Björk, L.A. (ed.) (1985) *The Literary Notebook of Thomas Hardy*. Vol. 2. London; Basingstoke: The Macmillan Press Ltd..
40. Kovaleva, O.V. (2002) *O. Uayl'd i stil' modern* [O. Wilde and the Art Nouveau style]. Moscow: Editorial URSS.
41. Tabunkina, I.A. (2015) Comments on the picture of Claude Lorrain in the novel *Under the Hill* in the context of aesthetic movement of the end of the 19th century. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury – World Literature in the Context of Culture*. 4 (10). pp. 151–159. (In Russian).
42. Beardsley, A. (2001) *Mnogolikiy porok: Istoriya Venery i Tangeyzera, stikhotvoreniya, pis'ma* [The many-faced defect: The history of Venus and Tannhauser, poems, letters]. Translated from English. Moscow: Eksmo-press.
43. Bychkov, V.V. (1991) *Malaya istoriya vizantiyskoy estetiki* [A small history of Byzantine aesthetics]. Kiev: Put' k istine. [Online] Available from: http://krotov.info/lib_sec/02_b/bych/kov_02.htm. (Accessed: 30.10.2012).
44. Beardsley, A. (1996) *Under the Hill*. In: Wilde, O. & Beardsley, A. *Salome. Under the Hill*. London: Creation Books.
45. Proskurnin, B.M. (1993) *Angliyskaya literatura 1900–1914 godov (Dzh.R. Kipling, Dzh. Konrad, D.G. Lourens): tekst lektsiy* [English literature of 1900–1914 (J.R. Kipling, J. Conrad, D.H. Lawrence): text of lectures]. Perm: Perm State University.
46. Tabunkina, I.A. & Shestakova, A.S. (2016) The motive of the moon in the novel "The White Peacock" by D.H. Lawrence. *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury – World Literature in the Context of Culture*. 5 (11). pp. 231–239.
47. Mikhal'skaya, N.P. (1967) Roman D.G. Lourensa "Vlyublennye zhenshchiny" [D.H. Lawrence's novel "Women in Love"]. *Uchenye zapiski MGPI im. V.I. Lenina*. 280. pp. 78–95.

УДК 811.161.1:801.6
DOI: 10.17223/19986645/53/15

Н.В. Патроева, А.А. Лебедев

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗМЕР И СЕМАНТИКА ИНИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА¹

Анализируются синтаксическое строение, семантико-функциональный потенциал, строфическая организация и стиховое членение пушкинских зачинов. Менее 10% стихотворных пушкинских начальных строк (62 репрезентации из 737) совпадают с границами целой моно- или полипредикативной единицы. Длина первого предложения варьируется в рамках довольно широкого диапазона – от 1 до 20 строк. В большинстве пушкинских стихотворений первое предложение по протяженности совпадает с катреном.

Ключевые слова: лирические зачины, Пушкин, поэтический синтаксис, строфика, композиция.

В поэтических произведениях малых жанров первая строка нередко выполняет функцию номинации, озаглавливания текста, поскольку, в отличие от других литературных родов, в лирике заглавие – факультативный, а не облигаторный элемент текста. По наблюдениям историков русской поэзии [1. С. 30], форма стихотворений без заглавия становится широко распространенной уже в эпоху романтизма. В связи с этим важным и необходимым представляется выявить значение лирических зачинов в «выдвижении» главных тем, ключевых мотивов и образов, в структурно-смысловой и ритмо-мелодической организации поэтического произведения в качестве некоторых предпосылок для создания в более или менее отдаленном будущем типологии начальных строк стихотворений, тем более что заглавия, в сравнении с другими так называемыми «сильными» позициями лирического текста, становились предметом специального анализа уже неоднократно, но о роли иных средств компрессии и выдвижения (актуализации) смысла целого текста: подзаголовка, посвящения, эпиграфа, зачина и концовки текста – в научной литературе находим лишь спорадические, далекие от историко-типологических обобщений наблюдения исследователей (подробнее см.: [2–8]).

Зачин (или начало, интродукция, первый стих, первая строка, вступление, экспозиция) как первый элемент трехчастной композиции, обычной для лирического текста в целом, описан еще в работах Б.В. Томашевского [9] и В.Е. Холшевникова [10]. Именно первый стих оказывается свернутой моделью следующего далее произведения, сигнализирующей об особенно-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Синтаксический словарь русской поэзии XIX века», № 17-04-00168.

стях его стихотворной формы и содержания. Вопрос о границах зачина пока не нашел непротиворечивого и однозначного решения в работах теоретиков литературы (поскольку лирическая композиция вообще мало разработанная область поэтики). Например, стиховед В.Е. Холшевников отмечал, что зачином может являться «первый стих, иногда два... иногда первое четверостишие», при этом «важно не количество стихов, а функция лирического зачина» [10. С. 10]. Если стихотворение иногда как будто представляет собой «отрывок» и открывается многоточием (таково пушкинское «...Вновь я посетил...», например), начальные строки «именно потому, что они первые... в любом случае бессознательно воспринимаются читателем как зачин и выполняют его функцию» [Там же. С. 5]. Другой теоретик стиха, В.С. Баевский, предлагает интерпретацию зачина в объеме только первой строки текста [11. С. 22].

Решение вопроса о правой границе и, следовательно, о протяженности зачина нуждается, как представляется, в синтаксическом обосновании, несмотря на то, что вполне очевидна опосредованность процедуры вычленения интродукции анализом строфики и метрики лирического текста. Так, например, более половины пушкинских стихотворных произведений малых жанров носят астрофический характер, не имея графических средств (пробелов) для выделения композиционных элементов, и только примерно 15% от общего числа (в нашем материале – около 100 из более чем 700 стихотворений А.С. Пушкина), составляют разделенные на дву-, трех- и четверостишия тексты, что, на наш взгляд, очень тесно связывает проблему выявления зачина и его последующего описания прежде всего с синтаксическим анализом инициальных строк произведения.

Первые фразы могут иногда занимать все пространство стихотворения, так что инициальное предложение текста вбирает в себя итог целостного лирического наблюдения, поэтому столь затруднительным и условным в этом случае оказывается членение подобного дискурса на традиционно выделяемые зачин, развитие темы, концовку:

Если с нежной красотой
Вы чувствительны душою,
Если горести чужой
Вам ужасно быть виною,
Если тяжко помнить вам
Жертву тайного страданья –
Не оставлю сим листам
Моего воспоминанья (268)².

Лирических опытов, состоящих из одного предложения, в пушкинском наследии более ста (среди них эпиграммы, альбомная «мелочь», надписи, посвящения). Подобное построение поэтических произведений в границах одного, как правило, пространного, включающего многочисленные

² Здесь и далее цифра в круглых скобках за поэтической цитатой указывает страницу по изданию [12].

обособленные обороты и однородные ряды синтаксически и семантически полипредикативного высказывания подчеркивает не только присущую лирике грамматическую и смысловую сверхусложненность, но и тесную связь композиции с синтаксической структурой произведения, в лирическом роде гораздо более тесную, жесткую, чем в иных жанрах. Структурой периода, постепенно разворачивающегося от первой строки до последней, здесь задается ритм как будто бы нечленимой на отдельные части стихотворной архитектоники, либо в рамках вбирающего «бездну смысла» предложения умещаются несколько композиционных рубрик с не очень четкими, не столь очевидными (как, например, в структуре прозаической строфы – сверхфразового единства), размытыми границами:

От многоречия отрекшись добровольно,
В собранье полном слов не вижу пользы я;
Для счастья души, поверьте мне, друзья,
Иль слишком мало всех, иль одного довольно (374) –

начальная строка, вводящая информацию об исходном «положении дел» в виде самохарактеристики лирического «я» здесь благодаря использованному Пушкиным обособленному деепричастному обороту, здесь, очевидно, является лаконичной интродукцией, предопределяющей развитие тезиса в последующей строке, завершающей первую часть бессоюзного целого, а заключительных два стиха в границах второй предикативной единицы представляют собой остроумную концовку мысли с «интимизирующим» высказыванием обращением к читателю, подтверждающую мудрость заявленного лирическим героем в самом начале текста решения. Двойная (с одной стороны, стиховая, с другой – синтаксическая), таким образом усиленная, сегментированность пространства стиха, его смысловая и синтаксическая сложность позволяет соединить «начала и концы» даже в пределах текста, совпадающего по структуре с одним предложением: представить двух- или трехчастную композиционную форму: зачин + развитие темы: *О, сколько нам открытий чудных / Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель* (468) или трехчастную: *Пока супруг тебя, красавицу младую, Между шести других еще не заключил, / – Ходи к источнику могил И черпай воду ключевую, И думай, милая моя: / Как невозвратная струя блещит, бежит и исчезает – Так жизни время убегает, В гареме так исчезну я* (334).

Преобладающие в пушкинской лирике размеры инициального предложения, «задающего тон» всем последующим конструкциям, – в 4 или 2 строки, уже гораздо менее распространены одно-, восьмистишия либо фразы иного объема. Длина первого предложения у Пушкина варьируется в рамках довольно широкого диапазона – от 1 до 20 строк: 269 предложений занимают 4 стиха; на второй позиции составляющие 2 строки интродуктивные фразы (128 репрезентаций), а далее следуют по степени распространенности: равные по протяженности 1 стиху (в 71 стихотворении),

8 стихам (54 примера), 6 стихам (36 репрезентаций), 3 стихам (33), 5 строкам (30), 7 стихам (11), 9 строкам (9), 12 стихам (7), 10 стихам (6), 11 строкам (3), 16 стихам (2 репрезентации); единичными примерами представлены начальные предложения, длящиеся 14, 15, 17, 18 и 20 строк.

Если сопоставить границы инициального предложения и строфы, то в 64 пушкинских стихотворениях первое предложение совпадает по своей протяженности с катреном, за этим самым распространенным типом строфической конструкции следуют: 14 шестистиший (секстин), 9 октав, 6 двустиший (дистихов), 4 пятистишия, одной репрезентацией представлены семи- и девятистишия (септима и нона). Симметричность построения стихотворных начал создают инициальные предложения, совпадающие с полустрофой: четырехстрочные зачины представлены в 15 начальных октавах, двухстрочные – в 11 начальных катренах, трехстрочные зачины – в 3 состоящих из секстин произведениях, пятистрочные – в одном начальном десятистишии.

Инициальные предложения могут занимать также несколько строф: в 6 стихотворениях восьмистишия охватывают первые два катрена, по одному примеру в пушкинских лирических текстах приходится на занимающие 2 строфы зачины из 6 (= 2 трехстишия) и 16 (= 2 октавы). Самое протяженное (из 20 стихов, равное 5 строфам-катренам) предложение совпадает по своим границам с целым стихотворением («В.Ф. Раевскому»).

В двух стихотворениях («Недвижный страж дремал на царственном пороге...» и «Не спрашивай, зачем унылой думой...») инициальное предложение заступает за границы строфического пробела и завершается после продолжительной межстрофной паузы в первой строке последующей группы стихов.

В астрофических стихотворениях (494 – более 70% лирических произведений А.С. Пушкина) во многом сохраняется «инерция» построения инициальных конструкций по модели катрена, дву- или одностишия: так, на начальные предложения длиной в 4 стиха приходится около трети всех репрезентаций (186 из 494), на двухстрочные – 99 примеров (примерно пятая часть от общего числа), однострочных – 57, восьмистрочных – 33, трехстрочных – 30, пятистрочных – 25, шестистрочных – 20, семистрочных – 9, девятистрочных – 8, десятистрочных – 6. Отмечены также 12-строчные (в 7 астрофических стихотворениях) и 11-строчные (в 3 случаях) интродуктивные высказывания; 13-, 14-, 15-, 16-, 17- и 18-строчные инициальные предложения представлены единичными примерами. Начальные фразы, длящиеся нечетное количество строк, почти исключительно предпочитают Пушкиным в лирических строфического членения произведениях – например, в «Кто знает край, где небо блещет...» (418).

Первые предложения, занимающие полустишие либо одну и более строк с заключительным полустишием, когда первая фраза заканчивается в середине стиха, создают дополнительный (к анжамбеману – переносу из строки в строку) конфликт между стиховым и синтаксическим членением, нарушающий плавное, мерное, напевное течение поэтической речи, тем самым сообщая стиху интонацию непринужденной беседы. Пушкин использует прием внутриверсической сегментации как завершение инициально-

го предложения в своей лирике нечасто – в 27 стихотворениях, например: *Султан ярится. Кровь Эллады...* (342); *Шумит кустарник... На утес...* (495) и др.

Большинство пушкинских стихотворных интродукций строятся по модели полипредикативного предложения, обычно отдельной его части (только 7, т.е. примерно 1% начальных строк вмещают целое сложное предложение), поскольку лирический дискурс требует гораздо более сложной синтаксической организации текстовой структуры в силу общепозитической прагматической установки: вместить в стихотворную миниатюру всю суть авторской медитации – индивидуальный образ бытия (фрагмент символической картины мира). При этом типичными для поэтических начал оказываются бессюзные многокомпонентные и бинарные построения, составляющие четвертую часть всех пушкинских зачинов, например: *Я верю: я любим; для сердца нужно верить* (218). Более 150 стихотворений (т.е. еще примерно четверть включенных в описание малых жанров) Пушкина являются частью полипредикативной с разными типами синтаксической связи конструкции.

Инициальные строки, совпадающие с границами простых конструкций, составляют только 6% (45 репрезентаций) от общего числа первых стихов (между тем в прозе Пушкин лапидарен, «синтаксис его прост, ясен, прозрачен. Преобладают простые короткие предложения, реже встречаются сложные простой структуры. Периоды отсутствуют» [13. С. 170]). Пушкин был уверен, что «точность и краткость – вот первые достоинства прозы... Стихи – другое дело...» [14. С. 182]: *Мальчишка Фебу гимн поднес* (454); *Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила* (478); *Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеняя* (478); *Куда ты холоден и сух!* (591); *Опять я ваш, о юные друзья!* (151) и т.п.

Таким образом, структурный анализ пушкинских зачинов со всей очевидностью подтверждает высказывавшиеся ранее суждения исследователей о повышенной активности именно бессюзных предложений в поэзии: так, согласно данным, полученным в ходе работы над «Синтаксическим словарем русской лирики»³, в среднем не менее 50–60% предложений в поэзии малых и средних жанров оказываются сложно устроенными (см. таблицу).

Бессюзие позволяет создавать протяженные перечислительные ряды, при экономии метрического пространства в силу используемого поэтом асиндетона, поддерживать параллелизм и симметрию текста, ритмическую повторяемость, активизировать внимание читателя на «непрозрачных», семантически недостаточно дифференцированных по причине отсутствия союзов отношениях внутри бессюзного целого.

В отличие от повествовательных вопросительные и побудительные по цели высказывания и риторические по функциональному назначению в лирике конструкции оказываются инициальными комплексами только в 19 пушкинских стихотворениях.

³ Подробнее см.: [15. С. 22–41].

| Тип предложения | Кол-во репрезентаций в творчестве М.В. Ломоносова | Кол-во репрезентаций в творчестве Г.Р. Державина | Кол-во репрезентаций в творчестве Н.М. Карамзина | Кол-во репрезентаций в творчестве П.А. Вяземского | Кол-во репрезентаций в творчестве А.С. Пушкина | Кол-во репрезентаций в творчестве Е.А. Баратынского | Кол-во репрезентаций в творчестве М.Ю. Лермонтова |
|----------------------------|---|--|--|---|--|---|---|
| Двусоставные простые | 405 (19,45%) | 370 (16,75%) | 573 (23,70%) | 959 (27,8%) | 1191 (21,13%) | 362 (23,48%) | 388 (19,47%) |
| Односоставные простые | 58 (2,79%) | 94 (4,26%) | 198 (8,19%) | 79 (2,29%) | 330 (5,86%) | 76 (4,93%) | 91 (4,57%) |
| Двусоставные осложненные | 250 (12,01%) | 209 (9,46%) | 165 (6,82%) | 462 (13,39%) | 766 (13,59%) | 213 (13,81%) | 193 (9,68%) |
| Односоставные осложненные | 43 (2,07%) | 68 (3,08%) | 95 (3,93%) | 68 (1,97%) | 261 (4,63%) | 35 (2,27%) | 37 (1,86%) |
| Сложносочиненные бинарные | 99 (4,76%) | 82 (3,71%) | 136 (5,62%) | 265 (7,68%) | 347 (6,16%) | 94 (6,10%) | 140 (7,02%) |
| Сложноподчиненные бинарные | 325 (15,61%) | 223 (10,10%) | 207 (8,56%) | 241 (6,99%) | 322 (5,71%) | 98 (6,36%) | 170 (8,53%) |
| Бессоюзные бинарные | 258 (12,39%) | 264 (11,95%) | 353 (14,60%) | 355 (10,29%) | 826 (14,66%) | 239 (15,50%) | 239 (11,99%) |
| Многокомпонентные сложные | 644 (30,93%) | 899 (40,70%) | 691 (28,58%) | 1020 (29,57%) | 1593 (28,26%) | 425 (27,56%) | 735 (36,88%) |
| Всего | 2082 (100,00%) | 2209 (100,00%) | 2418 (100,00%) | 3449 (100,00%) | 5636 (100,00%) | 1542 (100,00%) | 1993 (100,00%) |

Императивные конструкции усиливают апеллятивность первого побудительного предложения текста, являются приметой внутреннего спора лирического героя с неким внутренним или внешним (потенциальным читателем произведения) адресатом либо с самим собой (в случае аутодиалога): *Не угрожай ленивцу молодому* (186); *Поэт! не дорожи любовью народной* (474).

Вопросительные монопредикативные высказывания открывают чаще произведения стилистически сниженные – эпиграммы: *Как! жив еще Курилка журналист?* (341); *О чем, прозаик, ты хлопочешь?* (365); *Как брань тебе не надоела?* (229); стихотворения, содержащие вакхические, анакреонтические, эпикурейские мотивы: *Что же сухо в чаше дно?* (563); *Откуда чудный шум, неистовые крики?* (186); *Что смолкнул веселия глас?* (352); *Где ты, ленивец мой?* (90); альбомные «мелочи» или стихотворения «на случай»: *Что можем наскоро стихами молвить ей?* (220); элегии (любвные, философские): *К чему холодные сомненья?* (327); Тебя ль я видел, милый друг? (189) или стихотворения, наполненные гражданственным пафосом: *О чем шумите вы, народные витии?* (499). Как известно, стихотворение – всегда «превращенный» («фиктивный», вне реальной речевой ситуации) диалог поэта с миром и самим собою, заочный и релевантный потенциально для любого отдаленного во времени и пространстве, поэтому вопросы в лирике часто оказываются «безответными»⁴, медитативными (например, *Что в имени тебе моем?* (468)), императивными (например, *Что же? будет ли вино?* (337)) или пейзажными (например, *Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?* (445) или *Что белеется на горе зеленой?* (562)) по своей функции.

В зачинах Пушкин помимо двусоставных конструкций активно использовал определенно-личные односоставные структуры, содержащие предикаты состояния (*В молчанье пред тобой сижу* (128); *Сижу за решеткой в темнице сырой* (288); *Стою печален на кладбище* (530) и др.), гораздо реже – безличные, номинативные и неопределенно-личные структуры.

С функционально-семантической точки зрения поэтические зачины могли бы быть классифицированы следующим образом:

1) *фактуальные*⁵, служащие для номинации некоего события, послужившего отправным пунктом для развертывания лирического сюжета, поскольку «для лирического произведения не требуется последовательности событий, но нужно хотя бы одно событие, чтобы можно было «зацепиться» им за реальный мир, чтобы можно было по поводу его переживать» [7. С. 60]: *Ура! в Россию скачет Кочующий деспот.* (192); *Как ныне собирается вечный Олег...* (272); *Ты издал дядю моего...* (333); *Ходил Стенька Разин...* (382); *С тобой мне вновь считается довелось...* (389); *Сводня*

⁴ Термин И. И. Ковтуновой – см.: [16. С. 293].

⁵ Р.А. Евсеева называет интродукции, представляющие собой констатацию какого-либо факта или явления, служащего отправной точкой для дальнейших описаний и рассуждений поэта, «зачинами-импульсами» [17. С. 53].

грустно за столом Карты разлагает. (411); *Прибежали в избу дети...* (427); *Поэт по лире вдохновенной Рукой рассеянно бряцал.* (435); *Картину раз высматривал сапожник...* (450); *Мальчишка Фебу гимн поднес* (454); *Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.* (478); *Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря...* (478); *Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеня.* (478); *Стамбул гяуры нынче славят...* (483); *Одни стихи ему читала...* (497); *Скребницей чистил он коня...* (512); *Король ходит большими шагами...* (533); *Радивой поднял желтое знамя...* (537); *Как покинула меня Парасковья...* (540); *Полюбил королевич Яньши...* (553) – доля фактуальных начал у Пушкина составляет не более 5% от общего числа, поскольку такие событийные зачины мало характерны для лирики, стихия которой – не повествование, а описание и размышление, выражение эмоций и точки зрения лирического субъекта;

2) *экзистенциальные* зачины, сообщают о бытии какого-либо явления в индивидуально-поэтической картине мира⁶: *Есть в России город Луга...* (178); *Овидий, я живу близ тихих берегов...* (254); *Есть роза дивная: она...* (396); *Жил на свете рыцарь бедный...* (446); *Был и я среди донцов...* (463); *Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.* (516); *У русского царя в чертогах есть палата...* (564); *Была пора: наш праздник молодой...* (586); *Угрюмых тройка есть певцов...* (99); *Я здесь, Инезилья...* (481); *Перестрелка за холмами...* (457); *Кавказ подо мною. Один в вышине Стою над снегами у края стремнины...* (456); *Сегодня я поутру дома...* (291); *Покойник Клит в раю не будет...* (176); *Ты ль предо мною, Деля моя?* (165);

3) *хронотопические* интродукции информируют читателя о месте и времени изображаемой далее ситуации: *Раз, полуночной порою...* (32); *В роце сумрачной, тенистой...* (36); *Навис покров угрюмой ночи...* (51); *Под вечер, осенью ненастной...* (56); *Средь темной рощицы, под сенью лип душистых...* (57); *В пещерах Геликона...* (77); *В раю, за грустным Ахероном...* (103); *Недавно темною порою...* (131); *Глубокой ночью на полях...* (134); *Над озером, в глухих дубровах...* (203); *Там у леска, за ближнею долиной...* (208); *В стране, где Юлией венчаный...* (237); *В стране, где я забыл тревоги прежних лет...* (245); *На тихих берегах Москвы...* (290); *В лесах, во мраке ночи праздной...* (358); *В пещере тайной, в день гоненья...* (376); *Под небом голубым страны своей родной...* (381); *В безмолвии садов, весной, во мгле ночей...* (395); *Во глубине сибирских руд...* (395); *Среди рассеянной Москвы...* (397); *В степи мирской, печальной и безбрежной...* (397); *Близ мест, где царствует Венеция златая...* (402); *Там, где море вечно плещет...* (409); *В пустыне чахлой и скупой...* (432); *В степях зеленых Буджака...* (438); *Высоко над семьёю гор...* (458); *Над лесистыми берегами...* (494); *Надо мной в лазури ясной...* (498); *Перед гробницею святой...* (498); *Поздно ночью из похода...* (517); *В славной в Муромской земле...* (528); *В пещере, на острых камнях...* (541); *В мои осенние досуги...*

⁶ О структуре и семантике экзистенциальных зачинов в русской поэзии см.: [18. С. 68–72].

(578); *В Академии наук...* (578); *От западных морей до самых врат восточных...* (589) – подобные начала, содержащие пространственно-временные координаты достаточно активны в стихотворных текстах, однако лирический хронотоп избегает точных деталей, максимально обобщен (север / юг / запад / восток; ночь / утро / вечер / день; там / здесь; в лесу / в пустыне / на полях, в степи и т.п.); обращают на себя внимание зачины с приметам «оссианического», мифологического, фольклорного, библейского хронотопов;

4) *описательные* экспозиции предлагают воображению читателя природный пейзаж (а) и бытовые зарисовки (б): а) *Вянет, вянет лето красно...* (62); *Вечерняя заря в пучине догорала...* (78); *По небу крадется луна...* (83); *Последним сияньем за лесом горя...* (93); *Погасло дневное светило...* (224); *Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...* (230); *Редеет облаков летучая гряда.* (230); *Все в таинственном молчанье...* (111); *Зима мне рыхлою стеною...* (299); *Плещут волны Флегетона...* (306); *Ночной зефир Струит эфир.* (319); *Ненастный день потух; ненастной ночи мгла По небу стелется одеждою свинцовой...* (320); *Земля недвижна; неба своды...* (323); *Роняет лес багряный свой убор...* (353); *Буря мглою небо кроет...* (362); *Сквозь волнистые туманы...* (387); *Мчатся тучи, вьются тучи...* (475); *Октябрь уж наступил – уж роца отряхает...* (520); *В поле чистом себребрится Снег волнистый и рябой...* (525); *Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя Широко разлилось, как боевое знамя.* (529); *Ночь тиха, в небесном поле Светит Вesper золотой.* (594); *На холмах Грузии лежит ночная мгла...* (445); б) *В прохладе сладостной фонтанов...* (431); *Вечерня отошла давно, Но в кельях тихо и темно.* (301); *С перегородкою коморки...* (338); *В еврейской хижине лампада В одном углу бледна горит...* (388); *Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают...* (510);

5) *риторические* зачины – с восклицаниями, вопросами, обращенными к воображаемому заочному собеседнику, – организуют «превращенную», «фиктивную» по своему характеру поэтическую коммуникацию. Подобные интродукции составляют более трети стихотворных пушкинских начал: *Слыхали ль вы за роцей глас ночной Певца любви, певца своей печали?* (137); *Мечты, мечты, Где ваша сладость?* (149); *Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!* (182); *Тебя ль я видел, милый друг?* (189); *Увы, зачем она блистает Минутной, нежной красотой?* (225); *Как быстро в поле, вокруг открытом, Подкован вновь, мой конь бежит!* (440) и др. – подобные зачины составляют более трети пушкинских интродукций;

6) *оценочно-характеризующие, интерпретационные* зачины, зачины-сентенции и афоризмы, очень свойственные лирике как самому «субъективному» и эмоционально насыщенному литературному роду: по словам Л. Гинзбург, «поэтическое слово непрерывно оценивает все, к чему прикасается» [19. С. 8], поскольку поэт всегда предлагает читателю свою версию изображаемого, свой модус мира, в тайне рассчитывая на сопереживание в оценке собственного «я» или адресата или некоего третьего лица, какого-либо явления (шутливо-ироническую, восторженную, критическую): *Уж я*

не тот любовник страстный... (164); Я сам в себе уверен... (173); Краев чужих неопытный любитель... (181); Простой воспитанник природы... (185); Все призрак, суета... (216); Охотник до журнальной драки... (335); Ты не наследница Клероны... (87); Ты в страсти горестной находишь наслажденье... (191); Ты рождена воспламенять... (278); Клеветник без дарованья... (257); Полу-милорд, полу-купец... (308); Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах... (368); Он вежлив был в иных прихожих... (376); Воспитанный под барабаном, Наш царь лихим был капитаном... (394); С своей пылающей душой... (425); Журналами обиженный жестоко, Зоил Пахом печалился глубоко... (444); Воспоминаньями смущенный... (464); Нет, я не дорожу мятёжным наслажденьем... (593); О, нет, мне жизнь не надоела... (593); Вы избалованы природой... (441); Румяный критик мой, насмешишь толстопузый... (481); Опять увенчаны мы славой... (461); Критон, роскошный гражданин... (460); Благословен твой подвиг новый... (460); Напрасно видишь тут ошибку... (460); Надеясь на мое презренье, Седой зоил меня ругал... (462); О сколько нам открытий чудных... (468); Суровый Дант не презирал сонета... (470); Смеясь жестоко над собранием... (492); Два чувства дивно близки нам... (496); Как редко плату получает Великий добрый человек... (581); Не дорого ценю я громкие права... (584); Твои догадки – суций вздор... (592); Ценитель умственных творений исполинских... (589); Куда ты холоден и сух! (591); Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера... (489); Все в ней гармония, все диво... (508); Трусоват был Ваня бедный... (549); Тошней идилии и холодней, чем ода... (177); Житье тому, любезный друг, Кто страстью глупою не болел... (200); Лаиса, я люблю твой смелый, вольный взор... (213); Нет, нет, напрасны ваши пени... (215); Всей России притеснитель... (221); Ты прав, мой друг, напрасно я презрел Дары природы благосклонной. (280); Как наше сердце своенравно! 302; Мой пленник вовсе не любезен... (302); Т – прав, когда так верно вас... (333); Напрасно ахнула Европа... (339); Твое соседство нам опасно... (368); Словесность русская больна (373); Блажен, кто в шуме городском... (120); Блажен, кто в отдаленной сени... (205); Блажен в златом кругу вельмож... (408); Счастлив, кто в страсти сам себе Без ужаса признаться смеет... (136); Любовь одна – веселье жизни хладной... (138) и др.;

7) функцией характеристики (наряду с вокативной) наделены, как правило, и *апеллятивные* зачины: *Ольга, крестница Киприды, Ольга, чудо красоты!* (197); *О ты, надежда нашей сцены!* (197); *Питомец мод, большого света друг...* (212); *Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой...* (282); *Проклятый город Кишинев!* (293); *Любимец моды легкокрылой...* (401) и т.п.

Возможным аспектом типологизации зачинов представляется их классификация с точки зрения стилистических приемов, используемых автором в самом начале коммуникации с читателем, например повтора: *Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит...* (430); *Глухой глухого звал к суду судьи глухого...* (479); *Мчатся тучи, вьются тучи...* (475); *Фонтан любви,*

фонтан живой! (318); создающего симметрию стихов и полустийший параллелизма: *Не два волка в овраге грызутся, Отец с сыном в пещере бранятся* (547); антитезы: *Город пышный, город бедный...* (431); *Ты богат, я очень беден...* (222); каламбура: *Когда Потемкину в потемках...* (592); *От вас узнал я плен Варшавы* (504); аллюзий и реминисценций, прецедентных имен: *Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия* (176); *Смутясь, нахмурился пророк...* (322); *Нас было много на челне...* (398); *Прими сей череп, Дельвиг: он...* (403); *Как узник, Байроном воспетый...* (338); *В Элизии Василий Тредьяковский...* (443).

Поскольку репрезентантом лирического произведения и субститутном заглавия является именно начальная строка, очевидно, зачином стихотворного текста, пусть не в строго-композиционном и содержательном плане, а с точки зрения читательского ожидания, типизирующего поэтическую архитектуру, следует признать не какую-либо строфическую форму (например, широко распространенный в поэзии катрен), не инициальное предложение, редко совпадающее с границами первого стиха и иногда разрастающееся до размеров целого текста (что подтверждает проведенный анализ пушкинских интродукций), но первую строку стихотворения, задающую текстовую грамматическую форму, размер, ритм, тему и неповторимую интонацию автора, играющую важную роль в процессе декодирования художественного целого внешним адресатом, приоткрывающую завесу над индивидуально-поэтическим образом мира.

Литература

1. Григорьян К.Н. Пушкинская элегия (национальные истоки, предшественники, эволюция). Л. : Наука, 1990. 257с.
2. Евсеева Р.А. Трехчастность лирических стихотворений: к проблеме методики анализа композиции // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 11. С. 45–50.
3. Жирмунская Н.А. Эпиграф и проблема импликации в поэтическом тексте (на материале лирики А. Ахматовой) // Филологические исследования. М. ; Л., 1990. С. 342–350.
4. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М. : Просвещение, 1989. 206 с.
5. Соловьева А.К. Заметки о типологии начальных строк художественных прозаических произведений // Филологические науки. 1976. № 3. С. 88–94.
6. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М. : Просвещение, 1986.
7. Сидорова М.Ю. Грамматика художественного текста. М. : Центр М, 2001. 400 с.
8. Мерлин В.В. Самоотрицание текста: (К семантике поэтической концовки) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1990. Т. 49, № 1. С. 3–15.
9. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М. : Аспект-Пресс, 1996. 334 с.
10. Холшевников В.Е. Анализ композиции лирического стихотворения // Анализ одного стихотворения. Л., 1991. С. 5–49.
11. Баевский В.С. Стих русской советской поэзии. Смоленск : Изд-во СГПИ, 1972. 142 с.
12. Пушкин А.С. Сочинения : в 3 т. М.: Худож. лит., 1985. Т. 1. 735 с.
13. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика: (Сложное синтаксическое целое). М. : Высш. шк., 1991. 182 с.
14. А.С. Пушкин об искусстве : в 2 т. М.: Искусство, 1990. Т. 1. 363 с.

15. Патроева Н.В. Синтаксис русской поэзии XVIII века в связи с метрикой, строфикой, жанром стихотворения // Вопросы языкознания. 2017. № 6. С. 22–41.

16. Ковтунова И.И. Синтаксис поэтического текста // Поэтическая грамматика. М., 2006. С. 239–297.

17. Евсеева Р.А. Зачины в элегиях В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 11. С. 50–56.

18. Патроева Н.В. Зачины с экзистенциальным глаголом ЕСТЬ в русской поэзии XVIII–XX вв.: опыт грамматического и функционально-семантического описания // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2012. № 7 (128), т. 1. С. 68–72.

19. Гинзбург Л. О лирике. Л. : Сов. писатель, 1974. 408 с.

SYNTACTIC ORGANIZATION, METER AND SEMANTICS OF INITIAL SENTENCES IN A.S. PUSHKIN'S LYRICS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 224–236. DOI: 10.17223/19986645/53/15

Natalja V. Patroeva, Aleksandr A. Lebedev, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation). E-mail: nvpatr@list.ru / perevodchik88@yandex.ru

Keywords: initial sentences, lyrical opening sentences, Pushkin, poetic syntax, composition.

The article analyzes the syntactic structure, the semantic-functional potential, the stanza organization and the verse division of Pushkin's opening sentences.

Less than 10% of the poetic Pushkin's initial lines (62 representations out of 737) coincide with the boundaries of the whole mono- or polypredicative unit.

The initial lines, coinciding with the boundaries of simple constructions, make up only 6% of the total number of the first verses.

The parts of the asyndetic binary and multicomponent constructions that form 25% of all the Pushkin's lyrical opening sentences are typical for the poetic beginnings.

Since the opening sentence assigns the syntactic composition of the subsequent text, it is possible to extend the revealed tendency to a polypredicative asyndetic construction of the initial phrases for the entire lyrical discourse as a whole. The length of the first sentence varies within a fairly wide range from 1 to 20 lines.

In the majority of Pushkin's poems, the first sentence coincides in its length with the quatrain (269 sentences make up 4 verses); in the second position, the introductory phrases (128 representations) make up 2 lines.

Further, depending on the prevalence, follows: equal to 1 verse in length (in 71 poems), to 8 verses (in 54 examples), to 6 verses (36 representations), to 3 verses (33), to 5 lines (30), to 7 verses (11), to 9 lines (9), to 12 verses (7), to 10 verses (6), to 11 lines (3), to 16 verses (2 representations); the initial sentences, which last 14, 15, 17, 18 and 20 lines, are presented in one example. Initial sentences can also take a few stanzas, and sometimes the work is built as one sentence, which makes it difficult to single out the opening sentence in the architectonics of this poem. Poems that are astrophic or constructed in a special form of a "piece" composition in many respects preserve the "inertia" of the structure of the initial constructions by the model of quatrains and couplets. Since the initial line is the representative of the lyric work and the substitute for the title, it is obvious that the opening sentence of the poetic text, though not in the strictly composition and content plan but from the standpoint of readers' expectations typifying the poetic architectonics, should not be a stanzaic form (for example, widespread quatrains in poetry), an initial sentence rarely coinciding with the boundaries of the first verse and sometimes expanding to the size of the whole text (which the analysis of Pushkin's introductions confirms), but the first verses of the poem, setting the textual grammatical form, meter, rhythm, theme and unique intonation of the author which plays an important role in the decoding of the artistic unit by the external addressee and slightly opens the "curtains" of the individual poetical image of the world, but.

References

1. Grigor'yan, K.N. (1990) *Pushkinskaya elegiya (natsional'nye istoki, predshestvenniki, evolyutsiya)* [Pushkin's elegy (national sources, predecessors, evolution)]. Leningrad: Nauka.
2. Evseeva, R.A. (2006) Trekhchastnost' liricheskikh stikhotvoreniy: k probleme metodiki analiza kompozitsii [Three-part lyrical poems: to the problem of the technique of composition analysis]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*. 11. pp. 45–50.
3. Zhirmunskaya, N.A. (1990) Epigraf i problema implikatsii v poeticheskom tekste (na materiale liriki A. Akhmatovoy) [Epigraph and the problem of implication in a poetic text (on the material of A. Akhmatova's lyrics)]. In: Likhachev, D.S. (ed.) *Filologicheskie issledovaniya* [Philological Studies]. Moscow: Nauka.
4. Kukhareno, V.A. (1989) *Interpretatsiya teksta* [Interpreting the text]. Moscow: Prosveshchenie.
5. Solov'eva, A.K. (1976) Zametki o tipologii nachal'nykh strok khudozhestvennykh prozaicheskikh proizvedeniy [Notes on the typology of the initial lines of artistic prose works]. *Filologicheskie nauki*. 3. pp. 88–94.
6. Turaeva, Z.Ya. (1986) *Lingvistika teksta* [Linguistics of the text]. Moscow: Prosveshchenie.
7. Sidorova, M.Yu. (2001) *Grammatika khudozhestvennogo teksta* [Grammar of artistic text]. Moscow: TSentr M.
8. Merlin, V.V. (1990) Samootritsanie teksta: (K semantike poeticheskoy kontsovki) [Self-negation of the text: (To the semantics of the poetic ending)]. *Izvestiya AN SSSR. Ser. literatury i yazyka*. 49(1). pp. 3–15.
9. Tomashevskiy, B.V. (1996) *Teoriya literatury. Poetika* [Literature theory. Poetics]. Moscow: Aspekt-Press.
10. Kholshchevnikov, V.E. (1985) Analiz kompozitsii liricheskogo stikhotvoreniya [Analysis of the composition of the lyrical poem]. In: Kholshchevnikov, V.E. (ed.) *Analiz odnogo stikhotvoreniya* [Analysis of one poem]. Leningrad: Leningrad State University.
11. Baevskiy, V.S. (1972) *Stikh russkoy sovetskoy poezii* [The poem of Russian Soviet poetry]. Smolensk: Smolensk State Pedagogical Institute.
12. Pushkin, A.S. (1985) *Sochineniya: v 3 t.* [Works: in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Khud. lit.
13. Solganik, G.Ya. (1991) *Sintaksicheskaya stilistika: (Slozhnoe sintaksicheskoe tseloe)* [Syntactic stylistics: (A complex syntactic unity)]. Moscow: Vyssh. shk.
14. Pushkin, A.S. (1990) *Ob iskusstve: v 2 t.* [On art: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Iskusstvo.
15. Patroeva, N.V. (2017) The syntax of 18-century Russian poetry in connection with metrics, strophic organization, and genre. *Voprosy yazykoznaniya*. 6. pp. 22–41. (In Russian).
16. Kovtunova, I.I. (2006) Sintaksis poeticheskogo teksta [Syntax of the poetic text]. In: Krasil'nikov, E.V. (ed.) *Poeticheskaya grammatika* [Poetic grammar]. Moscow: Azbukovnik.
17. Evseeva, R.A. (2004) Zachiny v elegiyakh V.A. Zhukovskogo i K.N. Batyushkova [The beginnings in the elegies of V.A. Zhukovsky and K.N. Batyushkov]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*. 11. pp. 50–56.
18. Patroeva, N.V. (2012) Zachiny s ekzistentsial'nym glagolom EST' v russkoy poezii XVIII–XX vv.: opyt grammaticheskogo i funktsional'no-semanticheskogo opisaniya [Beginnings with the existential verb EST' in Russian poetry of the 18th–20th centuries: the experience of grammatical and functional-semantic description]. *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Obshchestvennye i gumanitarnye nauki*. 7(128):1. pp. 68–72.
19. Ginzburg, L. (1974) *O lirike* [On lyrics]. Leningrad: Sov. pisatel'.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/53/16

Н.В. Хомук

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ В РОМАНЕ Н.И. ГРЕЧА «ЧЕРНАЯ ЖЕНЩИНА». СТАТЬЯ 2

Рассматривается проблема репрезентации «петербургского текста» в романе Н.И. Греча «Черная женщина». Определяется роль и взаимосвязь архетипов «царя» и «девы», актуализированных главным топомосом – Петербургом. Интерпретируется категория времени для «петербургского текста» в романе и барочные отношения в художественной системе. Петербург влияет на эти отношения, включаясь в философский сюжет через свои метонимии. «Петербургский текст» в романе выражает драматизацию отношений личности с судьбой, включающей социальное отчуждение и морально-религиозные константы.

Ключевые слова: Н.И. Греч, «Черная женщина», Петербург, петербургский текст, масонство, царь, дева, барокко.

Отраженные в фамилиях персонажей романа Н.И. Греча «Черная женщина» коннотации «города» (Астионов, Элимов, Кемский) указывают на мифопоэтические по своему типу варианты отношений человека с высшим началом, которое он реализует в пространстве как «демиург», «культурный герой». В этом ключе в отношении города важны такие архетипы, как «царь» и «дева». На эту связь указывал В.Н. Топоров [1]. М. Вайскопф отмечал, что «согласно древним представлениям, царь был заместителем божества, благодетельствовавшего своей земной супруге – стране или городу» [2. С. 327]¹. Эти два архетипа связаны с областью высшего надличностного (отсюда мифопоэтическая и религиозно-символическая их роль), но они концентрируют в себе и родовое человеческое начало. Через архетип «царя» оба этих аспекта («высшего» и «человеческого») оказываются в антиномичном соотношении при их социально-коллективной исторической интеграции в образе суверена. При формализации «высокого» содержания архетипа (т.е. его мифологизации и символизации) мотив или семантический маркер «царского» становится выражением ответственности деяния, связывающего человека с пространством демиургическими узами должностования, преобразования и тем самым выражаемого через них «внутреннего содержания» мира, которое вне этого не выявляется.

¹ В сюжете романа закономерно используются разного рода контаминации «девы» и «царя»: Екатерина II; античный «Эдип в Колоне» [3. С. 158]; ряд цариц, упоминаемых в финале при посещении московского монастыря. Именно в финале, при завершении «метафизического сюжета», темы «девы» и «монарха» соединяются: «В отшельниках от здешнего мира чудилась ей царевна София Алексеевна, царица Евдокия Федоровна» [Там же. С. 306].

Доминанта Петербурга как культурного феномена – персонализм. Акт создания города Петром I в своей уникальной феноменальности может трактоваться как угодно через противоположности: проявление сакрального, или акт Антихриста, или акт исключительно индивидуалистический. Это свидетельствует, что феноменальность этого мирозидательного акта так и остается «закрытой в себе». Петербург – не только пространство, но и имя-миф, отличное от пространственной реализации, и тогда через связь «демиург – царь – человек» Петербург выстраивается как проекция жизни и судьбы «я», включающая вечно длящийся мирозидательный акт культурного героя – царя Петра – «гения» места, нового «сакрально-светского» текста (маркеры «сакрального» лишь указывают на феномен «неслиянного единства» сверхисторичности и историчности).

Как неоднократно отмечалось, Петербург – это центр исторического бытия, несущий силы сакрализации. «Суверен как первый представитель (Exponent) истории близок к тому, чтобы считаться ее воплощением» [4. С. 48]. Поскольку Петербург – воплощение воли личности² или воли высшего порядка, выразившейся через личность, то в историко-философском ключе эта тема связана с парадигмой монархов в романе Греча «Черная женщина». Петербург – город, репрезентирующий Российскую империю. «Имперскость» заключается в отстраненности этой репрезентации от всей национальной жизни³. Во-первых, Петербург через образ монарха актуализирует апокрифический план единства человека с государством и Богом (поэтому в романе задействуются или упоминаются не только Петр I, но также и Екатерина II, Павел I, Александр I)⁴. Но предваряют это вставные истории в I части романа, которые содержат экспликации судеб суверенов как потенциальных жертв⁵. Рассказ о перелетевшем через дворец и упав-

² Петербург, как отмечает Ф.Л. Казин: «...единственный город России, в котором русская идея предстает как выражение личной воли человека» [5. С. 7].

³ Как писал Ю.М. Лотман, город «...может быть не только изоморфен государству, но олицетворять его, быть им в некотором идеальном смысле» [6. Т. 2. С. 9].

⁴ Важность темы монарха для Греча нельзя сводить к идеологической ангажированности, стремлению выслужиться перед властью и пр. Эта тема двойственна, как все темы у Греча, имеющие «высокий» (риторический) образец и сниженный вариант (анекдотическую субверсию как источник двусмысленности для «высокого»). В «Записках» Греч намекает о своем возможном родстве с монархами через то, что полководец П.А. Румянцев – внебрачный сын Петра I, а мать Греча – это, возможно, дочь П.А. Румянцева, с которым, по слухам, у бабки Греча была тайная связь (см. об этом: [7. С. 62]). Тема близости к царям была навязчивой у Греча и выражалась, например, в таких пассажах: «Моя прабабушка, умершая в 1802 году лет девяноста от роду, оставила по себе память в фамильных преданиях. Ребенком она сживала на коленах у Карла XII и у Петра Великого, и чуть ли не была крестницею последнего» [7. С. 58]. И также в автобиографических записках и биографии, написанной Ф. Булгаринным, история предков Греча постоянно переплетается с деяниями монархов. Тема эта для Греча не так проста, как кажется, и можно сказать, *многозначительна* для его самосознания и творчества.

⁵ Как заметил В. Беньямин: «Монарх и мученик не избегают в барочной драме имманентности» [4. С. 53].

шем в Неву «змее» – предвестие падения Анны Иоанновны⁶. Апогей страдательного исхода для монарха в этой части романа – назидательная картина, явленная Карлу XI из будущего – казнь цареубийцы; это видение оставляет королю опредмеченно-телесную «памятку», своего рода аналог стигмата: пятнышко крови на башмаке. Далее эта тема «жертвенности» суверена развита в другой исторической «байке» о предсказании смерти Густава III от рук убийцы в красном плаще⁷, а после продолжена в рассказах, связанных с Великой французской революцией. Во-вторых, Петербург имеет отношение к апокалиптичности (эта тема расширена в романе через парадигму столиц: в Лиссабоне – землетрясение, в Париже – кровавые эксцессы исторических катаклизмов). В I части в каждой рассказанной истории фигурируют монархи: монарх – олицетворение высшей силы, но также он связан с темой «нарушения», преступления, проявлением слабости; это ведет в рассказах к теме революционных сдвигов в Европе (что актуализирует положение «монарха-мученика»). Тема революции выражает исторический сдвиг, сопровождающийся изменением отношения масс к монарху. Тем самым царь как образ исторической личности – это личностное выражение императива, так и релятивности, свойственной обычному человеку. Монарх – заложник «высшего» и в то же время своей человеческой природы. Следовательно, помимо внешне аллегорических знаков в масонском духе в романе сакрально-исторический текст суверена подвергается экстериоризации (рассказанная история «другого» предстает как назидательный пример в жанре притчи или даже анекдота). Проблематизируется, и тем самым усиливается в своей настоятельности, императив высшей ответственности, сосредоточенной в суверене. Не случайно в одной из рассказанных историй анонимность переодетого монарха не отменяет уготованного ему удела и ответственности.

Но дело не только в этом знании или роли. Какое значение приобретает место, где ведется это рассказывание? Оно – в пределах Петербурга, но в удалении от его имперского руководящего центра; и уже сам рассказ представляет «позорище» (зрелище барочного типа), не просто наставительный пример, но с зарядом скрытой провиденциальности, со своей тайной зеркальностью к положению слушателей, сопричастных коллизии высшего /

⁶ Это сигнал того, что грядут политические изменения: «...люди вздумали утверждать, что это видение было их предзнаменованием [3. С. 43]. Возникает травестийная переключка с этим мотивом во втором устном рассказе: у слуги «ветер, сорвал... шляпу и унес ее к набережной. Он побегал за нею, поймал уже близ берега Невы и пошел ко дворцу» [3. С. 42].

⁷ Мотив «пропавшей бумаги» в этой истории получает переключку в сюжете романа с отчетом об отдаче дочери Кемского в Воспитательный дом и завещанием отца Кемского. Предсказание в этой истории связано с будущей смертью Густава III, которая произойдет в результате покушения на него во время бала-маскарада. В связи с этим стоит отметить, что многие драматичные события для главных героев романа (Ветлина, князя Кемского с Надеждой) переживаются им в сцене бала в III части; эту драматичность в состоянии героев автор гипеболизирует до смертельного аффекта.

человеческого, когда второе активизировано и драматизировано первым. Противоположная направленность реализуется во II части романа, когда «высшее» в лице монарха нисходит к обыкновенной человечности (Петр I и родители Алимари). Дело происходит в Венеции: будущий отец Алимари, т.е. Алимари-старший, и его возлюбленная – у себя дома, а Петр I в данной ситуации – за границей, в «гостях», но своей монаршей милостыней Петр снимает территориальную границу *своего / чужого*, поступает так, как он поступил бы в Петербурге. Через Петра I Венеция соотносается с Петербургом уже не только метафорическим способом (через мотивы «водного», мужского / женского и пр.; см.: [8. С. 12–13]). К простой житейской человечности относится мотив «пирожков», которыми угощается Петр у четы Алимари и которые в некоторой степени сопологают монарха не только с ними, но и с щеголем, брошенным прежде старшим Алимари вместе с пирожками в канал: предметный лейтмотив усредняет, функционально соединяет несводимые величины, это предметный эквивалент жизни, им указывается своя «шкала» человеческого измерения и оценки. Далее мы узнаем, что Петр I приглашает родителей Алимари в Петербург, становится крестником их сына. Пара Алимари – Петр I дублируется в III части парой Дюмон – и его друг Михаил Петров⁸ из Петербурга, спасший ему жизнь⁹. Во II части сближение монарха и человека – гуманистическое, со стороны простой человечности; здесь уже превалирует не «легенда», а сочетание истории и биографии. Но действует закон судеб: потеря Алимари своих близких из-за землетрясения соответствует в этом ключе потере близких Кемским из-за участия в исторических коллизиях. То есть заканчивается II часть разрушением того, что вокруг человека, антропологической (идиллической) области. Это подчеркивает в этой части и «двухсерийность» рассказа Алимари: сначала обрисовывается идиллия, а затем вторгается трагедия.

Подобно архетипу Софии и Анти-Софии и тема «монарха» в «Черной женщине» имеет свою оборотную сторону: формализация власти, следование букве закона ведет к переступанию через человека. Узурпация, внешнее присвоение власти человеком возможно при нарушении дистанции к «высшему», при сдвиге ценностной системы. Это чревато барочным резонансом «самозванства» в широком смысле. Формализованная власть не только заимствуется как «вещь», но подвергается девальвации и рассеиванию вплоть до мимикрии мотива «монаршей воли-власти». Например, из-за проволочек и бюрократических придинок к денежному отчету Драк вы-

⁸ Отношения «простой человек и монарх» в этой паре друзей усложняются. Манья Дюмона, постоянно говорящего о короле, дворе и пр., делает его своеобразной метонимией монарха, при этом трагедийного и трогательного типа (на грани вассальского «юродства»). А его друг из Петербурга имеет имя «Михаил Петров» как «перевернутый» заграничный псевдоним Петра I – Петр Михайлов.

⁹ Наличествует и сакральный ореол в этих отношениях: «Дюмон ждал его приезда, как дети светлого праздника. "Вы увидите его, – говорил он мне со слезами умиления, – увидите моего Michel Iwan Petroff! Вот человек!"» [3. С. 236].

нужден «искать privately покровительства» мелкого чиновника Тряпицына, который прежде не принимал его бумаги и наставительно изрекал «премудрое изречение государя императора Петра Великого: “Вотще законы писать, если по ним не исполнять”» [3. С. 77]. Внутреннюю скрытую переключку с историей Петра I и его сына Алексея содержит ситуация высокого чиновника Волочкова (метонимия власти), из-за слепого формализма в следовании закону погубившего родного сына [Там же. С. 292–293]. К мотиву «монаршего» может быть отнесено и то, что сыновья Алевтины Михайловны носят имена фаворитов Екатерины II¹⁰. Ведь что делает сестра Кемского? – она присваивает его право (право на наследство) и тем самым становится скрытой травестийной субверсией Екатерины II, которая как назидательный образец монаршего императива вводится в сюжет, но в виде мертвого тела, над которым изрекается «панегирик». И тут же, через несколько глав, вводится травестийная ситуация «положения во гроб» Кемского, над которым произносится слово. Между этими ситуациями обратное соответствие чисто барочного типа.

Петербург является катализатором самозванства (что показал в своих петербургских повестях Гоголь, но оценки этого сводились к общей мифражности и театральности Петербурга). Сущностно у Греча несколько иначе поворачивается эта тема. Петербург и положение человека в нем типично близки той двойственности, которую переживает в барокко монарх¹¹. Для единства сакрального и монаршеского становится характерна, как черта времени, богооставленность и стирание человеческого лица власти. Петербург уже выражает механизм власти вне любых ценностных измерений. Что-то вроде свидания с Каменным гостем в известном барочном сюжете (получающем свое преломление в «Медном всаднике»), в котором «истукан» – и не человек, и не представитель высшего, а механизм-вещь, их «замещающая». Это задает необходимость не только внешнего, но внутреннего различения истины и ее имитации, т.е. необходимость в более персоналистичном отношении (и здесь сказались лютеранство и пиетизм Греча) в противовес прежнему внешнему знанию (пускай даже и символическо-гностическому, которое развивает в романе резонер-масон Алимари). Для второго возможно «точечное» знание (так сказать, вне пространства и времени, которые в рассказываемых историях I части, например, важны лишь как опредмеченные «знаковые» репрезентации), но для подлинного

¹⁰ К тому же в романе сказано, что «старший, Григорий, крестник покойного князя Потемкина; младший, Платон...» [3. С. 22], многоточие указывает на возможность логического продолжения – что Платон может являться крестником графа Платона Зубова.

¹¹ Ср., например, про генерала Драка: «Иногда, измученный, растерзанный своими приближенными, он выходил из себя» [Там же. С. 271], это как травестийная параллель князю Кемскому: «...посещая светские собрания, князь не мог не встретиться с своими злодеями-родственниками, которые, как дракон Лаокоона, обвили змеиными головами своими его и все его семейство и смертоносным жалом дощупывались сердца, чтоб излить в него весь яд свой» [Там же. С. 302].

душевного вѣдѣнья вводится константа времени, что углубляет метафизический сюжет отношений князя Кемского с судьбой.

В «Поездке в Германию» Греч придерживался в эпистолярном повествовании принципа инверсии одновременной разнонаправленности дискурсов: пространственного движения и передвижения во времени (воспоминания в письмах). Подобное скрещение разнонаправленных систем реального и проговариваемого-представляемого характерно и для «Черной женщины». За счет последнего время значительно расширяется, как бы выходит из границ пространства.

Роман опирается на масштаб большого времени: задействуется вековой пласт (с 1724 по 1817 г.). У Греча разные исторические события по-своему иллюстрируют одну содержательную схему; но внутри художественной структуры задается разнообразие соотношений, варьирующих и парадоксально поворачивающих основную идею. Важно, что Петербург – философско-символический топос, акцентирующий отношения человека с историей, временным целым жизни через тему отношения с судьбой (феномен «черной женщины»). Петербург оказывает влияние на эти отношения не как образ пространства, а именно как «текст», как образ-комплекс, включающийся в философский сюжет через собственные знаковые метонимии.

I часть романа выражает Петербург в эмпирическом его качестве (даже порой травестированности¹²), превалирует профанический срез. Во II части происходит удаление Кемского из Петербурга, дистанцирование (разворачивается эпико-исторический контекст, связанный с битвой при Нови), но задействуются опосредующие формы отношения к Петербургу, связанные прежде всего с фигурой Суворова, задающего «ернический» тон к официозности петербургского центра, и Петра I из рассказа Алимари в апокрифическом ореоле человеческой простоты, под именем Петра Михайлова благодельствовавшего юную чету морлачки и итальянца.

Петербург на всем протяжении романа укрепляется как смысловой центр – имперский, исторический, масонски-символический. Это топос, обостряющий поиск идентичности человеком через связи жизни и истории, духовно-абсолютного и временного. Однако пропорционально этому «усилению» открывается возможность отчуждения как изнанки к «идеалу». В ответ на эту возможность в человеке усиливается текстопорождающая способность (создание и чтение «текстов» или образов экфрастического типа) как форма высшего персоналистического знания.

Если в I части используется пространственное дистанцирование к Петербургу в эпизоде «загородных рассказов» (главы 7–10), то в III части – временное дистанцирование (возвращение героя в Петербург после

¹² Помимо примера опроса Хвальнским Драка про петербургскую погоду и уровень воды в начале романа, важное репрезентативное значение для петербургской жизни имеет посещение Кемским театра; театральность сказывается в изображении интерьера петербургского дома Алевтины, в котором, в частности, описание комода с фигурками изоморфно культуре рококо.

17-летнего отсутствия). Возвращение князя Кемского в Петербург архетипически соотносимо с «историей блудного сына» и «историей бедного Иова». Этот город отнимает у героя то, что привязывает его к жизни. Именно Петербург в его влиянии на жизнь героя оставляет открытым вопрос о телеологичности, в связи с чем этот вопрос решается через отношения «я» с земными ее заместителями (символическими, мифопоэтическими эквивалентами высшего начала), «метонимиями», оказывающимися по-барочному в запутанных соотношениях. Пространство вписывается в текст биографии (разные планы прошлого объединяются и через пространство-текст героем «перечитываются»), и поэтому повышается сюжетно-функциональная нагрузка петербургского текста (в III части увеличивается удельный вес петербургских реалий, углубляется их сюжетно-функциональное значение). Это уже центр нового совмещения личности и истории в национально-географическом ареале. Петербург призван дать идентичность русской жизни, в то же время для него сохраняется возможность стать антимиром (видимостью).

Петербург, построенный на голом месте, выражает «чуждость» мгновенного возведения как способа победы над временем, игнорирования времени; это город, лишенный истории и тем самым заостряющий свое смысловое положение на границе панегирика и апокалиптики. В связи со спецификой Петербурга как симулякра М. Ямпольский подчеркивал специфический характер переживания здесь времени: «...эсхатология заключена в парадоксальной темпоральности Петербурга. Именно здесь с полной ясностью проявляет себя странное сочетание мгновенности, приостановки времени и конденсации всей предшествующей истории в этом не знающем времени мгновении» [9. С. 266]. Этот способ превалирует для героя, который замечает о своих видениях «черной женщины»: «...в необыкновенных случаях, когда от волнений душевных придет в трепет мое тело, когда настоящая минута ужасным своим потрясением сольет в себе и прошедшее и будущее, она является мне и наяву» [3. С. 32]. Петербург становится такой декорацией иллюзионизма истории. В этой декорации через сознание Кемского сталкиваются прошлое и настоящее, но человек в результате оказывается «нигде», отчужден. Отсюда и чисто «петербургский сюжет» III части «Черной женщины»: смертного или «посмертного» свидания с Петербургом (как *иного* к бытию, но также и к инобытию).

Глава 36: «“Вот Аничковский дворец, – говорил он про себя, – как он теперь чист, красив, великолепен: за семнадцать лет оставил я его почти в совершенном запустении. А сад! Какое это странное, широкое здание посреди двора? Это должен быть театр. На полуразрушенной стене уцелела еще колоннада, написанная Гонзагою, а вот и маленький храмик правосудия, с греческою надписью! Гостиный двор – старый знакомец, но исчезли низенькие, безобразные шляпные лавки, теперь на их месте великолепный портик. На месте Казанского собора, здания простого и ветхого, возвышается новый храм с величественным куполом и колоннадою”. Но каким образом странник наш очутился у Казанского собора, не переходив чрез Ка-

занский мост, крутой, тесный, грязный? Мост исчез или, лучше, превратился в широкий проезд над Екатерининским каналом, едва приметно выпуклостью изменяющий своду над водою. Прекрасный старинный дом графа Строганова на том же месте, но за Полицейским мостом, который из зеленого деревянного превратился в чугунный с прекрасною балюстрадаю, между Большою и Малою Морскими, где были деревянные заборы, высятся великолепные дома в пять этажей. А Адмиралтейство? Вот оно. Уцелел только прекрасный шпиль его, главное же строение, низкое, небеленое, похожее на фабрику, преобразилось в здание величественное, оригинальное. Валы исчезли; рвы засыпаны, и на месте их красуются тенистые аллеи» [З. С. 166].

Фиксируется прогресс изменения построек: от невзрачности, малости, ветхости – к крепкой основательности и величию. Мир возвышается над человеком в своей обновленной материальности, но тем самым и отстраняется, отчуждает его. В своей почти сверхисторической метаморфозе, что называется «воочию», городская архитектура довлеет над всем (природой и человеком), выступает сама по себе. Сила времени (хоть внешне и благая) как бы отчуждена от человека. В лицезрении каждого архитектурного артефакта повторяется метаморфоза: исчезновение старого и возникновение нового. Уже образ созерцания специфично заключает двойственность процесса такого одновременного разрушения и созидания. Серийно воспроизводится «петровский акт» чудотворного созидания (но уже в созерцающем сознании так «по мановению» созидает время). Этот акт размножен, но тем самым «унифицирован». Это настораживает, поскольку за несовершенством прошлого все-таки скрывается человеческая подлинность¹³; в прежнем отмечается близкое живое. То, что отпало и исчезло, хранится в памяти, вновь из нее выступает и присоединяется к видимому, которое от этого становится многослойным (когнитивный образ «утеплен» человеческими интенциями; отношение к окружающему сопровождается моментами персоналистичной обращенности: «старый знакомец»), и в этом таится иное качество преображения, которое осуществляет виденье, не только фиксируя данность, но в соединении с возрожденным памятью прошлым качеством создавая музеем-пантеон.

Совершенно с другими акцентами выстраивается вторая серия петербургской панорамы в созерцании Кемского.

Глава 38: «Стук каретный прервал его размышления. Он поднял глаза и увидел, что находится на Большом Каменноостровском проспекте. Широкая, мощеная дорога пролегает между великолепными дачами и милыми сельскими домиками. Этого не было здесь в его время. Но где та ро-

¹³ И тут же от зданий Кемский обращается к лицам прохожих: «Не одни улицы, не одни дома сделались чужды бедному пришельцу! Ему казалось, что он перенесен на край света: везде раздаются звуки родного языка, но выражение встречающихся ему лиц иное, чуждое, незнакомое. Семнадцать лет – половина поколения! Бывало, не мог он пройти двадцати шагов, не встретив знакомого, приятеля, сослуживца. Теперь он прошел вдоль всего проспекта, не выдав приветного лица» [З. С. 166].

ща, березовая и сосновая, в которой он иногда прогуливался с приятелями? Исчезла. Место ее – большая равнина, на которой изредка поднимаются отдельные деревья, обнесено красивым забором. “И то было хорошо – в свое время!” – подумал он. Вышел на берег Невы, он очутился на прекраснейшем мосту, какой только случалось ему видеть. Легкая филиграновая арка перегибается линией красоты чрез быструю Неву. Он взшел на мост – пред ним открылась очаровательная картина: с одной стороны дачи по обоим берегам Невы, и в числе их старый знакомец, алый дом барона Колокольцева с резным бельведером; вдали Крестовский остров. С другой стороны влево – прекрасный Каменноостровский дворец, пред ним две яхты и фрегат; направо – чья-то прелестная дача на островку – белый дом, опушенный густо зеленью; прямо – сад Строганова и знакомые желтые каменные ворота. Наглядевшись на эту очаровательную панораму, Кемский сошел с мосту и повернул направо мимо дворца.

Вокруг дома государева господствовала тишина. Все дышало порядком, чистотою, спокойствием. Простота жилища усугубляла уважение к хозяину. За воротами сада, идущими к Неве, Кемский увидел мост, перешел – и очутился в Строгановом саду, где бывал с нею. Поднялся ветерок. Листья деревьев зашумели: в густом кустарнике что-то зашевелилось и опять умолкло. В саду было тихо и уединенно. Дом графский заперт, но все в прежнем виде: Геркулес и Флора по сторонам крыльца, Нептун посреди пруда, ветхий мостик с березовыми перилами, моховая пещера, Гомерова гробница. Вот и Чёрная речка. На другом берегу ее жизнь и движение. Рядом красуются чистенькие домики. Группы гуляют по берегу. Дети резвятся...» [З. С. 175–176].

Взору открывается онтологическая перспектива пространства в единстве природного и городского, извечного и развивающегося (равновесие «между великолепными дачами и милovidными сельскими домиками»). В отличие от первого отрывка здесь за вещественным открывается другая цельность онтологического свойства. Она предшествует мифологическому архетипу, цивилизационному началу, антропологическому и пр. В вещах ощутима сила и красота жизни, ее как бы самораспускающиеся качества – энергии, красоты, крепости; этому служит полнота интонационного звучания: «широкая мощенная дорога», «легкая филиграновая арка перегибается линией красоты чрез быструю Неву» и пр. Здесь более глубокое наполнение топосов; расширяется культурно-метафорический подтекст топографической «карты» историко-биографических событий. Разные времена через «я» вдвинуты друг в друга с противоположным друг для друга эффектом – отодвигание современности в прошлое и приближение прошлого к современности. В первом отрывке господствует чувство отчуждения (присоединение «я» к общему невозможно). А во втором обозрении городской панорамы намечается преодоление этого через иную «личностную» содержательность пространства («дом государев», «сад, где бывал с нею»). Финальное пуантирование происходит, когда петербургский сюжет «блудного сына» приводит Кемского к «дому государеву», через это автор пытается разрешить коллизию оказавшихся в противопоставлении начал (част-

ного и государственного; бытового и исторического) через их интеграцию в специфичном «персонализме» виденья. Сигналами «пограничности» пространства, его персоналистичности являются «тишина», «спокойствие», коннотации особого состояния: «Все дышало порядком, чистотою, спокойствием». Через знаковый комплекс «текста» выстраивается единство, не сводимое к антропологическому виденью, средством которого являлся бы «лиризм». Само виденье становится созидательным, картина – производной от действий «я», что подчеркивается структурой фраз: «он поднял глаза и увидел...»; «вышел на берег Невы, он очутился на...»; «он взошел на мост – пред ним открылась». Это панорамность иного типа, смоделированная как движение по кругам с усилением-углублением коннотаций схождения начал: личного, исторического, природного, субстанциально-универсального, и приближение к центру, что в конце концов дает резонанс неразличности сакрально-демиургического и сокровенно-личного, и хода времени, начавшегося от этого как бы заново. Это движение-виденье приводит к центру: «дом государев», «все дышало порядком, чистотою», «уважение к хозяину»: через это усиливается впечатление *генія* места. Далее через память и живое отношение к возлюбленной обостряется присутствие «Софии»: «...и очутился в Строгановом саду, где бывал с нею. Поднялся ветерок. Листья дерев зашумели: в густом кустарнике что-то зашевелилось и опять умолкло» [З. С. 176]. «Ветерок» становится выражением *ее* проявления, ответственности, живой вести. Достигается в ореоле сакрального животворное согласие реальности и человека как *ее* читателя-созидателя. Результат этого – не превалирование когнитивной схемы, направляющей к метафизическому порядку, а персонализм – единство бытия в его свободно самопроявляющихся частях, несущих в себе отклик высшего, что делает их отзывчивыми и в этой отзывчивости персонифицированно сокровенными. В человечески соразмерном масштабе в онтологической слиянности бытового, культурного, природно-субстанциального и мифологически-театрального выступают скульптурные образы языческих божеств: Геркулес (героика); Флора (растительность); Нептун (водная стихия), а также символы сакрального гностического порядка: мост, пещера, гробница, речка. «Черная речка» – река жизни, но и река смерти, номинация которой звучит многозначно через резонанцию с «черной женщиной». Концепт «черной женщины» для романа становится особым регистром (мифопоэтическим, интертекстуальным), системой рефренов. Перед нами воспроизведение действительности, но и иная по отношению к реальности форма пространственной конкретизации, когда виденье преобразуется человеческими интенциями, воспоминанием, любовью¹⁴. Эти интенции

¹⁴ Частный пример персоналистичности в дальнейшем можно заметить в восприятии юным Сергеем Ветлиным такой «низкой материи», как еда: «В числе этих блюд заметил я одно, которое часто бывало на столе у моих воспитателей; им моя благодетельница обыкновенно потчевала своего отца, старичка доброго и почтенного. Это были малороссийские вареники. Я обрадовался им, как старым знакомым. Но причину этой радости было отнюдь не лакомство: мне почудилось при взгляде на это блюдо, что я сижу в

могут опираться на какой-либо идейный императив, но выглядят по отношению к нему самостоятельным фактором человеческого «самостояния». Это переключается в имплицитный план соответствий другого характера: переживание души себя в другом и через другое; это переживание не имеет сакрального характера «высокого знания». Дело в том, как Петербург-текст относится к *пра-воспоминанию* (к которому могут быть отнесены в сюжете созерцание Кемским картины-«иконы» ребенка с привлечением особого освещения петербургского пейзажа и другие подобные иконические образы). Сакральное получает внутренне имманентное измерение через человека (религиозный персонализм). И тогда внешнее тотальное зло побеждается «новым душевным градом»¹⁵, который строится через инверсию творящего (онтологического) акта, репрезентированного Петербургом.

А далее значимым этапом сюжета становится тетрадь записей Ветлина, которую он присылает Кемскому. Эти записи имеют отношение к пространству¹⁶. Здесь так же, как и в I части, задается важная для масонства «всемирность»: задействуются Швеция, Англия, Франция, Голландия. Речь идет о новом для сюжета соотношении внутренней жизни и внешнего пространства. Поэтому тетрадь Ветлина – это определенный этап линии Кемского, который выступает как ее чтец, или же она – альтернатива-параллель двум другим дискурсам (Кемского и Алимари). История Ветлина тоже строится по модели «блудного сына»: повествование в тетради совершает круг: из Петербурга – через ряд топосов – вновь к Петербургу. Этот круг внутри себя еще более явно разворачивается как «воронка» (вертикальные религиозно-аллегорические и символические проекции навязчиво и даже экстатично эксплицированы с самого начала исповеди Ветлина). От слов об «ангеле» дискурс начинается и словами об «ангеле на портрете» завершается. Эта метафизическая «парабола» проблемно соотносится с пространственным кругом, задаваемым для тетради Ветлина Петербургом. Но помимо такой экспрессивной экспликации персонажем христиански-идеологического измерения с самого начала задаются и альтернативно-игровые субверсии (что отличает дискурс Ветлина от дискурсов Алимари и Кемского): сказочно-волшебный, галантный (рококо XVIII в., особенно инициируемое образом Дюмона); сентиментальный (тетрадь

прежнем кругу, между папенькою и маменькою, что подле нее с другой стороны сидит ее отец, что она меня ласкает, что папенька глядит на меня приветливо» [2. С. 224].

¹⁵ Тема «вертограда» в романе задает сакральную проекцию «земному граду»: «...здесь кажутся они в отдельных телах особыми, розными существами, но незримые нити от родных, близких душ сходятся там, в таинственном вертограде, ветвями и древами» [3. С. 318].

¹⁶ Пространство определяет место и жанровый материал письма: «...несколько очерков, набросанных мною в путешествиях» [Там же. С. 221]; «Это были литературные опыты Ветлина: описание некоторых морских путешествий, картина шторма у Шетландских островов; наблюдения в Норвегии, Швеции, Голландии и северной Франции. Но всего любопытнее была для Кемского одна тетрадка, в которой заключалась какая-то повесть...» [Там же. С. 221].

ученицы Дюмона Надежды). В этом большом круге, задаваемом Петербургом как начальной и конечной топографической точкой сюжета, проигрываются всевозможные варианты интерпретации, сопологающие *действительное* и *дискурсивное* (отношения эти не столь соподчинены как в резонерском идеологическом типе). Если слово Алимари ориентировано в своем просветительски-масонском ключе на определенность (поэтому здесь иная роль материала «античности» и «романтизма»), то «заблудившееся» сознание Ветлина в каждом случае эксталично усиливает вертикальные пределы, наряду с чем медиальное слово в своем разрыве с абсолютном предполагает присоединение «другого» (или, точнее, «другого-своего»). События собственной жизни персонажа-повествователя сопровождаются текстами-метафорами. Так, изгнание Ветлина от домашнего очага Алевтины на задворки грубой прислуги оценивается: 1) как изгнание из рая [З. С. 223]; 2) как происки злой волшебницы [Там же. С. 224]; 3) как история заключенного французского дофина [Там же. С. 225]. Этот принцип обрамления события текстами-метафорами делает его почти столь же относительно-иллюстративным (иносказательным), как и сами тексты, что повышает не оценочно-императивный, а метафорически-игровой подтекст дискурса. Тотальная текстовая кодифицированность, которую маркирует тетрадь Ветлина, становится новым этапом сюжета. Из-за этого центр тяжести переносится с пространственно-временной единственности на инверсию барочного типа¹⁷ макро- и микрокосма.

В роли «спасителей» для Ветлина оказываются «грешники» – старая ключница Егоровна [Там же. С. 225–226], кадет Хлыстов (и в корпусе, и, как атаман мародеров, в лесу). А «императивный» спаситель устранен: «...получено было известие, что мой благодетель жив, что он воротится в Петербург. "Приедет он, родимый, – говорила она в отчаянии, – я сниму с себя грех! Он меня помилует!" А я думал: "Приедет он, так я расскажу ему все злодеяния волшебницы, и мы заодно с ним станем от ней обороняться". Но он не приезжал» [Там же. С. 226]. Круги терзаний-испытаний Ветлина проигрывают человеческую деятельность – образование, культуру, героику (при этом за низким просвечивает высокое, и наоборот). Те ролевые положения, в которых оказывается Ветлин, по-барочному неустойчивы и критичны. Из-за этого сквозь каждую роль иронично-неявно отражается другой план (высокий или низкий в одинаково игровом ключе) – из этого проистекает возможность, акцентируемая в тетради Надежды: «Как легко можно ошибиться». Сам Ветлин вызывает целый каскад театральных прозвищ¹⁸. В решающие моменты истина его душевного порыва отчуждена

¹⁷ Для романтизма важна иерархическая однонаправленность духовного критерия, а не парадоксальная «распятость» или разрыв явления между предельными началами, в нем сталкивающимися, – инфернального и сакрального, материального и духовного, что приводит к выпадению явления из телеологического порядка (тем самым оно предстает как казус, оказывающийся вне общего).

¹⁸ ««Ein graulicher Kerl!» – говорили обо мне кандидаты философии» [З. С. 230]; «Es ist ein gemeiner Matrose; ein wahrer Zwiebel-Russe» [Там же. С. 238].

неразличимостью противоположных импульсов: что проявляется? – смелость шалуна и задиры, или высокая героика, или же аффект чувств? Важные поступки, реабилитирующие его в глазах избранницы, Ветлин совершает на море и в лесу, подобно рыцарям старинных поэм (от Средневековья до рококо). Эта природная стихия – пространство культурной инволюции. Эта тема в биографии Ветлина выходит за границы романтического одиночества, которое, например, выражается, когда он удаляется от дневного мира людей, в момент присутствия на корабле Надежды, и отсиживается затворником под палубой. Так или иначе сказывается асоциальность персонажа, через его рефлексию получающая барочные акценты¹⁹. Отсюда проистекают боковые маргинальные пути его становления. А также используется контрастная религиозно-символическая кодировка этапов «ветлинского» сюжета (в чем отражаются масонские экспликации): архетип «изгнания из рая» – тьма души – и с помощью Надежды – возвращение к свету. Поэтому названия топосов, в которых происходит встреча Ветлина с Надеждой, указывают на семантический подтекст «девы» и ее высокого деяния: Гапсаль, Гревсенд, Монс²⁰.

¹⁹ Как рассуждает Ветлин: «Натуралисты говорят, что человек рождается на свет слабее, беспомощнее всех животных, и самых ничтожных. Они говорят это в отношении физическом, а во сколько крат эта истина истиннее в мире нравственном!» [З. С. 222]; «Мне казалось, что я переселен в другой мир, что надо мною осуществилось священное сказание, которое читал я под руководством моей воспитательницы: об изгнании человека из земного рая» [З. С. 223]; персонаж изгоняется из-за стола: «Вон отсюда, ненасытная тварь!» [Там же. С. 224]; «Молодые дамы и девицы убежали моего взгляда. Матушки и тетушки их следили меня, как дикого зверя» [Там же. С. 237]; «Я в глазах ее злодей и изверг человечества!» [Там же. С. 241]; «Мне чудилось, что я из смрадной пещеры, серными парами напитанной, выступил на свежий воздух» [Там же. С. 235]. И в то же время, при зарождении возвышающего чувства сакральной любви к Надежде, Ветлин характеризуется сотоварищами через зоологический мотив, связанный с асоциальной акцентировкой: «Всех бегает, всего боится – как мокрая курица» [Там же. С. 215].

²⁰ К числу достопримечательностей эстонского городка Гапсала (современное название Хаапсалу) относится епископский замок, с которым связана знаменитая легенда о Белой Даме. История такова: каноник влюбился в эстонскую девушку и привел ее тайно в замок; их обнаружили, и в наказание девушка была замурована в стене часовни. И с тех пор во время августовского полнолуния (поэтому встреча Ветлина с Надеждой и происходит в Гапсале в августе) на внутренней стене часовни возникает образ Белой Дамы (ср. Ветлин про Надежду: «...мимо меня мелькнуло что-то знакомое, и страшное, и приятное, и ужасное, и восхитительное. Я остановился в недоумении. Вот опять летит! Это она! Это гапсальская незнакомка!» [Там же. С. 238]. А английский Грейвзэнд (у Греча «Грейвсенд») связан с именем дочери индейского вождя Покахонтас (1595–1617), которая, вывезенная из Америки, здесь жила; она прославилась благими делами, в частности способствовала мирному урегулированию между англичанами и индейцами, здесь же она и умерла; ее похоронили в часовне. «Через час мы приехали в Монс. Далее не могу описывать» [Там же. С. 256]. Монс – бельгийский город, где жила знатная франкская дама Валтруда (канонизирована в 1039 г.), посвятившая жизнь служению Богу и основавшая монастырь. Но (и в этом сказывается принцип снижающей субверсии Греча) название города приводит на память и Анну Монс – любовницу Петра I.

Тетрадь Ветлина организует топосы как путь внешнего и внутреннего (душевного) порядка с усиленным сакрально-телеологическим подтекстом. Это, в свою очередь авторепрезентирует дискурс и значение слова-имени. Здесь, в отличие от II части, активно задействуются «игровые» рокальные отношения между явлением и идеей (императивом, идеалом). То есть содержание знака двойственно (многослойно), оно в большей мере проистекает от интенций самого Ветлина как нарратора и интерпретатора мира-текста. Это позволяет «овладеть» театральной стихией (как производным возможной миражности). Сигналом этого является полисемантическая символика якоря²¹, который ставит Ветлин в конце писем к Надежде. Этот символ функционально заменяет подпись имени моряка-Ветлина, но он является сакральным символом «надежды» (и в этом тождествен имени героини), также это и символ Петербурга.

Но истинная всезавершающая встреча с Надеждой (аллегорической Софией) должна произойти в Петербурге, концентрирующем в себе и порядок сакральный, культурно-исторический и государственный, но, с другой стороны, запутанность и двойственность земных путей. Это требует от героя финального утверждения в глазах центра, которым является Петербург (и тогда соединятся разные координаты). Петербург как начальная и конечная точка пути души несет в себе амбивалентность смерти-обновления. Но двойственность касается и момента «подмены» подлинного на внешне-материальное или субъективное. На это указывает и концовка тетради Ветлина: «Я жду ее, жду Надежды, как отсрочки смертного часа. Уверен, что она даст мне знать о своем приезде, однако везде ищу ее: когда бываю в Петербурге, езжу в театры, на балы: авось-либо! Гадаю на картах, но моя дама никак не хочет пасть на мою сторону. Я проиграл на нее в уме целые миллионы» [3. С. 256]. Этот финал тетради перекликается с тем поиском, в который был вовлечен Кемский в I части (поиском Али-мари), но в то же время это подобие качественно иное. Образ-знак в своей семантической функциональности обретается на границе имитации и телеологичности. Эта граница актуализирует активность реципиента, но он занимает позицию не моралиста или идеолога (как в случае Кемского и Али-мари), а исключительно интерпретатора, своей ролевой вовлеченностью в интерпретируемое становящегося живой экспликацией барочных антиномий (вне интерпретации-чтения жизнь Ветлина не дана).

Петербург как социальный центр должен конституализировать героев и объединить разошедшиеся миры (придать им взаимную релевантность). Но этого не происходит. И не только по социальным причинам. Идеологической экспликации (государственно-просветительского, романтически-символического или масонско-гностического характера) противостоит

²¹ Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский указывали: «Так, перекрещенным ключам в гербе Ватикана соответствуют перекрещенные же якоря в гербе Петербурга»; «якорь – символ спасения и веры и в этом значении прекрасно известен в эмблематике барокко» [6. Т. 3. С. 205].

скептическая барочная субверсия: противоположно вторичный игровой вариант («ложка дегтя в бочке меда»), травестийно-двузначный, способный «подточить» первичное ценностно-императивное²².

Тетрадь Ветлина вводит дополнительные ресурсы соотношения имени и Петербурга-текста. А после тетради вся действительность для князя Кемского складывается как лабиринт пространства и времени в поиске потерянного. Вся действительность поляризуется (добро и зло, «райское» и «адское») и, можно сказать, сама по себе отодвигается в сторону (остается сознание и религиозно-метафизический экран).

Петербург как топос в своей необычной репрезентативности-вторичности и культурно-текстовой функциональности присоединен к горизонтальной однородности или символично-метафорической топографии сюжета и в то же время противопоставлен ей как топос, в котором возможны инверсия, переворот, выверт, «складка» достигнутых идеологических и символично-интерпретационных определенностей. И в этом заключается «открытость» (или ноуменальность) Петербурга, который в таком аспекте переключается с цветовой маркировкой «черной женщины» как возможного «киного» ко всему, как субъектно-ноуменального явления, выпавшего из телеологии (резонерски-вербально уплотненной в романе). Это маркер и катализатор проблемности всеобщего метафизического порядка.

Петербург – пространственный аналог ценностных пределов возвышенного и отрицательного, т.е. того, что человека захватывает и подчиняет, чем он оказывается «ослеплен». И финал приводит к освобождению от этого. Кульминация этого перелома – ожидание у разведенного моста в петербургскую ночную непогоду и видения Кемского:

«Ночь была ненастная и бурная, ветер выл, дождь и град били в окна кареты. Князь завез домой Марию Петровну и отправился на Выборгскую сторону, но Воскресенский мост был разведен, и он должен был дожидаться в карете. <...> Надежда, испуганная и встревоженная неожиданным случаем, не говорила ни слова, прижалась в угол кареты и уснула от утомления. Кемский долго не мог прийти в себя. В тумане, окружавшем его, чудились ему страшные видения, они рассеялись при первом свете утрен-

²² Например, Греч использует важный для романтизма сюжет «рафаэлевой мадонны», что востребованно метафизическим сюжетом «Черной женщины» с ее романтическим культом женского начала и масонской его аллегорикой. Кемский созерцает женский портрет с его сакральными чертами, через эту грезу провидит (предчувствует) истину, прапамять своей души и пр. Но в рамках этого сюжета «рафаэлевой мадонны», у Греча художник Бериллов, положительно характеризуя квартальный (!), называет его «Рафаэлем между полицейскими» [З. С. 204], проявляя недопустимое для романтического художника остроумие. В этой «шутке» происходит игровое «замыкание» линии романтически-духовной свободной субъектно-художественной с линией внешне-силового государственного идеологического норматива (квартальный – образ надзора и контроля), в результате возникает момент взаимного «обесточивания» и травестийного аннулирования этих линий.

ней зари, и ангельский лик Наташи с улыбкою утешения на устах затрепетал пред усталыми его веждами» [3. С. 304].

Но положение в этом топосе модифицирует отношение человека с временем (своей жизни и историей) – он получает возможность свободы самопозиционирования. Петербург дает возможность такой «внезаходимости», но она в личностном плане является трагической (Греч при своей официально-оптимистической установке приходит в романе к таким же драматическим результатам отчуждения «я», к которым приходят другие писатели). Тема Петербурга, с одной стороны, связана с выражением панегирической традиции, соединенной с масонско-гностицистским символизмом; это идеологически (риторически) утверждаемая утопия единства масштабов жизни личности, государственного (имперского) служения как земной историко-государственной стези и «небесного» закона. А с другой стороны, Петербург – отчужденное от человека пространство, «механика» которого развертывается как барочное «позорище», которым человек (бедный Иов) поглощен как зритель. Это выражение тех сил (исторического, социального, культурного порядка), которые извне определяют положение человека и его судьбу. Петербург таким образом выражает «открытость» человека перед вторжением любых сил в его судьбу, что ведет к драматичному отчуждению. В этом туманном ненадежном мире *Vanitas* в качестве противовеса выступают человеческая любовь и память (так сказать, «вопреки»); они ничего не меняют и лишь внешне вписываются в нравственное кредо или религиозно-моральный императив. Финальному уходу или вытеснению из Петербурга противостоит гуманистическое единство людей, вновь обретших друг друга (т.е. преодолевших тотальное сиротство). Петербург в романе господствует, и лишь в последних главах герои, освобождаясь, его покидают. В финале князь Кемский с дочерью собираются в Симбирск; они заезжают в Москву, и все разрешается там, где началось, но тем самым пространственная константа, реализуясь, и нейтрализуется. То, что финал переносит нас вместе с героями в Москву, не случайность. Композиционно в романе выстраивается цепочка пространственной декорации, которая развертывается не по логике эмпирической реальности или духовных поисков героя, а по логике художественно заданного порядка:

*Петербург – Москва (+ Симбирск) – прибалтийские окрестности – за-
граница – Петербург – прибалтийское пространство (в тетради Ветли-
на) – заграница (в тетради Ветлина) – Петербург – (возможность Сим-
бирска) Москва²³ – метафизическое пространство маркируемое «по-*

²³ Как замечает В.Н. Топоров: «Москва, московское пространство (тело), противопоставляется Петербургу и его пространству, как нечто органичное, естественное, почти *п р о д н о е* (отсюда обилие растительных метафор в описаниях Москвы), возникшее само собой, без чьей-либо воли, плана, вмешательства, – неорганичному, искусственному, сугубо “культурному”, вызванному к жизни некоей насильственной волей в соответствии с предумышленной схемой, планом, правилом. Отсюда – особая конкретность и заземленная реальность Москвы в отличие от отвлеченности, нарочитости, фантомности “вымышленного” Петербурга»; «по существу явления Петербурга и

смертным» письмом Алмари (которое, кстати, рамочно перекликается с предисловием автора).

Прослеживается циклический принцип. Модель кругов страданий и испытаний героев романа (фабульный план) в его пространственно-композиционной конфигурации переводится в спираль «возвышения» как внутренней конструкции (план архитектоники).

Москва не противопоставляется Петербургу в начале романа. Она связана с прошлым с пейоративными коннотациями в I части (чума 1771 г.); и это прошлое, «вернувшись», перечитывается в финале, т.е. меняет свою природу в III части, вращая в обретенное «общее» единство мира. Имманентной, что очень важно для «Черной женщины», оказывается женская природа Москвы (женский монастырь под Москвой соответствует «мужским историям», рассказанным под Петербургом в I части). В романе узел «видения» завязан в Москве и развязан в Москве. Но решающую роль в этом сыграл Петербург.

Катарсис освобождения заключается в том, что показанный образ сознания шире изображенной действительности и шире отдельной идеи или человека. Поэтому он «окантован» нейтральной житейской формой: отец нашел дочь, дочь нашла жениха. И по отношению к этой исходной основе жизни топосы и конфликты оказываются отодвинуты и нейтрализованы.

В предисловии к «Черной женщине» автором подчеркивается личная причастность пространству и истории.

Роман Греча вполне соответствует механизму интерпретации «петербургского текста», рационалистическому его складыванию из ряда четко прослеживаемых аспектов и мотивов. Но следуя этому, можно упустить главное, что является основой уникальности этой темы для произведений Греча. Это не предметно-тематическая разметка, а плотное вращение Петербурга во весь массив письменной жизни Греча, которую можно обозначить как «петербургский текст». Действительно, Греч, создающий учебники, журналы, пишущий романы, статьи, составляющий разного рода записки и пр. – это *скриптор* от лица Петербурга. Весь массив письма охватывается одной темой, ангажирован одним источником – Петербургом. Аналога этому нет, ибо в общеизвестном «триумвирате» писательские позиции Булгарина или Сенковского определяются иными прагматическими и мировоззренческими установками, иным статусом и котировкой.

Благодаря своей эклектике гречевский текст неразборчиво вбирает всевозможный материал, отсюда плотный контекст петербургского барокко, для которого характерны сочетание различных культурных языков и религиозная экзальтация. Для Греча добавляются и иные причины: ангажиро-

Москвы в общероссийском контексте, в разных его фазах, были, конечно, не столько взаимоисключающими, сколько *в з а и м о д о п о л н я ю щ и м и*, подкрепляющими и дублирующими друг друга. “Инакость” обеих столиц вытекала не только из исторической необходимости, но и из той *п р о в и д е н ц и а л ь н о с т и*, которая нуждалась в двух типах, двух стратегиях, двух путях своего осуществления» [10. С. 20, 22].

ванность определяет диктат внешних форм для самоидентичности, что ведет к игре с *именем* (за которым – статус, роль), а это при дефиците самостоятельно-внутреннего содержания оборачивается известной долей «самозванства». Это имеет отношение к двусмысленности оценок личности Греча и его статуса (в отличие от вполне отрицательной характеристики его напарника Булгарина). У Греча высокие претензии: ученый, педагог, культуртрегер, и – возможный нулевой исход всего этого, мнимость статуса, постоянное присутствие «обратного знака» не только в репутации, но и в статусе, и даже в качестве самого продукта. Личность Греча затмевают зыбкие полутени его идентичности. Поэтому, что касается Греча, – вне текста нет субъекта; субъект осознает себя настолько, насколько обильно продуцирует разного рода тексты (нет романтической презумпции духовного индивида или некоего невыразимого содержания реальности). Без текста такая личность себя не видит и ничего не имеет. Именно текст устанавливает объект. И такой личности наиболее органично соответствует Петербург как удивительный город, в котором текстопорождающая функциональность (в широком смысле) предшествовала всем остальным задачам.

Литература

1. *Топоров В.Н.* Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 121–132.
2. *Вайскопф М.* Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 696 с.
3. *Греч Н.И.* Черная женщина // Три старинных романа : в 2 кн. М., 1990. Кн. 2. С. 5–318.
4. *Беньямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы. М. : Аграф, 2002. 288 с.
5. *Казин Ф.Л.* Санкт-Петербург как явление культуры // Петербург в мировой культуре. СПб., 2005. С. 7–12.
6. *Лотман Ю.М.* Избранные статьи : в 3 т. Таллин : Александра, 1993. Т. 2. С. 9–21.
7. *Греч Н.И.* Записки о моей жизни М. ; Л. : Академия, 1930. 900 с.
8. *Меднис Н.Е.* Венеция в русской литературе. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. 392 с.
9. *Ямпольский М.* Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М. : Новое литературное обозрение, 2007. 616 с.
10. *Топоров В.Н.* Петербургский текст русской литературы // Избранные труды. СПб., 2003. 616 с.

THE PETERSBURG TEXT IN THE NOVEL *THE BLACK WOMAN* BY NIKOLAY GRECH. ARTICLE 2

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 237–256. DOI: 10.17223/19986645/53/16

Nikolay V. Khomuk, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: hokuk1@yandex.ru

Keywords: N.I. Grech, *The Black Woman*, Petersburg, Petersburg text, Freemasonry, tsar, virgin, Baroque.

In the article, using the structural-semiotic method on the material of Nikolay Grech's *The Black Woman*, the problem of the representation and the artistic semiotic organization of the Petersburg text is considered. For this text, the archetypes of the “tsar” and “virgin”, which

have a universal mythopoeic and plot-phenomenological content, are important. Petersburg is built up as a map of life and destiny of the “I”; it includes the eternally lasting peace-giving act of the cultural hero – Tsar Peter I – the “genius” of the place. It is important that Petersburg is a philosophical and symbolic topos accentuating the relations of a person with history, the temporal whole of life through the topic of dialogue with destiny actualized through the phenomenon of the “black woman”. Petersburg influences these relations as a “text”, as a figurative complex, part of a philosophical plot through its own symbolic metonymies rather than as an image of space.

Throughout the novel, Petersburg is strengthened as a semantic center – imperial, historical, symbolic in a masonic way, the center of intersection of the horizontal and the vertical. It is the center of human identity through the unity of spirit and time, life and history. However, with the “strengthening”, the possibility of alienation as the wrong side of the “ideal” opens up. In response to this, the ability of the reader to read the spatial text or images of the ekphrastic type is enhanced in the person as an expression of a higher personalistic knowledge. Petersburg takes away from the character what tied him to life. It is Petersburg in its influence on the life of the character that leaves the question of teleologicality open. And therefore this question is solved through the relations of the “I” with its earthly deputies, “metonymies”, which turn out to be in intricate Baroque-style relations (symbolic, mythopoeic equivalents of the higher principle). The metropolitan landscape fits into the biography of the protagonist, who returned to Petersburg after many years: different plans of the past are united and “re-read” by the protagonist through the text of space. The subject-functional load of the Petersburg text is increasing: in the narrative the specific weight of Petersburg realities and their plot-functional significance are increasing.

Thus, the consideration of the Petersburg text in *The Black Woman* by Grech results in the following. On the one hand, the theme of Petersburg is connected with the expression of a panegyric tradition, combined with the Masonic-Gnostic symbolism; it is an ideologically (rhetorically) asserted utopia of the unity of the scale of the life of man and of state (imperial) service as an earthly historical-state path and a “heavenly” law. On the other hand, Petersburg is a space alienated from man, whose “mechanics” unfolds as a Baroque “disgrace”, which absorbs man (poor Job) as a spectator. This is an expression of the forces (historical, social, cultural), which determine the position of man and his fate from outside. Petersburg thus expresses the “openness” of man before the penetration of any forces into his destiny, which leads to a dramatic alienation. In this nebulous unreliable world of Vanitas, human love and memory act as a counterweight. The final leave or displacement from Petersburg is opposed by the humanistic unity of people who have regained each other (i.e., have overcome total orphanhood). Petersburg dominates in the novel, and only in the last chapters the characters, becoming free, leave it.

References

1. Toporov, V.N. (1987) Tekst goroda-devy i goroda-bludnitsy v mifologicheskom aspekte [The text of the maiden city and the harlot city in the mythological aspect]. In: Tsiv'yan, T.V. (ed.) *Issledovaniya po strukture teksta* [Research on the structure of the text]. Moscow: Nauka.
2. Weisskopf, M. (2012) *Vlyublennyy demiurg: Metafizika i erotika russkogo romantizma* [Loving Demiurge: Metaphysics and eroticism of Russian Romanticism]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Grech, N.I. (1990) Chernaya zhenshchina [The black woman]. In: Troitskiy, V.Yu. (ed.) *Tri starinnykh romana: v 2 kn.* [Three vintage novels: in 2 books]. Book 2. Moscow: Sovremennik.
4. Ben'yamin, V. (2002) *Proiskhozhdenie nemetskoj barochnoy dramy* [The origin of the German Baroque drama]. Moscow: Agraf.

5. Kazin, F.L. (2005) Sankt-Peterburg kak yavlenie kul'tury [St. Petersburg as a phenomenon of culture]. In: *Peterburg v mirovoy kul'ture* [Petersburg in world culture]. St. Petersburg: [s.n.].

6. Lotman, Yu.M. (1993) *Izbrannye stat'i: v 3 t.* [Selected articles: in 3 vols]. Vol. 2. Tallin: Aleksandra. pp. 9–21.

7. Grech, N.I. (1930) *Zapiski o moey zhizni* [Notes on my life]. Moscow; Leningrad: Akademiya.

8. Mednis, N.E. (1999) *Venetsiya v russkoy literature* [Venice in Russian literature]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

9. Yampol'skiy, M. (2007) *Tkach i vizioner: Ocherki istorii reprezentatsii, ili O material'nom i ideal'nom v kul'ture* [Weaver and visionary: Essays on the history of representation, or On the material and the ideal in culture]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

10. Toporov, V.N. (2003) *Peterburgskiy tekst russkoy literatury: Izbrannye trudy* [Petersburg text of Russian literature: Selected works]. St. Petersburg: Isskustvo–SPB.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 070:004.738.5

DOI: 10.17223/19986645/53/17

К.В. Дементьева

МЕДИАМЕМ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИЭТНИЧНОГО ОБЩЕСТВА

Рассматривается актуальное сегодня явление медиамема и его функционирование в современном обществе. Автор дополняет этапы жизненного пути мема, изменившиеся в период всеобщей информатизации, стадии внедрения в социальную среду. В исследовании приводится созданная автором типология медиамемов, формируется собственная концепция жизнеспособности медиамемов. Анализируется распространение в современных СМИ мемов, объединяющих и разобщающих полиэтничное общество. Делается вывод о преобладании отрицательных медиамемов, базирующихся преимущественно на основе стереотипов, а затем транслируемых СМИ.

Ключевые слова: мем, медиамем, СМИ, информация, этнос, воздействие, консолидация.

Общие вызовы и угрозы в современных условиях сказываются на отношениях государств и народов. Не последнюю роль в стабилизации отношений и создании атмосферы сотрудничества играют средства массовой информации. Именно через СМИ в сознание общества внедряются разного рода идеи и стереотипы. Для обозначения единицы информации, способной к влиянию и размножению, были разработаны и описаны такие понятия, как «мем», «мемоконплекс» и их разновидности.

Среди множества определений, данных мему, наиболее логичным, на наш взгляд, считается определение А. Менегетти: «Мем – это элементарная единица информации, способная повторять себя, размножаться в параллельных или ей подобных системах, устанавливающая бесконечные связи» [1. С. 4]. Процесс передачи мема преподносится как дискретный коммуникационный акт, во время которого мем перемещается из сознания одного носителя в сознание другого или других. Мемы также можно сравнивать с «вирусами», «паразитами», обладающими приоритетным доступом к сознанию и воле. При этом слово «вирус» используется чаще всего в негативном ключе, подчеркивается его разрушительная для общества сила.

В последние десятилетия термин «мем», особенно применительно к медиапространству, вызывает особый интерес не только в зарубежных, но и в российских исследованиях. При расширении представления о меме стало актуальным рассматривать его функционирование и распространение в средствах массовой информации. Это можно объяснить многократно усилившим-

ся воздействием массмедиа на сознание огромных масс людей. При этом логично говорить о введении в научный оборот такого понятия, как медиамем.

Особенно популярным в научных трудах стало рассматривать мем в контексте передачи информации в интернет-среде (Н.Г. Марченко [2], Ю.А. Белкина, Е.В. Куценко [3], Н.В. Часовский [4], Ю.Д. Овчинников, М.Ю. Холодков [5] и др.), при этом делается акцент на визуализации информации. В то же время подчеркивается деструктивный характер мема (И.В. Алмосов [6], М.А. Кронгауз [7], П. Колозарида [8], Д.В. Попов [9], М.А. Федорова, Т.А. Семилет [10] и др.). Однако медиамем, обладая огромной силой воздействия и распространяясь самопроизвольно, может нести и положительную информацию, способствовать укреплению системы ценностей и объединению культур и народов. Поэтому актуальным будет рассмотрение проблемы распространения этнических мемов в СМИ.

Таким образом, целью исследования стало выявление особенностей функционирования медиамемов и их роли в формировании полиэтнического общества. Задачи исследования: рассмотрение этапов жизненного пути мема в условиях современного информационного общества; составление типологии медиамемов; выделение особенностей распространения, условий жизнеспособности мемов в СМИ; исследование роли отрицательных медиамемов, разобщающих этносы; изучение созданных журналистами положительных мемов, объединяющих полиэтническое общество. Объект исследования – медиамемы, в частности затрагивающие этническую тематику. Предмет исследования – особенности функционирования этнических медиамемов в современном обществе.

Научная новизна состоит в расширении имеющегося теоретического материала о функционировании мемов, а именно: дополнение схемы жизненного пути мема, изменившейся с развитием медиасреды; создание собственной типологии медиамемов; формирование авторской концепции жизнеспособности медиамемов; всесторонний анализ этнических мемов и их роли в формировании полиэтнического общества.

Ввиду отсутствия первичной исследовательской базы, посвященной именно теме функционирования этнических медиамемов, в работе использовались методы описания и анализа. Были рассмотрены медиатексты за последние 5 лет, содержащие мемы, а также затрагивающие этническую тематику, в зарубежных, федеральных, региональных СМИ, социальных сетях, видеохостинге YouTube, блогах. Для качественного анализа были отобраны наиболее показательные материалы, содержащие жизнеспособные отрицательные и положительные этнические мемы. Количественный анализ (контент-анализ) проводился на материале 500 публикаций в российских СМИ (из них – 5 федеральных и 3 региональных массмедиа).

Франсис Хейлиген в книге «Эгоистичные мемы и эволюция кооперации» выделяет четыре этапа жизненного пути мема (ассимиляция, сохранение, выражение, трансмиссия) [11. Р. 79]. Применительно к современному развитию медиасреды эту схему, на наш взгляд, можно расширить и дополнить новыми элементами.

1. Зарождение мема – процесс, при котором появляется и публично высказывается новая идея, мысль, произведение. Это может быть публикация литературного произведения или его части (какой-то «сильной» идеи), обсуждение и принятие нового закона, публичное высказывание или действие известной личности (политика, актера, чиновника, ученого и т.д.), знаковое, нестандартное событие в жизни общества, новое изобретение, съемки и показ нового кинематографического произведения, выставка, мелодия или звук, события личной жизни известных людей и т.д. Зарождение мема может происходить и через произведение журналиста-аналитика или запись блогера. Главным условием дальнейшего распространения мемов является ее значимость для данного общества в данный момент, эмоциональность передачи, вызывающая реакцию общества. В большинстве случаев, для зарождения мема существуют предпосылки, которые определяют его появление. Например, в художественных произведениях отражается существующая или измененная реальность, высказывания известных личностей касаются уже происходящих в обществе событий, новый закон вводится для совершенствования законодательной системы определенной страны и т.д. То есть данный процесс не возникает одномоментно и спонтанно, а продолжает уже начатый цикл.

2. Развитие мема. Публичное высказывание, обнаружение жизнеспособного мема порождает его неизбежное распространение. И здесь главную роль играют средства массовой информации, так как именно по их каналам происходит донесение мема до широкой аудитории. Причем традиционные СМИ, придерживаясь редакционной политики, позиции учредителя, спонсора, рекламодателя могут способствовать как удержанию части информации, препятствовать распространению мема среди их аудитории, так и, наоборот, популяризировать идеи и создавать собственные мемы. Также через СМИ высказывания и поступки обычных людей могут приобретать популярность и представлять те самые единицы информации, которые впоследствии будут распространяться хаотично. Начальное распространение мема в настоящее время может происходить и через гражданские СМИ, которые часто имеют больший охват аудитории и отличаются высокой скоростью передачи информации от индивида к индивиду.

3. Ассимиляция мема – процесс, при котором некоторое число людей становится носителями мема. И если при первичном высказывании идеи эта аудитория еще слишком мала, чтобы инициировать «вирусную» передачу информации, то после ретрансляции мема через один или несколько медиаресурсов эта аудитория значительно увеличивается. Таким образом, в настоящее время преобладает опосредованное распространение мемов, непосредственная передача идей от человека к человеку. Очень важным моментом является правильное понимание мема аудиторией СМИ, что зависит от мастерства и умения автора в правильной подаче информации.

4. Сохранение мема – процесс «удержания» мема в памяти. На этом этапе проверяется жизнеспособность мема, а также мастерство автора(ов), передающих его. Невыразительно представленные идеи не заинтересуют

аудиторию, соответственно, не произойдет и запоминания полученных единиц информации. Также возможны и искажения, когда в результате неправильного понимания индивидом(ами) информации возможно ее последующее искаженное или неверное толкование.

5. Выражение мема – процесс, при котором человек в вербальной или невербальной форме передает его другому человеку или группе лиц. При этом проверяется плодovitость мема. Наиболее яркие, злободневные, самые быстро распространяемые мемы были названы Ф. Хейлигеном «сильными». На плодovitость влияют и способы подачи информации (этап 2), и особенности восприятия этой информации конкретной аудиторией (этап 3 и 4).

6. Экспансия мема. Если предыдущие этапы доказывают жизнеспособность и плодovitость мема, то происходит дальнейшее распространение «вирусной» информации. Мем становится модным и транслируется по разным каналам – при непосредственном общении людей, переписке, распространяется традиционными и гражданскими СМИ, используется в повседневной речи и жизни людей, становится частью современной культуры. Приобретая глобальный характер распространения, мем может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на общество. Также мем, конкурируя с другими мемами или объединяясь в мемокомплексы, может трансформироваться в разных обществах и дополняться с течением времени.

7. Угасание мема. Данный этап наступает в жизненном цикле большего числа мемов, когда они перестают ретранслироваться по каналам СМИ. Происходит вытеснение их другими мемами и забывание аудиторией. Жизненный цикл мема может длиться десятилетиями, но существуют и так называемые мемы-однодневки, которые возникают и быстро распространяются в обществе, но столь же быстро угасают. Появление более сильных и жизнеспособных мемов может вытеснить существующие в обществе мемы и привести или к их трансформации, или к полному исчезновению. Мемы выживают, если сохраняется хотя бы один носитель, который распространяет их. При этом к ним чаще всего применима категория «смерть автора», так как с течением времени имя первоначального распространителя идеи стирается и даже высказываниям иногда приписывается другое авторство. То есть автор «умирает», а идея начинает жить своей жизнью в сознании каждого отдельного индивида.

8. Возрождение мема. На данном этапе мем, спустя какое-то время после угасания, может вернуться в информационные потоки и в сознание общества. Это может происходить искусственно – какая-то идея будет возрождаться через посредство политиков, журналистов, общественных деятелей и деятелей культуры или самопроизвольно под воздействием каких-либо событий и явлений общества. В таком случае мем будет заново проходить все стадии своего развития, однако будет наблюдаться более легкое закрепление его в памяти индивидов и распространение в обществе. Поэтому все вновь искусственно создаваемые мемы часто содержат аллюзии к прошлым мемам, фактам и событиям.

В то же время можно выделить несколько стадий внедрения мема в социальную среду.

1. Индивидуальная стадия. Предлагаемая мемоидея потребляется и запоминается конкретным индивидом и становится материалом для построения его собственного сознания.

2. Групповая стадия. Мемоидея распространяется среди определенной группы людей. Это могут быть представители какой-то профессии, пользователи отдельного сегмента Интернета или граждане одной страны. Происходит влияние на сознание данной группы.

3. Глобальная стадия. Мем на данной стадии уже может объединяться с другими мемами, образуя мемоконплексы. Формируется сознание общества, а географические, культурные, национальные и иные границы при этом стираются.

И если на индивидуальном уровне предлагаемые массовой культурой мемы являются строительным материалом сознания самого индивида, то на уровне человечества – формируют сознание всего общества.

Итак, в широком значении мем можно трактовать как единицу культурной информации, идею, распространяющуюся самопроизвольно. Однако в медиапространстве логично будет выделить собственную типологию медиаменов.

1. Мемы, сложившиеся в социуме как социальные явления, нормы поведения, идеи и стереотипы, транслируемые и развиваемые СМИ. К одним из самых распространенных можно отнести этностереотипы. Интересны в этом плане мемы «лицо кавказской национальности» (гетеростереотип), «трудолюбивый татарин» (автостереотип), «русская водка» (гетеростереотип и автостереотип одновременно).

2. Мемы, распространяющиеся в обществе как уникальные явления и передаваемые затем СМИ. Источником таких мемов служат в основном яркие поступки и высказывания медиаперсон, а также события, которые носят неординарный характер. В качестве примера можно привести мемы «Денег нет, но вы держитесь», горилла Харамбе, «Крымнаш» [12], «Навальный с сардельками», «Навальный с дошираком», «оренбургские пчелки», «спящий Медведев», а также мем на фразу С. Лаврова, произнесенную в ходе пресс-конференции в 2016 г. [13].

3. Мемы, зарождающиеся в традиционных СМИ и распространяющиеся в обществе. Это, например, образы Ровшана и Джумшута в юмористической телепередаче производства «Comedy Club Production», появившейся на телеканале «ТНТ» в 2006 г. После неоднократных выступлений Союза армян России, общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», М. Прохорова, Д. Медведева и других против данной передачи и обвинения ее в ксенофобии и влиянии на понижение имиджа рабочих профессий выпуск прекратились. Позже данный мем распространился в социуме как нарицательный образ людей (вне зависимости от национальности), которые делают что-то плохо, стал появляться в медиа-текстах, интернет-мемах и цитатах известных личностей.

Другими примерами мемов в традиционных СМИ являются «британские ученые», «Тагил!» («Наша Раша»), «Дратути» («Городок»), «я же мать» [14], «на доньшке». Последний появился после слов Дианы Шурыгиной в передаче «Пусть говорят» в начале 2017 г. и сопровождался жестом героини, который впоследствии и стал материалом для большинства интернет-мемов. Использовался мем в рекламе, брендинге, стал особенно популярным среди молодых людей, делающих селфи, появлялся в Инстаграмме, YouTube и т.д.

4. Мемы, зарождающиеся в Интернете, включая интернет-СМИ, и распространяющиеся в обществе. В основном это фразы, появляющиеся в блогах и на форумах, характеризующие какое-то общественное явление, ситуацию или яркий образ. В качестве примеров можно привести «йа криветко» (сайт «Башорг»), «Донки-хот» (запись в Живом Журнале пользователя Памидора, который попросил рассказать, о чем книга «Донки-хот»), «свидетель из Фрязино» (свадебное фото, попавшее в Интернет), «вежливые люди» (введен в обращение блогером Colonelcassad – Борисом Рожным), «школьник в болоте» (фотографии в конкурсе, организованном обществом «Как я встретил столбняк»), «Девочка с персиками. Полная версия» (фотожаба с сайта hupu.ru) и др.

5. Мемы, создаваемые с помощью различных видов искусства (кино, театр, живопись и т.д.) и транслируемые СМИ. Также большую популярность они получают благодаря Интернету. Так случилось со скульптурой голландской художницы Маргрит ван Брифорт, породившей мем «Ждун», широко распространенный в России и на Украине. Чучело лисы, сделанное британской таксидермисткой Адель Морзе и проданное на аукционе eBay, стало персонажем многочисленных мемов и получило название «Упоротый лис». Позже у него был создан свой аккаунт в Twitter, СМИ называли его «национальным героем» [15] и сравнивали с «Черным квадратом» [16], в честь него делали плюшевые игрушки, с его участием было создано множество коллажей политической и социальной тематики.

В то же время многие мемы, в основном уже закрепившиеся в сознании людей, представляют собой совокупность всех или большинства вышеперечисленных типов – можно назвать их «кочующие» мемы. Так, мем «русский медведь», зародившийся на уровне социального стереотипа, причем как в самой стране, так и за рубежом, сейчас является «кочующим». Появляется данный мем и при трансляции СМИ необычных фактов («„Только в России“: западную прессу удивил катающийся на мотоцикле медведь» [17]), и в предвыборной агитации и символах партий, и в единичных высказываниях известных людей, вызывая еще большее закрепление мема в сознании аудитории (официальный представитель МИД России М. Захарова: «Я бессмертный русский медведь, который никогда не умирает, но время от времени впадает в спячку. Я не одна такая. Многие русские медведи похожи на меня. Я даже замужем за таким медведем, и у нас пушистая дочка-медвежонок. Я ем мед и пытаюсь быть забавной. И я люблю вас всем своим сердцем русского медведя» [18]; министр обороны Великобри-

тании М. Фэллон: «Мы не хотим, чтобы медведь совал свои лапы в Ливию» [19]; В. Путин: на Валдайском форуме – «Медведь ни у кого спрашивать не будет» [20], на пресс-конференции – «Как только вырвут когти и зубы, мишка не будет нужен, чучело из него сделают и все» [21]). При этом данный мем формируется и при помощи СМИ. Так, газета «Daily Mail» в 2014 г. опубликовала материал о москвиче Роберте Бирюкове, который выгуливал своего домашнего медведя в центре столицы [22]. Позже большая часть фактов в тексте была разоблачена, а публикация отнесена к разряду фейковых (фотография взята из другого источника, на ней обрезано настоящее название улицы, медведь был цирковой, а имя героя и история о полицейских выдуманы). Однако образ русского медведя тем самым еще больше закрепился в сознании зарубежной аудитории.

В Интернете, как русском, так и зарубежном, широко распространен мем «русский медведь». На рисунках, иногда карикатурного характера, он часто изображается в военной форме, с оружием, иногда используется атрибутика российского флага. В последнее время тема таких мемов связана с Сирийским конфликтом и участием в нем России. Часть мемов высмеивает российскую действительность, также укрепляя сложившийся в обществе социальный стереотип.

Можно выделить следующие особенности распространения мемов в СМИ.

Лексика. В мемах, особенно на начальном этапе их распространения, используется в основном нейтральная, общеупотребительная лексика, понятная большей части аудитории. В печатных СМИ основной упор делается на заголовочный комплекс, в котором слова используются не только в прямом, но часто и в переносном смысле. Возможно и употребление разговорной лексики. Позже мемуидея, распространяясь среди широкой аудитории, может изменяться и лексически. В зависимости от аудитории СМИ появляются сленговые и жаргонные слова и выражения, специальные термины и профессионализмы, неологизмы.

Использование сленга и жаргона характерно в основном для интернет-СМИ, в частности имеющих свои страницы в социальных сетях. Таким образом издания пытаются подстроиться под свою аудиторию, тем самым снижая уровень мема с лингвокультурной точки зрения. За счет этого происходит распространение сленговых и жаргонных слов среди широкой аудитории и внедрение их в повседневную речь.

Специальные термины и профессионализмы употребляются чаще всего при распространении мема в узконаправленных специализированных изданиях. Подобным способом мем адаптируется для аудитории данных СМИ.

Неологизмы могут употребляться самыми разными средствами массовой информации, и применение их бывает оправданно в эпоху развития новейших технологий и Интернета. Однако обилие новозаимствованных и новообразованных слов может препятствовать распространению и популяризации мема, делая текст непонятным для массовой аудитории. Тот же эффект имеет и применение в медиатекстах диалектизм и архаизмов.

Дизайн. Для популяризации мемов средства массовой информации используют и такое проверенное временем средство, как графическое оформление. Цвет выполняет в медиатексте эстетическую функцию, воздействует на сознание и подсознание человека. С помощью сочетания определенных цветов и их оттенков формируется необходимый для потребителя информации эмоциональный фон (радость, спокойствие, грусть, гнев, тревога и т.д.). Дизайн в целом включает также оформление медиатекста и привлечение к нему внимания с помощью шрифта, верстки газетной полосы или веб-сайта, логотипа, иллюстраций, 3D-графики и анимации и т.д.

В современном информационном обществе происходит борьба мемов, распространяющихся в общественном сознании с помощью СМИ. Передача информации на основе мема зависит от профессионализма журналистов, закладывающих основы этой информации и обеспечивающих ее жизнеспособность. Поэтому журналистам необходимо развивать навыки противостояния разрушительным для общества информационным вирусам, создавая качественный медиaproдукт, передающий новые мультимедийные мемы.

Основными условиями жизнеспособности мема в СМИ являются:

1. Привлечение внимания аудитории, причем вызывать интерес должна не только сама мем-идея, но и форма ее преподнесения. Для проникновения в сознание и подсознание аудитории журналист должен сначала заинтересовать, добиться ознакомления с информацией как можно большего количества людей. Спектр методов стимулирования внимания общественности к сообщению в СМИ основывается на приоритетности, новизне, неординарности фактов и привлечении лидера мнений [23. С. 76–81].

2. Возможность вызывать сильные эмоции. Эмоции могут быть как положительные, так и отрицательные, но они обеспечивают запоминание мем-идеи и способствуют ее дальнейшему распространению как по личным каналам представителей аудитории (слухи, блоги, модели поведения), так и массово (передача через другие СМИ, медиаперсон, влияние на повестку дня). Мем, создающий четкий образ в сознании человека, способен управлять и его ценностными ориентациями, подсказывая в жизненных ситуациях готовые модели поведения и стереотипы. Часто сильная реакция на мем вызвана тем, что он затрагивает табуированную тематику или проблемы, о которых раньше никто не решался говорить.

3. Лаконичность. Особенность современного цифрового поколения в клиповом мышлении, которое делает востребованным тексты и идеи, высказанные в краткой форме, но запоминающиеся по своей сути. В информационном обществе происходит естественный отбор идей и тем, соответствующих публичной повестке дня.

4. Опора нового мема на сильный(е) мем(ы), ранее закрепленный(е) в сознании аудитории. Таким образом, информация будет лучше запоминаться аудиторией, кроме того, процесс запоминания облегчает принятие информации подсознанием аудитории.

Из множества речей, публично произнесенных В. Путиным, мемами стали только некоторые. В частности, «мочить в сортире» – фраза президента, не раз еще звучавшая в СМИ в различных контекстах и ставшая предметом изучения научного сообщества. Существуют даже мнения [24. С. 77], что традиция использования жаргонизмов в современных официальных выступлениях была заложена именно этими словами. Причем возрождение данного мема происходило не один раз – его вспоминал и сам президент, и журналисты, и блогеры, а в 2015 г. после терактов в Париже во французских социальных сетях стал распространяться интернет-мем с изображением В. Путина и данной цитатой на французском языке [25].

Позже были и другие фразы, которые исследователи прозвали «путинизмами» – «она утонула», «сюда посмотреть», «выковырять со дна канализации», «ручку верните» и др. Последняя, например, стала поводом для множества упоминаний в СМИ, в частности такими журналистами, как В. Соловьев, Г. Бовт, Л. Парфенов, Е. Виноградов, А. Проханов. При этом указанные выше условия жизнеспособности мемов выполняются полностью – фразы произнесены известной личностью, лаконичны, легко воспроизводимы, запоминаемы и вызвали резонанс в обществе.

Использование работниками СМИ данных условий создания могущественного и конкурентоспособного мемокомплекса средствами журналистики может оказаться полезным в полиэтничном пространстве современного мира.

Информационная война, особенно обостряющая отношения между государствами и народами в последние годы, процессы миграции, межнациональные и религиозные конфликты, международный терроризм инициируют появление и распространение в обществе стереотипов «чужих» и «своих», что разделяет социум ментально. Задача СМИ в сложившейся ситуации – внедрять в сознание общества мемы, вызывающие психическое состояние этнической общности. Возможность взаимодействия с большой аудиторией посредством глобальных СМИ и сети Интернет позволяет журналистам не только сиюминутно изменять общественное мнение, но и постоянно поддерживать нужные для консолидации культурные идеи в сознании мемоносителей. Таким образом, для функционирования полиэтничного общества жизненно необходимо создание мемокомплексов, способных к клонированию и вытеснению отдельных отчуждающих мемов.

Не зря исследователи наравне с самопроизвольно рождающимися «вирусами» выделяют запускаемые намеренно (Д. Рашкофф) – рекламу; предвыборные лозунги, искусственно детонированные «информационные бомбы» [26. С. 54]. К числу таких будут относиться мемы, специально разработанные компанией «ИМА-Консалтинг», победившей в конкурсе Центральной избирательной комиссии, о необходимости принять участие в голосовании на президентских выборах 2018 г. В качестве примера разработчики предложили такую фразу: «Куда ушел Малахов? На выборы» [27].

Также эффективным является оперативное целенаправленное использование спонтанно возникающих мемов. Активный отклик получило такое

событие, как победа Д. Трампа на президентских выборах в США. Сразу после объявления результатов было создано огромное количество интернет-мемов, обложки мировых журналов размещали иллюстрации-карикатуры, передающие отношение журналистов к событию (*The Economist*, *The New Yorker*, *New Republic*, *Der Spiegel*, *Charlie Hebdo*, *Liberation*, *Daily Mirror* и др.). Однако данный пример скорее иллюстрирует разрушительную силу мемов, чем говорит о созидании.

Примером событий, инициирующих созидательные мемы, можно считать показ в СМИ свободного времяпрепровождения В. Путина – рыбалка, конные поездки, сплав по реке, охота, горнолыжный отдых и т.д. В целом освещение частных событий жизни президента, связанных с риском и спортом, создают образ сильного духом и телом человека. В то же время полет на мотодельтоплане вызвал больше отрицательную реакцию в обществе и явился источником мемов-насмешек, создающих негативный имидж президента. Однако и образ В. Путина на коне с голым торсом не раз становился источником негативных мемов как в России (песня Ю. Шевчука «Ночная пьеса»), так и за ее пределами (клип Klemen Slakonja на песню «Put in, Put out»). В данном случае можно говорить о стадии возрождения уже существующего мема и придания ему нового оттенка.

В любом случае намеренно созданный или распространенный и скорректированный уже после возникновения мем позволяет в полной мере реализовать профессиональные способности журналистов, раскрывая их как мастеров и снимая с них ярлыки «диктофонов». Особенно важны данные умения при освещении национальной тематики.

Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент» [28] выбирает среди множества событий только те, которые могли бы поддержать консолидацию различных культур. Даже освещение криминальных происшествий здесь направлено на объединение народов («В Пятигорске обвиняемый в экстремизме раскаялся и опубликовал призыв к толерантности»). Однако сообщения медиаресурса не являются первоисточником для крупнейших российских СМИ, скорее наоборот, цитируют их. Тем не менее здесь можно увидеть материалы, привлекающие внимание читателя: «50 оттенков „здравствуйте“» [29] о традициях, национальном костюме и жилищах калмыков (отсылка к скандально известной книге Э.Л. Джеймс), «Итальянский жених Сати Казановой наденет на свадьбу черкеску с газырями» [30], «Российские евреи обратились к президенту США Дональду Трампу» [31] (ссылки на известную личность), «Свердловские казаки попросили денег на превращение Дарта Вейдера в казака» [32] (необычная ассоциация героя фильма «Звездные войны») и т.д.

Постепенно начинается и целенаправленная работа по созданию положительного образа малых народов в СМИ. Так, многочисленные семинары и выступления теоретиков и практиков журналистики постепенно приводят к опровержению тезиса «О кавказцах либо плохо, либо никак». Примером этого являются публикации «Кавказец спас девочку от педофила и отказался от награды» [33] («Уж сколько таких случаев наверняка было.

И не всегда пострадавшие считают нужным просто поблагодарить спасителя. Да и как-то привыкли мы, что „нашего брата” любят „крыть по черному” даже за самую безобидную лезгинку. Но вот „спасибо” слышим редко»), «Кавказец спас девушку от ограбления» [34] («Значительное число россиян предпочитают отказываться признавать у кавказцев и в целом у приезжих из других регионов такие качества, как мужество, благородство, способность на бескорыстный поступок. В этом плане случай, произошедший в прошлом месяце в городе Ростов-на-Дону, может заставить взглянуть на таких нелюбимых южан под несколько иным углом»), «Дагестанец утонул, спасая девушку на пляже в Москве» [35] и др.

Данная тема не обходит стороной и гражданскую журналистику, действующую в социальных сетях и видеохостингах. Так, в 2014 г. чеченский студент Ислам Катаев опубликовал на своем канале в YouTube видео под названием «Чеченец о кавказцах», начинающееся словами «О кавказец, ты забыл, что такое культура...» [36]. Запись стала быстро расходиться по пространству Интернета, спустя месяц видео набрало 140 тыс. просмотров и широко обсуждалось. Большинству пользователей обращение понравилось, однако нашлись и те, кто отвечал оскорблениями. Тем не менее автор своим примером создает положительный образ народа и вызывает сильные эмоции, что соответствует условиям жизнеспособности мема. О данном стихотворении и его авторе позже писали и СМИ, публиковали интервью с Катаевым, следили за его дальнейшим творчеством.

Однако из проанализированных нами 500 публикаций в российских СМИ за последние четыре года о представителях национальных меньшинств в положительном свете предстают только герои 6 % материалов, остальные освещаются либо нейтрально – 57%, либо отрицательно – 37%. Осложняет ситуацию участвовавшие в СМИ упоминания о предполагаемой или реальной национальности исполнителей терактов («Узбек по национальности и уроженец Кыргызстана взорвал метро в Петербурге») [37].

Тем не менее можно говорить об исчезновении из материалов СМИ фразы, тоже ставшей мемом, «лицо кавказской национальности». В 2011 г. в Государственную Думу был внесен законопроект о взимании штрафов с госорганов, должностных лиц и СМИ, использующих выражения, унижающие национальное достоинство. В частности, одним из оскорбительных выражений автор законопроекта И. Саввиди посчитал термин «лицо кавказской национальности», созданный еще в 1980-е гг. За употребление его «в основном в связке с какими-либо негативными, преступными действиями» [38] предлагалось брать штраф до 50 тыс. руб. Позже данная тема не единожды поднималась на форумах и семинарах журналистов. В 2016 г. на четвертом форуме СМИ Северо-Кавказского округа заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Михаил Ведерников заключил, что «из медиaprостранства ушла фраза „лицо кавказской национальности”» [39]. Однако ее заменил мем «кавказец», имеющий также не всегда положительный оттенок. Так, решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017 г. были признаны экстремистскими ма-

териалами 37 записей в социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим Бондарев», где неоднократно употреблялось слово «кавказец» в отрицательном контексте [40]. Употребляют данное слово в связке с негативными поступками даже консервативные СМИ. Например, «Российская газета» – «В московском метро обстреляли приезжих из Белоруссии» [41] («В столичном метрополитене уроженец Северного Кавказа открыл стрельбу из травматического пистолета в потасовке с четырьмя гражданами Белоруссии»); «Следствие отвергло версию группового избияния инспектора» [42] («Однако очевидцы сообщили, что в нападении на полицейского участвовал не один кавказец, а целая группа „в количестве около 8 человек“, которые поставили свои машины на проезжей части и тем самым мешали движению. „...На замечание инспектора ДПС молодые люди (кавказской национальности) отреагировали ударом битой по голове, после чего избili ногами и оттащили его на обочину»»); «В Тюмени арестован кавказец, похитивший человека» [43]. В этой же газете была попытка возрождения мема «лицо кавказской национальности» и изменения его в положительную сторону – интервью с руководителем Федерального агентства по делам национальностей И. Баринковым под названием «Лицо уважаемой национальности» [44], однако выражение не прижилось.

На сайте НТВ за последние четыре года найдено 15 материалов с употреблением мема «кавказец – нарушитель закона», из них 14 – за 2014 г. На сайте РИА «Новости» подобная новость за четыре года только одна, в интернет-издании «Медуза» таких материалов не было найдено, а на сайте газеты «Комсомольская правда» – 24 публикации, в которых мем «кавказец – нарушитель закона» употребляется не только в тексте, но и в заголовках материалов об убийствах, изнасилованиях, грабежах и пр. При этом в 2013 г. в «Комсомольской правде» вышел материал, который если не содержанием, так заголовком разжигает межнациональную рознь – «Московские вузы оккупировали студенты с Северного Кавказа?» [45] Однако на сайте газеты есть и материалы, демонстрирующие совсем другой стереотип – «В Петербурге кавказец спас беременную от самоубийства» [46], «В Астрахани кавказцы спасли из огня женщину с двумя детьми» [47].

На сайте газеты «Аргументы и факты» мем «кавказец – нарушитель закона» употребляется намного реже – 2 материала за исследуемый период. Зато есть медиатексты такого типа – «„Одними лозунгами не обойтись“. Общественник о будущем молодежной политики» [48] («У нас на Кавказе самый высокий уровень патриотизма. Именно здесь больше всего молодых людей своей родиной называют Россию. Наша молодежь – самая активная, самая непьющая, предприимчивая, быстро все „схватывает“ и хорошо адаптируется к новым условиям»).

Что касается региональных СМИ, то в самых популярных газетах Мордовии мем «кавказец – нарушитель закона» почти не встречается. В газете «Столица С» мы обнаружили всего 1 медиатекст (материал «Кавказский улов» [49]), газета «Известия Мордовии» – нет, «Вечерний Саранск» –

1 публикация. Притом что есть материалы, осуждающие разжигание межнациональной розни – «В Саранске осуждены юные последователи Гитлера» [50] («Столица С»); «Двух юношей из Саранска осудили за экстремизм» [51] («Известия Мордовии»); «Рузаевского пристава осудили за экстремизм» [52] («Вечерний Саранск»).

Медиаемы о других народах России также встречаются в СМИ, хотя и не так часто. Например, мем, выраженный в пословице «Незванный гость хуже татарина», сегодня получил обновление в материале на сервисе «TheQuestion.ru» (принципы работы сервиса схожи со СМИ, аудитория – более 330 тыс. зарегистрированных пользователей): «Незагаданный мем – хуже татарина» [53]. В современных СМИ можно различать мемы «татарин» и «крымский татарин», вышедший после присоединения Крыма на первое место по упоминанию и затрагиваемый даже в зарубежных СМИ («The Washington Post», «Jyllands-Posten», «Daily Sabah», «The Wall Street Journal», «As Sabeel» и др.). Создание образа «чужих» в СМИ обсуждалось на конференции «Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ», где затрагивались проблемы свободы слова и предотвращения дискриминации отдельных групп. Представители крымских татар просили ОБСЕ отреагировать на оскорбления со стороны СМИ, подчеркивая, что строят «отношения с другими народами в Крыму на основе конструктивного взаимодействия, взаимоуважения и добрососедства» [54]. Многие вопросы национального объединения и взаимодействия с другими этносами решают Центры татарской культуры, Союз татарской молодежи, Клуб татарских СМИ, созданный по инициативе журналистов, работающих в татарских СМИ, в октябре 2014 г. Именно на данных ресурсах можно наблюдать поддержание мемов «толерантность в многонациональной России», «татарин как гражданин России», подчеркивающих единство в полиэтничном обществе. Говорится в публикациях и об интернет-мемах: «Только очень ленивый не успел еще посмеяться над мемами с эпочмаком, чаем и шутивным восхвалением татар. ... Татары, пожалуй, первые в многонациональной России так удачно транслируют национальную идентичность в социальные сети – неагрессивно и ненавязчиво, с должным уровнем самоиронии и таинственности» [55].

Еще один народ, про который сложилось много мемов, – это евреи. Данные образы не только активно распространяются в медиасреде, но и генерируются представителями своей же национальности. Так, на днях открытых дверей в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга организуется фотозона, где каждый желающий может принять образ еврея и сфотографироваться с табличками: «Спросил у раввина, почему евреи умные. Ответ не понял», «Нашел у себя еврейские корни. Буду поливать» [56] и др. Данной национальности посвящено много интернет-мемов. Медиаемы же базируются в основном на сложившихся ранее стереотипах, наиболее жизнеспособные из которых «хитрый еврей» («В России считают, что две самые главные черты евреев – хитрость и скаредность» [57]), и

«евреи управляют страной/миром» («Дэвид Дюк: „Евреи контролируют СМИ и международные банки“» [58]).

Такие мемы, как «чукча», сегодня не очень широко распространены. Негативный контекст остался в анекдотах советского периода, периодически он возрождается в цитатах различных медиаперсон («„Чукча — не читатель, чукча – писатель“». Улюкаев впервые пришел в суд без книги» [59]). Есть второе толкование лексемы и в словаре редакции С.А. Кузнецова – «наивный, ограниченный человек» [60. С. 1486], которое стало поводом для обращения в суд представителей народности с иском о защите чести и достоинства. Материал первого канала об этом содержал иронию и, на наш взгляд, также не отличался корректностью [61]. Немногочисленные авторы пытаются придать мему «чукча» положительный оттенок, опровергнуть стереотипы и создать реальный образ народа: «Меня изменили люди Чукотки. Я увидел, как мало им нужно для того, чтобы быть счастливыми» [62].

По-прежнему частым явлением становится вынесение принадлежности к национальности, религии в заголовок медиатекста о совершенном преступлении. Информационно-аналитический портал «ГолосИслама.RU» пишет, что «в основе таких преступлений лежат психические или демонические причины, жертвой которых может оказаться последователь любой религии, как и атеист» [63]. Это же утверждение можно отнести и к национальным группам – журналисты не должны формировать мем «представитель национального меньшинства – источник зла».

Подводя итоги проанализированных материалов и мемов в них, можно сказать об огромной роли медиамемов в современном обществе. Они могут возникать как спонтанно (быть онтологическим феноменом), так и создаваться намеренно, в том числе и работниками массмедиа. Тем не менее даже в первом случае СМИ выполняют роль ретранслятора и распространителя мема, вводя его в рамки широкого медиаполя.

В настоящее время в СМИ преобладают негативные мемы, разобщающие этносы в России. Отрицательные медиамемы базируются преимущественно на основе стереотипов, а затем транслируются и развиваются СМИ (№ 1 приведенной выше типологии медиамемов). Такие мемы обладают жизнеспособностью, в особенности когда ретранслируемый СМИ образ опирается на сильный мем, ранее уже закрепленный в сознании аудитории. Распространение таких мемов происходит вирусно, стихийно, часто журналисты, гонясь за рейтингами, прибылью и используя для достижения этих целей мемы, даже не задумываются о влиянии на общество.

Можно также сделать вывод о пока малой плодовитости положительных мемов, вызывающих психическое состояние этнической общности. Их созданием занимаются в основном журналисты специализированных СМИ, направленных на освещение этнической тематики. Распространение данных мемов пока не уходит дальше групповой стадии, причем сама социальная группа не очень велика. В связи с этим происходит быстрое угасание мема, его плохое закрепление в сознании социума. Однако за последние 10 лет произошедшие в обществе и журналистике изменения при-

вели к осознанным попыткам производить качественный медиапродукт, развитию определенных навыков журналистов, специально создающих и запускающих в информационную среду медиамемы, способные устойчиво конкурировать с уже распространенными идеями и консолидировать полиэтничное сообщество.

Таким образом, в соответствии с современной практикой СМИ мы установили, что функционирование мема или, применительно к журналистике, медиамема можно рассматривать и с положительной точки зрения. В дальнейшем создание и распространение подобных медиамемов и вытеснение существующих негативных представлений о «чужих» и «своих», по нашему мнению, будет только расширяться.

Литература

1. Менегетти А. Онтопсихология и меметика. М. : Psicologica Editrice Roma, 2005. 387 с.
2. Марченко Н.Г. Интернет-мем как хранилище культурных кодов сетевого сообщества // Казанская наука. 2013. № 1. С. 113–115.
3. Белкина Ю.А., Куценко Е.В. Мем как часть интернет-дискурса // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4. С. 77–79.
4. Часовский Н.В. Интернет-мем как особый жанр коммуникации // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Филология, история, востоковедение. 2015. № 2. С. 124–127.
5. Овчинников Ю.Д., Холодков М.Ю. Интернет-мем как феномен современной информационной культуры // Социальное воспитание. 2015. № 2. С. 72–75.
6. Алмосов И.В. Угроза национальной идентичности как деструктивный мем // Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 7–8. С. 112–118.
7. Кронгауз М. . Мем в русскоязычном Интернете: опыт деконструкции // Русский язык и новые технологии. М., 2014. С. 87–95.
8. Колозариди П. Мем о беславии // Логос. 2016. № 6, т. 26. С. 219–235.
9. Попов Д.В. Мем атакует! // Онтология и аксиология права: тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф., Омск, 20–21 октября 2015 г. Омск, 2015. С. 133–137.
10. Федорова М.А., Семилет Т.А. Мем в медиасреде как ярлык и стигма // Медиаисследования. 2016. № 3. С. 211–216.
11. Heylighen F. Selfish Memes and the Evolution of Cooperation // Journal of Ideas. 1992. Vol. 2. P. 77–84.
12. Киселева М. Откуда взялись «крымнаш» и другие мемы // Газета.Ру. 2015. URL: https://www.gazeta.ru/science/2015/06/07_a_6746362.shtml
13. Глава российского МИД Сергей Лавров нецензурно выругался на пресс-конференции // Эхо Москвы. 2015. URL: <https://echo.msk.ru/news/1602234-echo.html>
14. Петрухина А. Яжемать. Истерика самовыражения // Сноб. 2016. URL: <https://snob.ru/profile/30020/blog/103917>
15. Першина О. «Упоротый лис» стал национальным героем // Neva24. 2013. URL: http://neva24.ru/a/2013/04/03/Uporotij_lis_stal_naciona/
16. Упоротый Лис как «Черный квадрат» // Фонтанка. 2013. URL: <http://www.fontanka.ru/2013/04/08/048/>
17. Гаврилов Е. «Только в России»: западную прессу удивил катающийся на мотоцикле медведь // Московский комсомолец. 2017. URL: <http://www.mk.ru/social/2017/07/17/tolko-v-rossii-zapadnyu-pressu-udivil-katayushhiysya-na-motocikle-medved.html>

18. *Захарова* назвала себя медведем в ответ на высказывание Пенса // Russia Today. 2016. URL: <https://russian.rt.com/article/324653-zaharova-nazvala-sebya-medvedem-v-otvet-na>
19. *Иванов М.* «Еще не вырос зверь, который может указывать медведю» // Газета.Ру. 2017. URL: <https://www.gazeta.ru/army/2017/02/21/10537553.shtml>
20. *Медведь* ни у кого разрешения спрашивать не будет – Владимир Путин о политике РФ // Звезда. 2014. URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201410241656-xmlb.htm
21. *Большая* пресс-конференция Владимира Путина // Администрация Президента России. 2014. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/47250>
22. *Miller D.* Man escapes fine when his pet bear pooped in the street – because the law only applies to dogs // MailOnline. 2014. URL: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2891415/Man-escapes-fine-pet-bear-pooped-street-law-applies-dogs.html>
23. *Дементьева К.В., Потапов П.Ф.* Пресса и общественное мнение. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. 140 с.
24. *Белоусов К.И., Зеланская Н.Л.* Фобио-исследования как направление в лингво-политологии // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 77. С. 75–81.
25. *Цитата* Путина «Мочить в сортире» стала хитом французских соцсетей // Ридус. 2015. URL: <https://www.ridus.ru/news/204575>
26. *Рашкофф Д.* Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М. : Ультра. Культура, 2003. 392 с.
27. *ЦИК* предложили использовать мемы и селфи для повышения явки на выборах-2018 // Полит.ру. 2017. URL: <http://polit.ru/news/2017/08/31/elections/>
28. *Национальный акцент* // Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики. URL: <http://nazaccent.ru/>
29. *50 оттенков* «здравствуйте» // Национальный акцент. 2017. URL: <http://m.nazaccent.ru/content/25236-50-ottenkov-zdravstvujte.html>
30. *Итальянский жених* Сати Казановой наденет на свадьбу черкеску с газырями // Национальный акцент. 2017. URL: <http://nazaccent.ru/content/25511-italyanskij-zhenih-sati-kazanovoj-nadenet-na.html>
31. *Российские евреи* обратились к президенту США Дональду Трампу // Национальный акцент. 2017. URL: http://nazaccent.ru/content/related_nat/25059/article/
32. *Свердловские казаки* попросили денег на превращение Дарта Вейдера в казака // Национальный акцент. 2017. URL: <http://nazaccent.ru/content/24996-sverdlovskie-kazaki-proposili-deneg-na-prevrashenie.html>
33. *Харсиева Л.* Подвиг – это состояние души // Ингушетия. 2017 URL: <http://gazetaingush.ru/obshchestvo/urozhenec-ingushetii-daud-aushev-spas-v-samare-nesover-shennoletnyuyu-devochku-ot>
34. *Кавказец* спас девушку от ограбления // Minval.az. 2013 URL: <http://minval.az/news/23991>
35. *Дагестанец* утонул, спасая девушку на пляже в Москве // Московский комсомолец. 2017 URL: <http://www.mk.ru/incident/2017/07/02/dagestanec-utonul-spasaya-devushku-na-plyazhe-v-moskve.html>
36. *Шарова А., Туз Г.* Чеченец записал обращение в стихах к кавказцам: «О кавказец, ты забыл, что такое культура...» // Комсомольская правда. 2014. URL: <https://www.stav.kp.ru/daily/26198/3085891/#625170>
37. *Узбек* по национальности и уроженец Кыргызстана взорвал метро в Петербурге // Кабарлар. 2017. URL: <http://kabarlar.org/news/90812-uzbek-po-nacionalnosti-no-grazhdanin-kyrgyzstana-vzorval-metro-v-peterburge-smi.html>
38. *Сурначева Е.* Штраф на лицо // Газета.Ру. 2011. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2011/01/28_a_3507258.shtml
39. *Без лиц* кавказской национальности. СКФО создает образ успешного региона // ФедералПресс. 2016. URL: <http://fedpress.ru/article/1713273>

40. *Федеральный список экстремистских материалов* // Российская газета. 2017. URL: <https://rg.ru/2017/06/09/spisok-dok.html>
41. *В московском метро обстреляли приезжих из Белоруссии* // Российская газета. 2014. URL: <https://rg.ru/2014/04/22/travmat-anons.html>
42. *Биткина С.* Следствие отвергло версию группового избиения инспектора // Российская газета. 2013. URL: <https://rg.ru/2013/07/30/ivanovo-site.html>
43. *Меньшиков А.* В Тюмени арестован кавказец, похитивший человека // Российская газета. 2013. URL: <https://rg.ru/amp/2013/03/14/reg-urfo/kavkaz-anons.html>
44. *Емельяненко В., Яковлева Е.* Лицо уважаемой национальности // Российская газета. 2016. URL: <https://rg.ru/2016/09/22/barinov-molodym-liudiam-nuzhna-alternativa-propagande-boevikov.html>
45. *Конюхова К.* Московские вузы оккупировали студенты с Северного Кавказа? // Комсомольская правда. 2013. URL: <https://www.kp.ru/daily/26117.4/3010889/>
46. *Лисовский А.* В Петербурге кавказец спас беременную от самоубийства // Комсомольская правда. 2013. URL: <https://www.spb.kp.ru/online/news/1455757/>
47. *Малинина Е.* В Астрахани кавказцы спасли из огня женщину с двумя детьми // Комсомольская правда. 2014. URL: <https://www.kp.ru/online/news/1663345/>
48. *Иванова Е.* «Одними лозунгами не обойтись»: Общественник о будущем молодежной политики // Аргументы и факты. 2017. URL: http://www.stav.aif.ru/society/person/zdes_vysokiy_uroven_patriotizma_obshchestvennik_o_molodezhi_na_kavkaze
49. *Кавказский улов* // Столица С. 2015. URL: <https://stolica-s.su/incident/2572>
50. *В Саранске осуждены юные последователи Гитлера* // Столица С. 2017. URL: <https://stolica-s.su/incident/94521>
51. *Двух юношей из Саранска осудили за экстремизм* // Известия Мордовии. 2017. URL: <https://izvmor.ru/novosti/proisshestiya/dvukh-yunoshey-iz-saranska-osudili-za-ekstremizm/>
52. *Рузаевского пристава осудили за экстремизм* // Вечерний Саранск. 2016. URL: http://www.vsar.ru/15432_ruzaevskogo_pristava_osudili_za_ekstremizm
53. *Откуда пошел форс мемов с татарами?* // TheQuestion.ru. 2016. URL: <https://thequestion.ru/questions/189324/otkuda-poshyol-fors-memov-s-tatarami/answer/278554#answer278554-anchor>
54. *Крымские татары просят ОБСЕ отреагировать на оскорбления со стороны СМИ* // Lenizdat.ru. 2016. URL: <https://lenizdat.ru/articles/1142764/>
55. *Татары без аватаров: Как возникла мода на татарское* // Конгресс татар Тюменской области. 2017. URL: <http://kttu.ru/novosti/business/tataryi-bez-avatarov-kak-voznikla-moda-na-tatarskoe/>
56. *Синагога и евреи * Петербург и окрестности* // ВКонтакте. 2017. URL: <https://vk.com/sinagogaspb>
57. *Русские не любят евреев* // Коммерсантъ. 2003. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/420946>
58. *Дэвид Дюк: «Евреи контролируют СМИ и международные банки»* // MIGnews.com. 2016. URL: http://mignews.com/news/USACANADA/041116_113115_66086.html
59. *Калегина М.* «Чукча – не читатель, чукча – писатель». Улюкаев впервые пришел в суд без книги // Life. 2017. URL: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058505/chukcha_-_nie_chitatiel_chukcha_-_pisiatiel_uliukaiev_vpiervyie_prishiol_v_sud_biez_knighi
60. *Большой толковый словарь русского языка: А–Я / сост., гл. ред. С.А. Кузнецов.* СПб. : Норинт, 1998. 1534 с.
61. *Мельников П.* Собрался чукча в Замоскворецкий суд. И это не смешно // Вести. 2014. URL: <https://www.vesti.ru/videos/show/vid/592448/>
62. *Костамо В.* Как чукча немца учил: зачем ученый из Германии объехал русскую Арктику // Россия сегодня. URL: <https://ria.ru/society/20171003/1506026173.html>

63. Икрамудин Х. Новообращенный еврей отрезал голову жене: реакция СМИ? // ГолосИслама.RU. 2017. URL: <https://golosislama.com/news.php?id=31534>

MEDIA MEME AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF A MULTI-ETHNIC SOCIETY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 257–278. DOI: 10.17223/19986645/53/17

Kseniya V. Dementieva, Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russian Federation). E-mail: dementievakv@gmail.com

Keywords: meme, media, information, ethnos, impact, consolidation.

The article considers the topical phenomenon of the media meme and its functioning in modern society. The author gives a more complete description of the stages of the life of the meme, which changed during the period of universal informatization. The meme life consists of its emergence, development, assimilation, preservation, expression, expansion, extinction and rebirth. The individual, group and global stages of meme introduction into the social environment are considered. The study gives the author's typology of media memes with examples. The concept "nomadic meme," which is the totality of all or most types of memes, is first introduced into scientific use.

The author analyzes the features of vocabulary and design of modern media memes, deduces the formula for their viability in the media space (attracting the attention of the audience, ability to evoke strong emotions, conciseness, reliance on memes already fixed in the minds of the audience). Citing examples of positive and negative, strong and weak memes distributed by politicians, the media, the Internet community, the author concludes that it is important to create strong meme complexes for a stable functioning of a multi-ethnic society.

In the article, a study is conducted on the distribution of memes in the media that unite and dissociate a multi-ethnic society. It is already possible to talk about the topicality of journalistic work on the creation and implementation of positive memes that cause the mental state of ethnic unity. The negative meme "person of a Caucasian nationality" almost disappeared in the media, which speaks about the greater caution of media workers and the control over this topic at the legislative level. However, the meme "Caucasian as a violator of the law" is still often found in the media. Media memes about the ethnic groups of Tatars, Chukchi, Jews are also considered.

Currently, the media is dominated by negative memes, dissociating ethnic groups in Russia. They are based primarily on stereotypes, and then broadcast and developed by the media. Positive memes on the national theme are less fertile so far, they do not go beyond the group stage, and do not meet the conditions of the viability of the media meme. In this connection, the meme is rapidly fading away, it is poorly fixed in the consciousness of society.

However, over the past 10 years, the changes that have taken place in society and journalism have led to conscious attempts to produce high-quality media products, to the development of certain skills of journalists who specifically create and launch media memes that can compete with the already widespread ideas and can consolidate a multi-ethnic community. Therefore, the functioning of the media meme can be viewed from a positive point of view. And the work on creating a single multi-ethnic society will continue, including at the level of the work of journalists.

References

1. Menegetti, A. (2005) *Ontopsikhologiya i memetika* [Ontopsychology and memetics]. Moscow: Psichologica Editrice Roma.
2. Marchenko, N.G. (2013) Internet-mem kak khranilishche kul'turnykh kodov setevogo soobshchestva [Internet meme as a storehouse of cultural codes of the network community]. *Kazanskaya nauka*. 1. pp. 113–115.

3. Belkina, Yu.A. & Kutsenko, E.V. (2014) Mem kak chast' internet-diskursa [Meme as a part of the Internet discourse]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya*. 4. pp. 77–79.

4. Chasovskiy, N.V. (2015) Internetmem kak osobyi zhanr kommunikatsii [Internet meme as a special genre of communication]. *Uchenye zapiski Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya, istoriya, vostokovedenie*. 2. pp. 124–127.

5. Ovchinnikov, Yu.D. & Kholodkov, M.Yu. (2015) Internet-mem kak fenomen sovremennoy informatsionnoy kul'tury [Internet meme as a phenomenon of modern information culture]. *Sotsial'noe vospitanie*. 2. pp. 72–75.

6. Almosov, I.V. (2014) Ugroza natsional'noy identichnosti kak destruktivnyy mem [The threat of national identity as a destructive meme]. *Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya*. 7–8. pp. 112–118.

7. Krongauz, M. (2014) Mem v russkoyazychnom Internete: opyt dekonstruktsii [Meme in the Russian-language Internet: the experience of deconstruction]. In: Akhmetova, M.V. & Belikova, V.I. (eds) *Russkiy yazyk i novye tekhnologii* [Russian language and new technologies]. Moscow: NLO.

8. Kolozaridi, P. (2016) Mem o besslavii [Meme about infamy]. *Logos*. 6(26). pp. 219–235.

9. Popov, D.V. (2015) [Meme attacks!]. *Ontologiya i aksiologiya prava* [Ontology and axiology of law]. Proceedings of the international conference. Omsk. 20–21 October 2015. Omsk: Omsk Academy of the MIA of Russia. pp. 133–137. (In Russian).

10. Fedorova, M.A. & Semilet, T.A. (2016) Meme in mass media as a label and a stigma. *Mediaissledovaniya*. 3. pp. 211–216.

11. Heylighen, F. (1992) Selfish Memes and the Evolution of Cooperation. *Journal of Ideas*. 2. pp. 77–84.

12. Kiseleva, M. (2015) *Otkuda vzyalis' "krymnash" i drugie memy* [Where did the "Crimea is ours" and other memes come from?]. [Online] Available from: https://www.gazeta.ru/science/2015/06/07_a_6746362.shtml.

13. Echo of Moscow. (2015) *Glava rossiyского MID Sergey Lavrov netsenzurno vyrugalsya na press-konferentsii* [The head of the Russian Ministry of Foreign Affairs Sergey Lavrov swore obscenely at a press conference]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/news/1602234-echo.html>.

14. Petrukhina, A. (2016) Yazhemat'. Isterika samovyrazheniya [I-am-mother. Hysterics of self-expression]. *Snob*. [Online] Available from: <https://snob.ru/profile/30020/blog/103917>.

15. Pershina, O. (2013) "Uporoty lis" stal natsional'nym geroem ["Uporoty fox" became a national hero]. *Neva24*. [Online] Available from: http://neva24.ru/a/2013/04/03/Uporotij_lis_stal_nacional/.

16. Fontanka. (2013) *Uporoty Lis kak "Chernyy kvadrat"* [Uporoty Lis as a "Black Square"]. [Online] Available from: <http://www.fon-tanka.ru/2013/04/08/048/>.

17. Gavrilov, E. (2017) "Tol'ko v Rossii": zapadnyu pressu udivil katayushchiysya na mototsikle medved' ["Only in Russia": the western press was surprised by a bear riding a motorcycle]. *Moskovskiy komsomolets*. [Online] Available from: <http://www.mk.ru/social/2017/07/17/tolko-v-rossii-zapadnyu-pressu-udivil-katayushhiysya-na-motocikle-medved.html>.

18. Russia Today. (2016) *Zakharova nazvala sebya medvedem v otvet na vyskazyvanie Pensa* [Zakharova called herself a bear in response to Pence's statement]. [Online] Available from: <https://russian.rt.com/article/324653-zaharova-nazvala-sebya-medvedem-v-otvet-na>.

19. Ivanov, M. (2017) "Eshche ne vyros zver", kotoryy mozhet ukazyvat' medvedyu" ["The beast that can give orders to a bear has not grown yet"]. *Gazeta.Ru*. [Online] Available from: <https://www.gazeta.ru/army/2017/02/21/10537553.shtml>.

20. Zvezda. (2014) *Medved' ni u kogo razresheniya sprashivat' ne budet – Vladimir Putin o politike RF* [The bear will not ask anyone for permission – Vladimir Putin on Russian poli-

cy]. [Online] Available from: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201410241656-xmlb.htm.

21. Administration of the President of Russia. (2014) *Bol'shaya press-konferentsiya Vladimira Putina* [A big press conference of Vladimir Putin]. [Online] Available from: <http://kremlin.ru/events/president/news/47250>.

22. Miller, D. (2014) Man escapes fine when his pet bear pooped in the street – because the law only applies to dogs. *MailOnline*. [Online] Available from: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2891415/Man-escapes-fine-pet-bear-pooped-street-law-applies-dogs.html>.

23. Dement'eva, K.V. & Potapov, P.F. (2012) *Pressa i obshchestvennoe mnenie* [Press, and public opinion]. Saransk: Ogarev Mordovia State University.

24. Belousov, K.I. & Zelyanskaya, N.L. (2007) Fobio-issledovaniya kak napravlenie v lingvopolitologii [Phobia research as a direction in linguopolitology]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*. 77. pp. 75–81.

25. Ridus. (2015) *Tsitata Putina "Mochit' v sortire" stala khitom frantsuzskikh sotssetey* [Putin's "we'll rub them out in the outhouse" became a hit of French social networks]. [Online] Available from: <https://www.ridus.ru/news/204575>.

26. Rashkoff, D. (2003) *Mediavirus. Kak pop-kul'tura tayno vozdeystvuet na vashe soznanie* [Mediavirus. How pop culture secretly affects your consciousness]. Moscow: Ul'tra. Kul'tura.

27. Polit.ru. (2017) *TSIK predlozhili ispol'zovat' memy i selfi dlya povysheniya yavki na vyborakh-2018* [The CEC offered to use memes and selfies to raise the turnout at the elections-2018]. [Online] Available from: <http://polit.ru/news/2017/08/31/elections/>.

28. Nazaccent.ru. (n.d.) *Natsional'nyy aktsent. Media-proekt Gil'dii mezhetnicheskoy zhurnalistiki* [National accent. Media project of the Guild of Interethnic Journalism]. [Online] Available from: <http://nazaccent.ru/>.

29. Natsional'nyy aktsent. (2017) *50 ottenkov "zdravstvuyte"* [50 shades of "Hello"]. [Online] Available from: <http://m.nazaccent.ru/content/25236-50-ottenkov-zdravstvuyte.html>

30. Natsional'nyy aktsent. (2017) *Ital'yanskiy zhenikh Sati Kazanovoy nadenet na svad'bu cherkesku s gazryyami* [Italian groom of Sati Kazanova will wear a Circassian coat for the wedding]. [Online] Available from: <http://nazaccent.ru/content/25511-italyanskiy-zhenih-sati-kazanovoy-nadenet-na.html>.

31. Natsional'nyy aktsent. (2017) *Rossiyskie evrei obratilis' k prezidentu SShA Donal'du Trampu* [Russian Jews addressed US President Donald Trump]. [Online] Available from: http://nazaccent.ru/content/related_nat/25059/article/.

32. Natsional'nyy aktsent. (2017) *Sverdlovskie kazaki poprosili deneg na prevrashchenie Darta Veydera v kazaka* [Sverdlovsk Cossacks asked for money to turn Darth Vader into a Cossack]. [Online] Available from: <http://nazaccent.ru/content/24996-sverdlovskie-kazaki-poprosili-deneg-na-prevrashchenie.html>.

33. Kharsieva, L. (2017) *Podvig – eto sostoyanie dushi* [A deed is a state of soul]. *Ingushetiya*. [Online] Available from: <http://gazetaingush.ru/obshchestvo/urozhenec-ingushetiidaud-aushev-spas-v-samare-nesover-shennoletnyuyu-devochku-ot>.

34. Minval.az. (2013) *Kavkazets spas devushku ot ogrableniya* [A Caucasian saved the girl from robbery]. [Online] Available from: <http://minval.az/news/23991>.

35. Moskovskiy komsomolets. (2017) *Dagestanets utonul, spasaya devushku na plyazhe v Moskve* [A Dagestani drowned, saving a girl on the beach in Moscow]. [Online] Available from: <http://www.mk.ru/incident/2017/07/02/dagestanec-utonul-spasaya-devushku-na-plyazhe-v-moskve.html>.

36. Sharova, A. & Tuz, G. (2014) Chechenets zapisal obrashchenie v stikhakh k kavkaztsam: "O kavkazets, ty zabyl, chto takoe kul'tura..." [A Chechen recorded an appeal in verse to the Caucasians: "Caucasian, you forgot what culture is..."]. *Komsomol'skaya pravda*. [Online] Available from: <https://www.stav.kp.ru/daily/26198/3085891/#625170>.

37. Kabarlar. (2017) *Uzbek po natsional'nosti i urozhnests Kyrgyzstana vzorval metro v Peterburge* [An ethnic Uzbek, native of Kyrgyzstan, blew up the metro in Petersburg]. [Online] Available from: <http://kabarlar.org/news/90812-uzbek-po-nacionalnosti-no-grazhdanin-kyrgyzstana-vzorval-metro-v-peterburge-smi.html>.
38. Surnacheva, E. (2011) *Shtraf na litso* [Fine for a person]. *Gazeta.Ru*. [Online] Available from: https://www.gazeta.ru/politics/2011/01/28_a_3507258.shtml.
39. FederalPress. (2016) *Bez lits kavkazskoy natsional'nosti. SKFO sozdaet obraz uspeshnogo regiona* [Without persons of Caucasian nationality. NCFD creates an image of a successful region]. [Online] Available from: <http://fedpress.ru/article/1713273>.
40. Rossiyskaya gazeta. (2017) *Federal'nyy spisok ekstremistskikh materialov* [The Federal List of Extremist Materials]. [Online] Available from: <https://rg.ru/2017/06/09/spisok-dok.html>.
41. Rossiyskaya gazeta. (2014) *V moskovskom metro obstrelyali priezhhikh iz Belorussii* [Visitors from Belarus were bombed in Moscow metro]. [Online] Available from: <https://rg.ru/2014/04/22/travmat-anons.html>.
42. Bitkina, S. (2013) *Sledstvie otverglo versiyu gruppovogo izbieniya inspektora* [The investigation rejected the version of the group beating of the inspector]. *Rossiyskaya gazeta*. [Online] Available from: <https://rg.ru/2013/07/30/ivanovo-site.html>.
43. Men'shikov, A. (2013) *V Tyumeni arestovan kavkazets, pokhitivshiy cheloveka* [A Caucasian, who kidnapped a man, was arrested in Tyumen]. *Rossiyskaya gazeta*. [Online] Available from: <https://rg.ru/amp/2013/03/14/reg-urfo/kavkaz-anons.html>.
44. Emel'yanenko, V. & Yakovleva, E. (2016) *Litso uvazhaemoy natsional'nosti* [The person of a respected nationality]. *Rossiyskaya gazeta*. [Online] Available from: <https://rg.ru/2016/09/22/barinov-molodym-liudiam-nuzhna-alternativa-propagande-boevikov.html>.
45. Konyukhova, K. (2013) *Moskovskie vuzy okkupirovali studenty s Severnogo Kavkaza?* [Are Moscow universities occupied by students from the North Caucasus?]. *Komsomol'skaya pravda*. [Online] Available from: <https://www.kp.ru/daily/26117.4/3010889/>.
46. Lisovskiy, A. (2013) *V Peterburge kavkazets spas beremennuyu ot samoubiystva* [In St. Petersburg, a Caucasian saved a pregnant woman from suicide]. *Komsomol'skaya pravda*. [Online] Available from: <https://www.spb.kp.ru/online/news/1455757/>.
47. Malinina, E. (2014) *V Astrakhani kavkaztsy spasli iz ognya zhenshchinu s dvumya det'mi* [In Astrakhan, Caucasians saved a woman with two children from the fire]. *Komsomol'skaya pravda*. [Online] Available from: <https://www.kp.ru/online/news/1663345/>.
48. Ivanova, E. (2017) "Odnimi lozungami ne oboytis": Obshchestvennik o budushchem molodezhnoy politiki ["Slogans will not be enough": A publicist about the future of youth policy]. *Argumenty i fakty*. [Online] Available from: http://www.stav.aif.ru/society/person/zdes_vysokiy_uroven_patriotizma_obschestvennik_o_molodezhi_na_kavkaze.
49. Stolitsa S. (2015) *Kavkazskiy ulov* [The Caucasian catch]. [Online] Available from: <https://stolica-s.su/incident/2572>.
50. Stolitsa S. (2017) *V Saranske osuzhdeny yunye posledovateli Gitlera* [Young adherents of Hitler were convicted in Saransk]. [Online] Available from: <https://stolica-s.su/incident/94521>.
51. Izvestiya Mordovii. (2017) *Dvukh yunoshey iz Saranska osudili za ekstremizm* [Two young men from Saransk were convicted of extremism]. [Online] Available from: <https://izvmor.ru/novosti/proisshestiya/dvukh-yunoshey-iz-saranska-osudili-za-ekstremizm/>.
52. Vecherniy Saransk. (2016) *Ruzaevskogo pristava osudili za ekstremizm* [Ruzaevsk bailiff was convicted of extremism]. [Online] Available from: http://www.vsar.ru/15432_ruzaevskogo_pristava_osudili_za_ekstremizm.
53. TheQuestion.ru. (2016) *Otkuda poshel fors memov s tatarami?* [Where did the force of memes with the Tatars come from?]. [Online] Available from: <https://thequestion.ru/questions/189324/otkuda-poshyol-fors-memov-s-tatarami/answer/278554#answer278554-anchor>.

54. Lenizdat.ru. (2016) *Krymskie tatarы prosyat OBSE otreagirovat' na oskorbleniya so storony SMI* [Crimean Tatars ask the OSCE to respond to insults from the media]. [Online] Available from: <https://lenizdat.ru/articles/1142764/>.

55. Kongress tatar Tyumenskoj oblasti. (2017) *Tatarы bez avatarov: Kak voznikla moda na tatarskoe* [Tatars without avatars: How the fashion for the Tatar emerged]. [Online] Available from: <http://ktto.ru/novosti/business/tataryi-bez-avatarov-kak-voznikla-moda-na-tatarskoe/>.

56. VKontakte. (2017) *Sinagoga i evrei * Peterburg i okrestnosti* [Synagogue and Jews * Petersburg and the neighborhood]. [Online] Available from: <https://vk.com/sinagogaspb>.

57. Kommersant. (2003) *Russkie ne lybyyat evreev* [Russians do not like Jews]. [Online] Available from: <https://www.kom-mersant.ru/doc/420946>.

58. MIGnews.com. (2016) *Devid Dyuk: "Evrei kontroliruyut SMI i mezhdunarodnye banki"* [David Duke: "Jews control the media and international banks"]. [Online] Available from: http://mignews.com/news/USACANADA/041116_113115_66086.html.

59. Kalgina, M. (2017) "Chukcha – ne chitatel", chukcha – pisatel". Ulyukaev vpervye prishel v sud bez knigi ["A Chukchi is not a reader, a Chukchi is a writer". Ulyukaev first came to court without a book]. *Life*. [Online] Available from: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058505/chukcha_-_nie_chitatel_chukcha_-_pisa-tiel_uliukaev_vpiervyie_prishiol_v_sud_biez_knighi.

60. Kuznetsov, S.A. (ed.) (1998) *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka: A–Ya* [A large explanatory dictionary of the Russian language: A–Ya]. St. Petersburg: Norint.

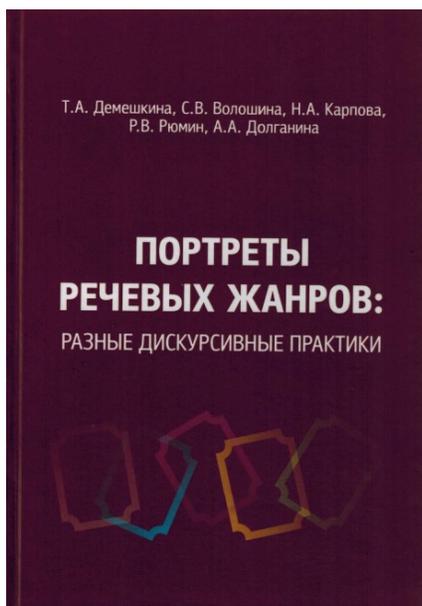
61. Mel'nikov, P. (2014) Sobralsya chukcha v Zamoskvoretskiy sud. I eto ne smeshno [A Chukchi set to go to the Zamoskvoretsky court. And it is not funny]. *Vesti*. [Online] Available from: <https://www.vesti.ru/videos/show/vid/592448/>.

62. Kostamo, V. (2017) Kak chukcha nemtsa uchil: zachem uchenyy iz Germanii ob"ekhal russkuyu Arktiku [How a Chukchi taught a German: why a scientist from Germany traveled the Russian Arctic]. *Rossiya segodnya*. [Online] Available from: <https://ria.ru/society/20171003/1506026173.html>.

63. Ikramutdin, Kh. (2017) Novoobrashchenny evrey otrezal golovu zhene: reaktsiya SMI? [A newly converted Jew cut off his wife's head: the reaction of the media?]. *GolosIslama.RU*. [Online] Available from: <https://golosislama.com/news.php?id=31534>.

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: 10.17223/19986645/53/18



Рецензия на книгу: Т.А. Демешкина, С.В. Волошина, Н.А. Карпова, Р.В. Рюмин, А.А. Долганина
Портреты речевых жанров: разные дискурсивные практики / под ред. Т.А. Демешкиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 278 с.

Монография представляет собой собрание лингвистических портретов отдельных речевых жанров, объединенных общей идеей их коммуникативно-прагматического, дискурсивного изучения, и является продолжением исследований, осуществляемых представителями томской лингвистической школы русистики на протяжении последних двадцати лет. В издании собраны материалы и для будущей энциклопедии речевых жанров русского национального языка.

Для исследователей речевых жанров.

Одним из наиболее перспективных подходов в современной лингвистике является коммуникативно-дискурсивный, ориентированный не столько на информативно-смысловой уровень языковых единиц, сколько на их лингвопрагматические установки, во многом определяющиеся экстралингвистическими факторами, к которым относятся стоящая за текстом действительность, языковая личность продуцента и реципиента, их речевые тактики и стратегии.

Авторы монографии «Портреты речевых жанров: разные дискурсивные практики» продолжают исследование речевых жанров (РЖ) в рамках традиции отечественной теории речевых жанров, концептуальная основа которой была заложена в работах М.М. Бахтина.

Первая часть работы представляет собой обоснование жанроведения как одного из направлений современной лингвистики: дается общетеоретическое описание объекта исследования, показывается типология РЖ, а также их место в системе дискурса, указываются проблемные зоны современного жанроведения. Одной из актуальных проблем авторы видят создание энциклопедии РЖ русского национального языка, одним из шагов к созданию которой может служить проведенное исследование.

Вторая часть монографии посвящена описанию конкретных РЖ в рамках диалектной коммуникации, административного объявления, лирической интернет-миниатюры, медицинской интернет-консультации и социальной рекламы.

Особенностью работы служит включение в круг объектов исследования РЖ оценки и автобиографического рассказа в диалектной коммуникации. Коммуникативная диалектология, несмотря на высокий прагматический потенциал, нечасто становится предметом научного рассмотрения, так как требует от исследователя высокого уровня профессиональной подготовки, который и демонстрируется в названном фрагменте монографии. Анализируя специфику аксиологической оценки в диалектной речи, Т.А. Демешкина выделяет наиболее значимые для носителя диалекта объекты оценивания, что позволяет сделать вывод о базовых ценностных компонентах в картине мира носителя говора. Важным также представляется и лингвистический анализ конкретных языковых средств разного уровня, служащих для выражения оценки.

Жанр автобиографического рассказа как один из базовых для диалектологии описан автором с точки зрения его системной роли и функции в коммуникативной диалектологии. Выделенные исследователем параметры классификации жанра («коммуникативная цель и класс речевого жанра», «схема речевого жанра, композиция», «темпоральная организация текста», «соотношение субъективных и объективных факторов в речевом жанре», «средства языкового воплощения речевого жанра», «описание жанроформирующих концептов и выявление ценностной картины мира», «социальная (гендерная характеристика)») позволили автору раздела, Т.А. Демешкиной, создать многоаспектный портрет жанра.

Заслуживают внимания и размышления автора о концептуальной сфере жанра автобиографического рассказа. Ядерными, с точки зрения Т.А. Демешкиной, выступают концепты «Жизнь» и «Работа», которые рассматриваются «в структуре образного, понятийного и аксиологического слоя».

Заслугой авторов монографии является также то, что для каждого РЖ выстраивается своя модель анализа, которая позволяет наиболее продуктивно работать как с лингвистическими, так и с коммуникативно-прагматическими параметрами РЖ.

Н.А. Карпова, анализируя жанр административного объявления, делает интересные выводы о национальной специфике жанра, сопоставляя РЖ в русском и немецком языках. Исследование РЖ в сопоставительной сфере с привлечением материала разных языков является перспективной областью исследования, так как позволяет акцентировать общекультурные и национально-специфические черты коммуникации.

Не менее интересным является анализ, произведенный А.А. Долганиной. Материалом исследования послужили тексты жанра лирической интернет-миниатюры, под которой автор понимает «жанр личностного творческого самовыражения современных интернет-пользователей <...> выражающий субъективное мировосприятие и лирическое эмоциональное со-

стояние автора». Анализ данного РЖ интернет-коммуникации позволяет автору сделать вывод о психологических установках адресанта и адресата, их ценностных ориентациях, а также «о востребованности личного самовыражения <...> через обращение к художественному слову». В целом подобные исследования крайне интересны не только для лингвистов, но и для психологов, социологов, так как позволяют сделать вывод о потребностях современного носителя языка, об уровне его самосознания.

Описанный С.В. Волошиной жанр медицинской интернет-консультации является одним из самых распространенных среди видов интернет-консультаций. Автором анализируются как вербальные, так и невербальные компоненты РЖ. С.В. Волошина отмечает, что данный РЖ представляет собой модификацию традиционной консультации врача и пациента, так как ранее существовавшая «коммуникативная ситуация» перемещается «в новую коммуникативную среду». Подобные исследования представляются актуальными в силу того, что позволяют определить ядерную и периферийную части конкретных РЖ.

С большим интересом читается последняя часть, посвященная РЖ социальной рекламы, являющейся важной частью современного медиaproстранства. Р.В. Рюмин анализирует вербальные и невербальные компоненты рекламы, делает вывод об эффективности тех или иных средств воздействия на адресата, показывает тематические особенности рекламных сообщений, их социально-культурную обусловленность, коммуникативную ситуацию функционирования.

Таким образом, в монографии дается комплексный анализ особенностей РЖ в рамках диалектной коммуникации, административного объявления, лирической интернет-миниатюры, медицинской интернет-консультации, социальной рекламы. Такая работа показывает перспективность дальнейшего исследования РЖ разных коммуникативных зон.

Монография привлекает внимание индивидуализированным подходом к классификационному описанию РЖ, а также присутствием регионально-го материала в качестве объекта исследования.

Материалы книги могут стать основой спецкурсов по русскому языку и культуре речи, использоваться в рамках курсов по социолингвистике и психолингвистике, коммуникативистике. Монография может служить источником идей при написании курсовых и дипломных работ. Она будет полезна для научных работников, преподавателей, студентов-филологов и журналистов.

В.М. Грязнова

BOOK REVIEW: DEMESHKINA, T.A. ET AL. *PORTRETY RECHEVYKH ZHANROV: RAZNYE DISKURSIVNYYE PRAKTIKI* [PORTRAITS OF SPEECH GENRES: DIFFERENT DISCOURSE PRACTICES]

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 279–281. DOI: 10.17223/19986645/53/18

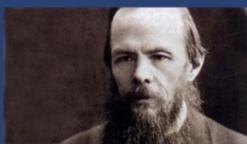
Violetta M. Gryaznova, North-Caucasian Federal University (Stavropol, Russian Federation). E-mail: violetta-sgy@mail.ru

DOI: 10.17223/19986645/53/19

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Е.Г. Новикова

«NOUS SERONS
AVEC LE CHRIST».
РОМАН
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«ИДИОТ»



Рецензия на книгу: Е.Г. Новикова. «Nous serons avec le Christ». Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 244 с.

Монография посвящена одному из самых спорных произведений Ф.М. Достоевского – роману «Идиот». В книге предложена новая интерпретация великого произведения писателя, в основе которой – обращение к экзистенциальному опыту смертной казни Достоевского, описанному в романе.

Для научных работников, преподавателей вузов и школ, аспирантов, магистрантов и всех интересующихся отечественной словесностью.

Монография авторитетного исследователя творчества Достоевского Е.Г. Новиковой ««Nous serons avec le Christ». Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»» [1] – плод многолетних и плодотворных раздумий. Как известно, роман «Идиот», особенно в последние десятилетия, стал предметом многочисленных критических интерпретаций и научных исследований. Представляется, что в этом контексте труд Е.Г. Новиковой носит этапный характер. Прежде всего, потому что предлагает новое прочтение великого произведения, сложившееся в процессе строгого и последовательного осмысления его христианской проблематики.

Наличие богатой научно-исследовательской литературы, посвященной роману «Идиот», предопределило уникальную и многофакторную ситуацию в современном достоевковедении. Пишущий о романе «Идиот» должен хорошо знать обширнейшую литературу об этом произведении Достоевского и быть в курсе новейших работ, но при этом избежать опасности погрузиться в весьма интенсивный диалог и подчиниться его логике, оказавшись в нешироком кругу складывающихся проблемно-тематических предпочтений, а значит, в какой-то степени отвлечься от самостоятельного и свободного осмысления художественного текста. Представляется, что автор монографии с этой проблемой справился. Е.Г. Новикова, по-

видимому, не раз напряженно размышляла над своей собственной исследовательской позицией, результатом чего стали, с одной стороны, опора на важнейшие работы по творчеству Достоевского, а с другой – включение в орбиту исследования только тех предложений из последних разработок, учет которых позволил бы открыть ценную перспективу для дальнейшего осмысления произведения.

Романный текст, безусловно, имеет для Е.Г. Новиковой самую высокую ценность, его глубины постигаются ею в процессе медленного и пристального чтения. Отсылая к знаменитой работе В.В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе», автор книги указывает на выбранный подход – «комментированное чтение» [1. С. 12]. Совершенно свободное владение Е.Г. Новиковой накопленным научным знанием о творчестве Достоевского и при этом движение от текста романа «Идиот» к его пониманию способствовали появлению в монографии блестящих анализов и тонких замечаний, отличающихся несомненной новизной.

Весьма примечательна и убедительна выбранная исследовательская тактика: один и тот же фрагмент из романа «Идиот» вариативно (в разных объёмах и в разных контекстах) неоднократно цитируется; исследовательница, делая несколько заходов к нему, вникает в искомые глубины текста романа, но не успокаивается на достигнутом и в очередной раз стремится, хорошо осознавая неисчерпаемость смыслов произведения Достоевского, найти еще один ракурс для их освещения.

Монография состоит из нескольких глав, на первый взгляд не вполне связанных друг с другом. Однако это первое впечатление обманчиво: в книге Е.Г. Новиковой роман «Идиот» осмысливается целостно. Прежде всего, это обусловлено тем, что в центре внимания автора, повторим, находится христианская проблематика этого произведения. В основу целостности монографии положена и исследовательская гипотеза: «смысловой доминантой романа» является автобиографический рассказ о смертной казни Достоевского [Там же]. Кроме того, события земного пути Иисуса Христа, Его казни, смерти и воскресения, а также восходящие к ним вариативные повторы в истории жизни самого Достоевского и его героев соотнесены исследовательницей в логике «сакральный прецедент – копия – вариант», а художественный принцип «копия – вариация» представляется базовым для создания и организации всего романного текста [Там же. С. 50]. Наконец, творчество Достоевского 1860-х гг. (от «Двойника», «Маленького героя», «Зимних заметок о летних впечатлениях» к роману «Идиот») прочитывается автором «изнутри», на глубине его магистральных проблемно-тематических линий.

В *первой главе* «Нарисовать лицо приговоренного» убедительно раскрыты эстетическая авторефлексия творца романа, а также эстетическая рефлексия его героев. Впервые в достоевковедении последовательно и обстоятельно представлен живописный дискурс романа. Примечательно, что в 2017 г. вышла книга американской исследовательницы Н.М. Перлиной «Тексты – картины и экфразисы в романе Достоевского “Идиот”» [2],

в которой был учтен опыт ранее опубликованных работ Е.Г. Новиковой. В итоге получилось, что книги двух современных исследовательниц соотносятся по принципу взаимодополнения.

Этот творческий диалог Н.М. Перлиной и Е.Г. Новиковой может быть продолжен. Полагаем, что в дальнейшем было бы целесообразно обратиться к выявлению, описанию и изучению иконописного дискурса романа «Идиот», открывающегося рассказом князя Мышкина о русской женщине с ребенком, а затем выявить характер соотношения двух групп экфразисов: живописного и иконописного. Важную роль в процессе такого сравнения сыграет рассмотрение дискурса «Европа – Россия», занимающего важнейшее место в проблемно-тематической структуре романа «Идиот». На пересечении тем России и Европы, как представляется, полнее прочитывается экфразис картины Ганса Гольбейна мл. «Мертвый Христос»: глядя на нее, «иной», действительно, веру теряет, но вернувшись в Россию Мышкин – не «иной», он, как совершенно справедливо пишет Е. Г. Новикова, возвращается почвенником [1. С. 144–150]. Думается, что именно христианская проблематика «Идиота» органично предопределила его живописную и иконописную образность – в романной истории начинают «проступать» ключевые символические образы. Визуальный ряд, состоящий из соотносимых друг с другом иконописного и живописного дискурсов, способствует более глубокому пониманию произведения Достоевского.

Во *второй главе* «Рыцарь бедный» Е.Г. Новикова прослеживает преемственность тем и мотивов при осмыслении русскими писателями: Н.М. Карамзиным, В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевским – европейской темы рыцарства. Исследовательница убедительно демонстрирует: в русской культуре эта тема обретает проблемный потенциал благодаря устойчивому интересу к ней и внесению новых точек зрения. Нельзя не согласиться с автором монографии, что в творчестве Достоевского тема рыцарства заявила себя еще в ранний период творчества: от «Двойника» к «Маленькому герою», вместе с тем хотелось бы добавить, что эта тема и образ Дон Кихота важны и в повести «Записки из подполья» (1864), где впервые в истории подпольного парадоксалиста и Лизы была намечена история рыцарского спасения прекрасной дамы и неотвратимости катастрофы. По-видимому, именно в этом произведении тема спасителя впервые в творчестве Достоевского проблемно соотнесена, с одной стороны, с Христом, а с другой – с Дон Кихотом. В целом же надо признать, что Е.Г. Новикова актуализировала, осмысляя тему рыцарского спасения, еще одну магистральную в творчестве Достоевского проблемно-тематическую линию.

Е.Г. Новикова впервые выявила смысловые планы романа «Идиот», связанные с авторефлексией его создателя, имеющей как эстетическую природу, ибо рождена событием *п и с ь м а* как процесса создания романа, так и биографическое основание – обусловленность экзистенциальным опытом эшафота. *Глава третья* «Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых...» убедительно свидетельствует о существовании любопытного парадокса в истории русской культуры. С одной стороны, «Идиот» – это

субъективный роман, рассказ Достоевского о самом себе, о самом важном в своей жизни – о воскресении из мертвых, о возвращении в Россию преобразенным. С другой стороны, в контексте русской культуры эта, казалось бы, отдельная, индивидуальная, сугубо личная история предстает как история многих: от декабристов до русских эмигрантов XX столетия.

Именно на фоне этой истории, сложенной опытом жизни нескольких поколений русских людей, исследовательнице удалось весьма отчетливо прорисовать идеологическую позицию Достоевского: стать почвенником – это единственная возможность по-настоящему вернуться в Россию и плодотворно служить ей. И эта мысль адресована писателем уже ко всем – как к еще не вступившим на путь возвращения в Россию, так и к начавшим его. Однако, как отмечает Е.Г. Новикова, в романе «Идиот» почвеннические идеи не были реализованы его главным героем – Мышкиным [1. С. 150]. Именно в этом контексте и прочитывается, на наш взгляд, мысль автора романа: «И вот идея “Идиота” почти лопнула» [3. Т. 282. С. 321].

В научной литературе уже указана связь между произведениями Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863) и романом «Идиот». В *главе четвертой* «Всё было бы спасено!» Е.Г. Новикова способствует расширению представлений об этой связи, рассматривая развитие экономической мысли Достоевского и отсылая к публикациям журнала «Время» за 1861 г. Согласимся с исследовательницей, что в этом году Достоевский обращает внимание на работу Ф. Энгельса «О положении рабочего класса в Англии» (1844), и добавим: в том же году ее содержание было освещено в статье Н.В. Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» в журнале «Современник» (№ 9–11). Другими словами, связь между произведением Достоевского 1863 г. и книгой Энгельса закладывалась не только публикациями в журнале «Время»; следует учесть и опыт западных коллег.

О переключке между лондонскими описаниями в очерках Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» и в книге Энгельса уже писал в свое время Дж. Кэбэт, который рассматривал «Зимние заметки» в контексте современной Достоевскому социологической мысли [4. Р. 74–91]. Кроме того, позже другой исследователь, В.Дж. Лезебэрроу, уточнил: близость «Зимних заметок» и труда «Положение рабочего класса в Англии» не идет дальше отдельных совпадений. Ф. Энгельс рисует картины человеческих страданий с позиции абстрактных экономических законов и обезличенной классово-борьбы, а Достоевскому такой подход чужд. В теоретических построениях европейских социалистов, по мнению ученого, писатель увидел не меньшую, чем при систематической капиталистической дегуманизации, угрозу для человеческой свободы и достоинства. Достоевский, рисуя уличные сцены Лондона, «сосредоточен не на классово-борьбы, а на индивидуальной деградации человека» [5. Р. 10]. Вместе с тем подчеркнем: Е.Г. Новикова актуализировала малоизученный в отечественном достоевсковедении вопрос о развитии экономической мысли Достоевского и, по существу, предложила один из путей его осмысления, впервые связав меж-

ду собой «Зимние заметки» и роман «Идиот» в социально-экономическом аспекте. Открытым, правда, остается вопрос: почему столь крепка – минуя «Преступление и наказание» – связь между «Зимними заметками» и «Идиотом» (кроме отмеченного к области общего между этими произведениями относятся и тема «Россия – Европа», и тема Чацкого, который, по мысли Достоевского, обязательно вновь вернется из Европы в Россию, но – уже деятелем).

Важно, что в *пятой главе* «Я оставила бы с Ним только одного маленького ребенка» акцент вновь сделан на почвеннических взглядах Достоевского. В связи с этим совершенно органично в контекст рассмотрения христианской проблематики романа «Идиот» входит история педагогического опыта Л.Н. Толстого начала 1860-х гг. Впервые как в достоевсковедении, так и в толстоведении Е.Г. Новиковой дан полный анализ толстовских материалов в журнале братьев Достоевских «Время». По существу, исследовательницей продемонстрирован важнейший этап в многолетнем постижении Толстым «народного взгляда на вещи» – от занятий в яснополянской школе с крестьянскими детьми начала 1860-х гг. к его народным рассказам первой половины 1880-х гг. Е.Г. Новиковой, безусловно, внесен весомый вклад в современное толстоведение: яснополянский школьный опыт представлен «важным этапом развития Толстого как художника», истоком его последующего творчества [1. С. 194]. Таким образом, рецензируемое исследование помогает глубже проникнуть во внутреннюю логику художественного творчества Л.Н. Толстого.

В пятой главе убедительно исследуется большой массив историко-литературного материала, высказано много интересных наблюдений. Продуктивной представляется мысль о том, что генезис романа-эпопеи «Война и мир» заложен «яснополянским педагогическим опытом Толстого, его преподаванием отечественной истории и рассказом о войне 1812 г.» [Там же. С. 233]. Е.Г. Новиковой проведен сравнительный анализ истории создания и публикации романа «Идиот» и книги «Война и мир», в результате чего были уточнены сложившиеся в современном достоевсковедении представления [Там же. С. 219]. Исследовательницей впервые установлен толстовский контекст швейцарской истории князя Мышкина о детях, что побуждает читателя этих страниц монографии расширить и уточнить имеющееся знание по теме «Швейцария Достоевского» рассмотрением руссоизма Толстого. Е.Г. Новиковой дополнена история восприятия деятельности и творчества Толстого 1850–1860-х гг. Достоевским: «Педагог и создатель талантливых повестей на глазах превращался в автора капитального романа “Война и мир”...», который вписывался, как и яснополянский опыт, «в широкий почвеннический контекст» [Там же. С. 224, 226].

Монография Е. Г. Новиковой «“Nous serons avec le Christ”». Роман Ф.М. Достоевского “Идиот”» способствует углубленному пониманию романа «Идиот» и творчества Достоевского в целом, и она займет заметное место в «большом диалоге», разворачивающемся вокруг этого произведения.

Литература

1. Новикова Е.Г. «Nous serons avec le Christ». Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 244 с.
2. Перлина Н.М. Тексты – картины и экфразисы в романе Достоевского «Идиот». СПб. : Алетейя, 2017. 288 с.
3. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1972–1990.
4. Kabat G.C. Ideology and Imagination: The Image of Society in Dostoevsky. New York : Columbia University Press, 1978. 201 p.
5. Leatherbarrow W.J. Introduction: Dostoevskii and Britain // Dostoevskii and Britain / ed. by W.J. Leatherbarrow. Oxford ; Providence : Berg, 1995. 310 p.

Н.Г. Михновец

A NEW STUDY ON THE NOVEL *THE IDIOT* BY F.M. DOSTOEVSKY. BOOK REVIEW: NOVIKOVA, E.G. “*NOUS SERONS AVEC LE CHRIST*”. ROMAN F.M. DOSTOEVSKOGO “*IDIOT*” [“*NOUS SERONS AVEC LE CHRIST*”. F.M. DOSTOEVSKY’S NOVEL “*THE IDIOT*”]

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 53. 282–287. DOI: 10.17223/19986645/53/19

Nadezhda G. Mikhnovets, Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: mikhnovets@yandex.ru

References

1. Novikova, E.G. (2016) “*Nous serons avec le Christ*”. *Roman F.M. Dostoevskogo “Idiot”* [“*Nous serons avec le Christ*”. F.M. Dostoevsky’s novel “*The Idiot*”]. Tomsk: Tomsk State University.
2. Perlina, N.M. (2017) *Teksty – kartiny i ekfrazisy v romane F.M. Dostoevskogo “Idiot”* [Texts – pictures and ekphrases in Dostoevsky’s novel “*The Idiot*”]. St. Petersburg: Aleteya.
3. Dostoevsky, F. M. (1972–1990) *Polnoe sobranie socineniy. V 30 tomakh* [Complete works. In 30 volumes]. Leningrad: Nauka.
4. Kabat, G.C. (1978) *Ideology and Imagination: The Image of Society in Dostoevsky*. New York: Columbia University Press.
5. Leatherbarrow, W.J. (1995) Introduction: Dostoevskii and Britain. In: Leatherbarrow, W. J. (ed.) *Dostoevskii and Britain*. Oxford; Providence: Berg.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АБРАМОВА Виктория Сергеевна – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры английского языка и межкультурной коммуникации Пермского государственного университета.

E-mail: abramovavictoria@yandex.ru

АНАНЬЕВА Наталия Евгеньевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой славянской филологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

E-mail: ananeva.46@mail.ru / slavlang.msu@gmail.com

АНИСИМОВА Евгения Евгеньевна – д-р филол. наук, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск).

E-mail: eva1393@mail.ru

БАШИЕВА Светлана Конакбиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик).

E-mail: bfo-pdo@mail.ru

БОДНАРУК Елена Владимировна – канд. филол. наук, зав. кафедрой немецкой и французской филологии Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск).

E-mail: bodnaruk@rambler.ru / e.bodnaruk@narfu.ru

ВАСИЛЬЕВА Галина Михайловна – канд. филол. наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления.

E-mail: personal_work@mail.ru

ГРЯЗНОВА Виолетта Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь).

E-mail: violetta-sgy@mail.ru

ДЕМЕНТЬЕВА Ксения Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (г. Саранск).

E-mail: dementievakv@gmail.com

ЕФАНОВА Лариса Георгиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.

E-mail: efanova@sibmail.com

ЖУЛЁВА Лидия Петровна – канд. филол. наук, доцент кафедры романо-германской филологии Томского государственного университета.

E-mail: lidiadmitrieva@ngs.ru

ИВАНОВ Дмитрий Игоревич – канд. филол. наук, профессор Центра инновационного сотрудничества и языковых исследований Гуандунского университета международных исследований (Китай); ст. науч. сотр. кафедры практического русского языка Ивановского государственного университета.

E-mail: Ivan610@yandex.ru

ЛАКЕРБАЙ Дмитрий Леонидович – канд. филол. наук, доцент кафедры теории литературы и русской литературы XX века Ивановского государственного университета.
E-mail: lakomotion@yandex.ru

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры русского языка Петрозаводского государственного университета.
E-mail: perevodchik88@yandex.ru

МИХНОВЕЦ Надежда Геннадьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской литературы Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
E-mail: mikhnovets@yandex.ru

МОКИЕНКО Валерий Михайлович – д-р филол. наук, профессор кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: mokienko40@mail.ru

НОВОКРЕЩЕННЫХ Ирина Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры мировой литературы и культуры Пермского государственного университета.
E-mail: ira-tabunkina@mail.ru

НОРМАН Борис Юстинович – д-р филол. наук, профессор кафедры теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета (г. Минск, Белоруссия); вед. науч. сотр. проблемной лаборатории компьютерной лексикографии Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
E-mail: boris.norman@gmail.com

ПАТРОЕВА Наталья Викторовна – д-р филол. наук, зав. кафедрой русского языка Петрозаводского государственного университета.
E-mail: nvpatr@list.ru

СКОРВИД Сергей Сергеевич – канд. филол. наук, доцент кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва).
E-mail: slavcenteur@gmail.com

ТРЕСОРИКОВА Ирина Витальевна – канд. филол. наук, доцент кафедры византийской и новогреческой филологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
E-mail: itresir@mail.ru

ХОМУК Николай Владимирович – канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: homuk1@yandex.ru

ШАМЯУНОВА Маргарита Давидовна – ст. преподаватель кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: margarita-tomsk@mail.ru

ШОГЕНОВА Марина Чашифовна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик).
E-mail: shog-marina@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России».

Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несёт автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2018. № 53

Редактор Т.В. Зелева
Редактор-переводчик В.В. Кашпур
Оригинал-макет А.И. Лелююр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцова

Подписано в печать 26.06.2018 г. Формат 70×100¹/₁₆.
Печ. л. 18,2; усл. печ. л. 23,7. Цена свободная.
Тираж 50 экз. Заказ № 3359.

Дата выхода в свет 28.09.2018 г.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru